

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1998

10

1998

НОВОСТИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10(882)

Октябрь, 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АНАТОЛИЙ КИМ — Стена. Повесть невидимок	3
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — На сухой реке, стихи	72
АНДРЕЙ ВОЛОС — Первый из пяти, рассказ	77
ЛЕОНИД РАБИЧЕВ — Иней на окне, стихи	97
АЛЕКСАНДР РЕВИЧ — Пыльца в луче, стихи	100
БОРИС ЕКИМОВ — Два рассказа	103
СЕРГЕЙ НОВИКОВ — Беспризорная вода, стихи	115

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Ю. КАГРАМАНОВ — «Жестоких опытов собирая поздний плод».	
Кое-что о роли знания в истории	119
СЕРГЕЙ ЖИТОМИРСКИЙ — Платон и Атлантида	138

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

П. П. ПЕРЦОВ — Воспоминания о В. В. Розанове. Публикация, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Виктора Сукача	146
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Окунаясь в Чехова. Из «Литературной коллекции»	161
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР — Когда? Где? Кто? О романе Владимира Ма- канина: опыт краткого путеводителя	183
АЛЕНА ЗЛОБИНА — Закон правды	196

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. — Людмила Петрушевская. Маленькая Грозная	213
Валерий Липневич. — I. Александр Тимофеевский. Песня скорбных душой. II. Леонид Григорьян. Вниз по реке. Стихи	215

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Ирина Роднянская. — Вл. Новиков. Заскок. Эссе, пародии, размышления критика	217
Александр Люсьи. — В. И. Славецкий. Русская поэзия 80 — 90-х годов XX века: тенденции развития, поэтика	219
Сергей Костырко. — Вячеслав Курицын. Журналистика 1993 — 1997	221
С. Файбисович. — Е. И. Кириченко, Е. Г. Шеболева. Русская провинция	222

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В. ЕЛИСЕЕВА — О «вкусе к подлинности» и «реставрации» Михайловского	224
ГЕОРГИЙ ВАСИЛЕВИЧ — «...Приют задумчивых дриад...»	226

АНКЕТА

«БУРЖУАЗНОСТЬ» — ЧТО ТАКОЕ? Отвечают Рената Гальцева, Алена Злобина, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Вячеслав Пьещух, Татьяна Чередниченко	230
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	242
Периодика (составитель Андрей Василевский)	245
SUMMARY	256

**УМЕР АЛЬФРЕД ШНИТКЕ,
ВЫДАЮЩИЙСЯ КОМПОЗИТОР XX ВЕКА.
ЕЩЕ НЕДАВНО МЫ ПОЗДРАВЛЯЛИ ЕГО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ БОЛЬШОГО РУССКОГО ПРИЗА
«СЛАВА/GLORIA-98», КАК ОКАЗАЛОСЬ,
УЖЕ НИЧЕГО НЕ СПОСОБНОГО ДОБАВИТЬ
К ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СЛАВЕ.
РЕДАКЦИЯ «НОВОГО МИРА» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
К СОБОЛЕЗНОВАНИЯМ СЕМЬЕ И РОДСТВЕННИКАМ,
ВСЕМ ДРУЗЬЯМ КОМПОЗИТОРА.**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3331 экземпляр журнала «Новый мир».

АНАТОЛИЙ КИМ

*

СТЕНА

Повесть невидимок

1

Чувствую, что пришла пора вставать, но неизвестно кому и, главное, это на каком же свете мы уснули и кто из нас, Анна или Валентин, видел сейчас за окном снег, белый снег на изогнутых ветвях деревьев? Мы невидимки в снежной стране, которая есть Русь зимняя, — вдруг ровно и плавно, словно спускаемые на ниточках, повалили сверху вниз белые хлопья, рождаясь прямо из серого неба, которое начиналось над самыми вершинами деревьев. И теперь, в данное мгновение, каждый из нас двоих несравнимо менее убедителен, чем любая из этих пухлых снежинок, чья жизнь имеет только ту протяженность во времени, что отпущена ей для плавного спуска с небес на землю.

Возможно ли, чтобы снежинка, лишь часть жизни которой мы могли наблюдать, имела свою судьбу? И чтобы холодная парашютистка, выбросившаяся из облака в числе многомиллионного десанта, была как-нибудь названа по имени на своем снежном языке? Мне кажется, я видел этот снегопад в первую нашу совместную зиму, лежа в постели рядом с теплой Анной, — только тогда я мог испытывать такое убедительное чувство телесного счастья, полную насыщенность жизнью. Недавно проснувшись, полеживая в теплой комнате на кровати рядом с женою, я спокойно поглядывал на то, как за окном идет снег.

Я тоже помню этот снегопад утром, я лежала рядом с Валентином и думала о том, что он был прав, пожалуй, когда однажды сказал: «Детей дает Бог». Это в ответ на мои слова, что хочу родить ему ребенка. Я тогда обиделась на Валентина, не услышав в его ответе никакой радости и благодарности, чего я ожидала, — но лишь равнодушную рассудочность и, больше того, тайное неверие или даже нежелание принять от меня самый великий мой дар. И вот по истечении совсем недолгого времени выяснилось, что он был прав, и я сама уже не хотела ничего такого для него... Маленькие белые снежинки, медленно слетавшие сверху вниз, были душами тех самых детишек, которых когда-то хотелось мне подарить Валентину. *Детей дает Бог.*

Как-то странно-легко уходят *они* в ничто, эти снежинки, зимы, Атлантида, дары приносимые, песни спетые. А нам, неопознанным даже самими собою, приходится лишь смутно догадываться, что мощь континентальных плит и сменяющихся времен года была той же природы и подчинялась тому же закону, которому хотела быть подвластной каждая душа предмета, человека, стихий и фундаментальных наук человечества. Потому что все *это*, включая и нас, Анну и Валентина, и физику с химией, математику, музыку и астрономию, было устремлено к какому-то конечному счастью. Об этом я думал в то зимнее утро в постели, прижимая к себе теплую

Анну, глядя в окно на падающий с неба белый снег. Все имело душу — и проходящие времена года, и так называемые точные науки, и провалившаяся в океан Атлантида, и каждая снежинка. И все *они* были обречены иметь своих двойников-невидимок.

Хорошо, что день тогда выдался выходным, не надо было спешить на работу, одновременно лихорадочно натягивать трусики и блузку, совать в рот зубную щетку и, тарашась в зеркало, подкрашивать ресницы, а затем, чертыхаясь, рысью мчаться на кухню, где фырчал и подпрыгивал, все более распалаясь гневом, всеми позабытый зеленый чайник на плите... Ладно, миленький, сегодня ты получишь свое, — устрою все так, чтобы ты получил не просто обычное, постоянно тобою желаемое. И всю нежность, которую я готова была отдать летящим за окном снежинкам, незаметным образом сумею передать тебе, и после ты будешь лежать у моих утомленных ног, словно сам — беспомощное громадное новорожденное дитя.

Широкие окна комнаты, где мы укрывались, выходили на открытую терраску, стекла были прозрачны, подоконники чисты, без наледи, потому что крыша навеса защищала их от падавшего снега. В доме оказалось достаточно тепла даже после долгой ночи — вечером жарко протапливалась превосходными березовыми дровами высокая, выложенная синим гжельским кафелем печь. И за окном на дворе было тоже не морозно, стояла так называемая сиротская зима, не лютая, но жалостливая к плохо одетым сироткам. Окна не затягивало серебряной гравировкой инея, на них не было никаких занавесок, они выходили в сад — и мы с Аней, прочь отбросив одеяла, как бы оказывались посреди бескрайнего снежного пространства, под огромным серым небом, осыпаемые мириадами белых хлопьев, плавно опускавшихся сверху. Но на раскаленных телах наших не таяли снежинки — посреди широкой русской зимы мы были накрыты бережным, надежным куполом тепла.

Несомненно, это происходило в первую нашу совместную зиму, именно тогда я словно со стороны увидел картину, обрамленную оконным проемом небольшой комнаты с печным отоплением, на фоне искривленных черных яблоневых ветвей, обсыпанных белым снегом. Когда-то русский интеллигент, сидя в такой же вот комнате у теплой печки, безысходно думал о смысле жизни. Я нашел этот смысл, который был в том, чтобы мне снова и снова любовно сочетаться с Анной. Но в тот самый миг, когда покажется, что полное воссоединение произошло и ты воспринял девятый вал страсти не телом, но духом и блаженство физическое перешло в радость духовную, — с жалким писком и мычаньем комочек этой души вылетает из твоих чресел и через твои искаженные уста, а ты проваливаешься в глубокую яму блаженного беспомыслия.

— Именно в то утро и состоялся этот наш разговор.

— Ты о каком разговоре, Аня?

— Да про твое противное андрогинное единство.

— Ну, во-первых, это вовсе не мое, а Платоново. А потом, отчего же оно «противное»?

— Ужасное. Отвратительное...

— Но все же объясни, чем тебя не устраивает Платонов андрогин? Ведь в тот раз, когда я о нем тебе рассказывал, он же тебе понравился.

— Ничего подобного.

— Но ты весело смеялась, Аня!

— Все не весело, а с омерзением.

— Вот те на. Отчего же омерзение?

— А оттого, что ничего противнее нельзя представить, чем этот андрогин.

— Ну почему? Почему, Аня?

— Он ведь, ты говорил, — круглый, как апельсин.

— Допустим. И что?

— Мясной апельсин, представляешь? Эдакий круглый, как жаба, мясной апельсин. Кошмар какой-то.

— ...?

— И на этом жирном шарике четыре ручки и четыре ножки. Так?

— У Платона примерно так.

— И чтобы передвигаться, этот твой... андрогин должен был совершать кувырки, как клоун, катиться по земле, словно колобок, то есть непрерывно менять ноги-руки... Так?

— Предполагался и такой вариант.

— Разве это не смешно?

— Пожалуй...

— Вот я потому и хохотала.

— Но это все? Для того, чтобы испытать отвращение к бедному Платонову андрогину?

— Нет, не все. Осталось самое главное. Что же выходит, Валентин: *оно* было бесполом, всякие первичные и вторичные половые признаки отсутствовали у него?

— Что ты такое несешь, Аня! Андрогин был двуполом, и все, что полагалось, у него было. Как женское, так и мужское.

— А как же оно наслаждалось, имея все эти штучки на одном и том же теле?

— Может быть, андрогин вовсе и не наслаждался. В том значении, какое придаем этому мы... Но в качестве супругов-андрогинов, Аня, они пребывали в этом состоянии постоянно.

— То есть как! Что значит «постоянно»? Все время, что ли?

— Выходит, так...

— Вот это класс, Валентин! Но каким образом?

— Вот видишь, и тебе стало интересно. Они, значит, пребывали в таком блаженстве постоянно. И впоследствии, когда андрогинное существо было разрушено пополам, на мужчину и женщину, каждая половинка стала искать по свету своего напарника.

— И ты считаешь, что мы с тобою?..

— Да, Анюта... Убежден.

— До сих пор?

— Да.

Всегда был убежден, остаюсь в этом и, в каких бы мирах ни оказаться мне — вещным, сущным или невидимкой, — повсюду я вынужден буду искать свою андрогинную сестру-супругу. А я обречена, выходит, вечно бегать от него, потому что если попадусь в его руки, то, считай, крышка мне — ибо заедит меня до полусмерти во исполнение своей высокой мистической цели.

Ублаженный повторным утренним сном, вторичным глубочайшим провалом в забытие, которое длилось почти до десяти часов, затем, вымытый, накормленный и одетый в толстый свитер грубой вязки, Валентин был отправлен во двор чистить дорожки перед домом. После этого он еще должен был наколоть дров для бани. Анна осталась дома, разбирала таинственные завалы грязного белья. И для нас обоих этот серый зимний день, мягкий, *сиротский* — безо всякого ощущения холодной угрозы близких рождественских морозов, начался с мира, спокойствия и предощущения вечно блаженства.

Мы пребывали с этим душевным настроем — Анна в доме, время от времени, по мере вершения своих дел, выглядывавшая в окно, и Валентин на дворе, подхватывающий широкой фанерной лопатой невесомый свежесвыпавший снег. Низко нагибаясь, он затем толкал по дорожке свой простейший снегоочистительный агрегат вместе с напухавшей на нем белой рыхлой горкой...

Очевидно, в таком же мистическом *ощущении вечности* находились и красногрудый шарообразный снегирь, с задумчивым видом заглядывавший в окно, сидя на ветке рябины, а также и соседский лохматый черный песик, вылезший из своей конуры и торжественно устроившийся на самой середине заметенного двора — возлежа на белейшем пушистом ковре.

От частых земных поклонов с лопатой в руках у Валентина съехала шапка на глаза, и он, выпрямившись, поправил ее, сдвинув назад к макушке, и ощутил, что лоб его приятнейшим образом покрылся влажной испариной. Такая чувственная радость была знакома ему — раньше испытывал подобное при катании на лыжах, когда, хорошенько пропотев в долгом беге над снегами, он останавливался передохнуть и, воткнув в сугроб, рядом с лыжнею, палки, стянув с головы вязаный колпак, утирал им обильно выступивший на разгоряченном лице пот...

Там, где мы появились на свет — в северных странах, — люди знали одну телесную отраду, неизвестную жителям южных краев. Это когда разгоряченное, наполненное раскаленной энергией внутреннего жара, электрическое тело твое внезапно встречается с ледяным холодом зимы. На тебе происходит короткое замыкание противоположных потенциалов жизни — и ты вспыхиваешь ярким комом света небывалой, невероятной радости.

Наиболее интенсивной эта физическая вспышка радости двух начал, жара и холода, проявляется тогда, когда парятся зимою в банях, затем высикакивают из горячей парилки и с головою бросаются в сугроб... Своей бани у Анны не было, но через сад и огород можно было выйти к баньке соседа Тараканова, он охотно пускал нас попариться, — разумеется, с нашими дровами, и чтобы мы сами натаскивали из его колодца со старинным журавлем воды для мытья.

И научила Анна своего мужа, бывшего городского жителя, хлестаться мокрыми березовыми вениками, взобравшись на высокий полок деревянной баньки, поддавать из ковша воды в раскаленную каменку и снова хлестаться в свистящем лютом пару — а потом голым выбегать из бревенчатой банной избушки и с диким воплем нырять в пушистый сугроб. Мы совершали этот языческий ритуал по два, по три раза — постепенно доводя себя до состояния полного телесного просветления, когда покажется, что нет уже над тобой власти холода, что ты можешь взлететь над снегами и парить, словно ангел.

Интересно и полезно было, как считал Валентин, хотя бы к пятому десятку лет своей жизни столкнуться с некоторыми обстоятельствами и необходимыми жизненными действиями, которые являлись, оказывается, основополагающими, фундаментальными в науке человеческого выживания. Раньше он жил в Москве и никогда не задумывался, как ему в зимние морозы обеспечить тепло, — грелся себе возле батарей парового отопления и в ус не дул. А тут, в лесной провинции, куда он попал волею судьбы, с ним совершился некий грандиозный кувырок назад, в старинное бытие, и он познал такие потрясающие вещи, как пиление на козлах дров, расщепление их на отдельные поленья с помощью древнего орудия под названием колун.

И еще, словно египетские феллахи, Валентин научился подымать деревянным журавлем воду из неглубокого колодца, что был на участке Тараканова, рядом с его бревенчатой темной банькой. Воду эту колодезную, слегка желтоватую, следовало перелить из ведра, намертво привязанного ко клюву журавлиной жерди, в ведро свободное, потом нести в баню и вплеснуть в широкий чугунный котел, вмазанный в печь. Залив его доверху, приходилось еще наполнять две алюминиевые молочные фляги, которые хозяин бани приспособил для холодной воды, ею надо было разбавлять крутой кипяток из котла... Покончив с водою, надо было притащить, уже со своего двора, несколько больших охапок дров. Надрвав бересты, на-

щепав лучинок, все это надлежало сложить в черном печном зеве, обложить дровами, затем добыть огня с помощью спички и поджечь растопку.

И вот, в предощущении грядущего банного самоистязания, которое он стал воспринимать как величайшее блаженство, Валентин принялся колоть дрова — сразу же после того, как вычистил от свежевыпавшего снега дорожки вокруг дома. Он открыл сарай, выбросил оттуда через дверь штук десять распиленных березовых чурок, взял с верстака ветхопещерный инструмент колун, на длинной прямой ручке, и, стоя в сарайных дверях, глубоко задумался.

Можно было и таким образом прожить эту единственную жизнь — с самым серьезным видом помахивая колуном над головой. Ничего тут особенного. И при чем тут искривление пространства при скоростях, близких к скорости света? Бред какой-то, думал Валентин, поправляя на голове свою каракулевую шапочку-«горбачевку». Закидывая ее над бровями повыше, он снова ощутил рукою влажную испарину на лбу. И эта выработанная его телом теплая влага — ее эфемерная беспомощность пред распахнутым колоссальным холодильником зимы — тронула душу Валентина. На миг он представил все земное время уже прошедшим, все пространственные величины уже исчезнувшими — и вот осталось только ощущение быстро остывающего пота на этом глупом родном лбу... Что-то подобное, сентиментально-философское, мелькнуло там внутри, за костяшками этого лба, и Валентин сделал широкий шаг, сразу же выходя из задумчивой полутьмы сарая на бодрый зов активного зимнего полудня.

Он сосредоточенно нахмурился и высоко занес над головой колун, собираясь нанести сокрушительный удар по самой середине круглого среза березовой чурки, стоявшей на мерзлой земле, где снег перемешался с опилками, песком и мелкими щепками. Но что-то, очевидно, сделалось не так, какая-то капелька неуверенности как бы бесконтрольно шмыгнула от занесенного топорщица через руки к плечевым мышцам. И тупой топор колуна пал на поленный срез где-то с краю, еще и подвильнул в момент удара. Будто сердясь и вызываясь на дерзость, березовый чурбак как бы с презрением отбросил подскочивший топор, но сам тут же потерял равновесие и вяло свалился набок. У дровосека при этом руки провалились вперед в пространство, шапка съехала на нос, полностью закрыв глаза. И полуслепший, с виноватым видом, вновь ставил на попа чурку Валентин, в недавнем прошлом доцент одного московского гуманитарного института, ныне житель маленького городка на реке Гусь.

Последующие удары были у него и получше, и хуже — когда топор колуна мог отщепить кусочек дерева по косой линии, производя не добротное полено, но какой-то досадный брак, несуразный дровяной ошметок, ни на что не годный березовый клинышек. До этого Валентин полагал, что он вполне нормальный полноценный мужчина в самом расцвете сил. Но когда замечательные, красивые березовые чурбаки не стали подчиняться и начали открыто издеваться над ним, а он весь взмок от усилий и голова его задымилась паром — уже давно он скинул и отложил свою шапку в сторону, — то в сердце его вкралась горечь сомнения. Он подумал о том, что тысячи лет до него были мужчины, которые хотели любить своих женщин в теплых домах — посреди бескрайних зимних просторов, — хотели париться вместе с ними в жарких банях, затем, насухо вытерев их полотенцем в предбаннике, погладить их и ощутить под рукою что-то поистине волшебное, небесно-шелковистое, неведомое доселе в родной жене... И для того чтобы достичь этой цели, мужчины резали в лесу дрова, потом распиливали, кололи их на красивые ровные поленья, и труд их был радостен и наполнен глубочайшего, прекрасного смысла. И все у них отлично получалось — увы, только не у него, подымающего над голову топор уже не только безо всякой уверенности, но почти со страхом и с заранее возникающим в сердце чувством отчаяния: *опять смажу...*

Тем не менее дело кое-как шло, он заходил в сарай и выкидывал оттуда на двор все новые чурбаки, толстые и не очень, однако совсем тонких палок дровосек избегал, опасаясь, что не сможет попасть колуном по маленькому кружочку поленного торца — да и не стояли тонкие чурки на земле. Посреди двора потихоньку росла куча наколотых дров, сначала маленькая, бесформенная, затем возрастающая выше и выше и все заметнее приобретающая вид пирамиды. О, уверенный рост этой пирамиды радовал сердце Валентина и распалаял усердие.

Постепенно рубшика дров захватила страсть, похожая на чувства тех, которых поработает алчность при первоначальном накоплении капитала. И Валентин нашел, что современные тенденции в русском обществе, вновь склоняющиеся к капитализму, имеют неумирающие корни в исконном старинном быте деревенских жителей, где основным законом, главным пафосом жизни является призыв к накоплению, к заготовкам впрок, будь то зерно, сено, солонина или березовые дрова, сложенные перед домом в ровные красивые поленицы. *Капиталистический русский* всегда имел тенденцию к накоплению натурального «живого продукта» сегодня, чтобы завтра обрести уверенность в жизни — и «не нужно золота ему», и обойдется он без красивых вещичек и драгоценных побрякушек западной цивилизации...

Как бы чудесным образом иллюстрируя эти мысли Валентина, внезапно возникла перед ним и сама живая фигура живучего *капиталистического русского*, которому все трын-трава, кроме натурального продукта, — сосед Тараканов, учитель физкультуры городской средней школы, коллега Анны и Валентина, внезапно появился на хозяйственном дворе. Дровосек, испускающий над мокрой головою пар, с катышками льдинок на груди и вороте серого лохматого свитера, которые образовались от конденсации влаги на космах шерстяных ворсинок, Валентин посмотрел на пришельца выпученными серыми, налитыми кровью глазами. Тот был в классической ватной телогрейке, стеганной сверху вниз, в кроличьей шапке с задранными ушами, в валенках с черными резиновыми калошами.

Штаны на коленях у него были залиты помоями, кусочки распаренной картошки и нашлепки сырого комбикорма украшали эти штаны, и Валентин живо вспомнил, как однажды, появившись на подворье Тараканова, увидел там воистину потрясающую картину. В стене сарая было вырезано высокое окно, которое закрывалось на две откидные створки, — должно быть, через это окно хозяин выбрасывал свиной навоз вилами. В этот раз, в появление Валентина, створки были широко раскрыты — и в оконный проем, опираясь на него передними ножками, жирная розовая хавронья высунула свое громадное рыло с пяточком о двух дырках. И добродушно, вполне приветливо похрюкивая, свинья смотрела на гостя с таким осмысленным видом — что-то перетирая во рту и аппетитно причмокивая, — что Валентин невольно, вовсе не желая даже в мыслях оскорбить соседа, отметил про себя: а ведь глазки у нее кажутся намного умнее, чем у хозяйина. И вообще — она представляется гораздо значительнее, чем этот суетливый сморщенный учитель физкультуры.

Явление во дворе Тараканова произвело на свет следующий диалог:

— Смотрю я уже два часа, как вы тут колотитесь, Валентин Петрович. Устали небось. Вон, весь мокрый, а шапочку-то наденьте, не то простудитесь. Вы отдохните пока, давайте я немножко поколю...

— Нет уж, благодарствуйте. Как-нибудь сам. — Валентин отказался, почуяв некое обидное для себя пренебрежение в словах соседа.

Заметил, стало быть, отсутствие мастерства в деле рубки дров... Так оно и есть — последовала обстоятельная лекция по этому предмету:

— Во-первых, вы берете полешко — и какой стороной ставите его вверх?

— А какой надо?

— Светлой надо. Дрова заготовливают в лесу, они там лежат долго, а потом их привозят трактористы к нам домой, так ведь?

— Наверное...

— У всякого полешка два конца, верно? Когда мы пилим дрова, всегда получается, что один конец у полена темный, потому как там почернело от времени, другой светлый, недавно отпиленный. Вот с этой стороны и надо раскалывать чурак.

— Почему с этой?

— Потому что с темной стороны дерево затянулось. Там сухо, как в кости, и топор вязнет. А стукнешь со светлой стороны — чурак разлетается безоговорочно.

— Понятно. Спасибо.

— Теперь другое. Надо хорошенько посмотреть на чурак. На нем всегда есть некая трещинка. По этой трещинке и надо лупить топором — она всегда указывает, в каком направлении рубить...

Так поучал сосед Валентина, покуривая сигарету и размахивая ею в воздухе, а на них смотрела из окна своего дома Анна с серьезным, пасмурным лицом, и она ничего не слышала, о чем мужчины говорят, но по глазам ее было видно, что ей совершенно это неинтересно — о чем они говорят... Какую беспощадность могут порой выразить глаза женщины, когда ей кажется, что никто ее не видит! Сколько глубоких, тяжких вздохов наедине с собою испустит женщина, прежде чем появится такой вот беспощадный оценивающий взгляд. Увы, Анне, глядящей из окна на беседующих возле кучи дров двух мужчин, было в ту минуту совершенно ясно, что это одинакового разряда существа. Чудаки, на этом свете главным образом озабоченные тем, как бы им пристроить свою мужественную тыкалку. И чтобы сие обеспечить наилучшим образом, одни будут толковать о политике, об андрогинах, о серебряном веке русской поэзии, о химии и физике. Другие же будут стараться заработать или наворовать побольше денег. И все это для того, чтобы обманывать бедных женщин: что они любят нас, а не себя.

2

Сначала это было похоже на незамысловатую игру, которую затеяли мы от недоброй скуки. Затем, когда стенка поднялась до высоты плеч, Валентин и Анна, вглядываясь друг в друга поверх нее, вдруг поняли всю серьезность, печаль и нелепость происходящего. Но уже ничего не оставалось делать, как только продолжить начатое. И когда в самом верхнем ряду, подпирающем толстую поперечную балку, оставалось положить на раствор последний кирпич, Анна приставила к новоявленной стене раскладную лестницу и взобралась на нее, а Валентин, со своей стороны, также влез на садовый столик, послуживший ему помостями, и приник лицом к четырехугольному отверстию. Сверкающие темные глаза Анны смотрели на него с болью и укором, и сила чувств, явленная в этих любимых глазах, была настолько невыносимой для Валентина, что он едва не разрыдался, стоя на шатком столике и держа в одной руке красный кирпич, а в другой — каменщицкий мастерок.

Ни слова не было сказано до этой минуты — когда уже скоро последний кирпич ляжет на приуготовленное ему место и стальной лопаточкой мастерка будет аккуратно заделан шов между потолочной балкой и кирпичной стенкой, только что возведенной в коридоре дома. Это было одноэтажное длинное зданище с двух выходах, расположенных по его противоположным концам. Поставленная на самой середине коридора стенка как раз поделила дом на равновеликие половины.

И произошел между нами последний разговор через не заложенную еще кирпичом амбразуру в этой стене. Было уже не так хорошо слышно друг друга, и пришлось нам обоим невольно повышать голос.

- Ну что, Анечка, ты все еще настаиваешь?
- Верное слово найдено. Да, настаиваю. Именно я настаиваю, не ты.
- Я бы и не мог, если б даже и хотел... Дом ведь твой, наследственный.
- Ах, ты о доме...
- О чем же еще?
- Я думала — о чувствах-с!
- О каких чувствах, Аня? Ведь мы уже развелись.
- Да, развелись.
- Но я по-прежнему ничего не хочу у тебя брать. Это я снова о доме.
- Поняла. Можешь больше не беспокоиться по этому поводу. Я сама привела тебя в дом, я же и решила отдать тебе половину. Моя воля.
- Спасибо. Но я ничего не хочу, Аня. Я решил уехать.
- Ну и уезжай.
- А стена тогда зачем?
- Затем, что ты будешь там, на своей половине, а я здесь, на своей. И мы не будем больше видеться, останешься ты или уедешь.
- И что, никогда не будем видеться, Аня?
- Мы же говорили об этом. Все вроде бы выяснили.
- Разумеется. И тем не менее... Я возвращаюсь в Москву. Попытаюсь снова устроиться. Так что зря ты заставила меня делать стену. Я все равно не буду жить здесь.
- Не будешь, не будешь! Только не переживай.
- Пусть лучше твоя дочь живет тут, когда подрастет.
- Там посмотрим. Уж как-нибудь сама позабочусь о ней. А не хочешь моего подарка — продай полдома или и на самом деле в будущем отпиши его на Юльку. Для тебя же я на прощанье сделала все, что могла. Я девушка бедная, ничего, кроме дома и машины, нет у меня. Машину я поделить не могу, сам понимаешь, Валентин...

Не знаю почему — но он вдруг молча и совершенно неожиданно для меня вложил кирпич в оставленное на самом верху стены отверстие и быстро замазал щели цементом. А я и сам не ожидал, что сделаю так, и все произошло быстро — затерев раствором швы вокруг кирпича, с ужасом и тоской уставился на него, держа в руке уже не нужный мастерок. Так мы разом отсеклись друг от друга, разрубили гордиев узел нашего двухлетнего брачного союза. И произошло это в маленьком городке поселочного типа, что на речке с добрым названием Гусь, в самой основательной и кондовой русской провинции времен еще одной — последней — исторической катастрофы.

Два великолепных белокаменных собора украшали этот городок, два архитектурных шедевра, построенных когда-то князьями Волконскими и графьями Бутурлиными. А может быть, и не графьями и не князьями — но, несомненно, людьми высокородными, богатыми и весьма кичливыми. Потому как совершенно неоправданным и нелепым было возведение двух таких величественных и дорогих храмов на одной соборной площади, метрах в пятидесяти друг от друга, в одном и том же приходе. Чтобы не смешиваться на богомолье с соперниками, каждый из знатных родов построил для себя собственный храм Божий. Один в пышном стиле русского барокко, с полуколоннами, с завитушками на капителях и статуями святых, поставленных друг над дружкой на каждом архитектурном поясе высокой колокольни. Другой храм — в стиле тяжеловесного ложного ампира, с мощным многоэтажным корпусом, увенчанным пирамидальным нерусским шпиком вместо купола и с тяжелыми колоннами вокруг площадки пространной паперти.

Но что за вид был у этих незаурядных по эклектике храмов в наше время — что за дичайшая тоска сыпалась из щелей и трещин белокаменной облицовки, паялилась из пустых зарешеченных окон без единого стек-

ла, слала глумливую ухмылку с безобразных мест отбитых носов или даже целиком стесанных лиц у храмовых статуй апостолов. О, как дико смотрелась ободранная крыша главного придела на соборе ложнобарочного происхождения, куда можно было забраться по тесному ходу в толще стены, похожему на пещеру в катакомбах. Выбираешься на земляную площадку (это бывшая крыша!), где зеленеет лужок, цветут желтые одуванчики, задумчиво покачиваются березки и тонкие рябины. Да что там рябины да березки на церквах — картина самая распространенная по всей христианской Руси того периода, — однажды мы, Анна да Валентин, нашли у самого края карниза одиноко торчавший круглоголовый палевый подберезовик!

А вокруг двуххрамового комплекса по отлогим холмам, заросшим садовыми деревьями и высокими соснами, лепилась провинциальная ностальгическая архитектура — классические ветходворянские сооружения с приветливым мезонином, двухэтажные мещанские дома, нижний этаж которых был каменным, а верхний — деревянным, с кружевной резьбой наличников на окнах, с физиономиями довольства и выражением лесной силы в осанке, со смуглым колоритом смолистых бревенчатых срубов — коричневым румянцем во все лицо, как у баб на полотнах живописца Патрикеева. Очень похожими на пожилых, но еще крепких патрикеевских баб казались мне эти старинные дома в городке! Кстати, недалеко отсюда он и жил, оказывается. Мы с Анной все собирались съездить на каникулах в его края, да так и не собрались, не успели. То были заняты выяснением наших отношений, ссорами и примирениями, то на машине уезжали в Москву или на юг, в далекий Крым. А если и выпадало наконец свободное время для посещения Патрикеева, то ломалась вдруг у Анны машина.

А когда ломалась у меня машина, то нормальной жизни приходил конец, — не то чтобы я очень уж любила машину, но словно напала на меня какая-то болезнь, я становилась сама не своя, вся издергивалась, ночей не спала, всех вокруг себя изводила, не кормила обедами дитя свое и мужа, никаких денег не жалела, шла на любые затраты и унижения, чтобы только починили мою машину. Если снова начинала греметь цепь механизма газораспределения, не поддаваясь больше регулировке, или двигатель глох на малых оборотах, то я доходила почти до умоисступления, даже впадала во временную фригидность и злобно отказывала мужу в супружеских ласках.

Станция техобслуживания раньше находилась в нашем же городке, на самой его окраине, недалеко от речки, там, где перед мостом городскими властями был построен замечательный указатель. Это было монументальное железное изображение гуся, что круто взлетал к небесам, в струнку вытянув свою длинную шею и клюв, — наша река ведь называлась Гусь. Миновав вырезанную при помощи электросварки упомянутую многотонную птицу, сразу же за мостом располагалось в те добрые времена предприятие СТО (станция технического обслуживания), окруженное неровным забором из какого-то металлического дреколя, ржавых труб, наспех затянутых металлической же сеткой. О, сколько раз приходилось мне подъезжать к воротам этого авторитетного технического капища, сколько часов своей прекрасной жизни, жизни красавицы и умницы, сожгла я в вонючей курилке ремонтного цеха, куда по благу допускали меня мастера авторемонта — знакомые слесари, жестянщики, маляры, — чтобы я там сидела, пока ремонтируют мою машину, до одурения смолила одну сигарету за другой и ждала, ждала!..

Собственно, в подобном ожидании проходила и вся остальная наша жизнь в этом городе — вот скоро нам сделают машину, мы сядем наконец в нее и уедем... Куда? Мы оба работали в местной средней школе, где обучалось около сотни детей, которые ничего особенного из себя не представляли и, видимо, в будущем ничего выдающегося не обещали, но все до одного мечтали поскорее вырасти и уехать куда-нибудь из городка. Оста-

ваться и жить там никто из наших учеников не хотел, как приходилось жить нам, Анне Фокиевне и Валентину Петровичу, учительнице русского языка и литературы и учителю истории. Анна после института вернулась в свой родной город, стала работать в той же школе, которую когда-то кончила, и беспечно зажила в родительском доме с молодым пригожим супругом, который был у нее раньше, до меня...

Нет, нет, Валентин тут ошибается: я не жила с молодым пригожим супругом в доме своих родителей — выйдя замуж, я перешла жить к мужу, на казенную квартирнку, которую ему дали городские власти. Там же и дочь родилась, росла до четырех лет, пока мы с ее отцом-музыкантом, Тумановым, работником Дворца культуры, не разбежались. И только после этого, когда уже мой папа Фокий умер (мама умерла годом раньше), я и вернулась в родительский дом. Почему-то так вышло, что за все годы супружеской жизни мы с Валентином никогда не заговаривали о том, как я жила с первым мужем и почему мы разошлись.

Что ж, пусть будет так, папы Фокии все равно когда-нибудь да и умирают, их дочери идут замуж, уходят из дома, но бывает, что вскоре разводятся и возвращаются домой — пусть будет как угодно, что угодно, но только зачем мне знать все такое о своей жене, да еще и в подробностях? Точно так же — зачем мне рассказывать обо всем этом своему второму мужу, если в нем было замечено — еще только на подступах к брачному алтарю — совершенно невыносимое, болезненное, отвратительное, невменяемое чувство ревности?

Валентин мог бешено приревновать даже к тому факту, что когда-то Анна ездила в первый медовый месяц на своей машине в Крым, и молодожены там снимали какую-то сараюшку на берегу моря и были счастливы хищным счастьем молодой чувственной любви. Словом, мы довольно рано выяснили, что и Анна и Валентин — оба мы далеки от христианского всепрощения и от простой человеческой мудрости, и лучше нам не касаться ничего из своего сексуального прошлого. Хотя Аня, на мой взгляд, испытывала ревность не к моим былым подвигам с другими женщинами, а скорее к тому, насколько я расценивал их умственные качества и женские достоинства.

— То есть — как это понимать, Валентин?

— Что именно?

— А насчет моей ревности к умственным и физическим качествам твоих давнишних подружек.

— Чего же тут не понять? По-моему, все ясно. Ты кое в чем была неуверена в себе. Скажем, совсем в малом. В походке, например, — с легкой косолапкой. В небольшой сутулости, которая особенно была заметна, когда ты сидела за рулем.

— Ах, злой какой! Не понимаешь, что как раз от многолетней привычки за рулем и появилась сутулость. Это вполне авторитетная сутулость! А насчет моих ног можешь не беспокоиться. Посмотрел бы сначала на свои.

— Увы, там смотреть особенно не на что.

— В том-то и дело. А о моих ножках, если хочешь знать, в родной школе ходили легенды. Тогда пришла мода на мини-юбки. Ну я, конечно, самая первая отчекрыжила подол школьной формы как раз до самой критической отметки. Так меня, представляешь, потащили на суд чести! И одноклассник, Авдонин Сашка, встал и заявил в лицо директрисе: «Ноги Ани сделали для нашего эстетического воспитания больше, чем все ваши уроки по искусству, Антонина Леонтьевна». Она у нас тоже историю преподавала. Ее коньком была отечественная живопись. Репин, Суриков, Шишкин... И тут Авдонин ей такое! Какой молодец оказался! Нас обоих исключили из школы. Еле-еле мой папаша Фокий Митрич уладил это дело. А Сашку Авдонина так и не восстановили, он стал ездить в районную школу.

— ...Да, в этой жизни много смешного.

— Что ты имеешь в виду, Анна? Разве то, что мы с тобой сейчас разговариваем, вспоминаем, можно назвать жизнью?

— А как же назвать?

— Я не знаю! Где ты — я не вижу тебя.

— И я не вижу тебя. Хотя бы ощутить прежнее прикосновение! Звучит, милый мой, вельми грустно и зело сладострастно, правда? Однако какого сладострастия можно было ожидать от сутулой, косолапой бабенки?

— Вельми... Поелику... Нет, что бы я ни говорил по своей глупости, но ты была хороша, Анна Фокиевна. Все в тебе было в порядке. Ладно скроено и сладко сшито. Какие ланиты, очи, что за перси... Господи, где же эти беленькие персики с маленькими розовыми бутончиками!

— Спасибо, миленький. Ты растрогал меня. Но если хочешь знать, я этими бутончиками уже к тому времени выкормила дитя. И готова была еще родить и выкормить. Для тебя. Однако ты не захотел.

Да, не захотел. Ибо то обычное, что испытывал я со всеми женщинами, готовыми оказаться со мною в постели, — то всегдашнее, испытанное с другими, несомненно, вело мою мужскую природу к простому акту сотворения человеческих детей. А то непонятное, глубинное, страшное, что испытывал я с Анной, как бы не имело к детородному процессу никакого отношения. И мы оба чувствовали, что если в результате наших неистовств вдруг будет зачат ребенок, то это окажется каким-то неожиданным отклонением, делом неудобным и даже вероломным — таящим в себе некую темную угрозу. Ибо никакого отношения к продлению рода не имела та чрезмерная, поедающая самое себя неуголимая страсть, которая связала нас.

В том виде существования, который назывался жизнью, я благополучно пребывал в звании кандидата наук и старшего преподавателя института, доцента на кафедре филологии — был всем доволен и ничего еще не знал о той «болести», как говаривала Аня, которую она и привнесла в мое самодостаточное земное бытование... Словом, появилась однажды в институте некая провинциалка, пожелавшая учиться в аспирантуре и в дальнейшем добиваться ученой степени в филологической науке. Мы познакомились, подружились — такими истертыми словами обозначается увертюра влечения, странный вид познания друг друга посредством обмена зрительными энергиями через глаза и устойчивыми наборами словесных клише через слух — якобы выражающими скрытую в глубине тела человеческую душу.

Нам было интересно и приятно встретиться, поначалу невзначай, где-нибудь в коридорах или в библиотеке института, и мы, Анна и Валентин, по неведомой причине тянулись друг к другу и старались что-нибудь придумать такое, чтобы лишнюю минуту побыть вместе: поболтать в курилке, стоя друг против друга, одной рукою упираясь в обшарпанную, крашенную в дикий синий цвет стену, в другой руке зажимая дымящуюся сигарету, между указательным и средним пальцем, или плечом к плечу пройти по длинному коридору до канцелярии, при этом весело поглядывая друг на друга и перебрасываясь немудреными шуточками.

А однажды на Восьмое марта, во время весенней установочной сессии, я шла через площадь Пушкина в состоянии такого нежелания жить и продвигаться в этой жизни, по слякотным улицам, навстречу всему, что меня ожидало, — что я даже растерялась и впервые ощутила непобедимый страх перед самим фактом своего существования. Поэтому, наверное, в лице Анны читалось отрешение и отчаяние — единое чувство, — словно бы она уже умерла и теперь явилась с того света всего на минуту, чтобы только еще раз пройти по заляпанной снежной кашей площади Пушкина. Мы даже испугались, оба разом, когда столкнулись взглядами, а потом, в

следующую минуту, необыкновенно обрадовались друг другу, и какое же было счастье, что у меня в руке был зажат букетик нежных нарциссов, а я оказалась без цветов — не пожелав, всего за минуту до нашей встречи, купить себе такие же желто-белые цветочки, продававшиеся из корзины на краю площади, перед памятником поэту. Валентин нес букетики каким-то институтским дамам, но они не получили эти традиционные цветы — свеженькие, нежно пахнущие нарциссы достались в тот весенний день мне!

— Почему ты была такой грустной?

— Я? Грустной? Что-то не помню. Мне кажется, это ты был грустным. У тебя был такой вид, словно ты уже давно умер и всего на несколько минут вернулся к действительности, чтобы только пройтись по одному точно определенному маршруту в мировом пространстве: планета Земля, город Москва, площадь Пушкина, от памятника тридцать шагов в сторону кинотеатра «Россия»...

— Шутишь? Нет, правда, — ты была печальной-печальной, Анна!

— Я не шучу! Это ты был печальным, Валентин!

— Ну хорошо, мы оба были печальными.

— Да нет же! Ты был таким, а я — нет. Тот день запомнился очень хорошо. Ты тогда впервые подарил мне цветы. Я их дома заложила в книгу, они высохли и потом долго были со мною. Как-то я даже показывала их тебе, помнишь?

— Нет, не помню. Как жаль, что цветы можно положить в книгу и высушить, а дни нашей жизни, Анна, высушить нельзя, гербария из них собрать невозможно.

— О! Как красиво ты мог говорить в той жизни. Не ожидала, что не утратишь дара красноречия и теперь...

— Почему я должен его утратить? Я, Анята, унаследовал этот дар от своих предков. Отец мой, как говорила мне мама, был адвокатом. Свое красноречие я развил до совершенства, работая преподавателем в институте. Красноречием я и покорила тебя. Помнишь, как красиво я говорил про звезды в ту ночь?..

— Не помню... Нет, вспомнила! Это было тогда, когда я привезла тебя к себе в микрорайон, в дом, где я останавливалась, приезжая в Москву.

— Да, в тот раз.

Я тогда вышел на балкон, на этот заваленный всяким домашним хламом пыльный балкон, который вовсе не был рад тому, что его посетили, — у всячего над ночной бездной балкона был вид отчужденный, угрожающий. Он не предлагал посетителю выйти и удобно расположиться на нем, благодушно озирая украшенное тусклыми звездочками надмосковное мировое пространство, а наоборот — как бы хотел прогнать гостя назад, затолкать его обратно в железобетонную дыру стандартной квартиры на двенадцатом этаже крупнопанельного дома. Угрюмая была душа у этого балкона... Вдруг что-то произошло в космической глубине — быть может, миллионы лет назад, — влетели в вечерние московские небеса две пригоршни огненных метеоритов, прочертили мгновенные траектории по бездушному пространству тьмы... Затем исчезли, беззвучно истаяли — и огни, и следы, осталась после грандиозной картины космического катаклизма одна лишь неприглядная пыльная плита балкона, перечеркнутая полосами света, падавшими сквозь мутные оконные стекла... Когда на этом темном необитаемом балконе мне стало совсем неуютно, я бросил в бездну городской тьмы потухший окурок и вернулся в комнату.

В том микрорайоне недалеко от дома находились пруды, и я ездила к ним купаться, ставила в удобном месте на берегу машину, раздевалась в ней и в купальнике шла к воде. Но входя в пруд меж прибрежных кущ ивы, там, где низко нависающие ветви почти касались водной глади, я снимала с себя купальные «две штучки», все это хозяйство пристраивала в

упругой развилке ветвей и пускалась вплавь совершенно нагой. Действие это было довольно рискованным, и не столько из-за народа, который в теплые дни в немалом количестве скапливался по берегам пруда, сколько из-за сомнительной чистоты городского водоема. Вода была, если сказать по правде, вовсе не прозрачной и светлой, как то положено быть чистой воде, — она была глинистого цвета, весьма мутной. К тому же некий устойчивый запах витал надо всем водным пространством, состоящим из гирлянды соединенных друг с другом старинных прудов. Пахло не то удобрением, которые были свезены на прибрежные огороды, не то проравшимися где-то городскими сточными водами.

О, ничто не заставляло меня купаться в этих прудах — просто однажды я это сделала, тогда у меня сломалась машина и я не могла выехать за город, — потом привыкла, как привыкли и другие люди, купавшиеся там. Ничуть не кажется невозможным искупаться даже в грязной луже, если таковая находится рядом, а вокруг кипит невыносимый летний зной, и адов мутный смог сотрясается неумолчным гулом автотрасс, ревом работающих моторов, и тебе представляется, что весь кишаший столичный люд устремился сейчас за город, к прохладным речкам и озерам. Но если тебе сейчас в пригород выбраться невозможно — впору броситься, зажмурив глаза, в любой заплеванной городской пруд, в переполненный клиентами платный бассейн, в каменную чашу фонтана — лишь бы там плескалась и сверкала вода! Так я и сделала однажды, и ничего плохого со мною не случилось — с тех пор каждый день купалась в пруду своего микрорайона, никуда далече из города не выезжая.

По одному берегу избранного мною прудового озера близко к воде лепились друг к другу безобразные сооружения сарайного типа, сколоченные из случайного материала, обитые ржавыми кусками листового железа. Это были тыльной стороной обращенные к прудам автолюбительские гаражи московской окраины, построенные в период развитого социализма. На другом берегу, причастном к широкой пустоши, выбегающей уже к самой кольцевой автостраде, вплотную к цепочке вытянутых прудов подходили дикие огороды самозахватных земледельцев. Участки по своим границам были обозначены вбитыми в землю кольями, неровно протянутой по ним проволокой, иногда — стоймя врытыми спинками старинных железных кроватей, кое-где фигурно-дырчатыми листами штамповочного металла, но чаще всего — частоколом из заостренных сверху кольев и горбылей в стиле ограды Робинзона Крузо. Только Робинзон ведь ограждался от нашествия диких коз — кого же опасался наш самопальный огородник? Меж Робинзоновых лоскутных участков тянулись прихотливые извилистые проходы, по которым можно было добраться на автомобиле, прыгая по кочкам и канавам, до самого прудового берега, заросшего раскидистыми ветлами.

Меня поразила эта способность молодой и очень привлекательной женщины не пугаться самой откровенной грязи и лезть в дурно пахнущую воду этого кошмарного пруда, расположенного чуть ли не рядом с городской свалкой. И произошло это в первый же день нашего свидания, уже не случайного, но заранее назначенного, — когда обоим стало ясно, что без него не обойтись. Мы назначили быть этому свиданию в четыре дня, когда закончится ее встреча с научным руководителем, курирующим ее тему по старославянской фразеологии, и одновременно завершатся мои лекции за очниками. Итак, после работы она дождалась меня в своей машине за воротами института и повезла купаться на эти Вонючие пруды.

Дело в том, что был самый разгар купального сезона, и она могла бы вывезти приглянувшегося ей преподавателя института, доцента, на любой из знаменитых подмосковных пляжей, и я для начала предложил ей поехать или в традиционный Серебряный Бор, или чуть подальше, на Рублевское водохранилище. Но она заверила меня, что будет лучше сделать

так, как она задумала, и привезла меня на эти экологически сомнительные Грязные пруды. Я в воду не полез, ограничился тем, что стал якобы загорать при вечернем солнце, расположившись на истоптанной травке, а она, нимало не колеблясь, вошла в пруд у зеленых кустов, присела в воде, живо стянула с себя трусы с лифчиком, повесила на ветку и бодро поплыла по мусорному озеру, оставляя позади себя гусиный клин маленьких волн.

Растерянным было лицо у пожилого доцента, когда он смотрел вслед плывущей по серебряному блеску аспирантке. Неосознанно он полагал, что никто сейчас в этом мире не наблюдает за ним и не видит выражения его глаз, поэтому они откровенно выказывали все то смятенное, испуганное и болезненное, что испытывала в эту минуту его дрогнувшая душа. И можно подробно, не спеша прочитать по этому лицу, как будет очень скоро сломана, разворочена вся его прежняя добропорядочная жизнь... Судьба совершит внезапный аварийный бросок в кювет, будут удары, будут грубые удары — и поросячий визг задавленных тормозов.

И вот оно, начало, — этот безрадостный, нехороший берег вокруг серого озерца, заставленный ржавыми коробками убогих гаражей, и за ними виднеются вдаль, над плотной зеленью соснового лесочка, прямоугольные коробки окраинного микрорайона, в котором вскоре будет действовать самая известная в Москве бандитская группировка... Что заставило нас прийти в тот день призрачной жизни на берег пруда, который когда-то был деревенским, затем оказался в городской черте, обозначенной асфальтобетонной границей Московской кольцевой автострады?

С того дня мы, Анна и Валентин, и стали одной-единой историей, сюжетом для небольшой повести, совместным предприятием по производству еще одной человеческой безысходности, о которой никто на свете не будет знать — сперва только мы вдвоем, потом кто-нибудь один из нас, а уж *совсем после* и вовсе никто на свете. С того же дня, проведенного нами вместе, — сначала на травяном берегу урбанистического озерка, окруженного ящиками ржавых гаражей и робинзоновскими огородами, а потом в чужой квартире на двенадцатом этаже, — с того дня мы стали одной общей историей, эпическим дуэтом невидимок на фоне широкого, чудесно звучащего хора жизни.

Ибо так и бывает у самоисчезающих историй, словно у самовоспроизводящихся амеб, — создаваясь как целое, мы тут же делимся надвое. Одна часть есть то самое видимое начало, которое называют жизнью, и в нашей истории эта часть касается всего того, что происходило между нами, Анной и Валентином. Другая часть является невидимой, и к ней относится все уходящее из жизни в небытие: с трудом воспроизводимые настроения сердец, ни во что не обратившееся томление бытия, незвучащая музыка твоей... моей судьбы.

3

Когда мы встретились, я не стал открываться ей, что не вполне принадлежу этому миру, постоянно ощущая на сердце некую тяжесть отчужденности ко всему, что было вокруг меня, — от самых первых памятных впечатлений детства. На качающиеся ветви деревьев, на светящиеся ночные огни я смотрел вовсе не из того пространства, в котором эти ветви шевелились под ветром и огни города сияли. Молодая, стройная, удивительно приятная, прелестная женщина — Анна представилась мне существом, несомненно и уверенно принадлежавшим давно наблюдаемому мною миру земной жизни. Который, несмотря на чуждость, имел для меня великую, властную, неутолимую притягательность.

Анна была как соблазнительная модель своего мира, выпущенная на возвышенный подиум, по которому шла, раскачивая бедрами, развинченной профессиональной походкой манекенщицы, уверенно демонстрирую-

щей не только новый фасон платья, но и высшее выражение самоуверенности — весь житейский апломб цивилизованного мира. Полностью принадлежа ему, Анна никогда не принадлежала мне, поскольку мое присутствие в нем было фиктивным. И она, обманутая мною, полагала во все время звучания нашего любовного дуэта, что дарует мне неимоверное счастье и открывает наивысшее блаженство.

Но так как я не знал, из какого мира я наблюдаю за собственной жизнью и откуда люблюсь этим сладостным совершенным существом, этой бесконечно соблазнительной женщиной с синими, как сапфиры, глазами, с чудодейственной белой кожей, несущей в себе электричество сильнейшего соблазна, — мое участие в нашем дуэте было неполноценным, опять-таки фиктивным, словно записанный на фонограмму и воспроизводимый во время концерта голос, с которым совмещается другой голос — вполне натуральный и живой. Так и пели мы, Анна и Валентин, — она живым, соблазнительным меццо-сопрано, я — хриловатым драматическим баритоном, воспроизводимым с фонограммы. Итак, я ощущал себя голосом из аппарата, который не знает того, где и при каких обстоятельствах была сделана его запись на пленку.

Порой я сильно тосковал, уже с трудом перенося собственную прозрачность в нашей любви, свою *непринадлежность* к этому лучшему из миров. И тогда мой драматический баритон вдруг скороговоркой взвизгивал фальцетом — дуэт нарушался, Анна страшно сердилась, а я принимался хохотать, вдруг ясно осознавая, насколько трагедия человеческого существования близка к комедии. В сущности, эти жанры в жизни есть одно и то же, мне это стало совершенно ясным — однако для Анны все было по-другому, у нее-то взгляд на вещи явился не сторонним, точнее, не потусторонним, а изнутри самой жизни. И она внезапные мои переходы в другую тональность или в иной диапазон бытия воспринимала как фальшь и попытку унижить и оскорбить ее персонально.

Но дело в том, что и тогда и теперь мы оба не знали и не знаем, кто же из нас на самом деле принадлежит той жизни, а кто вывалился туда из какой-то иной, параллельной, действительности. Потому что я видела, глядя на Валентина, как он беспомощно барахтается в житейских протоках, несомый их мутным течением, — и ему по-настоящему страшно, куда его вынесет, и очень интересно, что с ним будет *потом*. А мне было безразлично, куда меня вынесет и что будет со мною потом. Я рано узнала, — мне кажется, всегда знала, — в этой жизни я прошла мимоходом, залезла сюда случайно и скоро вылечу снова туда, откуда заявила.

С самого раннего детства мой авторитетный папаша Фокий Дмитриевич приучал меня к мысли, что я должна быть «хозяйном» в этой жизни (и себя он, несомненно, считал таковым) и для этого я *должна...* В общем, много чего должна и не менее того — *чего не должна...* А я в душе смеялась над ним, таким добрым, толстым и лысым Фокой, потому что всегда знала, каким бессмысленным фуфлом было все то, чему он меня учил и в чем наставлял. Когда я впервые встретилась с Валентином, то была поражена тем, насколько откровенно проявляется в нем тревожная озабоченность своим положением в обществе, сколь ревниво он печется о том, чтобы выглядеть по моде одетым, и как дорожит он званием доцента кафедры и местом старшего преподавателя.

Если бы я не чувствовала себя неким существом, вывалившимся из недр другого мира на эту грешную землю, я бы и не обратила внимания на такого заурядного советского конформиста последней четверти двадцатого века — но мне так хотелось зацепиться за какого-нибудь авторитетного обалдуя этого мира, как тонущему в открытом океане хочется ухватиться хоть за какую-нибудь плывущую деревяшку, волею благосклонных небес подогнанную волнами к самому его носу. Ибо он, господин тонущий, слишком хорошо понимает всю смехотворность своего барахтанья над

бездной морской — выставив из нее на полтора сантиметра свои жизнедышащие ноздри, чувствует себя беспомощным чужаком среди юрких рыб и тяжеловесных китов, свободно парящих в воде.

Наверное, было совершено какое-нибудь немыслимое преступление, что-нибудь из ряда вон выходящее, злодеяние вящее, за что и сбросили меня с корабля иного существования в открытое море здешнего. И я барахтаюсь в нем, прежде всего стремясь ухватиться за какой-нибудь надежный плавучий предмет. Мои мужья и любовники — все эти стеклянные оплетенные шары-поплавки, буи, оторвавшиеся от ветхих неводов, случайные деревянные обломки кораблекрушений и потерявшиеся бревно разматанных бурею плотов — и были тем первым попавшимся, за что я хваталась и потом без сожаления отбрасывала прочь, если вдруг обнаруживалось на пути моего бессмысленного обреченного барахтанья в жизни что-нибудь более подходящее.

— Неужели и я послужил этим... буюм, шаром стеклянным, Анна?

— Увы, миленький.

— Но я помню, как ты водила меня по старому городскому парку, по местам своего детства и юности... У тебя было такое лицо, Анна, и глаза сияли. Мне казалось, что ты меня любишь, раз делишься со мной всем этим — самым лучшим, очевидно, в твоей жизни.

— Так все и было! Кто тебе сказал, что я не любила тебя?

— Стеклянные шары не любят.

— Любят! Любят.

— За стеклянный шар или за бревно в море хватаются и отдыхают.

При чем тут любовь?

— А тебе чего бы хотелось от меня? За что, по-твоему, я должна была бы ухватиться?

— Мне вначале ничего не хотелось, честно говоря. Но ты сумела меня убедить... Мне показалось, что ты угадала-таки во мне существо из другого мира.

— Кто, ты? Из другого мира? Валентин, но ты, извини меня, красил волосы.

— При чем тут волосы, Аня?

— Хной и басмой.

— Да, я рано начал седеть. Пришлось краситься. Ну и что из этого?

— Ничего. А скажи мне, Валентин, почему ты до меня никогда не был женат?

— Я уже рассказывал... Мать была больна.

— Да, да. Ты был у нее один, и ты маму любил, ухаживал за нею до самой ее смерти. Это я знаю. Но также знаю, что ты все это время не только онанизмом занимался, так ведь?

— Предоставляю тебе полную свободу фантазии.

— Так я и спрашиваю вот о чем: почему ты не женился уже после смерти матери?

— Мне было тридцать шесть лет, когда мама умерла. Я уже чувствовал себя старым холостяком. Я привык, и мне так было удобнее.

— Ты целых десять лет наслаждался этим своим положением?

— Ну, считай... Да, почти десять лет — до встречи с тобой.

— И много у тебя было женщин? Наверное, сплошь аспирантки?

— Нет, этим я не злоупотреблял. То есть аспирантками.

— А что? Чем не контингент? Особенно мы, филологини. Чем не товар? В университете нас называли факультетом невест, ты же знаешь.

— Не выносил я филологинь. Хватало других, всяких.

— А меня-то за что помиловал? На мне-то почему споткнулся, господин Казанова?

— Постарайся вспомнить сама, как было...

— А как было? Я могу вспомнить только то, что было лично со мной. Оргазмы были. По три раза, скажем, за один раз.

— Анна! Анна! Не надо твоих изысканных штучек, умоляю! Я прошу вспомнить о том, как мы постепенно сблизились и стали наконец одним целым, новым существом на свете.

— Как сблизились? Очень просто. «Он меня за руку, а я его за ногу», как говорили женщины в нашей городской бане...

— Вот ты и снова за свое, Аня.

— А что, не нравится? Тебе же нравилось все такое, Валентин.

— Нет, дорогая, никогда не нравилось.

— А что же ты всегда смеялся?

— Это был нервный смех, на грани срыва.

— Вот те на! Новость! Это ведь стоило жизнь прожить, чтобы потом узнать... Чего ради надо было тогда притворяться? Зачем хохотать, словно бегемоту, и говорить комплименты насчет изысканности и сакрального уровня моей матерщины? Значит, все это было сплошным лицемерием, мой друг?

— Ну что ты, о каком лицемерии может быть речь? Мне не нравились всякие натуральные обороты, которые ты позволяла себе как утонченный филолог. Но я любил тебя, Аня, и потому старался оправдать все то, что ты делала, и восхищаться всем, что ты говорила.

Мы оба не ожидали, что окажемся столь не похожими на первоначальный образ, каковой сложился у каждого из нас в отношении другого. Валентин полагал, что я обычная институтская потаскушка, бойкая заочница, приехавшая в Москву на установочную сессию, чтобы затем, в компенсацию идиотизма русской провинциальной жизни, переспать в столице с кем только можно из коллег-заочников и с преподавателями определенного склада, у которых еще не сыплется песок из штанин и в глазах, набрякших от кислоты научных знаний, еще нет-нет да и сверкнет священный огонек эроса. Анна же полагала, что я перзрелый маменькин сынок, этакий избалованный московский академический барбос, который молодится и красит волосы, мнит себя Казановой (и наверняка, полагала она, этот барбос пишет книгу о каком-нибудь редкостном писателе вроде Габриэля Гарсия Маркеса), — но ничего не стоит взять такого за шиворот, ткнуть носом куда следует и дать нюхнуть волшебства и чар подлинной русской провинции, где только и водится еще настоящая русская женщина, способная коня на скаку остановить и в горящую избу войти.

Это и было самым непонятным и загадочным — для чего-то начало нашей встречи, фатально предрешенной в актах небесной канцелярии, оказалось подвергнутым испытаниям взаимного заблуждения. Мы восприняли друг друга удивительным образом неверно, не по-доброму, несправедливо, что приходится только диву даваться. И тому способствовали чисто внешние обстоятельства, земные объективные обстоятельства, убийственные совпадения, грубые декорации исторического времени и широкое русское пространство, в котором прозвучала и затерялась увертюра и началось действие...

Надо было такому случиться, что место первого свидания, куда привела меня смелая, эмансипированная провинциалка, было мне давно известно — квартира институтского коллеги с кафедры, который в это время года обязательно уезжал на отдых в южные края, на дельту Волги, где и ловил рыбу. Значит, место постоянной остановки Анны в Москве во время летних установочных занятий оказалось вовсе не случайно связанным с существованием на свете еще одного академического барбоса, который давно уже был в разводе и в результате квартирного размена поселился в отдаленном микрорайоне. Валентину раньше приходилось-таки бывать на новом месте жительства коллеги, о такой ситуации Анна как-то совсем не поду-

мала, когда после купания в пруду и затем продолжительного ужина в ресторане пригласила его поехать на квартиру, где она временно проживала.

И Валентин никак не высказался по данному поводу, когда они вместе вошли в хорошо знакомую ему двухкомнатную квартиру на двенадцатом этаже громадного безобразного дома крупнопанельной постройки. Он только хмыкнул и скорее прошел знакомым ходом на балкон, закурил там — и вдруг самым неожиданным образом стал наблюдателем какой-то грандиозной галактической катастрофы, происшедшей в глубинах космоса миллионы лет назад. Небесные огни, следы метеоритов, прочертили свои мгновенные линии в темноте ночи и истаяли, точно так же, как и наши две жизни в небытии прошлого. Однако у погибших звезд был зритель, невольный наблюдатель их последнего мгновения, не лишённый щемящей красоты, а у нас не было никакого постороннего свидетеля ни в начале, ни в конце нашего совместного пролета по небесным сферам жизни. Только мы сами, только мы одни.

И совершенно непонятно и необъяснимо, что же такое произошло особенное, из-за чего солидный московский конформист вдруг бросает работу, столицу, перечеркивает свою карьеру и уезжает вместе с какой-то молодой женщиной в крошечный городок на берегу реки Гусь. Мало того — он венчается с нею, поступает работать в городскую среднюю школу, идет на свободную вакансию историка — и два года живет в таком зачарованном состоянии. За это время нарушаются у солидного литературоведа все его наработанные схемы и живые связи, налаженные для успешной профессиональной деятельности, — этой деятельности вовсе нет как нет и никакой книги о творчестве Маркеса не пишется!

Анна тоже бросила аспирантуру, как только Валентин стал ее мужем и окончательно переехал к ней в городок на Гусе, она отказалась и от возможности перебраться в столицу и стать москвичкой. Все зависело от нее, во всех наших совместных приключениях, решениях творческий импульс исходил от Анны, она была активной стороной, крутящимся колесом, а он был осью этого колеса, она строила все воздушные замки, в которые мы поселялись вместе, — он же старался содержать их в порядке и занимался текущим ремонтом. И каждый из нас, входя в эти вместилища нашего необъяснимого брачного симбиоза, вначале настороженно оглядывался вокруг себя, еще не видя никого и полагая, что его также никто не видит...

Но где-то далеко, далеко, а может быть, вовсе и не так далеко — на тех самых небесах, где заключаются браки, — был заключен и наш брак, Анны и Валентина, уже был заключен (трижды повторяется это слово — означающее заточение в темницу человека, нарушившего господствующий в той стране закон) — и мы оба оказались заточниками, запертыми в единой тюремной камере одним общим ключом. Но каким-то образом мы сбежали из этой тюрьмы — каждый сам по себе, по отдельности, — и вот встретились, не узнавшие друг другом, в этой жизни, в городе Москве, в том слое вселенского бытия, где существуют люди — и уже давно существуют, — и их было уже столько на белом свете, что даже оторопь берет, и это конечно же чудо невероятное, что мы все же встретились — и брачный союз наш повторился в земном варианте. Анна была ближе к тому, чтобы догадаться о нашем общем криминальном прошлом в иных мирах, где мы были сокамерниками и, очевидно, поделщиками в каком-нибудь ужасном преступлении. Валентин же прошлую роковую общность предугадывал в минуты надвигающейся эротической эпилепсии, что охватывала его во время близости с Анной, только с нею — с первого же их сакрального соития и до последнего, происшедшего всего за каких-то пару недель до начала возведения стены. И Валентин полагал, что эти его ошеломительные мужские чувства — не от мира сего.

— По-твоему, люди во всем человеческом мире любовь ощущали не так, как ты?

— Не так.

— На чем же основано твое утверждение?

— На сравнении. На том, что испытывал я с тобою, с тем, что испытывал я с другими.

— И что, была большая разница? Чем же я не такая, как другие?

— Аня! Уже нет никакой необходимости тебе стараться беспрерывно дразнить меня. Весь мой дубоватый конформизм был лишь прикрытием, под которым скрывался нежный цветок, пришелец из другого мира...

— Нарцисс.

— Пусть будет нарцисс. Разве он не выглядит пришельцем?

— Выглядит, выглядит, мой миленький. Только ведь в тот день, в ту минуту, когда ты преподнес цветочки, — пришельцем была я. А ты только встретился мне тогда на площади Пушкина и вручил букетик мартовских нарциссов. Что было весьма кстати, зело своевременно. Потому что если бы не этот неожиданный букетик, то я недолго задержалась бы в твоём мире, а то и, может быть, в тот же день послала бы его куда подальше. Но случился этот маленький казус, и я еще на несколько лет задержалась в нем.

— Вот как. Значит, и у тебя было это ностальгическое ощущение. И ты, мой дружок, тоже хотела поскорее вернуться туда — не знаю куда.

— Хотела, хотела...

— Но тогда почему ты так боялась, что мужчины бросят тебя? Точнее — почему ты так боялась, что это сделают они, а не ты сама с ними?

— Может быть, ты имеешь в виду себя?

— Нет! Почему «себя»? Ведь стену приказала строить ты, не я... Мне кажется, я знаю: тебе и это захотелось сделать от страха, того самого...

— Если знаешь, то и спрашивать, стало быть, незачем.

— Не хочется об этом говорить?

— Ты ведь никогда не поймешь, Валентин, ни на том свете, ни на этом... Для этого надо быть женщиной. Но это и на самом деле страшно, когда тебя бросают. Это невыносимо. Бедные женщины. Да, ты прав, я первой бросала всех своих мужчин, не дожидаясь, когда это сделают они.

— Как странно. Мне казалось, что я-то как раз буду исключением. Единственным, угаданным, кого ты никогда не сможешь бросить. Редчайший случай на земле — но он произошел именно с нами. Мы составили с тобой нечто целое, двуединое, как древний платоновский андрогин. Получилось новое существо, и оно было — не ты и не я. А стену ты захотела построить не для того, чтобы навсегда избавиться от меня, как раз наоборот — испугалась, что это может произойти, если мы и дальше будем оставаться вместе. И чтобы сохранить новое существо, Анну-и-Валентина, которое было дорого нам обоим, ты и решила расстаться *физически*... Ты поняла опасность, угрожающую нашему единству, и приняла решение — которое ни в коей мере не было тем самым, что ты обозначила пошлым бабьим словечком «бросить». Так ведь, Анна?

— Ну, если тебе угодно...

— Мне угодно лишь одно. Правда.

— ...и только правда.

— Да.

— Которая в том, если хочешь знать, что на протяжении всех этих двух лет, что мы были вместе, изо дня в день, исключая только дни моих вынужденных «каникул», ты два раза в сутки насиловал меня, мой друг пришелец. Аккуратным образом вечером и утром.

— Ничего себе! Какое чудовищное слово. «Насиловал», значит. А как же тогда понимать эти твои крики, похожие на песнопения: «Да! Да! Да!» Эти твои розовые щечки и сияющие глаза — после всего?..

— Валентин, не будем здесь теперь повторять старые пошлости. Ведь я стену решила строить не против чего-нибудь другого, а именно против пошлой пошлости. Неужели тебе непонятно?

— Непонятно! Совершенно непонятно. И оскорбительно для меня. Что же значили тогда эти слезы, эти твои внезапные прекрасные слезы? В самое неподходящее время, когда ты вдруг принималась рыдать, глядя на меня уже счастливыми глазами, ловить и целовать мои руки — как это надо было понимать?

— Ну и как это надо было понимать?

— Тебя прошу разъяснить. Пожалуйста!

— Разъяснений не будет. Их попросту нет. Вернее — для тебя нет, потому что ты полагал... Что этой своей любовью ты давал мне великое счастье. Отсюда и слезы... Так ведь?

— А разве не так?

— Никогда, никогда ты не понимал, инопланетянин херов, что как мужлан ничего-то ты не давал женщине — ты только брал. А то, чего она ожидала, что нужно было ей, без чего в своей жизни не могла — умирала, того ни один мужлан не может дать ни одной женщине.

— Как печально для меня то, что ты говоришь. Как это печально, Анна.

— Не печалься. Ведь ты был пришельцем, не так ли? Я все же угадала тебя. Потому что я сама была пришелица с другой звезды. И того, чего я жаждала получить, как раз и получала от тебя. Успокойся. Вот поэтому и слезы. Потому что только пришельцы инопланетянские могут дать *это* женщине, такой, как я. А что именно — того я тебе не скажу, и ты уж сам попытайся догадаться, если такой умный.

Но никогда не догадаться мне, вероятно потому, что стремительно прокатывается река земной жизни, в его невидимом потоке так легко и быстро тонут эти прелестные хрупкие существа, с беспомощной мольбой вскидывая свои светлые руки, — и все напрасно, все напрасно, потому что никто и ничто не может выхватить их из реки бытия и понести над ее течением, — ничто и никто не сможет уберечь женщину от морщин и ранней седины на висках, от жалобного увядания сладкого плода, обольстительного тела. Безнадежность начинается с самого девичества, юности, с округлых дивных линий груди, плеч, со стремительных и легких движений ног бегущей девушки, с благоухания молодой женщины, цветущей матроны, с грации танцующей царицы бала — и вот уже стекли книзу все соблазнительные линии, провисли и опали, размякли, превратились в банальные складки на подбородке, на боках, на животе... Наверное, от всего этого хотела бы избавиться такая беспокойная, красивая и решительная женщина, как Анна, и для этого ей и нужен был инопланетянин, а не просто талантливый мужчина-любовник, обыкновенный пахарь на поле продолжения рода человеческого.

Способность Валентина нервно конфузиться, когда Анна ввертывала в свою речь непристойные филологические изыски, его неестественно громкий смех при этом, а также некоторые холостяцкие правила и навыки личной гигиены, крашение седеющих волос — все это и многое другое из мелочей его брэнной мужской жизни трогали немещанскую, несентиментальную в общем-то душу Анны. За всем этим она угадывала в новом муже его ужасающую неуверенность, сходную с ее собственной, и предполагала в нем глубоко скрытый страх пришельца из другого мира — куда он пытался уйти по известному ей самой способу утопающего, который хватается за всякие предметы вокруг на поверхности бытийного моря.

Для нас обоих было совершенно неожиданным и непонятным, когда Анна пригласила Валентина на весь остаток лета к себе на Гусь, в городок, и там мы поженились, — расписались в местном загсе и обвенчались в церкви в соседнем Большом селе. Ближе к осени Анна свозила нового муженька в Москву, и Валентин уволился с работы, тем самым вызвав в институте всеобщее удивление, неодобрение, даже осуждение.

А со стороны приятеля и коллеги Рафаила Павловича Дудинца вначале даже последовали какие-то невразумительные угрозы и предостережения в адрес нашего ближайшего будущего. Это произошло, когда мы заехали к нему, чтобы забрать кое-какие вещи, оставленные в его квартире Анной. Правда, негативная реакция хозяина закончилась внезапным кривляньем сверху лысого, но кудрявого с висков и затылка Рафаила Павловича, его дурашливыми поклонами — с картинно откинутой в сторону рукою, — которыми он сопровождал свои неискренние слова поздравления брачующимся. После этого спектакля мы, весело смеясь, сбежали с двенадцатого этажа, потому что в этот день, в этот час сломался лифт, со смехом и шутками выскочили, значит, из подъезда, сели в машину и отъехали — оба в полной уверенности, что отныне нам совершенно наплевать на этого Дудинца, на все то, что было связано с ним и у Анны и у Валентина. Никакими дурными предчувствиями не мучимые, мы отправились на квартиру к Валентину, взяли оттуда и погрузили в машину некоторые его личные вещи, книги — и в тот же день поехали обратно в городок.

По дороге Валентин попросил Анну завернуть на огромное М-ское кладбище, где была похоронена его мать, и, прощаясь с нею, несколько минут постоял у могилы с невысокой бетонной плитой обелиска, один угол у которой был косо срезан — по соображениям, очевидно, местной кладбищенской эстетики. Из овальной рамочки внимательно вглядывалась в посетителей ясноглазая, улыбающаяся мать, слишком молодая для такого взрослого сына, пришельца из другого мира. Валентин прощался с нею так серьезно, скорбно, словно уходил на войну или собирался навсегда покинуть наш мир ради того, из которого и вывалился к нам. Анне же было не по себе, словно она и впрямь была причиной некоей беды, постигшей этого засидевшегося в холостяках сыночка ясноглазой дамы-покойницы. И мы уходили с кладбища молча, пасмурно — впрочем, как и должно уходить с кладбищ. Никому из нас не пришло в голову заводить разговор о том, почему столь прискорбное, тревожное чувство охватило сердца обоих при посещении давно успокоенной и, очевидно, довольной своим существованием на том свете матери Валентина. Что это было? Предчувствие? Но предчувствие чего? Неужели светлоокой, с мягкими чертами лица, с уютными ямочками на щеках, с завитыми по старой моде волосами улыбающейся даме с бетонного обелиска было уже что-то известно о предстоящих катастрофах и переменах по всей Руси великой?

Тогда, в конце лета, все происходило у нас безо всяких зловещих предзнаменований, без грозных пророчеств и предостерегающих небесных знаков, если не посчитать за таковые два стремительно проследовавших друг за другом залпа метеоритов, которые прочертили ночное московское небо в ту минуту, когда Валентин стоял на балконе дома, где жил его институтский коллега и куда привела его Анна. Тогда говорить о любви было еще рано, и вообще мы об этом предмете никогда, кажется, в особенности не распространялись, и никто из нас, ни Анна, ни Валентин, не произносил сакраментальной фразы: «Я люблю тебя». Все началось и совершалось у нас без произнесения этой фразы, может быть, мы просто не успели это сделать, то есть хотя бы наскоро пробормотать священную формулу, прежде чем приступить к существу дела — к тому, что у французов называется просто любовью, у американцев — заниматься любовью, а у русских *это* никак не называется, если не считать тех неприличных словечек, которые любила иногда ввертывать в свою речь изысканная матерщинница Анна.

Она в тот первый совместный вечер, войдя в чужую квартиру, оставила безо всякого внимания своего спутника в прихожей, а сама молча удалилась в спальню. Там разделась, взяла из хозяйского шкафа свое чистое белье и затем преспокойно прошла в ванную. Когда она уже заканчивала мыться и, стоя под горячим душем, о чем-то глубоко задумалась, после вздохнула всей грудью и даже улыбнулась каким-то своим невнятным от-

даленным мыслям — к ней пришел Валентин, о котором Анна даже забыла на некоторое время. Она встретила его спокойным, дружелюбным взглядом...

Пожалуй, мы оба чувствовали себя действительно спокойными, ничуть не распаленными, свободными от угнетающей похоти и одновременно — от блудливой светскости, обязывающей двух голых людей, мужчину и женщину, оказавшихся наедине, вблизи друг друга, вести себя подобающим образом и непременно добиваться успеха. Спрашивается, что делало нас обоих столь свободными и непринужденными, согласными обойтись без предварительной чувственной жестокости, без мучительных приемов страсти? Нет, с самого начала нам было ясно, что мы не просто любовники — не для того, чтобы ими стать, мы встретились на этом свете. Именно тогда, в ту самую минуту, оба провидчески узрели — наши ангельские взоры проникли сквозь многие слои былых существований и уперлись в светлый престол Власти, чьей волей были сотворены наши первоначальные монады. Возле этого сияющего престола мы были венчаны, и там прошли громадные по счастью времена, смысл и содержание которых почему-то был постепенно нами утрачен. И оттуда мы пошли порознь, каждый сам по себе, через многие слоистые миры, проживая слой за слоем в неизбывной тоске — чтобы где-нибудь вновь найти друг друга и вместе вернуться к светлomu началу.

Наутро я не нашел ее рядом с собою в постели, летний рассвет был еще тускло-розовым, такого же цвета рдеющее пятно светилось на стене, на котором и сосредоточился мой взгляд вдруг проснувшегося в неизвестности, ничего еще не понимающего человека. Но постепенно я осмысленно свел пространственные и временные координаты, огляделся вокруг и увидел по своим ручным часам, аккуратным образом лежавшим на стуле возле кровати, что было около пяти.

Я в это время находилась не очень далеко от дома — в том замусоренном сосновом лесочке, что виднеется с берегов Грязных прудов нашего микрорайона. Сизое слоистое утро в этом городском лесу было подлинным и прекрасным летним утром, со свежестью настоявшегося в ночи вкусного воздуха, с небольшим даже туманцем, который с овечьей робостью выставлял из сыроватой лощины свой голубоватый дымчатый хвостик.

И вот из этого тумана появилась, сначала видимая только по пояс, затем выступившая из него по розовые колена, белогрудая нимфа. Она шла, раздвигая ногами туманные струи, которые мелко курчавились и завивались перед идущей, и эти дымчатые кудели словно пытались тщетным образом вскинуться, воспарить над землей и прикрыть светлую, беспомощную наготу нимфы. Анна — это была она — представляла очень чуждой, неподходящей и опасно уязвимой в своей наготе на этом заваленном мусорными кучами, опутанном ржавыми кольцами выброшенной проволоки пространстве городского леса.

Сквозь стволы деревьев проглядывали расположенные не очень далеко темные квадраты окон многоэтажных домов, где в это время жильцы еще спали, но вот-вот они должны были проснуться и после духоты постели, поеживаясь от уличной прохлады, с наслаждением вкушая свежайший воздух еще не отравленного машинами утра, появиться на лесных дорожках. Кто-то из них, зевая в кулак, выйдет из подъезда вслед за собакой, затем спустит ее с поводка и трусцой побежит по дорожке, а кто-то и сам по себе, бодренький и подтянутый, в нарядном спортивном костюме, начнет свою утреннюю пробежку по лесу.

И нимфа Анна торопилась скорее пройти через весь лес и не встретиться ни с кем из мирных обывателей, которые были бы весьма удивлены и, может быть, даже потрясены, узрев выступающую по туманному полю наготу женщину, с дивными маленькими лунами полноокруглых грудей, плывущих в облаках...

Я любила встать рано-ранешенько летом, голой бежать к речке Гусь и омыться в удивительной живой воде земного утра. Дом наш стоял на высоком берегу, близко к реке, и никто не мешал мне предаваться утехам лесной нимфы. Бывая летним временем в Москве, на сессиях, я не могла не тосковать по привычному языческому счастью, поэтому и вставала в пятом часу, полуодетой спускалась в лифте, выскакивала на улицу, заводила машину и с ревом мчалась сквозь тишину ранних улиц в сторону прудов. Там я бросалась в дымящуюся паром воду — кстати, совершенно прозрачную и ничем не пахнущую, кроме как только огуречной свежестью, — переплывала пруд, далее выходила на берег и бежала по асфальтированной дорожке меж убогими гаражными постройками, обитыми ржавым листовым железом, стоящими по обе стороны впритык друг к другу. Это был единственный проход к сосновому лесу, и я отважно устремлялась туда. Обежав лес по широкому кругу, я возвращалась назад к пруду, к машине, следуя тем же путем — по дороге между гаражами.

Хотя мое языческое волхование в пруду и на затоптанной земле городского леса бывало до смешного не схоже с тем, что совершала я на родной речке Гусь, и здесь было не очень-то безопасно, я не могла отказаться и от такой возможности совершить свою раннюю службу богу утренней зари. Я должна была предстать перед ним обнаженной, я всю свою красоту целиком, безо всякого стыда и утайки, хотела явить только ему одному. Наверное, его только я и любила, а всех своих мужиков лишь жалела и слегка презирала. Хотя и вынуждена была с ними спать или, как говорят русские бабы, жить с ними. Божество утра с солнцем в руке, высоко воздетой над головою, показывалось из-за леса, над ржавыми гаражами, над бандитским микрорайоном часов в пять утра. Я выбегала навстречу ему из мокрой травы, чувствуя, как он пристально, сводя с ума своим взглядом, разглядывает меня — всю с головы до ног. И я видела, как все мое нравится ему, как он желает меня — и я его хотела, все во мне поворачивалось к нему, и когда я шагала высокими травами, забрызганными росой, их упругие мокрые метелки и колоски скользили по моим бедрам, влажное по влажному, нежное по нежному, и я думала, что схожу с ума, сошла с ума, потому что явственно ощущала...

Конечно, я блудница, думала Анна (правда, вместо «блудницы» она могла употребить иное словечко), но я стала ею не потому, что неразборчиво любила мужчин, а потому лишь, что появилась на этом свете случайно, и никто из них, наверное, мне не был нужен. Истинный мой свет и мир и душа — за туманно-сиреневым дальним лесом, за розовой зарей летнего рассвета.

Так думала Анна о себе, никому эти думы не раскрывала, полагая, что никто на свете ее не поймет, — но я-то как раз ее понимал. С первой же ночи, проведенной вместе, и с первого же утра, когда, проснувшись, я не обнаружил ее рядом с собою. И только через час она появилась на пороге квартиры — с мокрыми волосами, в одном купальнике, босиком, с огоньком светлого безумия в глазах. В дальнейшем, когда мы уехали в ее городок на реке Гусь, все так и продолжалось, каждое утро я просыпался и оказывался один в постели, а она приходила потом, вся насквозь прохладная, с апельсиновой кожей на бедрах и ягодицах, стерильно отмывшаяся в речной воде от ночного греховного пота, пахнувшая не чем-то звериным и тягостным, как я, но благоухающая свежестью утренних воздушных пространств.

Она как бы вносила с собою и распахивала передо мною эти пространства, а я вскакивал и хватал ее, неудержимо устремляясь туда, в эту солнечную свежесть рассвета, в новый день, и мне тоже хотелось через нее, из нее — из уст Анны испить все то блаженство, которым наполнена жизнь живых на земле.

4

Мы вместе открыли в то первое наше лето, что солнце и земля, а между ними наши тела и души, составившие единое целое, — это и все, ради чего потрудились нас создать. А остальное только лишь прикладывалось к данному триединству — солнце, мы, земля, — и вся вселенная, и даже представление о его Создателе свободно умещались внутри нашего родившегося пространства счастья.

Разумеется, по земле бродили и другие парные существа, иные, чем мы, Анны и Валентины, несчетными были и совсем одинокие человеческие осколки, так и не обретшие двуединой любви. Но нас уже это не касалось. Вопросом о том, скольким людям удастся узнать смысл своего существования напрямую, непосредственно через счастье и радость, не занимались ни наши фундаментальные науки, ни государственные институты, ни все индивидуальные мудрецы, вместе взятые. Каждое парное существо, материализованное и помещенное в развернутое земное время, не знало и ничего не хотело знать о том, что происходило с другими, ближними и дальними.

Также Anne-и-Валентину в то первое их совместное лето постижение смысла-счастья существования непосредственным их переходом в состояние этого счастья представлялось единственным, универсальным и свойственным всему миру живых. То есть мы были хищно захвачены своей любовью и ничегошеньки не видели из того, что тем временем надвигалось на нас, на маленький городок, на извилистую речку Гусь, на всю громадную полусгнившую империю.

Свободные и зрелые люди, уже вполне настрадавшиеся от тотального умолчания истины, которая в том, что всеобщего счастья нет и не может быть, Анна и Валентин были смяты, почти уничтожены тем частным чувством, что обрушилось на них, о, далеко не в самом их юном возрасте! Anne было тридцать лет, Валентину — сорок шесть, — каждый из нас уже успел самостоятельно пройти все испытания хищной любви, этого самого убедительного довода для вящего жизнелюбия земных жителей. И увериться, что жизнь есть не сон, что жизнь *есть*, — что сон является необходимостью для отдыха после трудов любовных...

И вдруг снизошло на нас иное знание. Валентин не мог бы выразить это языком науки и публицистики, каким довольно сносно владел. Anne и того меньше было дано, она оказалась бойкой на язычок, но пером владела неважно. Однако нас вовсе не заботило самовыражение нашей любви на бумаге — нам надо было как-нибудь достойно пережить ее реальные будни. Анна в первую же ночь, потрясенная происшедшим, вовсе не могла уснуть; в неполной темноте чужой квартиры она всматривалась в едва заметный, слабый блик на стеклянном плафоне люстры, свисающей с потолка, потихоньку вздыхала, осторожно вставала с постели и выходила на кухню, чтобы попить апельсинового сока из холодильника. Ей было непонятно, каким это образом все самое обычное, ставшее уже рутинным и даже не очень любезным для нее в приключениях с мужчинами, здесь, в этой комнате, с этим новым мужчиной, словно обрело огненное сияние.

Она летала, путешествовала с закрытыми глазами, вскинув руки над головой, и зарево сияния нарастало — все выше и светлее. В какой-то миг появлялось предощущение того, что сейчас-то все и завершится, нежностью все и разрешится, — но враждебное мужское вторжение нежданно обрело в этот раз иное значение. Он смог приблизиться вплотную к стене, этот воин чуждого племени, и мягко, мощно тронул ее, толкнул и погладил рукою — в живой стене обнаружили тайные створы, они встрепетнулись и пропустили сквозь себя его сильную нежность. Если бы Анна узнала раньше, что такое бывает, что руки, тело мужчины не давят, не душат, не мародерствуют в чужом покоренном теле, но приподнимают тре-

пещущее сердце куда-то к самым звездам, от которых и исходит сияние, — если бы знала она такое, то никогда бы не постыдилась всех доселе познанных ею мужчин и не называла бы себя втайне шлюхой. То, что узнала она этой ночью от тихо спавшего рядом невидимого мужчины, освобождало Анну от всех прежних тягот и вин, — ни одной вины за нею не было. Оказывается, есть некая высокая мера отношений человека с человеком, и она прекрасна. Не только лгут друг другу люди — но способны и отдать один другому невероятное чудесное сокровище.

Но все же трудно было, почти невозможно, Анне самой поверить в истинность ее ночного открытия — днем увидела только то, что обычно можно увидеть глазами, и заспанный Валентин не ощутил в отношении себя никаких последствий ее чудесного прозрения. И других, соответствующих новой глубине постижения, способов выражения любви не нашлось у нас — ничего более, чем те же ласкающие объятия, умелые поцелуи и совместная постель.

Впрочем, на Валентина вся эта любовная обыденщина и рутина не действовали угнетающе, — ибо во всем, что было, в сущности, тем же самым, что и раньше, он теперь ощутил неведомую острейшую новизну. Даже вид неприглядной холостяцкой берлоги приятеля и запахи, исходящие от чужой постели с несвежим бельем, не отталкивали Валентина, но как-то болезненно и властно его очаровывали, вызывая в нем не испытанные доселе состояния измененного сознания. Раньше он непременно посчитал бы, что только человек сумасшедший, а не человек разумный, способен испытать при виде горки скомканных разноцветных тряпок, очевидно наспех сброшенного прямо посреди комнаты, стоптанного с ног на пол женского белья, — испытать спазм высочайшего катарсиса, перехватывающего дыхание. И вдруг ощутить на лице влагу собственных, неизвестно в какое мгновение пролитых слез.

Ненормальность происшедшего с ним не требовала особых доказательств. Но необъяснимое чувство к этой женщине было настолько сильным и превосходящим все разумное в нем, что Валентин без единой минуты колебания совершил со своей жизнью то, о чем он никогда, до самых последних дней своих, не сожалел и в чем не раскаивался. Только один раз, при переезде к Анне в городок на берегу реки Гусь, когда по пути он попросил ее захватить на М-ское кладбище, чтобы навестить могилу матери, Валентин на минуту почувствовал какое-то неизмеримое, бескрайнее отчаяние на сердце. Но это переживание никакого отношения не имело ни к могиле матери, ни к стоявшей рядом с ним Анне. Скорее всего, оно касалось не настоящего положения вещей — но или незапамятного прошлого, или еще не осуществившегося грозного будущего.

По прибытии в городок мы первое время были совершенно одни, Анна свою дочь отправила к бабушке с дедушкой, родителям ее отца, дом стоял на высоком обрывистом берегу реки, июльское небо жаркого лета ежедневно проплывало в одних и тех же бело-синих красках, в одном и том же бесшумном неистовстве взрывного света, под которым все накрытое куполом небес земное пространство плавилось в ярком горниле лета и напрямую переходило в лучистое состояние.

Наверное, с других космических миров и наблюдали это зарево, подобное мерцанию всех остальных звезд вещественного неба, и в сердцах у наблюдателей нашей звезды возникало то же самое, что и у нас, созерцающих вечернее небо, — учащенное биение и трепет какого-то неизвестного, почти достигнутого счастья. Оно же было настолько убедительным, ощутимым, что Валентин мог бы каждый день собирать и консервировать это счастье — если бы только знать способ заготовки впрок солнечного света хотя бы одного отгорающего июльского дня.

Но при всяком наблюдении людьми какого-нибудь сказочного природного изобилия в них рождается беспечность, им и в голову не прихо-

дит, что очень скоро все это может кончиться и уже ничего, ничего такого больше не повторится. О, если и сделают в иных мирах спектральный анализ лучей, исходящих от июльской планеты, то все равно не обнаружится в радужной картинке разложенного света никаких следов от нашего изобильного счастья, имевшего место быть на планете Земля во времена оны.

Валентин не думал, не хотел думать о завтрашнем дне, да и о текущем времени он не задумывался, этого не нужно было ему — Валентин изменился весь, стал другим, и в этом измененном состоянии пребывал словно на празднике своего воскресения. Как было удивительно увидеть себя со стороны — и не обнаружить в этом упоенном радостью жизни человеке унылых контуров прежнего невидимки. Соприкоснувшись телами и душами, мы оба изменились — каждый из нас изменился весь, хотя внешне остался таким же, каким и был. Никаких особенных талантов ума и чувств не понадобилось, никаких сверхзнаний, откровений свыше, мучительного душевного подвига, чтобы в то ярко отпыхавшее лето нам постигнуть истинный, не придуманный, смысл человеческого существования на земле.

Он оказался прост, силен и опасен для всего окружавшего нас мира действующей лжи. Он, этот разгаданный нами смысл, спокойно развенчивал двуличие и тотальное лицемерие нашего времени. Смысл жизни оказался в том, что было два отдельных существа, а стало одно. И постигнуть такой смысл можно только вдвоем — двумя он держится в Божьем мире и повседневно подтверждается. Рабское общество коллективизма и бандитствующее государство не нужны им, двоим, — потому и опасен был открывшийся нам смысл жизни для самой идеи государственности.

Если Бог един, то человеку единичному никогда не стать как Бог, но если сказано, что человеки созданы по образу и подобию Божию, это означает: образ таковой и подобие люди обретут на земле, будучи не по одному, но соединяясь по два. И не больше того. Мы могли осуществиться в истине только вдвоем, обвенчавшись перед Его алтарем, — и по-другому не могло быть.

— Неужели ты почувствовал это, Валентин?

— О чем ты, Анна?

— Что перестал быть один... Что встретился со мной — и все стало в порядке. Смысл жизни тебе открылся, когда обвенчался со мной.

— Знаешь, если честно... Мне стало гораздо более одиноко, чем раньше. То есть несравнимо более одиноко. И если в прежнем одиночестве было как-то привычно и уже не больно — то тут такие боли начались, что выдержать их мне оказалось не под силу.

— У меня было в точности так же. И стена поэтому... Теперь-то ты понимаешь?

— Да, Анна... Но что же тогда получается? Мы были прокляты, выходит? Или, точнее: обречены?

— Выходит, миленький. Обречены во всех мирах, куда ни попадем, быть одинокими. Прокляты на том, чтобы желать навеки быть вдвоем, но никогда не суметь достигнуть этого.

— За что, Аня? И кто нас проклял?

— Не знаю. Да и не наше это дело — пытаться узнать.

— Почему?

— Потому что все равно не узнаем. Почему все звезды существуют по одиночке, можешь мне ответить?

— Могу. Если звезды сойдутся слишком близко, то они столкнутся и уничтожат друг друга.

— Нет, я о другом. Не о том, столкнутся или нет, об этом и я знаю, что столкнутся. Но я о том, почему такой закон — чтобы каждой звезде существовать только в одиночку?

— И все же, Аня, среди людей бывали такие встречи, когда двое становились, как один. При такой встрече как бы рождалось новое существо.

— Это не мы ли с тобою?

— Хотя бы и мы. А что, не так?

— Так. Так. Только не забудь, милый, что нас-то давно уже нет. Никто на свете нас не видит и не слышит. Мы если и существуем, то неизвестно где — и каждый только для себя.

— Анна! Анна! Но ведь я слышу тебя! Говорю с тобой!

— И я тебя слышу, Валентин.

— Слава Богу, что хотя бы так...

— Слава Богу.

Но когда-то мы могли не только слышать — могли видеть, трогать, чувствовать друг друга, обнимать, брать за руку один другого, спать рядом в одной постели, вместе просыпаться утром, молча и сосредоточенно завтракать за широким некрашеным столом, на котором стоял дымившийся из носика паром зеленый чайник. В плетеной корзиночке лежали вповалку небольшие свежайшие огурцы, на острых макушках которых еще торчал младенческий желтый вихорок усохшего цветка.

В окно широкой веранды виднелось вдаль, над загорелым плечом Анны, над садовой курчавой зеленью, летящее вместе с хлопчатými облаками небо, под которым оставался на месте, никуда не двигаясь, купол храма с маленьким крестом. Валентин всматривался поверх обнаженного плеча Анны в движущееся дальше небо, в устойчивый темный крест, в крошечных голубей, круживших возле него, — случайный пространственный коридор взгляда подвел внимание невидимки к созерцанию крохотного фрагмента картины, который и в своей малости был столь же прекрасен и содержателен, как и вся неохватная, недоступная взору картина дня.

Анна, сидя за столом спиной к окну, могла видеть только лицо Валентина, его замершие дымчатые глаза, но в этом лице и в этих глазах она наблюдала отраженный свет той же картины с безупречно выбранным содержанием и совершенно исполненной живописью. И Анна открыла — и вся озарилась, зажглась этим открытием, и в ту же минуту высказала Валентину: человеческое лицо не тем красиво, какой нос на нем и какие глаза и губы, но тем, насколько оно может отразить в себе красоту жизни, к которой обращено в данное мгновение. Валентин ответил ей, естественным образом подхватив и продвинув ее мысль, что и сама красота жизни начинает мерцать, проступать сиянием — как бы зажигаясь от восхищенных взоров человеческих глаз. Так и женщина вспыхивает, хорошеет и украшается еще выше: Тому, Кто создает красоту, становится нестерпимо грустно, если ее никто не видит, кроме Него Самого, — поэтому Он и человека создал, научил его понимать красоту и поставил рядом с Собою, чтобы вместе рассматривать Его бесконечные музейные шедевры.

Валентин тоже радостно засмеялся и подхватил полет ее мысли: но творцу шедевров невозможно все время находиться рядом с экскурсантом, Ему надо работать, и Он дал человеку спутника, подругу, чтобы они могли вместе бродить по бесконечному музею, взявшись за руки. А чтобы они не наскучились друг другом, не утомились любоваться красотой, им еще дана возможность взаимной любви и наслаждения, сиречь эротики и секса, ко всему добавила Анна. Каковые на фоне красот мира зело возрастают по силе и значению, но в этом деле ты и сам неплохо осведомлен, милый мой, и я охотно прощаю все твои излишества, маниакальную упертость в одну и ту же точку, вельми сочувствую тебе и стараюсь поддержать тебя, как могу, поелику тоже считаю, что секс — священное дело.

Так весело и шутливо беседуя, мы завершали нашу утреннюю трапезу, которая происходила всегда поздно, нас ничто не подгоняло, была самая

середина лета, время школьных каникул, во всем доме мы были одни, никто к нам не заглядывал, и мы никуда не ходили — иногда только выезжали на машине в дальний лес за грибами или на широкие луговые берега Оки-реки собирать душистую, сладчайшую дикую клубнику. Но этих выездов было всего несколько, а в основном весь наш долгий медовый месяц прошел в упоительном однообразии.

После запозднившегося завтрака, часов в десять — одиннадцать, мы, в одних купальниках, проходили тропинкою сад-огород, друг за другом, словно индейцы в походе, выбирались через узкую скособоченную калитку за садовый участок, на зеленый травяной верх высокого берега Гусь-реки, обрывистый край которого спадал к воде крутосклоном палевой глины, по которому наискось сверху вниз была протоптана едва заметная дорожка.

По ней обычно и сбегала на рассвете нимфа Анна, чтобы совершать свои священные омовения. Утренние муравьи, коих рабочая тропа пересекала в одном месте глиняную дорожку, еще не были видны в то время, когда Анна устремлялась к плескавшемуся внизу потоку, но когда она возвращалась после купания домой, муравьиные струйки уже шевелились поперек дорожки. Видимо, пересекая легкой оленьей побежкой наискось сверху вниз крутой яр, нимфа простукивала розовыми пятками глину обрыва, внутри которого и находился муравейник. И там, в глубине, при этом всегда начиналась легкая паника: заспанные сторожа принимались бегать по проходам, барабанить своими усиками по головам солдат и рабочих: «Подъем! Ну-ка, подъем! Опять проспали! Вон соседка уже побежала на речку!» И когда Анна поднималась по крутосклону, первые хмуроватые рабочие колонны муравьев вяло продвигались по своей дороге, и она внимательно глядела себе под ноги, чтобы не наступить на них.

Противоположный берег реки уходил плавным изволоком к удаленным широким холмам, на которых и возвышались два обветшавших белокаменных храма. Вокруг них теснились по склонам домики центральной части городка, который занял оба берега Гуся. Через него был протянут узкий, высокий мост, и на каждом берегу реки здания отличались от противоположных: с одной стороны городок был каменным, двух-трехэтажным, с высокою, на вантовых растяжках, черной трубою старого механического заводика, а с другой стороны — бревенчато-избяным, с деревенскими домами под двускатной крышей.

Так как река была извилистой и проходила через городок замысловатым крючком, то оказывалось, что центр с каменными домами как раз находится против одной из самых отдаленных слободок (если добираться до нее сначала по главной дороге, которая шла через мост, затем свернуть в проулок направо, а там вдоль реки — и до упомянутой слободки, где находился дом Анны, унаследованный ею от покойных родителей). Сразу же напротив этого дома, за участком соседнего хозяйства, виднелся белоствольный березовый лес, который чуть дальше, ниже по течению, выходил к реке стройным хороводом, степенно склонившимся в сторону ее сверкающего широкого плеса.

Мы спускались по косой тропинке к самой реке и там с метровой высоты бросались вниз, вытянув над головою руки, с плеском врезаясь в слепящие блики пляшущего в воде солнца. Затем, вынырнув на середине стремнины, плыли по течению, не очень быстрому, но вполне бодрому и веселому, сопровождаемые по-птичьи нежными перезвонами струй, которые разбивались обо что-то у самых берегов речки.

Анна научила, а Валентин очень скоро научился и полюбил ее способ плавания вниз по течению — лежа на спине, головою вперед, распластав руки по сторонам, слегка пошевеливая ногами, глядя в бездонное небо над собою и вслушиваясь в шум своего дыхания. Поначалу, не имея еще опыта, Валентин сбивался со середины русла и вдруг оказывался на мелко-

дье, утыкался макушкой в травянистый берег. Но Анна была опытным пловцом, она каким-то образом умудрялась держать равнение вдоль обеих береговых линий, не поднимая головы из воды и не оглядываясь. И мокрое, в блестящих капельках, вверх смотрящее лицо ее было сосредоточенным, серьезным, фантастически прекрасным. Валентин скоро стал пристраиваться плыть рядом с нею, так же раскинув руки, держа самым легким усилием, за один только перст, дрейфующую над опрокинутой бездной тонкую, как ветвь, Анну — мы летели, две бабочки-невидимки, между двумя безднами.

Полет наш вскоре уносил нас в другое измерение, полностью растворял во времени, и мы утрачивали память о начале путешествия и были совершенно безучастны к мысли о его конце. Но каким-то образом мы выпадали все же в осадок времени — вдруг оказывались двумя довольно древними существами, мужчиной и женщиной, бредущими мелководьем к белой светящейся полоске песчаной косы. Наши головы одинаковым образом опущены, взоры обращены долу, не очень далеко перед собою, шагов на двадцать вперед по слепящему блеску отраженного солнца, мускулы на загорелых наших спинах и на ногах вспухают и опадают, пульсируют одинаковым образом, в едином ритме, в такт нашим шагам.

Две короткие тени, едва заметные, ложатся на поверхность воды и тянутся вслед за нашими утомленно-радостными телами, бредущими навстречу своей грядущей призрачности, но которые сейчас слились наконец в одинаковом упоительном чувстве жизни, растворились в единой стихии летнего блаженства. А души? Они также слились, смешались, соединились в целое, — и вот мы, невидимый андрогин, вещественный только тогда, когда двое еще неясственны, как зародыши в утробе матери, — мы внимательно вглядываемся в самих себя, в Анну и Валентина, бредущих по мелкой воде, — она всплескивает чуть выше щиколоток. Отрадно ощущать нам великолепную нашу телесность, и рядом с этим, вместе с этим — и полную нашу несущественность, *невидимость*, воспринимаемую нами как широкую, ровную печаль, исходящую, впрочем, вовсе не от нас — Анны или Валентина.

Кто-то наблюдает за нами. Кто-то слышит нас. Глубоко печалится о быстротечности нашего полета. Течение реки вынесло нас, повисших между безднами, вон из города — протащило под мостом, и на глазах у множества горожан двое вольготно раскинувших руки и ноги купальщиков неспешно проплыли мимо соборного холма, вдоль подковою изогнутой промышленной набережной с длинными побеленными каменными строениями. Но затем, когда подкова была вся пройдена — уже с другой стороны города, — мы вновь оказались в виду соборной площади и двух высоких, строгих храмов.

И там была сверкающая отмель, и длинная песчаная коса белого цвета, и за нею огромной зеленой чашей — раскрывшаяся под небом луговая приречная долина. Дальний приподнятый край этой переполненной тишиною изумрудной чаши был окаймлен полупрозрачной бахромой тонущего в мареве леса; туда, под широкие небеса, подрезанные голубой щеточкой деревьев, надобно было отправляться на машине по землянику или за белыми грибами.

Но в день достопамятный, в час полуденный, когда мы выплыли по реке за город, обогнув его по широкой дуге речной излучины, а потом встали на песчаное дно и пошли к белой косе, вид дальнего леса не манил и не будоражил нас ягодно-грибными призывами, мы смотрели на далекие голубоватые деревья леса с чувством невозмутимого покоя на душе, свободные от всякой охотничьей страсти и вождления.

Пустынно, свободно было на песчаной косе, мы только вдвоем вышли из реки на его мелковолнистую горячую белую поверхность, рассыпчатую и податливую под прохладными ступнями босых ног. Словно на необитае-

мой планете, первозданной, девственной, выглядела чистая белизна и ненарушенность песка, лечь на который и, закрыв глаза, погрузиться в его струящийся жар означало то же самое, что опробовать всем своим существом вкус новой жизни по воскресении в раю.

Мы лежали вблизи друг друга, голова к голове, упокоив их на скрещенных под подбородком руках, и чувствовали себя внутри инакобытия, цельного, прекрасного, не содержащего в себе тления времени. Отсутствие его медленного неотвратимого сгорания — вот что было тем самым блаженным состоянием, к которому стремилась всякая человеческая тварь во все времена своего существования.

Мы достигли этого состояния, лежа в полдень жаркого лета на шелковистом приречном песке — молча, близко вглядываясь друг другу в глаза. Они у Валентина были дымчато-серыми, с палевыми радиальными разводами, которые сливались в сплошное янтарное пятно ближе к черным точкам зрачков — едва заметным из-за того, что Валентин был обращен лицом к солнцу, под его прямые лучи. Анна лежала спиной к солнцу, у нее вскоре нагрелся затылок, — но с противоположной стороны, со лба, у корней коротко стриженных встопорченных волос выступили прозрачные капельки пота, такие же усеяли бисерными рядами скулы подглазия. И на ее обожженном докрасна лице, в жемчужном окружении крохотных капелек, похожих на росу, ах как звучно и чисто сияли ее голубые глаза с темными кружочками зрачков посредине.

Так мы лежали и молча смотрели друг другу в глаза, словно с мольбою о взаимной искренности и милосердии. Но, в сущности, в наших замерших взорах подобных мыслей и чувств не содержалось, ни любви, ни ненависти не проявлялось, ни справедливости или несправедливости не было. Так же, как и всюду вокруг — на небе, в воздухе, на воде.

И продолжалось беспмятство вечности — и все, что мы делали в эти часы дня на ослепительно белом пляже, вымылось из нашей общей памяти. То ли Анна задремала, и Валентин усердно зарывал ее в песок, не то он сам уснул, выставив гладко выбритый блестящий подбородок к небу, а она сошла в реку, набрала в сложенные ковшиком руки холодной воды, бегом вернулась назад и слила ее ему на лохматую грудь...

Вновь обрели мы память и ясность уже идущими обратно по зеленой траве заливного луга к резко синеющей вдали полосе излучины — для сокращения обратного пути пошли по прямой тетиве речного лука, по щекочущей подошвы ног траве-мураве. И там впереди, за рекой, под широким небом возвышались на холме два стройных храма, оба дивные по своей неветшающей красоте. А рядом с ними лепились по крутосклону берега живые обывательские домики, такие непритязательные и безыскусные рядом с роскошью зодчества и высокой мыслью умерших храмов, что не они казались старинными предками современных человеческих жилищ, а как раз наоборот — примитивные мещанские избы выглядели намного дремучее, старозаветнее стройных красавцев храмов.

Зачем привезла Анна в этот город Валентина — не для того ли, чтобы увести его далеко назад, в язычество, и подвести к тому пополуденному часу, — не ради ли нашего греха, похожего на бессмысленный вызов смерти и святотатство пред чистым заветом? Когда мы вновь подошли к реке, луговой берег там, на ее повороте, спал в воду отвесным глиняным сбросом, совсем невысоким, и мы, помогая друг другу, легко спрыгнули с него и оказались по пояс в серебристо-жемчужной стремнине, закручивавшей на этом месте миниатюрные скоротечные воронки.

Как-то непрочно, бездумно Валентин обняв за талию Анну, прижал к себе, а сам прислонился спиной к прохладной стенке берега. Его плечи были вровень с верхом глинистого обрывчика, заметно опустившееся солнце светило сзади. Он под водой стянул то почти невесомое, что было на ней, затем, целуя в пахнувший солнцем и водою висок Анны, за-

глянул ей в лицо и увидел, что она стоит закрыв глаза. Тогда он устремился к ней, чувствуя себя могучим, и она ответила таким же порывом, как бы взвилась в воде, широко раскрыла ноги, обвила ими его стан — и беспamięтно поникла в его руках. В виду двух высоких храмов на холме, за рекою, нами было совершено на ярком свете дня то, что должно совершаться под покровом тьмы, в двойственном уединении и вдали от всякого стороннего свидетельства. Хранить целомудрие и скромность повелевал новый, человеческий завет, именем его учредителя были воздвигнуты храмы на холмах. Его чистотой мы должны были быть спасены от собственной лютости. Но для нас, как и для других людей, сдерживающее предписание существовать чисто оказалось неприемлемым, и целомудренная любовь к другому, не к себе, осталась непостижимой.

Более ветхий завет любви, который и надо было скрывать в ночной темноте, подчинил нас и заставил наши души трепетать от желания. Смерть была объявлена царственной особой над людьми, а любовь стала ее могучей подданной — потому и сказано было, что *крепка как смерть любовь, и она пламень весьма сильный*. Нам ли, мелким невидимкам, выстоять было перед нею и не сгореть, выйти целыми из этого пламени?

Сам жар солнца, весь долгий день обжигавший плечи и голову мою, показался мне прохладой, когда в течение минуты огонь взвился, взялась пламенем внутренность моя, — и я хотел, но не мог ни придержать нас обоих от падения в бездну, ни проявить простой человечности при виде того, как нежная любимая женщина, яростно царапаясь и кусаясь, превращается в неистового зверя.

Меня давно уже нет на земле, моей любимой тоже — мы сгорели на лету, как те пригоршни метеоритов в московском небе — и скоро встретимся, наверное, в каком-нибудь другом небе.

Но как же не приходило мне в голову тогда, когда мы с Анной еще могли быть вместе, что, царапаясь ли и кусаясь, рыча, стеная, плача, мотая ли головою из стороны в сторону, словно казнимые на кресте, мы не зверели все же, а, наоборот, — возвращались к изначальному, далекому от грубой зверовидности — невидимому состоянию чистых монад. Когда-то мы были невидимками — и снова становились ими. Слепящие мгновения оргазма — эти жалкие несколько секунд — возвращали нас к тому времени, когда мы еще были бессмертными, как Адам и Ева в раю.

Но почему этого не понимали все наши распрекрасные адамы, все до одного, — как смели в душе считать нас, ими же распаленных ев, — или даже вслух называть — *сучками*?. За что? За то, наверное, что мы чувствовали больше, сильнее их и могли несравнимо богаче ощутить на небольшом отрезке земного пути, который проходили вместе, все запахи, цвета, чарующие звуки и глубинные, подземные шевеления родниковых вод. Которые изошренно текут, льются тугими струями в своих глубинных укрытиях — и внезапно, торопливой ошупью выплескиваются на дно пустого грота, чьи смутно воображаемые размеры представляются огромными. И вот апофеоз, некий тугой и тесный выход, кольцевая каменная нора — и выплеск наружу родника, под сверкающий оркестр солнца, под щебет ласточек, под какую-то дикую немелодичную песнь, которая оказывается твоей собственной песней.

Мы оба по пояс в воде, в реке Гусь, словно крещаемые водным крещением, и мои руки, как лозы виноградные, обвилась вокруг высокой крепостной башни, могучей и непреклонной, и снять своих рук вертоградных, испуганных и дрожащих, не могу я с этой башни, могучей и непреклонной, словно нет у меня больше ни правой руки, ни левой, а срослись они там, на смуглой выйной башне моего возлюбленного, и стали словно одна виноградная лоза... Мы очнулись и оказались лицом к лицу, поэтому наши взгляды были направлены в разные стороны: Анна увидела солнце,

взорванное в небесах, Валентин постепенно вернул свое внимание тому, что давно уже начало его беспокоить и смущать.

Он смотрел на два белокаменных храма, с холмов молчаливо взирающих на нас. Синее небо, подлинно великое, и кипенно-белые облака повисли над нами — в головокружительной высоте. Мы еще постояли недолго, обнявшись, оба уже прочно утвердившиеся ногами на песчаном дне, покружились в воде, словно танцую, а затем разъяли наши руки. Они у обоих дрожали.

У Анны лицо было раздумным — даже сквозь красноту загара пробился пылкий румянец, — глаза ее сияли, но глядели снизу вверх на Валентина смущенно и умоляюще, — так покоренные взирают на победителей. А он выглядел не победительно, но подавленно — каким-то безрадостно поникшим и объатым тайными страхами. Нам же еще надо было перебраться через реку и по другому берегу, мимо огородов, вернуться пешком домой... Вот уже и произошло что-то — и тому есть грозные свидетели, — после чего остается только умереть... Впрочем, всякая живая тварь на земле что-то такое однажды должна совершить, после чего остается только умереть.

— Этого не было. Нет...

— Чего не было?

— Никогда не считал тебя «сучкой».

— Но ведь ты называл меня так.

— Это же было когда... Уже на второй год. И вспомни, при каких обстоятельствах.

— Отлично помню. Это когда ты застукал меня в лесу с Шикаевым. Но ведь я не без трусов под ним лежала. В джинсах была. Просто он навалился на меня и пытался поцеловать.

— Аня, эти наши разговоры — какое-то необъяснимое чудо в них. Великая милость для меня и для тебя... Ведь нас давно уже нет на том прекрасном свете, где даже в лесу, собирая грибы, мы могли позволить себе лгать и творить всякие бесчинства. Но сейчас-то зачем лгать? Перестань, пожалуйста... Ведь с Шикаевым у тебя все равно что-то было.

— Было, было, миленький. Как же не быть этому с Шикаевым. Ведь он настоящий половой бандит был, ни одной юбки не пропустил.

— Слесарь на техстанции?

— Нет, жестянщик. Он, подлый, умудрялся прямо во время ремонта машины затаскивать клиентку в свою каморку.

— И что, прямо на замасленных телогрейках?

— Так точно. И как ты угадал?

— О, это не так уж сложно. Думаю, что тебе не раз приходилось бывать в той каморке.

— Опять угадал. Считай, до встречи с тобой это происходило чуть ли не каждый раз, когда я ремонтировала машину на СТО. Станный был тип, этот Шикаев. Очень странный. Вне станции он никогда не подходил ко мне. Если и встречались нечаянно где-нибудь, едва здоровался, вид при этом имел самый робкий, смущенный даже. Он и тогда, в лесу, ни за что бы не осмелился приблизиться ко мне, если бы я сама не окликнула его...

— Ты шутишь, наверное, Анна. Как всегда, смеешься надо мной.

— Как тебе будет угодно, милый. Считай, что я пошутила.

— Но зачем, зачем тебе это было нужно?

— Что?

— Так шутить... Разве у нас не было все хорошо?

— Было все отлично. И ты молодчина, и я на высоте.

— Но зачем же тогда ...

— Не знаю, Валентин. Может быть, ты абсолютно был прав, назвав меня сучкой. По-другому это называлось — «свободная женщина». А по-нашему, простонародному...

— Аня, перестань, умоляю. Родная моя, единственная, ведь я в конце концов любил тебя и умер из-за своей любви к тебе. Вся жизнь моя оказалась бессмысленной, бесплодной — все равно, считай, по твоей милости. Весь мой земной дух, моя воля, мой ум сосредоточились только на тебе. Все остальное, кроме тебя, перестало существовать для меня. И что же? Жизнь прошла пустотой. Ты велела мне выстроить стену между нами... За что, Аня? Разве я заслужил это?

— А я? Чем я заслужила *мою* пустоту? Ты думаешь, мне очень нужны были все эти Шикаевы, и Таракановы, и Архиповы? Да будь они все прокляты с их идиотскими тыкалками. Нет, я не была «сучкой». Но это оказалось последним словом, обращенным ко мне, когда бандит Архипов там, в ванной...

— Замолчи! Прошу тебя. Я ничего не хочу знать. Зачем это мне? Разве можно хоть что-нибудь поправить? Нет, уже нельзя. Я хочу знать и помнить то, что было связано с нами — только с тобой и со мною.

5

То, что было впоследствии отнято у нас, Анны и Валентина, у каждого поодиночке, в разное время, — жизнь не имела цены и не могла быть никак оценена, даже определена в том, хороша она или плоха, потому что при каждом отдельном случае она подводилась к нулевому итогу. Если существует вечность мира, то меня, значит, с моим куцым сроком жизни, можно совсем не учитывать. Правда, и наоборот — если я все же существую и меня надо принимать всерьез, то не может быть и речи ни о каком вечном мире. Однако все имеется в наличии — и вечный мир вокруг меня, и я со своим прыщиком на губе. И в нарушение всех законов математики, в нем суммой нулей становилась единица. Но странная же это была единица! Возникая на сложении пары нулей, как в данном случае, она тем самым в обязательном порядке отправляла в небытие каждое из своих слагаемых.

Таким образом, только призрачная невидимость Анны-и-Валентина обеспечила наш метафизический дуэт силой голоса, справедливостью разума, живым устремлением к познанию окружающего пространства. И наоборот — пока и Анна и Валентин были живы, наш дуэт еще никак не возникал, мы были молчаливы, безвольны и как бы отстраненно взирали на поступки Анны и Валентина, не пытаясь в них вмешиваться.

Существующие в природе русских слов (которые вслух никем не произносятся), мы являемся чисто филологическим призраком, лингвистическим фантомом давно усопших дней и людей, метафизическим эхом невидимых мертвых душ. Нас невозможно «получить» с помощью химического или алхимического опыта, мы неуловимы для самых чутких электронных приборов — но мы существуем, в этом вы сами успели уже убедиться, и вы даже могли прогуляться с нами по окрестностям маленького городка, что на берегу реки Гусь.

Если сейчас зима, вы могли бы надеть на ноги валенки, потому что снег в лесу глубок и в нем можно увязнуть, чуть отойдя от дороги в сторону. А если сейчас лето, середина августа, то мы хотели бы предложить вам поехать вместе с нами в село Большое, где в действующем храме Воздвижения мы решили обвенчаться.

Будьте с нами в этот час — ведь когда мы венчались, никаких свидетелей с нами не было, мы не подумали о том, что брачующимся должны сопутствовать всякие дружки, подруги, шафера — это помимо родителей, родных, близких. И когда настало время возложить на наши головы венцы, вернее — подержать над головами жениха и невесты золотые короны, то никого из своих возле нас не оказалось, ведь мы приехали на свое венчание только вдвоем.

...И вы, благорасположенные к нам, встали тогда сзади, подержали венцы и вместе с нами прошлись вокруг аналоя... У вас были такие радостные лица, словно мы и впрямь оказались вашими близкими родственниками. *(Он был высокий, пожилой, в галстуке, с густыми, лохматыми бровями, с добрыми морщинами на лбу, она была также рослой, но значительно моложе, с приятным светлым русским лицом... Анна впоследствии не раз сожалела о том, что не надоумилась даже узнать их имена и сердечно поблагодарить...)*

В голове у Анны все смешалось и закружилось от волнения и страха перед священником, молодым, но уже лысеющим со лба длинноволосым человеком, с курчавой и, видимо, бережно возлеянной бородой, — который начал допытываться у Анны, была ли она на причастии перед тем, как идти под венец, и еще о том, который по счету у нее брак. Он не выспрашивал ничего подобного у Валентина, но почему-то вопрошал об этом у его молодой невесты — что ей было не по душе, и Анна во время таинства смотрела на батюшку отчужденными сердитыми глазами.

А тот, представитель новоиспеченного клира времен полного упадка империи, когда модным стало даже партократам ходить в церковь и с тупым видом креститься, стоя перед телекамерами, а вся посткоммунистическая культурная общественность так и порхнула в ренессанс воцерковления, — молодой священник совершал в этот день венчальный обряд бригадным методом. Потому что брачующихся подобралось довольно много, семь-восемь пар, окрутить же надо было всех — и батюшка организовал из молодоженов единую бригаду, сиречь ансамбль, чтобы ходили они перед ним, как послушные праведники перед Богом, и строем исполняли бы под батюшкиным командованием то, что было положено церковным уставом.

После венчания мы возвращались в город тихой асфальтированной дорогой, проложенной через просторные березовые леса. *Был бы я жив* — воспринимал бы сейчас пролетающие сквозь листву лучи солнца как разливаемое за березовыми кронами в небесные синие бокалы море белого огня, слепящие брызги которого миллиардами искр падают на зрелые восковые листки августовской зелени? *Была бы я жива* — казался бы мне тот путь через неторопливый, долгий лес все время взлетным, словно я не машину свою вела, а поднимала в воздух самолет? И вот, убедившись наконец, что высота нас к себе не принимает, я притормозила «жигуленка», съехала с шоссе и по ровному травяному подножию углубилась в эту стройную рощу белоствольных берез, красивее которых нет ничего на земле.

Были бы мы живы, в благополучии и все еще вместе — представилась бы нам сейчас та остановка в пути как самый возвышенный участок земного бытия — апофеоз нашей жизни? Я вылез из автомобиля, когда Анна, выйдя первою, уже обходила спереди и осматривала его критически-удовлетворенным взором, — мой «жигуль», по случаю торжества до блеска вымытый автошампунем, недурно смотрелся, но я не полюбоваться им захотела, а вовсе другого, с тем и направилась к ближайшим кустикам.

И в зарослях молодого подростка постепенно исчезала ее белая стройная фигура, но еще какое-то время виднелась над зеленой кущей озиравшаяся по сторонам хорошенькая головка с высоко поднятыми на затылке волосами, подхваченными широкой лентой-повязкой — нет, это была не лента и не повязка, то была особого рода свадебная фата, которую я сама себе соорудила: пришитые к васильковому галуно, собранные фестончиками белые рюши. Такого же василькового цвета был на мне тканый пояс, два с половиной сантиметра шириною, который на талии перехватывал мой подвенечный ансамбль: белую кашемировую юбку до колен и белую же шелковую блузку с длинными рукавами, на шее — нитка крупного жемчуга. О, это был класс, то, что я придумала — в пику этим пышным и пошлым кукольным платьям, по своей унылости скорее напоминающим погребальные уборы, чем свадебные наряды.

Исполать нашим милым земным подругам в белоснежных нежных одеждах, исчезающим в зеленых зарослях лесного подростка, — поначалу я, ни о чем не думая, направился было вслед за Анной, но она, моя красавица, остановилась, обернулась и властно махнула в мою сторону рукою, словно узкой розовой ладошкой издали шлепнула меня по лбу.

Тотчас на поглупевшем от счастья лице Валентина появилась широкая улыбка, делавшая это лицо еще глупее; мой суженый, к свадьбе наряженный, в строгом костюме, при галстуке, остался сзади, топчась на месте, словно ручной медведь, а я направилась в укромную глубину зарослей.

Я проводил взглядом эту самую дорогую для меня на свете шальную головку, пока она не утонула в сверкающей массе зелени, облитой потоками солнечного света. А я все дальше углублялась в подросток — и вдруг внезапная боль пронзила мне сердце, и я заплакала. Я шла, почти ослепнув от слез, и раза три натыкалась на какие-то низко висящие ветви, которые могли испортить мой подвенечный наряд. И хотя почти обошлось благополучно, все-таки на рукаве рубашки остался темный след от веточки, зацепившей ткань. Я рассматривала это пятнышко, смиренно пребывая на короточках, ощущая себя в самом надежном укрытии, осторожно поскребла ногтем нежный шелк, пытаюсь удалить грязный след — но тщетно, — и вдруг заплакала еще горше. Это когда я вытянула перед собою правую руку, распрямила персты свои и полюбовалась новым обручальным колечком, сверкавшим на безымянном пальце. Что происходило со мною там, без свидетелей, в зеленых кустиках, в минуту, когда я была жива и, кажется, по-настоящему счастлива?

Я тоже ощущал себя счастливым — небывало, нестерпимо, — но, тихо разгуливая по траве недалеко от машины, также испытывал душевную смуту на грани нервических слез... Никогда я не стремился заглядывать далеко вперед, не загорался желанием совершить какую-нибудь гениальную глупость, всегда помнил, что я такая же заурядная невидимка, как и все вокруг, начиная от букашки и кончая Полярной звездой. И вот взял да женился, обвенчался в церкви — что теперь будет с нами, господа букашки в траве и господа звездочки на небе? Не кажется ли вам, что золотые кольца, надетые на наши безымянные пальцы, — это два круглых нуля, сложение которых дает совершенно чудесную единицу?!

Мы как единое целое появились на свете именно в ту самую минуту, когда взаимно окольцовывали друг друга, — и с того времени будем существовать во вселенной вечно, всегда. Правда, никто на свете, кроме нас самих, Анны-и-Валентина, не будет свидетельствовать о нашей совместной вечности. И мысль об этом явилась причиной особенно пронзительного укола мне в самое сердце, и я тоже слегка всплакнул, разгуливая возле машины в лесу, населенном изумительной красоты и могущества высоким белоствольным народом.

Что такое необыкновенное мы ощутили тогда, в самый счастливый для нас день жизни, в замечательное время русского лета, в дивной березовой роще, — какая особенная скорбь могла затронуть нас, если мы оба прекрасно знали, что бессмысленно удивляться тому, как все красивые леса и лучшие дни теплого августа, напоенные грибным духом, и прохладные ночи, пронзенные огненными стрелами звездопада, со временем превращаются в невидимок? Наверное, хотелось, чтобы у нас-то вышло по-другому, мне отчетливо подумалось: *может быть, я женился на богине*, — а на бедную Анну напал, наверное, тайный страх, предчувствие того, что должно было случиться с нею в Москве.

А когда я вышла из кустов, снидя восояси, вся из себя в порядке и вновь образцово-прекрасная, впрямь богиня, издали навстречу заспешил Валентин, всем своим видом и всей своей неуклюжей, своеобразной грацией выразивший, насколько он рад вновь увидеть меня, — даже поскакал тягелым галопом, как обрадованный щенок сенбернара.

И в ту самую минуту, когда разлученные роковыми обстоятельствами влюбленные вновь соединились, встретившись на лесной прогалине, у дальнего поворота дороги раздался громкий треск — из-за кустов выскочил мотороллер с одиноким, сосредоточенно смотрящим вперед пилотом, у которого были кепка на голове, козырьком повернутая назад, длинные, развевающиеся темные волосы, длинная темная одежда до пят.

Поравнявшись с нашей машиной, отстоявшей в стороне от дороги метров на сто пятьдесят, роллер вдруг круто свернул в нашу сторону — и вскоре остановился возле, заглушив мотор и тем самым подарив лесному миру совершенно неподобную тишину. Мы стояли рядышком, Анна и Валентин, держась за руки, а перед нами все еще восседал на мотороллере, покоя одну руку на руле, а другой рукою снимая с головы непорядком надетую кепку, его длинноволосый в черной священнической одежде пилот — наш знакомый батюшка, который недавно венчал нас.

— Гуляете? — спросил он первое, и нам показалось, что в его голосе сквозит какое-то неожиданное для нас подострастие, зависть даже...

— Гуляем, — ответила Анна, и в тоне ее ответа прозвучал вызов и даже отдаленные нотки мести...

— А бумага забрали? — задал священник второй вопрос, и мелодия речи стала совсем иною — сухоовато и деревянно прозвучал на этот раз его голос среди лесной тишины. Ни дуновения ветерка, ни шелеста листвы...

— Вы имеете в виду свидетельство о венчании? — опережая Анну, поспешил ответить Валентин.

— Да, справочку. И квитанцию об уплате.

— Все получили, за все заплатили, не беспокойтесь, владыка, — на сей раз опередила Анна.

— Меня нельзя называть владыкой, — усмехнувшись хмуроватыми глазами, ответил священник. — Я пока что всего второй священник в церкви.

— Кто-то, наверное, забыл взять документы? — спросил Валентин.

— Да, одна какая-то парочка.

— Может, еще не удосужились подойти? Гуляют возле церкви, вот как мы здесь, — миролюбиво продолжал Валентин.

— Никого не осталось, все разошлись.

— Вернутся в другой раз, батюшка, уж не беспокойтесь. Они, должно быть, просто очень разволновались при святом таинстве, — ханжеским тоном молвила Анна, и голубые глаза ее отнюдь не благочестиво уставились в черные очи молодого священника.

Он слез с роллера, поставил машину на рогаые подножки, снял с головы кепку и, отвернувшись куда-то в сторону, к глубине леса, перекрестился. Затем подошел к нам, причем Валентин, желая загладить нелестное, очевидно, впечатление батюшки от тона и речей Анны, захотел приложиться к его незанятой правой руке — в левой тот держал кепку. Валентин уже свою руку протянул вперед, желая снизу подхватить белую кисть батюшки под ладонь, одновременно нагнулся и, кажется, уже вытянул для поцелуя губы — но священник проворно отдернул свою руку и спрятал ее за спину.

Никак не объясняя этой своей немилости по отношению к жениху, батюшка даже не взглянул на него и со строгим видом обратился к невесте:

— Послезавтра обязательно придите ко мне на исповедь. Обоих касается. Надо вам помолиться, покаяться и причаститься.

— Приедем... обязательно приедем, святой отец, — давала Анна лживые обещания, проникновенно глядя в глаза священнику. — Как не прийти, нагрешили уж больно много. Надо покаяться, вестимо.

Молодой священник сначала как бы через силу усмехнулся — потом внезапно залился звонким хохотом. В курчавой реденькой бороде его просвечивал розовый подбородок, ранняя лысинка надо лбом, в обрамлении длинных волос, сверкнула на солнце синеватым бликом. Батюшка развес-

лился от столь явного разыгрывания Анною шута горохового, и мы вмиг ощутили большое облегчение на душе — он стал нам понятен, почти ощутился ровесником. Валентин также невольно рассмеялся, глядя на развеселого попа-роллиста, который уже натягивал на голову кепку и вновь козырьком назад — собираясь садиться верхом на машину и мчаться дальше.

— Святым отцом тоже не следует называть меня, не надо этого, — улыбаясь, наставлял он Анну, — пусть так католики называют своих священнослужителей. А мы, православные, всегда помним о своих грехах и не называем себя святыми.

— А как же вас называть прикажете, батюшка? Так нельзя и этак нельзя, — искренне попеняла ему Анна.

— Так и называйте... Для всех, в общем-то, я отец Владимир.

— Отец Владимир... А вы женаты, есть у вас супруга, то есть матушка? Где вы живете? И куда вы едете — в город? — засыпала его вопросами Анна.

— В городе и живу. Там у меня временная квартира. Назначен сюда недавно, всего месяц как будет. Квартиру при храме для меня еще не приготовили... Матушки нет, я иеромонах. Пострижен, согласно данному обету, не должен иметь жену, — словно отчитался отец Владимир, усмехаясь, бегло глянув на Анну, на Валентина, затем уставясь темными глазами в глубину белой березовой рощи, насквозь пронзенной сверкающими стрелами солнечных лучей.

— Как же так? Ведь вы такой молодой, — заволновался теперь и Валентин. — Извините меня, но я знаю... Не очень-то радостно жить так...

— Вы знаете, как надо жить, чтобы было радостно? — все так же непонятно усмехаясь и глядя в сторону, молвил иеромонах.

— Ну, что вам сказать...

— Нет, не знаете, — решительно перебил отец Владимир; пригнув голову и обе руки возложив на рукояти руля, он принялся ногою гонять дрыгающий рычаг стартера. — И никто не знает, пока не обратимся к Господу.

Двигатель схватился, затарахтел, и сквозь его шум лихой мотороллист в длинной рясе, из-под полы которой выставлялись синие джинсы и нога, обутая в новую кроссовку, прокричал напоследок:

— Придите послезавтра оба! Поговорим. Я вас научу...

С этим он и отбыл, поехал, видимо, на свою временную квартиру, а мы остались в осиянном лесу, чтобы продолжить день самого большого счастья, какое только могло быть отпущено нам. Однако прерванное внезапным появлением священнослужителя, высокое мгновение прошло безвозвратно, хотя мы еще довольно долго разгуливали по березовой роще, взявшись за руки, и даже нашли несколько хороших грибов, не отходя далеко от машины. Видимо, иеромонах увез на своем мотороллере секрет того, как надо сохранять веселье и радость земного бытия. Он обещал, правда, научить нас этому, но к назначенному времени мы к нему не поехали, а потом и вовсе забыли про уговор с отцом Владимиром.

Может быть, именно этому человеку удалось бы спасти нас и решительно повлиять на благополучный исход нашей общей судьбы. Как знать. Однако что надо разуметь под благополучием судьбы? Встречу ли на этом свете двух людей, которые, полюбив друг друга, сделались от этого несчастливы, — или лучше было бы для них совсем не встретиться? И как говорила Анна, вотще надеяться на наших мужичков, которые сами-то боятся жить и вот-вот помрут от своего непобедимого страха.

Чем был смог помочь священнослужитель, отец Владимир, окончательно сброшенному в книге земного бытия со счетов дохода в графу убытков Валентину, давным-давно потерявшему всяческую цель в жизни? Я понимал это и примирился со своей невидимостью в истории славной родины — и, признаться, мне даже нравилось собственное ничтожество. Так

было даже удобнее — невидимки истории не отвечают за ее пакости... А отец Владимир, в джинсах, верхом на мотороллере, — о Господи, для чего Ты присылал его к нам туда, в белый березовый лес?

После венчания мы поехали в Москву и организовали великое переселение почтенного экс-доцента из первопрестольной девяностых годов в провинциальный захудаленький городишко на реке Гусь. И вскоре после этого наступила осень, которую помолодевший, свежескрашенный кандидат филологических наук встретил в качестве учителя истории городской средней школы, где учащихся было не более сотни. Он втайне гордился тем, что сумел стать выше предрассудков и всяческой конформистской дребедени — единственно по зову любви да из-за желания быть счастливым рядом с любимой женщиной, не моргнув глазом перечеркнул всю свою карьеру.

Но втайне он разумно предполагал, что с Москвой у него отнюдь не все порвано, ведь квартира московская оставалась за ним (в провинциальную школу его взяли безо всякой волокиты выписки-прописки, с руками, с ногами, ибо за всю историю школы никогда в ней не работал учитель с научной степенью) — Москва не терялась окончательно, поэтому не исключалась возможность, что Анна когда-нибудь захочет переселиться в столицу. От такой чести она почему-то сразу же и решительно отказалась — Анна не могла бы тогда и самой себе объяснить, что заставляет ее упрямо отвергать самое естественное выгодное положение, к которому неожиданно подвела ее судьба.

Итак, за лето вполне установившись в своих берегах, река нашей мистической страсти потекла более спокойно и размеренно, и уже настала возможность осмотреться и определить, в каком положении и на каком свете мы оказались... Странными и, в сущности, по-людски даже страшными были для каждого из нас два вместе прожитых года. Валентин вполне познал ад душевный, кромешный, когда человеку кажется, что в груди у него все вытлело и там буквально воняет гарью и через ноздри вышибается горячий газ. Только чиркни огненной искрой — и все кругом полыхнет... Может быть, когда-то и впрямь были счастливы в своем самом первом браке монады Анны и Валентина, — и вот после бесконечных преобразований и скитаний по разным мирам вновь встретились — на Земле — и узнали друг друга... Но слишком долгое время они, видимо, находились врозь, слишком круто жили по-разному, слишком много любили других.

А при встрече обнаружилось, что оба они уже являются безнадежными мутантами. Начиная от людей времен Пушкина, русское общество прошло несколько ступеней мутации, отразившихся на новых поколениях удивительным преобразованием их природной искренности в чистейшее лицемерие. В результате чего, например, Валентин вначале, в годы оны, стал партийным членом, а потом, когда это членство стало вредным для здоровья, он сжег партбилет.

Душа Анны претерпела не менее изощренные операции перемен, итогом которых стало удивительное несоответствие, когда нежная и изящная женщина, чувствующая себя в душе не только человеком пушкинского времени, но и самим Пушкиным — Анна не раз говорила мне, что в ней возродился Александр Сергеевич, — была глубоко несчастна из-за того, что он-то все стихи уже написал в своей *другой* жизни, а на ее долю остались только чувство оскорбленности, униженности бездушным светским обществом да возможность весело ругаться натуральным русским матом. Но, будучи преподавательницей литературы в школе и аспиранткой в институте, она и тут не могла реализовать свое умение — и проверяла достигнутое за многие годы трудов мастерство исключительно на Валентине.

И тем не менее наедине с самой собою она переписывала в специальные интимные альбомы — по примеру таких, какие заводили в пушкинские времена нежные образованные барышни, — любимые стихи почитае-

мых ею поэтов. Мало того — она делала в этих же альбомах зарисовки, подкрашенные нежной акварелью: иллюстрации к стихам или просто импровизированные рисунки, изображающие различных великосветских красавиц в платьях прошлого века.

Когда однажды вечером она показывала мне эти альбомы, мы были в комнате, которая называлась «папиным кабинетом», я долго молча смотрел на Анну, не зная, что и сказать. И наконец с трудом высказал то, в чем должен был признаться уже давно:

— Аня, я тебя, оказывается, не понимал.

— О чем ты, милый?

— Но это хорошо, что не понимал. Это просто прекрасно.

— Что хорошего...

— Ведь ты — совсем еще маленькая, девочка моя...

— А ты думал?..

— Что я думал! Это полная ерунда, что я раньше думал. Но зато как прекрасно, как неожиданно увериться, что я все-таки женился на богине.

— Сдалась тебе эта занудская богиня, мать ее... так и разэта.

— Аня, все слышно, — я показал ей на дверь, за которой в своей комнате находилась падчерица, делала уроки. — Как бы ты ни старалась, но тебе больше не убедить меня, что ты обычная мешаночка, похотливая, как кошка, а не удивительная, прекрасная богиня.

— Ну спасибо. Думаешь, что твои слова приличнее моих... Если, блин, я твоя там богиня-фраериня и все такое прочее, то какая, спрашивается, может быть мешаночка тогда?.. И вообще — сам ты похотливый кот, вот что я тебе скажу!

— Что ты еще записала в своем альбоме? Кроме стихов, я имею в виду?

— Прозу, разумеется.

— Какую прозу?

— А вот такую, похотливый кот.

— Аня, не сердись. Я ведь всего лишь хотел тебе сказать, мой дружочек, что очень, очень люблю тебя.

— Ну спасибо! Ну класс! Исполать тебе, детинушка крестьянская. Как ты, оказывается, можешь *это* произносить...

Прозою же в этих удивительных альбомах явились переписанные Анною от руки фрагменты из отечественных и зарубежных книг, разные галантные сцены, в которых демонстрировался изящный стиль. Одну из образцовых цитат Анна зачитала мне вслух: *«Вальтер хотел возразить. Но оказалось, что чувство, поднявшее его на ноги, было не только торжеством, но и — как бы сказать? — желанием на минутку выйти. Он колебался между двумя желаниями. Но совместить одно с другим нельзя было...»*

Нет, нет! Мы не должны были расходиться, ведь это очень и очень важно, когда люди находят друг друга — успеют найти друг друга в своей быстротечной жизни. Особенно если это касается так называемых маленьких, ранимых, не очень сильных людей — и тем более если их чудесная встреча произошла на земле, в стране, где по какой-то неизвестной причине часто рождается большая беда. В такие времена выдвигаются вперед другие люди, отнюдь не маленькие, а весьма здоровенные, без колебаний ранящие кого угодно. Что для них альбом провинциальной барышни со стихами, с образчиками галантной прозы? Что для них и сами эти барышни, умеющие делать аккуратные, раскрашенные акварелькой рисунки, каждая линия в которых доведена до такой степени отточности, что уже не замечаешь их профессиональной слабости. И я успокоился тогда, подумав, что вся эта детская игра, тихий лепет моей Анюты не нужны беспощадным «новым русским», ну и Анне не нужны они также. Она нужна мне, а ей, стало быть, нужен я... Мы оба почувствовали, что всеобщая

жизнь вокруг возвращает себе примат древнего эгоизма над слабеющим альтруизмом и решительно отказывается от закона любви к ближнему как к самому себе.

Анна первую осознала, что та внезапная любовь, которую она обрела в Москве, ни к какому особенному счастью ее не приведет. Одиночество на этом свете, которое она боялась и ненавидела больше всего, ничуть не начало слабеть или уменьшаться с приходом в ее жизнь, в ее дом, этого человека. Надеяться на такого любимого было нельзя. Он не хотел иметь с нею общих детей, и в тяжком будущем, в последний час, который был для него, очевидно, еще далек, а для нее уже очень близок, Валентина не будет рядом с нею.

6

Во время одной самостоятельной прогулки по городу, зимою, Валентин убедился, что он женился все же не на богине, а на какой-то совсем неизвестной ему лукавой женщине. В этот день Анна впервые ушла куда-то одна, ничего не сказав ему, был опять-таки выходной (и это было *во вторую* их совместную зиму, на этот раз его память была совершенно просветлена и уверена в себе) — после обычной необузданной воскресной любви поутру, в коей жена не отказала мужу, он снова уснул, а она встала и потихоньку ушла из дома.

Валентину пришлось завтракать одному, сидя в остывшей кухне и угрюмо поглядывая на свет непроницаемого обмороженного окна. В тот день падчерица Юлия не ночевала дома, накануне ушла в гости к бабушке с дедушкой — впервые Валентин почувствовал, какой он случайный здесь гость, чуждый, небрежно одетый, в холодном немилым доме... Кажется, он наспех завершил трапезу и, оставив грязную посуду на столе, быстро собрался и вышел на улицу.

Мы сейчас вспоминаем, как один из нашего дуэта невидимок, Валентин, замотанный в черно-красный клетчатый шарф, в пальто из толстой серой шерсти с каракулевым воротником, в серой же каракулевой шапке-«горбачевке» шел по улице окраинной городской слободки — фигура уже и тогда довольно-таки ретроградная, словно вытасченная из давнего прошлого, из нафталином пропахших гардеробов советской номенклатурной буржуазии. В этих лакированных шкафах, словно в бронированных сейфах, советский буржуй хранил свои одежды и чистое белье, а в зеркалах, обычно вмонтированных в створку гардероба, упрятывал свою бритую физиономию с синеватыми дряблыми щеками, которые так rispetтабельно провисали с обеих сторон подбородка. Бывало, весело теребя Валентина за эти кожистые складки, Анна называла их пайковыми котлетками и уверяла, что они очень украшают партийно-государственных работников, делая их весьма похожими на служебных и охотничьих собак с брылями. В особенности она ценила, когда эти номенклатурные брыли плавном перетекали во второй подбородок. Перед такой красотой женщине невозможно устоять, уверяла Анна и рассказывала Валентину, каким красавчиком был ее папа Фокий Дмитриевич, третье или четвертое лицо районной советской власти, и как он был чем-то похож на Валентина.

И вот он движется по улочке, действительно внушительная фигура среди этих провинциально-девственных белых сугробов, на которые тихо опадают с придорожных деревьев легкие, словно пена, снежные комочки. И совершенно неожиданно вдруг вспоминается нам, что сердце бывшего доцента, всю жизнь прожившего в Москве, гигантском сверхгороде, тоскливо сжалось, когда он увидел на своем пути, на дне снежной канавки, по которому шествовал, — стоит другая фигура, далеко не внушительная. То был некий работяга в классической замасленной телогрейке, в косо натянутой на голову шапке с торчащим вверх, как у беспородного пса, одним

ухом, в провисших на задку широких штанах рабочей спецовки, — на шатких ногах, пьяненький, достигший состояния счастливого, блаженного идиотизма.

Может быть, это оказался единственный на весь город дежуривший в воскресенье работяга с местной кочегарки, и он шел домой после ночной смены, но по дороге успел кое-куда наведаться — именно его и должен был встретить Валентин в тот день своей самостоятельной прогулки по городу. Приближаясь к нему, мирный экс-доцент почувствовал, что весь напрягается: а что, если пьяный начнет привязываться, — и вместе с этим вдруг вспомнил чьи-то слова, сказанные по поводу восставших декабристов: *страшно далеки они были от народа*. В тот же миг ощутил всем своим существом ошеломляющую скуку бытия, принятого и установленного для себя мирными обывателями этого маленького провинциального городка.

Благополучно обойдя пьяного человека, с отсутствующим видом стоявшего, слегка покачиваясь, прямо посреди снежного прохода, Валентин долго выбирался к выходу на центральную улицу, где вокруг небольшой площади располагались продовольственный магазин, магазин промтоварный, магазин хозяйственных товаров, а также кафе «Ветерок».

Мы помним об этих государственных едальнях для простого народа, возле которых смачно воняло распаренной во щах прокисшей квашеной капустой и где царил особенный дух казенной обжорки. Словно еда готовилась там не для поддержки здоровья конкретного человека, а варилось и жарилось для анонимного горе-невидимки, которого желательно скорее отправить на тот свет. Анну Валентин увидел, подойдя именно к такому кафе ширпотребного разряда, — дверь его, обитая желтыми лакированными рейками, вдруг распахнулась, оттуда буквально вывалилась, едва устояв на ногах и чуть не растянувшись на обледенелом крыльчке, с громким смехом поддерживая друг друга, развеселая парочка — Анна и какой-то скуластый молодой мужчина в темно-синей куртке, в бобровой шапке.

Не успел Валентин и глазом моргнуть, буквально остолбенев от неожиданности, как развеселая парочка, держась за руки, бегом кинулась к подошедшему автобусу — и уехала на нем. Надо сказать, что тот городок, в котором Валентин испытал, ближе к концу своего пребывания там, дичайшие муки ревности, имел в системе общественных услуг не только кафе «Ветерок», но и автобусную линию, всего одну, правда, и то не очень длинную — на шесть километров по замкнутому маршруту, туда и обратно.

С угрюмым, независимым видом притоптывая на месте, с удивлением ощущая, что в этот день и великолепные итальянские башмаки на меху почти не греют, и ноги постепенно наливаются холодной тяжестью бесчувственных колодок, Валентин стоял на остановке и ждал следующего автобуса, не зная того, что по городу ходят всего две машины и они никогда не торопятся, в особенности по выходным дням, когда народ не спешит на работу, а сидит по домам.

Голубой обшарпанный автобус подкатил наконец — и Валентин влез в салон и увидел, что в нем оказался единственным пассажиром. Никогда до этой минуты, ни разу в жизни он не задумывался над тем, что когда-нибудь его не станет — а мы все равно неукооснительно будем наблюдать за ним. Потому что своим исчезновением из мира он и породит нас, помнящих его вечно.

Иначе никакого смысла не было бы Творцу создавать любое существо, будь то я, железный паровоз или эфемерная бабочка-поденка, — так думал Валентин, неодобрительно оглядывая салон общетранса. Молодой водитель в свитере с высоким и широким, налезавшим на подбородок воротом, кирпично-румяный, круглощекий, мягколицый, словно громадный младенец, склонив свою ежиком стриженную голову, заполнял шариковой ручкою какой-то документ. Валентин сел позади него, пытаясь хоть этой

максимально доступной близостью к человеку одолеть, нейтрализовать тяжелейшую боль одиночества, вдруг навалившуюся на его сердце. И шофер автобуса, закончив писанину, весело взглянул через зеркало заднего обзора на единственного пассажира, сманипулировал рукою закрытие пневматических дверей в салоне — и, взгудев, заурчав двигателем, автобус стронулся с места, безвозвратно оставляя позади себя прошедшую тяжелую минуту.

Которая была все же не так уж плоха для Валентина — если сравнить ее со следующими злейшими минутами, ожидавшими его на круговом пути автобусного маршрута. Нам трудно сейчас определить, где, в какой час встретились ехавшие навстречу автобусы, — два одинаковых голубых автобуса остановились посреди заснеженной дороги. И словно два дружественных пса, они, косясь друг на друга, о чем-то переведались, а после отправились далее, каждый своим путем. И в минуту именно этой краткой встречи двух машин Валентин увидел, выглянув в круглую дырочку, протаянную, очевидно, дыханием чьих-то сложенных дудочкой уст, как из-за встречного автобуса выбежали Анна и ее спутник в бобровой шапке. Прежнему держась за руки — словно целый день и не расцеплялись, — промелькнули мимо машины, в которой находился Валентин. Они исчезли в одном из ближайших проулков, где экс-доцент никогда не бывал.

— В тот раз я весь день провела у Тумановых, у свекрови. Поехала за дочерью, вечером мы были дома.

— Тогда кого же я видел? Причем два раза, и все возле автобусов, и всякий раз с мистером Бобровой Шапкой...

— Во-первых, у Туманова, у моего первого мужа, никогда не имелось бобровой шапки. Это был по призванию нищий музыкант. Не по Сеньке шапка-то. А во-вторых, в то время, когда тебе привиделась бобровая шапка, мой прежний муж как раз находился в доме у родителей, и мы обедали всей семьей — бывшей семьей, я хотела сказать...

— Выходит, Аня, я в тот день дважды обознался... Или ты, как это часто бывало в твоей жизни, непонятно для чего сейчас говоришь неправду. Ты забыла, очевидно, что сказала мне в тот вечер, вернувшись домой, а теперь вот рассказываешь совсем другое... Ошибаешься или врешь?

— Но ведь и ты, милый, возможно, ошибаешься сейчас или врешь.

— Как же я могу врать, если видел тебя вместе с каким-то человеком и вы ходили взявшись за руки? Как я могу убедить самого себя, что этого не было?

— Но если и на самом деле этого не было?

— Тогда, значит, и тебя там не было. И человека в синей куртке, в бобровой шапке, скуластого, с косматыми бровями. И меня тоже там не было. И вообще я в тот день никуда не выходил со двора. Я слонялся по всему дому, заскучав в одиночестве, потом нашел в «отцовском кабинете», на книжной полке, старый журнал с «Осенью патриарха», завалился с ним на диван и стал читать.

— Вот видишь! А ты говорил когда-то, что прошлое исправить нельзя. Еще как можно, оказывается.

— В воспоминаниях наших, конечно, можно кое-что изменить, перестроить. Но не в самом же прошлом, Анна!

— А что, разве воспоминания — это и не есть прошлое? И то, чему мы сейчас предаемся, — не попытка ли наша вернуться из стерильной вечности в испачканное прошлое? С тем чтобы хоть что-нибудь в нем подчистить, изменить, хоть капельку подтереть...

— Но теперь у нас общие воспоминания... Как быть? Ведь трудно определить, кто ошибается, а кто заведомо врет, чтобы немножечко подчистить или подтереть, как ты говоришь.

— Это значит, что ты упорствуешь в том, на чем стоял.

— Нет, вспоминаю то, что видел своими глазами.

— В тот день я ездила за дочерью, вечером привезла ее от бабушки...

— Уже было сказано.

— ...а ты говоришь, что видел меня, бегающую с кем-то за ручку по городу.

— Видел. И здесь подчистить, подтереть — не получается...

— Словно девчонка какая-нибудь, а не всеми уважаемая в городе учительница.

— Увы.

— Кстати, я ведь самой первой из наших обывателей попыталась учиться в столичной аспирантуре. Правда, попытка сия не увенчалась успехом.

— Очень жаль... Не понимаю, почему ты бросила все.

— А почему ты бросил все?

— Я... Представь себе, в моей серенькой жизни произошло чудо. Я женился на богине.

— Спасибочки вам, как говорила моя соседка Нюра... И что дальше?.. Отчего ты так выразительно замолчал, милый?

— Просто вспомнил...

— Вспомнил о том, как тебе стало грустно, когда однажды вдруг обнужилось, что женился вовсе не на прекрасной богине, а на самой обыкновенной побрякушке?

— Протестую! Не бывать этому. Я все переломаю в прошлом, но свою жену, свою Афродиту, верну себе.

— Так ведь она, Афродитка твоя, была самой популярной в городе публичной бабенкой, Валентин!

— Неправда! Это время было такое. Ты была не хуже и не лучше других. Уровень нравственности в обществе тогда стоял не выше нравственности рыб и гусей, плававших по реке Гусь.

— Красиво излагаешь, подлец. А может, это было хорошо — жить по натуральной морали птиц и рыб?

— Что же тут хорошего...

— Вот взять меня... По сравнению с тем, чего я ожидала от жизни, еще будучи маленькой девочкой с загорелыми облупленными плечиками, с ангельскими глазками, — то, что на самом деле получилось у меня, — просто кошмар, Валентин! Этого мне было не нужно!

— Но... все-таки хоть что-нибудь, наверное... было нужно? Хромой Гефест не был особенно красив, но он любил свою жену, добросовестно ковал для нее, не уставая.

— И этого мне было не нужно, и от этого я также готова была взвыть, как собака.

— Но я ведь не знал, Анна. Прими запоздалые извинения Гефеста. Чувствую, что из наших общих воспоминаний мне трудно будет выловить хоть что-нибудь утешительное. Хоть что-нибудь оправдывающее нелепое поведение пожилого мужа, от которого жена отвернулась, не желая поддерживать в его усердии ковать и ковать на своей излюбленной наковальне.

— До того ты меня доковал, скажу тебе, друг мой, что я едва держалась на ногах. Придя на работу утром, боялась, что коллеги наши или, не дай Боже, некоторые наши старшеклассницы многоопытные догадаются, почему это Анна Фокиевна ходит-шатается, как старая лошадь, в шаль кутается. Во время урока все норовит привалиться плечом к печке или куда-нибудь к стенке — хоть секунду подремать, прикрыв глаза и расслабив копыта...

— Каким же идиотом надо быть! А ведь я полагал, что приносил тебе упоительное блаженство.

— Не приносил, милый мой, а наносил... Как удар кинжалом. Хасбулат удалой.

— Чувствовал себя настоящим мужчиной... Кретин!

— Поэтому и держался гоголем в учительской? А ведь все думали, что это наш кандидат наук задирает нос перед своими серыми коллегами.

— Я-то полагал, идиот несчастный, что моя девочка не ходит, за стенку держится, а хочет отвернуться и скрыть от всех глаза, чтобы не догадалась по ним, как смущена она своим невыслымым женским счастьем.

— Ну, блин! Откуда у моего супруга была такая тонкая пронизательность? Как он знал женщину, подумать! И какое красноречие! Но довольно! Вотще мне дразнить своего бедного муженька. Для чего я это делаю? Разве я не любила его, пока была жива, и разве не казался он мне слегка стибанутым, но добрым инопланетянином?

— Казался таковым, наверное, но очень короткое время. В самом начале, Аня. Лето, осень. А потом наступили холода, и все твои иллюзии замерзли, как цветы на старой клумбе.

С того первого опыта лжи, увенчавшегося успехом (вечером пришедшая навеселе Анна сумела убедить Валентина, что была у свекрови, и там родители бывшего мужа устроили, мол, какой-то семейный праздник, на котором пришлось присутствовать и ей, ради дочери), пошло и все дальнейшее ее вранье, постепенно изъевшее, как ржавчина, наши семейные узы... А тогда Анна подтвердила (о чем впоследствии, видимо, совершенно забыла), что была днем в городе, в магазинах и в кафе «Ветерок», где вместе с бывшим мужем набирала вина и пива для праздничного стола. Бывшего же супруга она впервые представила Валентину значительно позднее, уже теплой весной, — и Валентин мог бы поклясться, что это был совсем другой человек, не Бобровая Шапка, с кем она рука в руке бегала по городу.

Нам сложно судить о том, кто из них ошибается в своих воспоминаниях, а кто лжет — и в действительности ли имела место такая личность, как Бобровая Шапка, или это явилось фигурой параноидального бреда ревности у бедняги Валентина. Мы не можем судить-рядить ни того, ни другого, потому что сами являемся всего лишь навсего словами-невидимками, призванными переливать из пустого вечного в порожнее бесконечное воспоминания двух невидимок, их былые речи, чувства, ночные мысли, тихо истаявшие надежды.

На самом ли деле воспоминания Анны не содержат в себе что-нибудь такое, чего никогда не бывало и не могло быть ни за что? Ведь нельзя ручаться, что, переходя из жизни в инобытие, душа Анны претерпела полное изменение и отказалась от прежних лукавых свойств и пристрастий. И если она вдохновенно врала, сообразуясь с какой-нибудь сиюминутной жизненной необходимостью, а не с истиной, — то могло ли быть такое, чтобы, освобожденная от всех противоречий лукавых человеческих истин, эта веселая душа не захотела бы опять соврать — по всякому поводу и даже без повода?

Те два года, что были нами прожиты вместе, для менее поворотливого Валентина оказались намного сокрушительнее по душевному мучению, нежели для его андрогинной сестры-супруги, постоянно державшей мужа в страхе и неуверенности. Она держала его в подобном состоянии, вовсе не имея злого умысла, — то весело признаваясь в совершённой измене, то решительно и полностью таковую отрицая, — и при этом исходила исключительно из своей душевной привычки высказывать не правду, такую, какая она есть, а всего лишь то, что повелевает ее переменчивое настроение.

И Валентин совершенно терялся, когда в одном случае она клялась ему, что доцент Дудинец, у которого она проживала во время своих наездов в столицу и который был ее прежним преподавателем еще в университете, никаких иных чувств, кроме канонического уважения и благодарности к себе, не вызывает у нее, бывшей студентки. А в другой раз, совершенно ничем не принуждаемая, вдруг с гримасой отвращения признавалась: до чего же этот Дудинец был противен ей своей физической неопрятностью, вечно какой-то потный, слюнявый, ходил в дырявых трусах...

И несчастный Валентин замирал, охваченный внезапным ужасом, и уставлялся на нее выпученными глазами. Бешенство ревности и злость одуряченного мужа нарастали в нем, подстегивая друг друга, со скоростью взрыва, — он таки однажды взорвался бы и натворил бед, если бы талантливая вруша не замечала в нужную минуту, словно невзначай, что она занимала квартиру своего уважаемого, но неаккуратного учителя только в том случае, если он на то время уходил пожить к какой-то своей старинной подруге в центре Москвы, на Вторую Ямскую, или уезжал порыбачить на дельту Волги. Зная обо всех этих житейских обстоятельствах коллеги, Валентин мгновенно успокаивался и облегченно переводил дыхание, прикрыв глаза и утомленно поникая головою: кажется, на этот раз пронесло, остался жив...

Но мы знаем, что припадки ревности, раз за разом все интенсивнее сотрясавшие Валентина, разрушили-таки его тревожное мужское счастье, — но душевного здоровья он не терял до самого конца. Даже в последние секунды жизни, когда сердце его уже отказало, — он ушел в смерть, как уходит с головою в ледяную воду, ясно осознавая, что все еще любит Анну и будет любить ее *всегда*... И нами это подтверждается: там, где времени больше нет и не будет, происходят их разговоры и звучит наш негромкий, слаженный дуэт, которому никогда не смолкнуть в пространствах меж вселенских звезд.

— На каком это месте, интересно, была дыра в трусах у Дудинца?

— На самом ироническом. Сзади, не беспокойся.

— Пожалуй, ты права. Не стоит мне особенно беспокоиться. При таком всеобщем падении нравов, которое мы могли наблюдать в то время, уже никакого значения не имело, в каком ракурсе ты могла наблюдать Рафаила Павловича. Полагаю, что подобных наблюдений у тебя было еще немало и над другими...

— Да, верно. А у тебя, Валентин?

— О, тоже предостаточно. Трудно будет подсчитать.

— И мне тоже. Не хватит, пожалуй, пальцев на руках и на ногах...

— Аня! Аня! Все погибло. Ничего, значит, и не было у нас с тобою, Анята. Это мне просто приснилось, что я тебя любил и поэтому умирал. Что я умер потому, что любил тебя одну и никого больше не мог любить. Жизнь обманула меня, тебя — нас обоих.

— Почему же, миленький? Нет, это не так. Вот если бы мы не встретились с тобою в этой жизни — тогда да, она обманула бы нас. Но ведь мы встретились там, на Пушкинской площади, и узнали друг друга. Мы успели побыть друг с другом вместе — целых два года! И за это время я окончательно понял, что ты мой человек, а я тоже твоя, и никто другой на свете мне не нужен.

— Тогда почему стена? Почему какой-то Шикаев, автослесарь, и какой-то учитель по физкультуре, Тараканов? И Бобровая Шапка? И тот же несчастный Рафаил Павлович? Думаю, были еще и другие.

— Были и другие... Тот роковой был, Архипов, по прозвищу Архип, московский бандит...

— Хватит. Не хочу больше слышать. Пусть кто угодно... Но этот сосед Тараканов! Жалкий пьянчуга, весь сморщенный, отец троих детей! Картошку выращивал, свиней держал — он-то зачем?

— Многие из наших учителей и картошку сажали, и свиней выкармливали. Жить-то как-нибудь надо было, на учительскую зарплату семью не прокормить...

— Ах, перестань, пожалуйста. Разве я об этом сейчас? Скажи откровенно: ты что, возненавидела меня? Все эти измены, и шуточки, и стена, которую велела мне выстроить, — это из-за ненависти?

— Какая там ненависть, Валентин! О чем ты? Мы же встретились (я уже говорила об этом) и узнали друг друга, — *и вот мы вместе, и уже все-*

гда будем вместе... Я венчалась с тобой, потому что захотела навечно закрепить за нами наше счастье, нашу любовь, наш брак — воистину заключенный на небесах, Валентин! А ты говоришь о какой-то ненависти.

— Но почему тогда все эти Таракановы, Шикаевы? Зачем ты (я вспомнил!) на весенних каникулах одна поехала к этому художнику, к Патрикееву, и пробыла у него целых три дня? А меня ведь так и не свозила к нему, хотя и обещала.

— Ах, ревность твоя — это болезнь твоя, Валентин. Ослепленный ею, ты ничегошеньки не понял. У Патрикеева я была, чтобы позировать ему, он давно просил.

— Позировала? Он писал тебя обнаженную?

— Да, обнаженную.

— Вот видишь! Поэтому одна и поехала, без меня.

— Но я только позировала, ничего такого у нас с Патрикеевым было. У него ведь жена, взрослая дочь, почти ровесница мне. Все они были дома, когда он меня рисовал. А тебя не взяла, потому что знала — не дал бы ты мне позировать обнаженной... И вообще ты должен понять наконец: никого, никаких таких Шикаевых, Таракановых и прочих у меня не было. У Тараканова в бане, когда я мылась там, кончилась холодная вода. Я крикнула ему, чтобы он воды принес... Вот и все.

— А ты хоть веничком-то прикрылась тогда?

— Прикрылась, не беспокойся... С того дня, как мы стали жить вместе, милый мой, никого другого у меня не было до самой смерти. Да и все другие, которые якобы раньше были у меня, — их тоже не стало. Ты был один в моей жизни — реальный мужчина, мой муж. Остальные оказались пустыми фантомами, растворились в воздухе, исчезли. Сюда относятся и Туманов, отец моей дочери, и твой институтский коллега, господин Дудинец... Был только еще один, самый реальнейший, — это бандюга Архипов.

— Довольно! Ведь я уже просил — хватит. Ничего больше не хочу знать о твоих бандитах, слесарях, бывших мужьях. Пусть будет по-твоему: никого из них не было, а был у тебя один только я. В это мне нетрудно поверить, потому что и у меня самого возникло такое чувство — когда ты стала мне женой, — что, кроме тебя, я ни одной женщины не знал. Когда ты стала моей, Аня, я уже никакую другую женщину не хотел. Так было и потом, когда ты велела мне построить стену, и мы разошлись. Как бы это сказать, Аня... Я совершенно перестал желать других. Мое желание женщины ты забрала с собою, а сама где-то затерялась в мире. Я действительно, оказывается, любил тебя — умирал.

7

Воспоминания Анны и Валентина в том виде, в каком они составились у нас, в данном эпическом дуэте, мало содержат в себе чего-либо постороннего, непосредственно не касающегося нас двоих, природы наших внутренних переживаний. Поэтому широкой картины событий того большого времени, близкого ко всеобщей катастрофе землян, не имеем в нашей общей памяти. А если и всплывают в ней какие-нибудь массовые или батальные сцены, то они привязаны только лишь к случайным впечатлениям каждого по отдельности — либо Анны, либо Валентина.

Так мы видим тускло-зеленого цвета одинокий танк, вползший задом наперед в жидкие кущи какого-то московского скверика и круто на сторону отвернувший свою длинноствольную пушку — очевидно, только чтобы не мешать проезжающему неширокой, но бойкой улицей автотранспорту. Анна миновала этот танк, близко проскочив возле него на своем «жигуленке», в удивлении притормозила машину и оглянулась, проверяя себя, уж не ошиблась ли, — нет, действительно это был самый настоящий крутолобый танк на могучих стальных гусеницах. Столь нелепым и чуждым

было присутствие боевой машины на этом замусоренном мирном скверике, недалеко от детской песочницы, столь непонятным и в чем-то даже смешным это явное стремление мутно-зеленого чудовища спрятаться, затаиться среди хилых деревьев и кустов маленького сквера, что озадаченная Анна довольно долго простояла на самой середине проезжей части, высунув голову из бокового окошка, поверх приспущенного стекла, и оглядываясь на неподвижную, но и в этой неподвижности опасную, грозную, бесчеловечную гору металла. Вскоре подъехала сзади серая «Волга», громко прогудела и с правой стороны объехала нелепым образом застрявшие посреди улицы «Жигули» — тогда только Анна стронула свою машину и поехала дальше.

Ей нужно было найти Валентина, который исчез сразу же после возведения стены, — на следующее утро Анна со всей отчетливостью поняла, каким несчастным и неестественным делом явился их развод, как глупо она распорядилась с этой стеной. Купила и завезла полтыщи кирпича, два мешка цементу, заставила Валентина, бедного, копать песок во дворе, чтобы тот мог замесить в большой цинковой лохани раствор... Он рассказал однажды, что в молодые годы ездил в Сибирь со студенческим строительным отрядом, недурно освоил там специальность каменщика.

Когда прямоугольное отверстие под самой потолочной балкой было заложено последним кирпичом, что-то будто оборвалось в сердце Анны, там ожгло горячей физической болью. Анна забилась в спальню, которая была расположена теперь *на ее половине дома*, бросилась в кровать и впервые за последнее время по-бабьи облегчительно заревела. Она поняла, что натворила беды. И чтобы поправить ее, Анна следующим утром, махнув рукою на стыд душевный и свое самолюбие, побежала к другому, противоположному, входу в дом — *на его половину*.

Однако там уже дверь была заперта, ключ торчал снаружи в замочной скважине — и ни записки, ничего... Большая беда выглядела будничной, ничтожной, как торчащий в двери ключ. В доме оставались почти все вещи и книги Валентина. Не забрал он и зимней одежды, оставил в шкафу, на верхней полке, свою каракулевую шапку-«горбачевку». Все это подавало какую-то пугающую больную надежду: *может быть, ничего не произошло, он понял, что я очень скоро умру без него, и никуда не уехал...* Должно быть, вернется назад.

Был ведь совсем недолгий, двухнедельный, разрыв в их отношениях, за это время и выстроилась стена. Всего две недели у них была отдельная постель, встречи лишь за столом, во время завтраков... Успели быстро, за один день, развестись через загс: общих детей не было, имущественных претензий друг другу супруги не предъявляли... Но ведь *это* нетрудно и поправить!

Все произошло после нашей летней поездки на юг, в Крым, на коктейльный берег, где на галечных пляжах в том году образовались огромные лежбища новоявленных российских нудистов, которые уже почувствовали вкус свободы, стремительно накатывавшей на страну, и с замирающим в сердце волнением, больше не боясь властей и милиции, демонстрировали друг другу свои обнаженные гениталии. Женщины и молоденькие девицы еще не совсем освоились со свободой, поэтому некоторые из них замазывали себе тело донной грязью, якобы целебной, а не то большей частью полеживали на животе, выставив на всеобщее обозрение лишь пышные загорелые зады. Мужчины же нудисты и совершеннолетние юнцы-курортники сразу вошли во вкус и валялись на пляже, а также передвигались по нему с самым непринужденным видом.

Нам особенно запомнился один молодой мужичок, еще совсем белотелый, видимо, недавно прибывший с севера прямо из какой-нибудь мелкой конторы. Он валялся на спине поперек пешеходной дорожки, что была протоптана под крутым обрывом на узкой полоске нижнего берега. Голу-

бое банное полотенце было брошено на землю, поверх оно возлежал сам хозяин, заломив руки за голову, и его незагорелая тыкалка согрелась, видимо, под лучами солнца и стала выглядеть гораздо значительней, чем сам хилый бледнолицый господин. Я была вынуждена перешагнуть через ноги юного господина, потому что не захотела обходить его стороной и тем самым выказывать свою робость перед его наглостью. Но это не понравилось моему мужу, который до этого шагал позади меня. Он демонстративно сошел с тропинки и, по колени в воде, окатываемый набежавшей волной, прошел по галечному мелководью, тем самым показывая пример, как надобно было поступить и мне.

В тот день и произошла наша самая решительная ссора, и где-то в глубинах подсознания, порождающих все наши мрачные пророчества, предчувствия бед, болезней, смерти, впервые призрачно промелькнула стена. Она вставала, неодолимая и беспощадная, между надеждами всех живых сердец, какие только бились на самых разных уровнях слоистого мира. Никому стена была не нужна. И нам тоже. И мне надо было предугадать, упредить, вовремя предостеречь... Но вместо этого я высказал жене все, что о ней думаю, неумело оттащав ее за волосы и после всей этой глупости сбежал от нее и один отправился на гору к могиле поэта Максимилиана Волошина.

А вечером, когда мы встретились за ужином, ссора наша продолжилась, и я ушел ночевать на пляж, оставив жену одну в фанерной раскрашенной скворечне, которую мы тогда снимали. И с той ночи, проведенной мною на пляжном топчане, я и стал понимать, что люблю Анну и поэтому умираю. Огромное чистое звездное небо, под которым я лежал лицом вверх, откровенно раскрыло мне все свое холодное безразличие к моей жалкой и ничтожной участи. Как я был мал перед этим небом — неприступной стеной, сложенной из булыжников галактик. Столь же мал и ничтожен был я перед своим горем и бескрайним человеческим одиночеством. И ни с каким другим человеком *это* невозможно было разделить — о, только лишь напрасно и тщетно разбередить, ранить, разодрать свое сердце.

Бросившись искать исчезнувшего Валентина, Анна попала в августовские события в Москве, и зеленый новенький танк, столь поразивший ее воображение, был предвестником этих событий, которым надлежало стать историческими для перманентно революционной России. Но на этот раз революция оказалась игрушечной — убиты были не тысячи или миллионы вовлеченных в битвы граждан, а всего лишь трое московских парней... Однако не об этом наша повесть. Мы не можем отвлечься и уйти в сторону от всего того, что претерпевали в это время два наших героя, две невидимки отечественной истории, — которая, впрочем, скрипела и двигалась усилиями неисчислимого сонма подобных же невидимок.

Я хотела проехать к дому Валентина, на Краснопресненскую набережную, полагая, что он вернулся в свою квартиру, — хотела обнять его, заплакать у него на груди и попросить прощения. Но судьба распорядилась иначе. Миновав затаившийся в скверике танк, я увидела по дороге дальше и другие танки. Выезды на Новый Арбат были перекрыты баррикадами, но я нашла какую-то лазейку, выскочила на широкий проспект. Однако далеко проехать не удалось — поперек улицы то в одном месте, то в другом были навалены какие-то бетонные обломки и кучи всякого железного хлама. Я поехала между этими завалами, виляя, как заяц на бегу, но вскоре всякая надежда попасть на набережную через перегороженный проспект пропала — дальше пошли сплошные баррикады. Я развернулась и стала вилять в обратном направлении, опасаясь только одного: как бы не наткнуться колесом машины на острую железку и не проколоть шину. Господи, только бы не это, только бы выскочить обратно, лихорадочно молилась я, — а тут вдруг спереди, слева из переулка, показался неспешно вы-

ползающий широкий БТР, который своими гусеницами придавливал к асфальту металлический хлам и, переваливаясь с боку на бок, взрывая, спокойно преодолевал заграды из бетонных чушек. О, как я боялась, что боевая машина возьмет да и выпустит по мне снаряды! Вот тогда я точно не доберусь до мужа, никогда не увижу его, не найду... И вдруг мне стало ясно, что я и так — без выстрелов пулемета — уже никогда не встречу и больше никогда не увижу его.

Но если бы знала она, что меня вообще нет в Москве, что я нахожусь у художника Патрикеева! Действительно — судьба, по-другому здесь не скажешь... После того как стена была закончена, я помыл руки и сразу же с небольшой сумкой, в которой были кое-какие пожитки, в сильнейшем расстройстве духа направился пешком к центру городка. Там, возле двух храмов, мимо которых проходила шоссе-ная дорога, мне удалось остановить проходящую машину, красную «Ниву», которая шла в сторону районного центра, откуда можно было уехать автобусом в Москву. И в этой машине водителем оказался — подумать только! — художник Патрикеев. Разумеется, когда хозяин машины сажал меня в свою «Ниву», я еще и знать не знал, кто он таков, но по дороге мы разговорились, и все выяснилось.

Я придал этой неожиданной встрече с Патрикеевым особенное значение. Подоплека судьбы, символика рока просвечивали слишком явно сквозь прозрачную оболочку случайности. Сердце мое востепенулось, и в нем зародилась некая надежда. Ну не хотелось мне уезжать от Анны! Смертная тоска навалилась на меня, как только я успел осознать, что же мы наделали... что я наделал! Сдался мне этот чертов нудист, через которого перешагнула Анна, — стоило ли мне из-за этого таскать жену за волосы и обзывать проституткой! Что случилось со мною, отчего такое затмение в голове? И возможно ли надеяться мне на прощение?

Ничего не объясняя Патрикееву, я спросил у него, нельзя ли будет мне сейчас поехать к нему и посмотреть картину, в которой моделью послужила Анна. Ничуть не удивившись, невозмутимый бородатый художник тотчас же согласился, и мы вскоре, миновав районный город, приехали в его большой бревенчатый дом на берегу озера. И там я пробыл два дня, потом возвратился в Аннин дом.

Вот почему я не смогла тогда найти Валентина в Москве — его и не было там. Стало быть, зря пыталась я прорваться к его дому, рискуя попасть под прицел пулемета. Я стремилась к человеку, которого хотела вернуть назад, домой, а он, оказывается, никуда не уехал и как раз в это время сидел дома. Что за свирепые шутки такие? Кто это шутил над нами?

Ведь мы оба спохватились и осознали, что нельзя нам друг без друга, и к обоим пришла решимость безоговорочно признать свою вину — и надо было только встретиться, тогда все само собою бы и разрешилось... Не сумев прорваться к дому по набережной — а другой дороги к нему я не знала, — начала звонить из автомата, но на все мои многочисленные попытки телефон Валентина не отвечал. А я в это время сидел в кресле рядом с Патрикеевым в его великолепном доме и смотрел по телевизору последние захватывающие новости.

Я читала в книжке одного ученого, что, по его расчетам и глубоким исследованиям, человеку было предопределено прожить несколько десятков тысяч лет — минимум двадцать тысяч, — это означало, что он был создан практически для вечной жизни. Но по каким-то глобальным причинам, о которых я уже не помню, земная поверхность оказалась подвергнутой некоторым изменениям, достаточным для того, чтобы средний срок человеческой жизни сократился до шестидесяти пяти лет... Ничего, считай, у нас с вами не получилось. Жить человеку — почти что ничего. Явившись на свет, надо тут же исчезнуть. Не по причине ли такой досадной неудачи мы стали недоверчивыми и замкнутыми, сходим с ума, готовы отгородиться стеною от тех, которые нас любят?

Я все еще был в доме Патрикеева и вместе с ним с утра торчал перед телевизором, неотрывно следя за тем, что там показывали, — и впервые за многие годы моей жизни, а вернее, за всю свою жизнь, увидел и почувствовал, что в мире происходит нечто и на самом деле серьезное, касающееся всех без исключения. В том числе и меня с женою — теперь с бывшей женою... Накануне, когда художник привез меня к себе, он без лишнего слов повел в мастерскую, расположенную на втором этаже, вытащил одну из прислоненных к стене больших картин, установил ее на пустовавшем мольберте и затем, цепким взглядом оглядев свое творение, оставил меня перед ним одного, извинившись: мол, пойдет распорядиться насчет чаю... Нескоро он вернулся назад, и когда взобрался, внушительно стуча ногами по ступеням деревянной лестницы, в свою мастерскую, то застал нежданного гостя уткнувшимся в носовой платок и горько плачущим.

Я плакал потому, что со всей беспощадной очевидностью заново осознал свое великое счастье и несчастье. Я не ошибался в самом начале, когда однажды вдруг понял, что женился на богине. Ее я распознал тем providческим духовным зрением, какое имеется в каждом — но не всегда, очень редко открывается в нас. К великому сожалению, я оказался неуезчим, мелким человеком, который если и заполучит от судьбы большое счастье, то не поверит в него и окажется недостоин этого счастья. И вот теперь, когда я пришел в дом художника Патрикеева, движимый отчаянием, слепой надеждой и — чего таить — горьким тайным чувством ревности: еще раз узреть свидетельство неверности жены, — я узнал в картине выраженное с неотразимой силой убедительности мое самое первое впечатление, неземную сущность моей Ани.

Она была запечатлена в классической позе спящей Венеры кисти Джорджоне, божественность которой подтверждала ее невероятная женская красота, мощная и нежная, переданная со всей чувственно-торжествующей природностью. Моя же Аня предстала в картине Патрикеева почти бесплотной, розовым светящимся силуэтом на смутно-голубом фоне, неярком, как еще не совсем проснувшееся утреннее небо. И в этом смутном силуэте женского тела не было прописано никаких деталей, ничего такого, чего я больше всего страшился увидеть в картине.

Я был всего лишь обычный городской мужичок небольшого периода русской истории, который, подобно многим таким же мужичкам, что-то такое делал в своей жизни — в основном говорил да писал на бумаге. Это называлось работой, за что я деньги получал. Но ведь фокус в том, что все, что я наговорил, и все, чего я написал, — было полной, окончательной ерундой, сплошной ерундистикой, как, бывало, говаривала Анна. За таким занятием и жизнь прошла, и ничему путному я не научился за эту жизнь, ничему истинно полезному. Вон даже дрова колоть — и то впервые попробовал, когда почти полста лет исполнилось... О, сколько же было настоящих, тоскливых бездельников, таких, как я, как мой бывший институтский коллега Рафаил Павлович, который, правда, посылно занимался спортом, катался на горных лыжах и ездил на рыбалку. Но одно, вернее, два занятия были для нас, городских мужичков, весьма серьезными, настоящими, что и выразил в своих стихах мой знакомый поэт: *«Вино и женщины... В глазах темно. Вино и женщины...»*

Поэт, приверженец Бахуса, давно сгорел от вина, а я был больше по второй части. Ну что, скажите пожалуйста, плохого в том, что мужичок постоянно хочет быть счастливым с женщинами, существами, между прочим, совершенно другого пола? Все в женщине нравится ему, и все его устраивает в ней — и как сложена, и как движется, и даже как пахнет поутру, когда коснется ее ранний розовый свет, вот как на картине живописца Патрикеева. Но он тут угадал и другое, наджизненное и запредельное, — то, что в мгновенном озарении я однажды увидел в Анне и что уничтожило меня, когда я стал мужем этой женщины.

Ничего подобного я не стал, разумеется, говорить Патрикееву, но он, крепкий, сложенный как старинный воин, бородатый с сединою — тонкий художник, постигающий женскую красоту, минуя ее чувственную привлекательность, — Патрикеев многое понял и безо всяких моих признаний... Я только сказал ему, что мы разошлись с Анной, теперь уезжаю назад в Москву и что мне стыдно за свои слезы. В ответ он как-то беспомощно, смущенно и нежно, улыбнулся и сразу же высказал то, чего мне больше всего хотелось в ту минуту услышать.

А я решила дозвониться до Рафаила Павловича Дудинца, но и это не удалось, его не было дома. Так что пришлось мне решиться заночевать в машине, припарковавшись в каком-то кривом переулке недалеко от зоопарка. Множество машин уже стояло в этом переулке, выстроившись в один длинный ряд, подъезжали еще и еще, хлопали дверцы, вылезали из автомобилей люди интеллигентного вида, недурно одетые, хорошо загорелые, с сумкою или котомкой за плечом, словно туристы или курортники — и все дружно шли в одну сторону. Я тоже закрыла машину и направилась туда же, следуя за народом.

Миновав ворота зоопарка, я уже в тесной толпе шагала по какой-то улице, справа осталось круглое здание старой метростанции. Поток людей уперся в угол огражденного железной решеткой стадиона и стал растекаться на два рукава, я почему-то пошла направо.

Патрикеев со всей решительностью заявил, что не отпустит меня, я у него ночую, а завтра мы вместе поедем обратно к Анне. Нельзя, мол, допускать, чтобы умные люди на этом свете совершали подобные чудовищные глупости. Анну, мол, он давно знает, они старые друзья, — в прошлый раз, когда приезжала позировать, она казалась такой счастливой, так много рассказывала про своего нового мужа из Москвы, то бишь про меня... Словом, Патрикеев решил нас помирить.

Короче меня выбросило к подножию московского Белого дома, вокруг которого к ночи стала лагерем густая цепь людского множества, явившегося защищать демократию, — в темноте разожгли костры и расположились под открытым небом на всю ночь. Я подходила то к одному огоньку, то к другому, смотрела во все глаза, прислушивалась. Взволнованные, решительные, удивленные собственной жертвенностью и великой решимостью безоружными защищать демократию, люди знакомились друг с другом, делились горячим чаем из термосов. Я была голодна как собака, ведь за целый день ничего не съела, кроме пары пирожков, еще дома, — но у поющих и смеющихся дружинников с полосатыми повязками на руках нашлось достаточно еды, чтобы накормить меня.

Я провела среди них полночи, переходя от одной компании к другой. Было весело и как-то странно: словно мы все — обманутые и дети обманутых, сами привычные обманывать, — вдруг преобразились за одну эту ночь и стали совершенно другими. При свете костров я узнавала то знаменитую киноактрису, то известного писателя. С гитарою на колене пел один очень популярный бард. Все это напоминало бы обычные походы с кострами, песнями, гитарами — если бы не выползавшие время от времени из близлежащих улиц молчаливые толстые танки...

Уже далеко за полночь, почувствовав какую-то глухую тревогу на сердце, я спохватилась и, оставив лагерь защитников Белого дома, отправилась к тому переулку, где оставила свою машину. В темноте мне трудно было сориентироваться и я долго, очень долго, несколько часов до рассвета проплутала по пустынным улицам, никак не могла отыскать свой серенький «жигуленок». Да на этих улицах почти и не было ночующих машин, очевидно, разъехались все по своим гаражам и дворам, — а ведь я вечером ставила свою в длинном ряду других на обочине круто загибавшегося переулка. И уже когда совсем развиднелось и я смогла восстановить в памяти весь свой путь от того переулка до зоопарка и далее к правительствен-

ному дому — мне стало ясно, что машину мою угнали. Окончательно убедившись в этом, я пошла куда глаза глядят, уже ничего не соображая от смертельной усталости и чугунного, беспросветного чувства отчаяния, охватившего душу...

— И что же «сразу» сказал тебе Патрикеев?

— Ты о чем, Аня?

— Да вот о том, чего бы тебе больше всего хотелось услышать тогда от него.

— Ах вот что... Он сказал: не надо слез, она вас любит, и вы ее любите.

— А ты что на это?

— Все равно, мол, конец всему. Мы уже расстались. Это не случайность. А он сказал: глупость это, случайность и ошибка. Надо исправлять.

— Ну и ты?..

— Я? Утер свои сопли и стал слушать дальше. Этот Патрикеев, между прочим, оказался добрым малым и умнейшим человеком.

— Рада за Патрикеева. Спасибо. А как ты полагаешь, спал он все-таки со мной или не спал?

— Нет, не спал.

— Ты вполне уверен?

— Не желаю больше говорить на эту тему, Аня. Она меня больше не интересует.

— Хорошо... Что же тогда тебя интересует?

— Почему закончился дуэт наших общих воспоминаний? Ведь в дальнейшем остались только диалоги. Почему из нашего эпического дуэта вдруг выпал твой голос? Твоим последним воспоминанием было то, как ты обнаружила, что угнали машину, и после бессонной ночи поисков, под утро, направилась «куда глаза глядят»... Дальше что было?

— Дальше — лучше не вспоминать. Все, что произошло дальше, уже нас с тобой не касается. И пусть на этом и завершится мое участие в нашем двухголосном концерте, на том, что я, голодная, усталая до полусмерти, после бессонной ночи куда-то пошла на рассвете по пустынной московской изогнутой улице...

— И все же — что случилось? Почему не хочешь дальше вспоминать?

— Незачем. Такое, что было со мной дальше, помнить не нужно. Лучше забыть.

— Например?

— На, примерь. Сказано, что не хочу вспоминать.

— Не хочешь... Ну что же... Бывает. А то ведь можно подумать, что нечего и вспоминать. Или все начисто забыто.

— Ну, миленький, как же это — нечего. Есть чего... И ничто, как говорится, не забыто, и никто не забыт. Могу тебе рассказать про то, как я познакомилась с бандитом по кличке Архип. Это была весьма романтическая история! Ведь он меня отбил у других бандитов, которых тогда развелось по Москве, как крыс, огромное количество. Двое каких-то кавказцев схватили меня на улице, заволокли в подворотню, поставили на колени и, приставив нож к горлу, велели, чтобы я им...

— Довольно, Аня! Можно не продолжать.

— Но я ведь только начала!.. Нет уж, слушай дальше. Ты же сам хотел... Тут выскочил откуда-то Архип во всей своей красе, с пистолетиком в руке. Они, сволочуги, называют пистолет «стволом» — выразительно, правда? Те двое убежали, застегивая штаны на ходу. Архип подошел, приподнял меня с земли, взял на руки и отнес в свою машину — как в кино! Затем отвез на квартиру к Дудинцу... Рафаил Павлович появился-таки дома, он отсутствовал два дня, — оказывается, защищал демократию и находился на площади перед Белым домом, где и я толкалась. Но в ту ночь там мы почему-то не встретились. Он меня пустил к себе, как и всегда, а

я, выходит, навела на его квартиру бандюгу Архипова, и тот через некоторое время, когда Рафаил Павлович уехал к своей сожительнице, навестил меня, с цветами и вином, а потом стал наезжать чуть ли не каждый день... Стал попросту жить там!

— Но я прошу тебя, Анна... Не надо больше рассказывать. Пожалуй, ты права. Такое лучше забыть.

— Но я не могу забыть. Что же мне делать, миленький?

— Любимая, давай вспоминать все то хорошее, что было у нас. Я только этим и спасаюсь. Вспоминаю подробно, старательно. Все, что всплывает в памяти. А этого так много, оказывается! И это так интересно, Аня! Дорогая моя и славная Аня, сколько было, оказывается, событий в нашей любви! Чудесных, сладких, помрачительных эпизодов.

8

— Бедный мой Валентин.

— Почему же бедный, Аня?

— Потому что это несправедливо.

— Что несправедливо?

— Ну за что ты так любил меня, обыкновенную шлюху?

— Нет, моя сладкая. Не шлюху. Я любил богиню.

— И все же — за что? Ведь я — это я. Можно ли считать, что ты любил *меня*?

— А ты? Разве ты любила не *меня*?

— Не знаю, миленький. Шлюхи не умеют любить. Они говорят, что любят, но сами обманывают... Вот ты, рыцарь бедный, все время думал обо мне, наверное, вспоминал, плакал и тому подобное — с того дня, как мы расстались. Так ведь?

— Так, Аня. Так.

— А я, представь себе, полетела в Москву, чтобы отыскать тебя и вернуть... Мне казалось, что я умру, если не найду тебя и не верну... Однако сия болезнь очень скоро прошла — как только у меня украли машину и я осталась совершенно беспомощной в этом страшном, страшном городе Москва. Я тебя больше не вспоминала — не то чтобы забыла, нет. Вовсе не забывала — просто я старалась не вспоминать тебя, не думать о тебе...

— Старалась... не вспоминать. Странно как-то. Но почему?

— Неужели непонятно? Эх, рыцарь!.. Нет — мытарь, сборщик налогов. Ну что ты все теребил меня — чего я тебе, в сущности, недодала? Ты же упек меня своей ревностью. Чего тебе было мало? Совсем задолбал, было, под конец... Из-за каждого встречного-поперечного устраивал мне таску... А ведь ты должен был меня защищать в этом страшном мире. Да, защищать и спасать. Спас ли ты меня, любимый мой? Мог ли защитить? Нет, не мог. Это я поняла, очень, очень ясно поняла, когда осталась в Москве одна на улице, без машины, без денег, без документов. А когда поняла все — то и решила больше не искать тебя, не вспоминать... Что ты скажешь теперь? Это любовь была у меня к тебе?

— А что же тогда было?

— Не знаю... Вот если взять мою жизнь до встречи с тобой. Родилась на свет очень самоуверенная девочка. У толстого папы Фоки, работника горсовета, единственная дочка. Себя считала самым главным существом на свете. В шестнадцать лет потеряла девство свое самым банальным образом — в доме одноклассника, с кем вместе мы якобы готовились к экзаменам. Любовь ли это была? Помнишь человека в бобровой шапке? Так это и был он самый, Сашка Авдонин. В ту зиму приехал в городок по делам из Рязани — там, видишь ли, стал деловым человеком, «новым русским». Встретились с ним случайно на улице, потом зашли в кафе «Ветерок», посидели.

— Значит, бобровая шапка все-таки была.

— Была, была, миленький. Но это ничего не значит. Абсолютно ничего. Готова повторять снова, паки и паки, — за все время, что мы были вместе, я не изменила тебе ни телом, ни духом. Ты был смешным, жалким в своих подозрениях, а я, стервоза, зачем-то мучила тебя и запутывала. Мне было обидно, что я готова отдать тебе все, всю себя без остатка, а ты смеешь подозревать меня в том, чего вовсе не было и не могло быть.

— Скажешь, и с Шикаевым тоже?

— И с ним. А что было? Я вышла на поляну, там был такой хороший серый мох, чистый, мягкий. Мне захотелось на нем полежать. А тут откуда-то взялся этот Шикаев, выскочил из-за кустов и набросился на меня — целоваться... И ничего у меня с ним никогда не было, а это я все, дура, придумывала и дразнила тебя. И многое другое, многое другое — я придумывала.

— Но зачем, Аня?

— Сама не знаю. Может быть, чтобы посмеяться, сделать больно. Себе в первую очередь, ну и тебе заодно.

— Посмеяться... Сделать больно. Но такое можно пожелать только врагу.

— Правильно. В том-то и дело. Мы и оказались врагами самим себе. Тридцать лет я прожила на свете до нашей встречи, ты — сорок шесть. Ну и что за жизнь у нас была, Валентин?

— Что тут скажешь... Обычная жизнь была, нормальная.

— А я к своим тридцати годам вдруг поняла, что я — это совсем не я, и может быть, все-таки я — Пушкин. А он в свою очередь вовсе не тот Пушкин, про которого я распиналась в школе перед молодым поколением: *Но будь покоен, бард, цепями...* — и так далее. Бард-то был чистой воды инопланетянином. И вот когда обо всем этом я доверительно сообщила некоему другому барду, менестрелю московскому, в которого влюбилась, как дурочка, этот поэт, представь себе, предложил мне обучиться на нем искусству орального секса.

— Что еще за поэт? Пощади, Анна. Я больше ничего не хочу знать...

— Извини. Но дело не в твоих или моих деликатных чувствах. Какая-то зело безобразная физическая ложь была в той жизни. Материальная ложь бытия, имеющая, должно быть, свое атомарное строение. Я несколько раз думала о том, чтобы повеситься или утопиться. Но страх был сильней, и я убеждала себя, что не могу, не имею права — у меня беспомощный ребенок, Юлька... А попросту — боялась. И вот мы встретились с тобой. Я узнала тебя, Валентин. Ты был точно такой же, как и я. В твоих глазах я увидела то же самое недоумение перед жизнью, тайную болезнь. Тебе было одиноко, как в космосе, и ты искал меня.

— Да, Анна! Да, да! И нашел наконец.

— Но знаешь, что было самым страшным, когда мы все же встретились и стали жить вместе?

— ...?

— Что ничего не изменилось. Все, все осталось то же самое. Тем же концом по тому же месту. Но, черт побери, в таком количестве, что в глазах стоял туман.

— Опять смеешься надо мною, Анна? Шутить изволишь в своем стиле...

— Шучу, конечно. Все у нас было чудесно, милый. Да ты и сам это должен был видеть — и даже слышать.

— Да, Анна. Но ты вроде бы и здесь... слегка иронизируешь. Будто дело касается одного только меня, мохнатого сатира. А ты тут как бы во все ни при чем.

— Отчего бы мне и не посмеяться? Или хотя бы не улыбнуться? Раз жизнь получилась такой...

— Именно поэтому и не надо смеяться надо мною...

— А я и не смеюсь, что ты! Ведь я всегда говорила, что секс — это святое дело.

— Но ты посмеиваешься.

— А как прикажешь мне?

— Ну что смешного в том, если бедный советский мужичок хотел счастья? Единственная доступная радость была, к которой он, униженный и оскорбленный, стремился всей душой...

— Скажи мне спасибо, Валентин.

— За что?

— Что я вовремя заметила, к чему все может привести. Ведь ты уже ничего не соображал. Ты деградировал настолько, что уже хрена от редьки не отличал, постепенно перестал читать книжки, даже газеты, только смотрел телевизор, сидя в кресле, держа стакан с чаем в руке. В школе на уроках стал всеобщим посмешищем, ибо забывал и путал исторические даты, ответов учеников не слушал! Уставившись в некую точку пространства, ковырялся пальцем в ухе и неотступно мечтал о моем теле. Скажешь, не так обстояло дело?

— Ужасно! Неужели все так и было? Ужасно то, что ты говоришь, но не менее то, *как* говоришь... Анна! Это ты так о божественной страсти, которая правит миром? Я тебя прошу: не унижай меня, не смейся над тем, что со мною произошло. А произошло такое, Аня, что мне, попросту невидимке в истории, выпало в жизни испытать эту страсть. И ради нее я пошел на все...

— Ну не смешно ли и на самом деле?

— Что смешного?

— Да вот то, *как* ты говоришь... Того и гляди, разрыдаешься от обиды и жалости к самому себе. А на какое такое «на все» ты пошел, мытарь ты мой? Ты что, жизнью своей заплатил за свою любовь ко мне? Хренушки — ты обзывал меня «сучкой», заушал тяжелой десницею и таскал за волосы. Не так ли?

— Прости меня... Хотя бы теперь прости.

— Бог простит. На самом-то деле вы все, все до одного — мужики — были недостойны нашей любви. И не умирали вы за нас, и ничем таким не платили... А вот я смогла — хочу это сказать к концу нашего разговора, — смогла до смерти сохранить свою верность тебе.

— ...

— Помнишь, как-то в самом начале у нас очень недурно получилось в ванной? Когда мы у тебя на квартире попробовали помыться вместе? Ты пришел ко мне в синем халате...

— Я все помню, Анна.

— Так этот бандит Архип, бык бритоголовый, захотел того же самого. Они себя, бандюги проклятые, называли «быками», представляешь? А я не позволила ему...

— На этом спокойно можешь завершить свое последнее воспоминание, Аня. И это будет хорошо.

— Что ж, я так и сделаю, Валентин. Вельми разумею, как тебе неприятно, что напомнила, может быть, о самом прекрасном в твоей жизни — и это в связи с каким-то Архипом... Но пойми и ты, чудовище мое, что во все не такого счастья мне нужно было от тебя. И от него. Не этого я ждала от вас, ждала всю жизнь и, не дождавшись, сдохла.

— А чего же?

— Дураки вы все. Не понимаете, чего нам от вас нужно.

— Так чего вам нужно?

— Ничего.

И в дальнейшем будет только мой голос — завершился наш эпический дуэт, потому что не хочет Анна ничего вспоминать из того, что было с

нею после нашего развода, ну и я также ничего не хочу знать... Конечно, в тот день, когда строилась стена, во мне и мысли не возникало, что я навсегда отделюсь от Анны, заложив кирпичом прямоугольное отверстие, сквозь которое происходил наш последний, непосредственный, разговор с глазу на глаз — в самом прямом смысле, ибо в кирпичную дыру мне были видны одни лишь ее синие, отчаянные, прекрасные глаза.

Лишь расставшись с Анной, я оценил в ней прелестную земную женщину, жену, открывшуюся мне самым неожиданным образом в качестве рачительной хозяйки дома и нежной матери единственного ребенка, дочери Юлии. По классическому образцу пушкинских усадебных хозяек, Анна умела превосходно солить на зиму грибы, варила варенье из садовых ягод — малины, крыжовника, смородины, из лесных ягод — земляники, черники и той же малины, которая в диком варианте была, оказывается, и слаще, и душистее... В нарядных хорошеньких шортах, с тяпкою в руке выходила работать на грядки. Ах, как трогательно крутила она, вертела перед собою свою бледную, казавшуюся всегда сонной сутуловатую Юльку, мастера для нее своими руками очередной наряд, — любила она дочь одеть поярче, помоднее, желая своими стараниями пробудить неказистую, дремлющую и пока что никак не просыпавшуюся женскую привлекательность девочки. И как бы осознала мамаша, что слишком много забрала себе от гения чистой красоты — и мало что оставила для дочки.

О, этот гений не переставал светить для меня во все дни нашего брачного бытия — но как было совместить красоту и чистоту этого гения с тем же скотиной Шикаевым, которого я буквально стащил со своей жены там, в сосновом бору, где мы набрали тогда столько замечательных грибов? Я сволок за шиворот и принялся дубасить этого автослесаря, а он вначале только прикрывался руками, блокируя мои неумелые удары, потом с необычайной резвостью кинулся прочь, но не забыл при этом, сукин сын, подхватить с земли и эвакуировать свою корзину с грибами.

А моя богиня в белом свитере, в тесно облегающих ноги голубых джинсах во время этой недолгой, но жаркой потасовки сидела на серебристом мху и нежным голосом, полным сочувствия, вдохновляла меня: «Так его! Так его, сволочугу! Поддай еще!» А потом, когда Шикаев побежал, согнувшись и втягивая в плечи голову, моя жена расхохоталась как сумасшедшая, упала на спину и широко раскинула по мху руки. О, этот серебристый мох, пышный, чистый, глубоко проминаемый под телом, словно роскошный ковер, — с каким тупым недоумением и яростью я разглядывал его, где-то в помутненном сознании горестно отмечая, что ведь и на самом деле отличное, самое лучшее на свете ложе любви...

Как было мне совместить в сердце своем эту анекдотическую бабу из скабрёзного народного анекдота с той трогательной, полной прелести и нежной девичьей грусти барышней-крестьянкой в голубых джинсах, в светлом платочке, повязанном по-русски под подбородком, словно она пришла в храм, — с потупленной головою и с печальным взглядом синих, как небо, очей, которую я увидел какой-нибудь час спустя после нашего шумного лесного скандала... Когда я отвесил этой барышне здоровенную оплеуху и потом убежал в глубину леса не разбирая дороги. И заблудился в незнакомом лесу, стал носиться по нему туда и сюда, и совершенно невзначай вышел на то место, где печальная Аннушка одиноко шла по лесной дорожке — такая юная, чистая, беззащитная. И в каком-то холодном мистическом озарении, с великим страхом душа моя провидела в ту минуту, что ведь я умираю — люблю ее.

Почему-то так выходило, что самые неожиданные, глубокие и ценные стороны загадочного существа, которое было моей женою, мне раскрылись уже после того, как я построил эту проклятую стену. Правда, еще долгое время не приходило мне на ум, что мы расстались уже навсегда. Так и в тот день, когда Патрикеев привез меня обратно к Аннинному дому, кото-

рый оказался заперт на замки с обоих входов, и подошла толстая, высокая, как водонапорная башня, соседка Нюра и вручила мне ключи, сообщив, что Анна утром села в машину и уехала в Москву, — ничто не шелохнулось, никакого предчувствия не возникло во мне. Наоборот — на душе стало легче, вся грязня и тяжесть душевная предыдущих дней мгновенно забылись, когда Нюра добавила от себя, что ключи было велено передать мне, как только я вернусь. Значит, предполагала Анна мое возвращение, ну а я, значит, теперь должен ждать ее.

Я угостил Патрикеева чаем с пирожками, что нашлись в той части дома, которая теперь должна была считаться Анниной и куда я по своему возвращении решил внедриться безо всякого спроса, словно ничего между нами и не произошло. Этим я как бы решил показать Анне, когда она вернется, что не хочу придавать никакого значения нашему разводу, считаю его глупейшим недоразумением и самым натуральным бесовским наваждением.

Относительно последнего мне дал подробное разъяснение художник Патрикеев, человек верующий и суеверный. Бес, который разлегся прямо на пешеходной дороге в Коктебеле, выставив на зрителей свой наглый член, был назначен специально для осуществления всяких диверсий, чтобы разлучать любящих, потому что любовь является уничтожительной субстанцией для самого беса. Я достал с полки и дал посмотреть художнику альбом Анин, куда она вписывала любимые стихи и прозу и где также делала зарисовки изящных дам прошлого века. Мне было любопытно, что скажет профессионал про эти ее рисунки.

— Я уже вам объяснял, Валентин Петрович, и это я в своей картине хотел выразить... Перед нами высокая душа, романтическая, — говорил Патрикеев, листая одной рукою альбом, а другою зажимая в кулак свою бороду. — Она всегда была романтической, я ее знал с детства, был хорошо знаком с ее папашей, Фокием Дмитриевичем. Но таким, как она, в наше время хуже всего, ибо князь тьмы царствует по всей земле, тут его вотчина, и чистые люди обречены на большие страдания. Так что оберегайте свою жену, Валентин Петрович, и постарайтесь не спрашивать с нее лишнее. В мире нашем столько грязи, что пройти по нему не испачкавшись почти невозможно.

— А рисунки? С точки зрения искусства... — решил я повернуть разговор в другую сторону. — Есть у нее хоть какой-нибудь дар?

— Ну, такого дара у всякого хватает. Кошку можно научить рисовать, были бы только глаза. Однако не в умении провести линию, изобразить что-нибудь корень причины.

— А в чем он... корень?

— В желании потрудиться. В желании охотно, много потрудиться на этом поприще. Постоянно, добровольно, без принуждения. Вот вы видели, сколько у меня в мастерской наворочено?

— Видел.

— Много?

— Много.

— А ведь это совсем небольшая часть. Что-то продано в музеи, что-то ушло к иностранцам. Так вот, послушайте — никто никогда не принуждал Патрикеева работать. В жизни своей по принуждению не пришлось мне нашлапать ни одного даже этюдника. Ни одной заказной работы, Валентин Петрович, представляете? Все только то, что я пожелал сам написать.

— Вы счастливый человек, Кирилл Захарович. Не каждому, знаете ли, такое удается.

— Вот она тоже счастливый человек. Рисует только то, что хочет.

— Но на каком уровне, вот вопрос!

— А не беспокойтесь, Валентин Петрович... На своем уровне и рисует. Стиль тоже имеется. Видел я такое по нашим городам и весям. Называет-

ся этот стиль — интеллигентский примитивизм. Это я сам придумал так. Но не важно, как назвать. Важно то, что каждая линия здесь, у Анны Фокиевны, каждый аккуратненький штришок или мазочек несут в себе непримиримый бунт.

— Бунт? При чем тут бунт?..

— Против всего, что у нас безобразно. Против грязи, беспорядка. Против хамства, грубости, пошлости, плохого отношения к женщине, против скотства, сквернословия, проституции...

— Вы что, шутите, Кирилл Захарович?..

— Да мало ли еще против чего... Я повторяю: каждый штрих, каждая линия, каждый рисунок несут в себе бунт. И выбор сюжетиков вовсе не случаен. И сила духа, и верность своему выбору здесь выражены замечательные. И вообще она сама — замечательная... Вот как, Валентин Петрович, я понимаю вашу супругу.

— Сила, вы говорите?.. — Я призадумался. — Какая тут сила может быть... Вот вас взять. Вы как лев. Нет, вы как мамонт. Вас ничем не взять. А что она по сравнению с вами? Маленький мышонок. Или воробышек. Вот и вся ее сила. Хотя они ведь тоже по-своему сильны, воробышки...

— Не принижайте ее, Валентин Петрович, — мягким голосом увещевал меня Патрикеев. — По нашим-то временам она у вас необыкновенный человек, настоящая русская дворянка. Ее надо беречь, на руках носить, вот что я вам скажу.

— Дворянка, знаете ли, — а порой как запустит матом...

— Ох, неправда ваша! Ни за что не поверю! Никогда не слыхал подобного от Анны Фокиевны, — весьма решительно возражал мне художник.

С тем и отправился восвояси Патрикеев, по-моему очень довольный результатами своей миротворческой деятельности, а я остался в доме один. Падчерица Юля, как и в прошлом году, все лето жила у бабушки на другом краю города, она и зимою при всяком удобном случае отправлялась к ней пожить, частенько оттуда и в школу ходила — ей у бабушки с дедушкой было гораздо приятнее, разумеется, чем дома с матерью и с каким-то угрюмым дядькой, с которым мать то ругалась в крик, то в открытую целовалась и ложилась вместе в одну кровать...

Но даже присутствию падчерицы был бы я рад, когда пошли дни тревожного, нетерпеливого ожидания, и Анна все не возвращалась, и мне было неясно, что думать по этому поводу, и совсем не с кем было словом перемолвиться в пустом, как-то сразу помертвевшем большом доме. Пирожки с капустой, которые оставались после отъезда Анны — очевидно, ждать ее скорого возвращения, — быстро были съедены мною, так что они больше и не свиделись с хозяйкою. Угрюмый, голодный, как медведь в пустой берлоге, я протомился несколько дней в ожидании, никуда не выходя из дома, под конец ел одну картошку, пил чай с вареньем, малиновым, черничным, смородиновым, коего запасов у Анны оказалось предостаточно.

На исходе августа я все-таки поехал к себе в Москву. Из дома сразу же позвонил Дудинцу и имел с ним неприятный разговор.

— Послушай, я не собираюсь ни извиняться перед тобой, ни оправдываться, — сразу же огорошил он меня, как только узнал по голосу, кто звонит. — Если уж ты женился, то будь добр, получше следи за своей женой.

— Во-первых, Рафаил Павлович, я не собираюсь ни в чем обвинять тебя, — едва нашелся я, что ответить ему. — А во-вторых, ты, наверное, знаешь уже, что мы развелись.

— Развелись? Откуда мне знать...

— Анна не сказала тебе? — удивился я.

— Не докладывала, — буркнул Рафаил Павлович и как бы поперхнулся. — И вообще это меня как бы совершенно не касается.

— Согласен.

— Тогда зачем звонишь?

— Извини, но я хотел только поговорить с Анной. Она у тебя?

— Нет... Сейчас ее нету, — уточнил он. — На днях забегала, потом ушла куда-то. Больше не появлялась... И вообще мне сейчас ни до нее, ни до кого. Я почти не бываю дома! — вдруг раздражился Рафаил. — Меня не волнует, прости, вся эта ерунда, связанная с твоей женой. Буду с тобой откровенен.

— А где же ты бываешь? — спросил я. — И что тебя волнует?

— Ты что, только проснулся? — возмущенно зарокотал он. — Не знаешь, где сейчас должен находиться каждый порядочный человек?

— Где же? — искренне удивился я.

— На площади! — закричал Рафаил Павлович. — Надо власть брать! А ты погряз во всей этой ерунде... Хищница она, щучка, разбойница — плюнь на нее, и пойдём с нами, Валентин Петрович! Какое время наступило, ты только подумай!

— Какое же такое особенное время?..

— Слушай, откуда ты свалился?

— Я только что из провинции, Рафаил. Хочу вернуться в институт.

— А, все понятно. И что в провинции?

— Там все тихо.

— Тогда ладно. Будь здоров, не стану зря агитировать. А сейчас мне некогда, я должен идти. В институте увидимся?

— Увидимся, — ответил я и положил трубку.

Признаться, я люто затосковал. Мне все стало ясно. Пока я ждал ее, предавался воспоминаниям, сходил с ума, она была у Рафаила, в Москве. Где происходили важные исторические события. Мы с Патрикеевым два дня следили за ними по телевизору. Потом мне стало не до них. Я и на самом деле позабыл обо всем на свете, почти неделю проведя один в доме, каждую минуту ожидая возвращения Анны. Я боялся даже на короткое время отлучиться, чтобы случайно не разминуться или не упустить ее в том случае, если она вернется и увидит, что я тоже возвратился, — и не захочет видеть меня. При таком обороте дела мне надо будет крепко хватать ее, целовать и тихим, тихим голосом просить у нее прощения.

И вот вся несостоятельность этого сюжета налицо. Я сейчас оглядываюсь далеко назад и вижу эту затерянную в вечности мутноватую точку боли. Зачем ее беречь и надо ли стирать пыль забвения с нее, чтобы она вновь прояснилась? Я сейчас говорю о всей моей прошедшей жизни, а не только о мгновении какого-то особенно пронзительного душевного мучения. И то, и другое, и прочее — все неясности и загадки томительных чувств нашего бытия спокойно найдут свою пустоту и забвение.

И еще я говорю о любви, какую я себе представлял, которую испытал — и от которой с бессильной улыбкой вынужден был отвернуться. Но и это непременно обретет свою пустоту. Не горюй, невидимка! В любви человеческой все терпели поражение — никто не одержал победы. Ты ждал свою любимую, исправно сидя дома, как бы прислушиваясь к тем ее далеким шагам по земле, которыми она осиливала путь — с каждым шагом становясь все ближе и ближе к дому.

И оглянувшись назад — сквозь бездну прошедшего времени, — ты видишь, что жизнь все та же, старая, а ты сам по-прежнему сидишь дома и ждешь жену, думая, что она с каждой минутой приближается, — а она-то как раз не идет к дому, а уходит прочь от дома, все дальше и дальше... Пока на кухне, сидя возле холодильника, ты читал ее девичий альбом, заполненный образцами изящной словесности, Анна делила свое общество с Рафаилом Павловичем, новоявленным рьяным демократом (который стал приходить на ученые советы в институт с бело-красно-синей повязкой на рукаве пиджака).

И вот тогда, в той далекой болевой точке, тебе открылось, что не ты вовсе строил стену разлуки всего полторы недели тому назад, а она стояла между одним человеком и другим всегда, во все времена их существования. И платоновский андрогин — всего лишь забавная детская сказка, древнегреческий вариант русской сказки про колобка. Катился, катился такой колобок — и уперся в некую прозрачную стену. Длинною она, наверное, с Великую Китайскую, а высотой — до неба. Оказавшись по разные стороны этой стены, один человек начинает другому звонить по телефону — и хорошо, если этот другой окажется дома и возьмет трубку. А если он не отвечает и долгие телефонные гудки равномерными кусочками отрываются от жизни и улетают в свою пустоту, и каждый гудочек, отлетая, как бы на прощанье внимательно и сочувственно оглядывается на тебя — ты вдруг наконец-то вспоминаешь про Всевышнего и принимаешься клянуть у судьбы: *ну ради Бога, ради Бога...*

Наверное, Анна звонила мне, а меня не было дома, решил я. И это моя вина, что я не догадался сразу же сесть в автобус и вслед за нею ехать в Москву. Конечно, мне приходило в голову, что Анна могла быть у Дудинца, и можно было, разумеется, сходить на телефонную станцию, что находилась на набережной Гусь-реки, и позвонить оттуда к Рафаилу. Однако пока оставался в городке, я сделать этого был не в силах. Я не хотел верить, что такое может быть, что она поехала к нему. И вот теперь все выяснилось — она таки у него была, теперь ее там нет, и она, может быть, в конце концов позвонит мне домой в Москве.

9

Но не она — вдруг позвонил некто Клаус, немецкий коллега, с которым в прошлом у меня были добрые отношения, сложившиеся на кафедре иностранной литературы института. Оглядываясь назад через тьму прошлого, я пытаюсь представить себе, скольких же людей пришлось мне непосредственно узнать за всю свою жизнь — пятьсот человек, тысячу? Среди них и доктор Клаус Бругер, немецкий профессор-русист, который было непонятно, любил Русь или нет, но старательно изучил всю ее диссидентскую литературу. И как прапорщик знает строевой устав, Клаус помнил все конфликтные ситуации, которые возникали в России между государством и народом. Он и похож был своей выправкой, жестоковыйностью осанки и решительным взглядом острых глаз на военного человека — Клаус Бругер предложил мне временную преподавательскую работу в Евангелической Академии города Мюльхайм, контракт на один год. Он меня, оказывается, долго искал, и теперь у него осталось, как он сообщил, совсем мало времени на раздумье для ответа — но я особенно раздумывать не стал и тут же дал согласие.

Так началась и для меня новая эра российской истории, великое колесо которой ровнехонько проехалось между моей судьбой и судьбой Анны, отбросив меня на ту сторону колеи, где вдруг обрел большой вес и авторитет европеец Клаус, знаток и друг русского диссидентства. Когда мы встретились, я с трудом узнал его, столь изменился он — словно из прапорщиков его сразу произвели в майоры. И если раньше Клаус обращался ко мне исключительно на «вы», то теперь сразу же, как только увиделись, он воскликнул: «Сколько лет! Сколько зим! Где ты шатался, мерин активированный? Меня попросили в Евангелической Академии найти хорошего специалиста по русской культуре, я сразу сказал на тебя. Но где ты был? Я чуть не отдал вакансию другому лицу». И он тут же сообщил мне, что в одном из самых крупных наших издательств скоро выводит его «Этимологический словарь русских лагерных и тюремных терминов».

Словом, все споспешествовало тому, чтобы дальнейшая моя судьба благополучно устраивалась именно в направлении дальнего зарубежья:

«железный занавес» был выкинут на помойку истории, заграничные паспорта выдавали, хоть приходилось-таки за ними побегать, и люди советской национальности теперь могли наниматься на работу за рубежом, искать себе хозяев в иностранных государствах. И я ни дня не медля отправился в Германию — как только выправил все необходимые бумаги.

И однажды в Германии, в уютном академическом городке, в пустой профессорской квартирентке, я сидел один за голым столом и смотрел на серый диван у дальней стены — на этой стене, резко заваливаясь наискось, к правому нижнему углу, стояло три светящихся параллелепипеда, плоскости которых были иссечены яркими поперечными штрихами света, — лучистые жалюзи, спроецированные через стекла трехстворчатого окна и косо навешенные на противоположную стену, над серым диваном. Какая-то напряженная, острая, болезненная самовыраженность преходящего мгновения отражалась в этих косых пятнах света, чья душа всего на несколько минут облеклась в видимый образ — и вскоре, когда солнышко сдвинулось в сторону, исчезла, навсегда превратившись в невидимку. Я снова остался один в пустой комнате и вспоминал явление некой другой души времени, которая и подвела меня к одной горькой догадке.

Как-то летней порою я проходил по набережной Гусь-реки, выбрался на соборную площадь и увидел такую картину. На полуразрушенной паперти одного из двух храмов, на каменной площадке, перед входом в него, и на пороге, и даже внутри храма, там, где за отсутствующей дверью стояла плотная чернота, замогильная, безмолвная, отдыхало стадо коз и овец. Жаркое пополуденное солнце стояло высоко, где-то позади храма, и небольшая площадь тени лежала перед входом, резала наискось паперть и ломалась на ступенях — в эту тень и втиснулось баранье-козлиное стадо, ища прохлады. Некоторые из скотов стояли уткнувшись носами в храмовую стену, другие лежали на камнях, раскрыв пасти, вывалив языки и всполошенно дыша. А наиболее рьяные из них, преимущественно козы и крупные бараны, не боялись забраться и в глубину соборной темноты — мне видны были их замызганные спины и обосранные зады, выступающие на ее фоне. И обозрев их — только теперь я понял, отчего вся площадь перед церковью, и ступени, и площадка паперти, и каменный пол внутри храмового здания были завалены дерьмом. Оно было скотское, оказывается.

А ведь я до этого дня — когда-то впервые увидев дерьмо на ступенях храма, — грешным образом подумал о местных жителях, о безбожной молодежи, специально селекционированной на безбожие нашими общественными пастырями. Но теперь, разумно сообразив и установив происхождение навозных гор во храме, я, однако, вовсе не обрел облегчения в сердце. Неимоверная тяжесть как легла на него, так и осталась, и гнет наступившей минуты был почти невыносим для меня.

И вот эта душевная тяжесть напомнила о себе в другой летний день, через пару лет, когда я, выйдя из своей профессорской квартиры, пересекал мощеный двор академического кампуса, направляясь к учебным корпусам, — снова навалилась, сдавила горло, почти лишила меня дыхания. Мы были обречены на невозможность любви, на ее неумение, потому что для нас она была проклята. Мы были обречены не знать ее, лишены права на ее испытание — так о какой любви я распинался перед своей Аней?

Все эти мысли, словно фигуры кафкианского кошмара, навалились на меня посреди жаркой каменной площади и смяли мою душу. А мне надо было через несколько минут читать слушателям Евангелической Академии лекцию по русской культуре. Какую лекцию и о какой такой культуре, если где-то далеко-далеко, за чуждыми моему сердцу зелеными, тщательно ухоженными германскими просторами — среди других зеленых просторов, скверно ухоженных и дающих так мало молока и хлеба людям, живущим на них, — если где-то, в заповеделье недосягаемого мира, затерялась, погибла, уже стала невидимкой моя безнадежная в этом мире любовь. Она

была заранее обречена, потому что над всей нашей империей зависла громадная, кромешная, неотвратимая, как насланная небесами казнь, туча проклятия на любовь.

Два года отработав в Германии, я вернулся в Москву, имея на руках самые лестные рекомендации от Евангелической Академии и от Кёльнского университета, где мне также привелось поработать, уже непосредственно под началом доктора Клауса Бругера. Он почему-то через год не стал продлевать мне контракт, чем и принудил меня возвратиться домой, но полученные мной немецкие рекомендации дали возможность получить контракт в университете города Осака в Японии, откуда в наш институт приезжал профессор Кимура, добряк и пьяница — качества, исключительные для преподавателей высших школ в Японии. Кимура пригласил меня в свой университет, и я отправился в Осаку...

Все это время я не знал, где Анна, что с нею, и, признаться, вовсе не искал ее. В Германии, на второй год пребывания там, когда я переехал из Мюльхайма в Кёльн, у меня появилась другая жена, доктор русской филологии Вирина Легге. У нее тоже была дочь, но уже взрослая, Доротея, которая проживала отдельно от матери в Майнце и, приезжая навестить ее по праздникам, совершенно не разговаривала со мной, а только изредка косилась в мою сторону круглыми, навывкате, табачного цвета глазами. Эта семейка возникла у меня вместе с контрактом, заключенным с институтом славистики Кёльнского университета, с завершением же контракта она и распалась. Но кончину второго брака я вовсе не оплакивал и возвратился в Москву один, — впрочем, тепло провожаемый до самого аэропорта в Дюссельдорфе немецкой экс-женой и ее дочерью. Все происходило легко, пристойно и непринужденно — и заключение семейного союза, и расторжение оно — в брачном контракте все оказалось заранее предусмотрено, чтобы не было никаких тягот и неудобств в гражданском обустройстве свободных, цивилизованных людей. В продолжение брачного срока, пока я проживал в квартире у жены, мне надо было отдавать ей ту часть положенного мне вознаграждения, которую институт выделял иностранному преподавателю для аренды жилья. Кроме того, мы несли пополам расходы за коммунальные услуги, а за международные телефонные разговоры каждый платил по своим счетам отдельно...

За двухмесячный срок передышки в Москве я уже настолько прочно забыл немецкую жену и все ее прелести, что даже сам диву давался. Иногда меня охватывало сомнение: а была ли эта жена? Какие были счета за телефонные разговоры — то запомнилось хорошо: Мюнхен — 14 марок, Москва — 35 марок... Волосы на голове Вирина красила, под мышкой выбривала — так какого хоть цвета они были у нее на лобке? Уже неразрешимая есть загадка сия. Забыл. Немолодая, но еще свежая, холеная фрау в экстаз меня не вводила, но и сама головы никогда не теряла и засыпала с легкой храпцой уже через сорок пять секунд после того, что по-русски у нее называлось — «здоровье». Она любила повторять мне, как бы поощряя и наставляя: *«Сначала здоровье тела, потом здоровье дух!»* И я тоже научился у нее очень быстро засыпать — и, проснувшись однажды, не увидел ее рядом с собою и совершенно забыл про ее существование.

И, наверное, поэтому, уехав в Японию, через три месяца я снова как бы оказался женат, на сей раз без оформления брачного контракта — Анна по такому случаю выразилась бы: на заборе расписались. Но в Японии у меня жена была не японка — в кимоно, с ковьяляющей походкой, — а рослая американка, дама с могучими мускулами на ногах, которые она нарастила, оказывается, занимаясь конным спортом, верховой ездой. Информация для меня была неожиданной, не думал я, что сидя на лошади можно так накачать ноги. Но не только мускулистыми ногами, конечно, была знаменательна для меня доктор Нэнси Лич (вновь доктор!), мы с нею прожили вместе несколько месяцев, она оказалась феминисткой, но, не

изменяя своим убеждениям, на эти месяцы добровольно подверглась моему сексуальному порабощению и объяснила мне, что на то пошла вполне сознательно, вынужденно, потому как в ее Америке сейчас не существует настоящих мужчин, остались только одни гомосексуалисты.

Как раз мы еще были вместе, проживали рядышком в крошечных двухкомнатных боксах при университетской гостинице для иностранных профессоров, когда мне однажды приснилось, что Анна взобралась на какое-то дерево, как на качели, уселась на сук, поправляя юбку на коленях. И вдруг я заметил, каким-то образом переменив ракурс зрения и теперь находясь где-то сверху, — увидел, что под коряжистым ответвлением, на котором с беспечным видом сидела моя Аня, побалтывая в воздухе ногами, разверзлась страшная синеватая бездна! (Такое я увижу потом, когда буду в Америке, штат Нью-Мексико, и окажусь на ажурном мосту через пропасть, по дну которой серо-зеленой лентой течет река Рио-Гранде.) И еще я заметил, что в основании ответвления, там, где оно начинало отходить от корявого ствола, образовалась некая щель, надтрещина, грозя дереву тем, что ветка под своей тяжестью раздерет угол развилки, который ранее был вполне надежным и бодро устремлял сук наискось вверх... Теперь же, в результате разрыва древесных волокон, ветка заметно отюклала в своем основании от главного ствола и на моих глазах медленно, неуклонно опускалась вниз, надтрещина же увеличивалась, все явственнее превращаясь в широкую трещину. Но Аня сидела на суку, ничего не замечая, безмятежная, задумчивая, а я от ужаса оцепенел и, как это бывает во сне, почувствовал, что не способен ничего произнести, даже шепотом... Проснувшись, я увидел в постели рядом не ее, а Нэнси, аккуратнейшим образом лежавшую тонким носиком вверх, строго к потолку, и покоящую голову на специальной подушке, что не дает искривиться во время сна шейными позвонкам.

Когда мы с нею разбежались — с бурными слезами и патетическими сценами с ее стороны, с тяжкими обвинениями меня в мужском шовинизме — это за то, что я дал ей по морде, когда она при мне стала делать «кис по-американски» со своим университетским дружкой однажды в японском ресторане, куда этот приехавший в Осаку дружок и пригласил нас обоих, — Нэнси осталась мне добрым другом.

Несмотря на свой феминизм, она была славный человек, порывистая и чувственная женщина, широкая по натуре, по-американски свободная и размашистая. Нэнси и устроила мне договор с Гавайским университетом, в Гонолулу, куда я отправился после отработки японского контракта и где за год жизни на райских островах у меня было еще несколько вполне доступных женщин. Речь не идет о гавайских проститутках с набережной Вайкики — после Анны я искал таких женщин, которые могли бы хоть в какой-то мере помочь мне забыть ее, так что проститутки были ни при чем. Оказалось, мне нужны были не тело какой-нибудь замечательной женщины и даже не ее душа — мне нужна была Анна, только она одна во всей ее цельности. Были на Гавайях какие-то невероятно роскошные райские птицы, которые порхали во дворцах громадных торговых капищ, выбирая для себя самые дорогие на свете платья, драгоценности, духи и шляпки, были мировые чемпионки, должно быть по сексуальному спорту, и дочери миллиардеров, и принцессы крови инкогнито — кого только не было на Гавайях, где круглый год продолжается курортный сезон. Но Ани там не было. Она оказалась инопланетянкой, и улетела к себе на свою планету, и стала для меня недоступной. Закончив срок контракта в Гонолулу, я решил больше не мотаться по свету и вернулся домой.

Итак, пять лет прошло после нашего развода. Я ничего не знал об Анне. В институте мне сообщили, что Дудинец тоже поехал зарабатывать валюту в Алжир, так что спросить о бывшей жене было не у кого. Но теперь, по прошествии времени, мне стало совершенно ясно, что напрасно я

пытался уйти, бежать от нее за тридевять земель. Маленькую, скверную войну задетых самолюбий, когда-то возникшую меж нами, я позорно проиграл — и теперь готов был бесславно капитулировать. Но пришел к этому безнадежно поздно, тогда, когда война принесла слишком много непоправимых бедствий.

За время моего отсутствия Москва сильно изменилась, настолько, что я порою с трудом узнавал свой родной город и его граждан, своих земляков. Мне представилось, что и граждане Москвы также потерпели поражение, как и я, — несмотря на полную победу капитализма над коммунизмом. И в свои недолгие наезды в город, в перевалочные промежутки между поездками в разные страны, я замечал необычайные, невиданные доселе вещи, немислимые перемены, происшедшие с его людьми.

Могло ли быть такое, чтобы в самом центре Москвы, точнее, на площади Пушкина, с той стороны, где когда-то в старое время стоял, говорят, бронзовый потупивший голову кумир, у спуска в подземный переходный туннель под ногами прохожих валялся бы мертвый человек? Нет, такого не могло быть — но такое было. Летнее тепло позволило демократически обновленным гражданам нарядиться во все светлое, яркое, легкое, девушки смело выставляли на всеобщее обозрение свои нежные голые спины, соблазнительные ляжки, июньская московская толпа сверкала и пеннелась, как всегда, и текла по бывшей улице Горького — все выглядело вроде бы как и раньше, до демократии, но странным образом валялся на тротуаре, напротив спуска в туннель, голый по пояс человек, и тело его было какого-то необычного грязно-оранжевого цвета. Человек лежал на спине, раскинув руки, глаза его были полузакрыты, неподвижны, голова с одной стороны облеплена коркою черной, давно запекшейся крови. То, что еще оставалось на его теле как одежда — штаны, какая-то обувь на ногах, — было самого ужасного, отвратительного вида. Но в противоречие с этой жалкой одеждой бродяги — тело его выглядело вполне благополучным, упитанным, с небольшим брюшком, обросшим вокруг ямы пупка кучею мирных волос, которые пошевельвались при порывах невидимого уличного ветерка. Однако цвет голого тела, неестественно яркий, словно его вымазали краской или же раствором йода, — неестественный цвет кожи покоившегося на тротуаре человека буквально вопиал о смерти.

А вокруг, казалось, никто ничего не замечал, по бывшей Горьки-стрит бурлил поток людей, часть этого неравномерного потока тугим заворотом уходила в подземку перехода, волнообразно спускаясь туда по каскадам ступенек. На широкой площадке перед началом Тверского бульвара толкотня была особенно густой. Там шла уличная торговля с лотков, из палаток, со столиков книжного развала, стояли плоские фанерные Горбачев с Ельциным, оба с дурацкими физиономиями, и рядом с этими изображениями в натуральный рост любому клиенту можно было смело сфотографироваться — совсем как в свободной Америке.

Но странным образом полеживал на асфальте полуголый человек, явно уже долгое время и наверняка мертвый, — москвичи же вместе с гостями столицы проходили мимо как ни в чем не бывало. А один из них, красивый парень в длинном белом пиджаке, с модной прической — затылок высоко подбит, длинные волосы падают крылом на одну сторону головы, — ждал, видимо, кого-то у провала в туннель, все смотрел туда, а потом, под натиском вдруг густо повалившего снизу людского потока, вынужден был отступить... И вот, двигаясь задом наперед, молодой человек зацепился ногами за лежащего, слегка пошатнулся — но с истинной ловкостью спортсмена проявил отменную реакцию и легко перепрыгнул через тело бродяги. А тот и не обиделся, остался себе лежать, как лежал, и не подумал даже матюгнуть молодца в белом пиджаке, который, кстати, тоже не обратил особого внимания на происшедшее и продолжал с озабоченным видом стоять перед подземным переходом.

Так что же такое с нами случилось? А ничего, пожалуй, особенного. Все это мы уже проходили — и у нас, на Руси, и во всем человеческом мире одинаковым образом. Двухтысячелетней продолжительности попытка взять да и забыть о себе и полюбить другого как самого себя не удалась. Теперь-то и говорить об этом смешно... Ну а что прикажете делать — не перепрыгивать, что ли, надо было молодому человеку через труп, а пасты на колени на асфальт, пачкая светлые брюки, и прикинуть своим молодым изнеженным лицом к окровавленной, вздутой физиономии мертвого бродяги? Нет уж, господа, увольте...

Наступил момент истинной прагматики, и все тайное в нашем обществе становится явным, сказал я самому себе. Очнись, воспрянь, невидимка, проснись и пой! Ты превращаешься в реальную фигуру, по крайней мере для самого себя, — и это благодаря пробудившемуся в наших сердцах могучему подспудному источнику особой энергии. Я имел в виду пробудившийся вкус к иностранной валюте, прямо намекал о любви к зеленому американскому доллару — о том сумасшедшем чувстве счастья, которое испытал потомственный советский человек, ухватив руками свою первую тысячу долларов. После чего он стал полагать, что жизнь эту можно прожить как угодно, с кем угодно, — может быть, и ни с кем, а попросту со всем одному — лишь бы у человека было много денег, предпочтительно в твердой валюте.

— Ты хочешь этим сказать, как это было принято в классической русской литературе, что среда заела, общество виновато?

— О чем ты, Анна?

— Да о том, почему ты и за гробом готов врать самому себе и лицемерить.

— В чем же мое лицемерие?

— Зачем хочешь свалить на паршивое время, на историческую среду свое полное и окончательное поражение? Что за болезнь такая у русской интеллигенции!

— Поясни, пожалуйста...

— Тебе же было стыдно, что ты не стал искать меня, а кинулся по заграницам зарабатывать валюту?

— Не то слово. Не стыдно — страшно... С этим я просто не мог дальше жить.

— Но тем не менее прожил еще много-много лет. Так?

— Жизни никакой не было, сколько бы лет ни прошло.

— И этому можно поверить?

— Ты же знаешь, что можно...

— Допустим. Тогда все же поясни. Почему ты не стал искать меня? Если бы искал и нашел, то твоя богиня, может быть, не погибла бы самой лютой смертью...

— Аня! Аня!

— В огороде баня. Где ты был, где, когда я, полуживая, голодная, просидела ночь на скамейке возле подъезда твоего дома? Ни денег, ни документов, ни теплой одежды — все это осталось в машине, которую угнали.

— Сначала я ждал тебя в твоём доме... Потом стал думать, что ты находишься там, у Рафаила... А когда я позвонил ему... Какое несчастье! Разве во всем этом есть чья-нибудь вина?

— Ну а потом? Ведь я все еще была жива. Почему не искал меня потом? Разве я перестала быть твоей богиней, твоей маленькой, как ты меня называл иногда?

— Моей маленькой... Да. Да.

— Больше всего любила, когда ты меня называл так. Я бы пожелала тебе здоровья и счастья во всей твоей оставшейся жизни только за то, что ты когда-то называл меня «моя маленькая».

— ...Не искал, да. Потому что смерть, наверное, все-таки сильнее любви.

— При чем это, Валентин?

— В какой-то момент, когда я все еще ждал тебя, а ты не приходила — это было в Москве, — я вдруг почувствовал, что больше никогда не увижу тебя. И вдруг ты пришла. Глубокой ночью, часа в два, наверное. Позвонила в дверь — резко три раза, как и всегда раньше, когда мы вместе приезжали в Москву и жили у меня.

— Когда же это я приходила?

— Тем летом я насовсем вернулся в Москву.

— Не могу припомнить.

— Или не хочешь?

— Или так...

Я возвратился в Москву, засел в своей квартире и не знал, что мне дальше делать. Тогда я был напуган одним обстоятельством и почти перестал выходить на улицу. Дело в том, что наступили в столице и в стране лихие времена, а как раз тогда прибыл бывший японский коллега из Осаки профессор Кимура и поселился у меня. Он был русист, обожал русский стиль, в особенности любил выпить водки до потери пульса, и тут надо было его опекать, добрейшего и деликатного Кимура-сан. Если в Японии «русские попойки» профессора совершались в кругу друзей и кто-нибудь из них всегда отвозил его из ресторана домой, то в бандитской Москве это приходилось делать мне, ведь коллега был моим гостем.

И вот что случилось на третий или четвертый день по его приезде. На Новом Арбате мы подверглись нападению шайки цыганят (или каких-то кавказских подростков), которые облепили господина Кимуру, как шакалы, и мигом очистили все его карманы, вырвали из руки сумку, срезали фотоаппарат. А меня, пытавшегося защитить иностранца, огрели чем-то тяжелым по затылку, и я свалился с тротуара на проезжую часть, прямо под колеса машин. Но ничего более страшного не случилось, от неожиданности я не успел даже испугаться, не испугался и тогда, когда передние колеса наезжавшей на меня машины свернули в сторону от моей прикорнувшей к асфальту головы метрах в десяти, наверное... А вот кроткому Кимуре досталось гораздо больше: забрали цыганята все деньги, документы, паспорт с визами, даже упаковку презервативов, пнули по ноге — видимо, ботинком с металлической подковою, — оставили на короткой толстенькой голени японского профессора жирный кровоподтек.

После разбойного нападения господин Кимура отправился в свое посольство, где и безвозвратно для меня сгинул. А я сидел дома и не знал, что мне делать: то ли искать японца, то ли строить новый план жизни — уже без расчетов на японского друга... И тут однажды глубокой ночью, когда я уже спал, раздался этот знакомый звонок в дверь — три резких, частых звонка...

— Неужели не помнишь, Аня?

— Может быть, и вспомню. Продолжай дальше.

— А что продолжать... Я открыл. Ты вошла...

— Затем растворилась в воздухе.

— Нет.

— Тогда дальше.

— Дальше я и сам не знаю, что произошло на самом деле. Ты была в незнакомой мне одежде: джинсовая рубашка, светло-серые брюки, рукава закатаны. Извиняюсь за всякие подробности, но сам я спал в одних маленьких белых трусиках японского производства... И мне стало неловко перед тобой; видимо, за время разлуки я отвык от тебя, Аня. Мы молча постояли в прихожей друг против друга. У тебя был усталый вид, и такую угрюмой я никогда тебя не видел... Затем ты, не произнеся ни слова, прошла мимо меня в ванную... Неужели и этого не вспомнишь?

— Может, и вспомню. А ты рассказывай, милый.

— Быстро помылась под душем и пришла ко мне. Ничего не говорила, не заплакала. Может быть, просто не успела. И я тоже ничего не сказал, ни слова.

— А потом была у нас любовь?

— Уж этого не запомнить... Было такое, что происходило у нас не так часто, но бывало. И когда такое происходило, сразу после этого, для меня становилось ясным, что наконец-то в жизни все исчерпано до дна. Дальше остается только смерть. Но она была понятна, поэтому не страшна, и только что испытанное — это почти то же самое. Только смерть намного сильнее и значительней. В ту ночь ты приходила, Аня, потому что моя душа позвала тебя.

— А может быть, мой милый, у тебя вовсе нет души? У всех предметов, птиц и зверей есть она, а у нас с тобою нет... Ведь мы невидимки.

— Если нет ее, то что же так сильно болело, что плакало, смеялось, умирало, когда мы с тобою встретились в этом мире, а потом расстались, Аня?

На другой день я проснулся очень поздно, окно комнаты заливало ко-
сым солнечным светопадом. Так крепко, беспамятно мы спим — счастли-
вые мужчины человеческого рода, — когда испытываем полное и сокру-
шительное удовлетворение в любви к женщине. Я проснулся с улыбкой —
с прищуренными от улыбки глазами. Я был весь исчерпан в своей стра-
сти... Но в следующую минуту, оглядевшись, прежний мой одинокий и
угрюмый полуандрогин тоскливо зевнул, вновь закрыл глаза и отметил
про себя, что ничего не изменилось — как был один, так в одиночестве и
оставался. Она ушла, поднявшись ранехонько, как и всегда.

Я отправился на огромный рынок подержанных автомобилей и купил
довольно свежую знакомую мне «мицубиси» — такая же была у меня в
Японии, где я и водительские права получал. Выправив в милиции рус-
ский вариант водительского удостоверения, на что ушло два дня, я поехал
в город на реке Гусь.

Выехав за кольцевую автостраду, я скоро свернул с шоссе, как и в пер-
вый раз, когда Анна везла меня к себе, и навестил М-ское кладбище, где
была похоронена моя матушка. Только в этот раз я прибыл один, без
Анны, и настроение мое, с которым явился пред очи материнские, было у
меня совсем другим. Много лет назад я привел за руку свое сокровище,
свою красавицу и поставил ее рядом с собою, чтобы мать увидела, ахнула
в восторге и порадовалась бы наконец за своего незадачливого сына.
Правда, в тот раз мне показалось, что на портрете с обелиска выражение
материнских глаз вдруг изменилось — в ту самую минуту, как мы с Анной
подошли и остановились перед могилой; мне даже почудилось, что глаза
матушкины опечалились и в них промелькнула недоверчивая усмешка...

Теперь же никаких движений, никакого вздоха, ни даже легкого трепе-
та, ни сомнения не выразилось в портрете с кладбищенского медальона —
в мягко улыбающихся фарфоровых глазах моей матушки. Она смотрела на
меня, как и много лет назад, до Анны, — нежно и снисходительно, слов-
но понимала, насколько я безнадежен для любви, для великого счастья.
Вотще было мне родиться от нее на этом свете, где не останется от нас
обоих никакого следа, даже легкого воздушного веяния. Ну какой след
или шум в небесах могли остаться оттого, что она всю жизнь проработала
в библиотеке, а я чему-то обучал школьников и студентов?..

На сей раз матушка была более откровенной и дала мне знать со всей
ясностью, что она, покоящаяся в земле, и я, все еще мающийся на разных
дорогах, — мы находимся в заговоре. Который заключается в том, что мы
с нею по-настоящему-то и являемся единым существом фамильного оди-
ночества, а отец мой и ее муж, которого я едва помню — он бросил нас,
когда мне было шесть лет, — принадлежал ко всему сонму остальных чу-

жих одиночеств. И когда мать после долгой и тяжелой болезни скончалась, была похоронена на М-ском кладбище, две половины нашего единства разделились: она ушла в желтую глиняную яму, а я пока что на неопределенный срок остался на поверхности земли.

Когда-то я попытался нарушить наш тайный заговор — предстал перед опечаленным лицом матери со своей женой... А навестив могилу в другой раз, без Анны — о, сколько лет меня здесь не было! — я почувствовал, что мать больше не корит меня тайно. Мы с нею примирились. По ее взгляду почувствовал, что я полностью прощен.

— Когда-то ты, Анна, выхватила меня и прочь увела от материнского начала. Но в жизни все вышло так, что я вернулся к прежнему положению маменькиного сыночка. И опять я был готов на веки вечные разделить с нею наше общее одиночество. Когда через некоторое время я добрался наконец до твоего городка на Гусь-реке и подъехал к знакомому дому, то увидел, что в нем живут совершенно неизвестные мне люди, классические дачники, он и она, оба полуголые, жирные, красные, облезлые от загара, седые и лохматые. Они оказались неприветливыми, даже поговорить со мною не захотели. Но из калитки, со двора напротив, вышла большая, толстая, как башня, Нюра, Анна Акимовна, твоя тетка, подошла и все рассказала про тебя. Выслушав ее, я стал уверять Нюру, что произошла, наверное, какая-то ошибка, потому что ты была у меня всего несколько дней назад.

— Ну а Нюрочка?

— Сильно рассердилась. Покраснела вся. Заорала на меня. Херней всякой, мол, занимаетесь, а еще образованный человек. Это же надо, такие глупости говорить про умершую. Какая бы ни была, она все же вашей женой являлась. И нечего, мол, издеваться над памятью о ней, врать тут повсякому... О ней и в газетах писали, и по телевизору на кусочки порезанную показывали, в «Криминальных новостях», — сама видела. Зарезали ее в ванной, бедняжку.

— Теперь тебе все ясно, надеюсь? Не могла я приходить к тебе, Валентин. Призраки стали к тебе являться, бедный ты мой.

— Очевидно. Но с этим я как-нибудь справлюсь. Призраки приходят и уходят. А мы остаемся, Анечка... И это так тяжело.

— Где, где остаемся?

— Здесь, моя любимая.

С этого дня, собственно, я и стал свободно говорить с Аней, когда захочу. Каждый из живших на земле — и я в том числе — может вселенское дело представить таким образом, что все уже на свете давным-давно произошло, каждая душа уже получила то, чего хотела, встретила с теми, с кем хотелось ей встретиться, и сполна насытилась счастьем общения с любимыми. О, я сейчас рассказываю о том, как достиг в своей жизни полной свободы. И какой бы там смертью ни заканчивалось существование каждого на земле — это не имело никакого отношения к тому, что человек может обрести такую свободу, если только пожелает ее. Тогда можно побывать там, где тебя давно уже нет, или оказаться в далеком будущем, где тебя еще не было. Вполне живой и смертный, ты обретал и смерть и бессмертие. Мог соединить свою душу с душою любимого человека в некоем эпическом дуэте невидимок.

В тот день и в тот час, в ту минуту, когда одна женщина русского племени пояснила мне ясным русским языком, что Анны моей уже нет на свете, что какой-то бандит зарезал ее в ванной, — в то разлетающееся расколотое мгновение я и обрел новое зрение. Все вокруг предстало моим глазам по-другому. Та же самая огромная, толстая Нюра вдруг приумолкла, уставившись куда-то перед собою чистыми карими глазами. И в этих ярких глазах, круглых зеркальцах ее души, отразилась другая душа — вели-

кого, доброго, красивого народа. И башнеподобная Нюра, зачем-то вытиравшая свои чистые руки о чистый фартук, накрывающий ее необъятный стан, как бы сама собою убедилась и в полной своей правоте, и в счастливом своем будущем. Поэтому, наверное, она и улыбнулась, выдавив при этом ямочки на круглых румяных щеках, и пошла себе восвояси, не оглядываясь больше на меня.

А я завел машину и медленным ходом поехал от дома, в котором когда-то прожил два года и был счастлив. Новые хозяева выставили свои одинаково седые, кудлатые головы из раскрытых окон — но и в обыденных чертах этих мирных обывателей я своим обновленным зрением распознал признаки бессмертия, славы и долгого счастья человеческого племени на земле. Мои глаза научились, очевидно, видеть мир в истинном свете, без проклятия.

Я ехал по неширокой земляной улице, осторожно продвигаясь на машине между неказистыми деревянными домиками, глазевшими друг на друга через дорогу темными маленькими окнами, обрамленными завитущечной резьбой наличников, и ясно угадывал за всей этой привычный убогостью русского захолустья пробивающийся яркий свет — величавый ток и сияние широкой синей реки. Эта река была небесной, предопределенной для России рекою ее великой судьбы, синяя гладь ее сверкала свободной, чистой. Кипенно-белые облака перелетали через нее, отражаясь в воде, как птицы.

Далее, когда дорога вывела меня на высокий берег земной реки Гусь, я увидел далеко, на другом берегу, летящий под облаками тонкий и стройный силуэт храма. Это был воздушной легкости, в ампирическом стиле собор, который сейчас закрывал собою другой храмовый комплекс, от которого виднелась только часть — верхушка изящной колокольни. И, совмещенные в моих глазах — два храма в единый, — в этом виде они открылись для меня в новом, необычном ракурсе.

Перебравшись по мосту через реку, я вскоре подъехал к соборной площади двух храмов и там увидел, что вся прилегающая часть улицы и высокая паперть вычищены, освобождены от обломков отпавшей облицовки и от кусков стены, которую на протяжении почти полувека тщетно пытались разобрать и увезти по кирпичику живые потомки тех, что построили храмы.

Я оставил машину за церковью и пошел назад, мне хотелось посмотреть, что переменялось здесь за время моего отсутствия. Я хорошо запомнил, что главная дверь в ампирическом соборе, к которому сейчас подошел, раньше отсутствовала, и туда набивались в жаркий полдень отдыхающие после водопоя слободские бараны и козы. Теперь вход оказался восстановлен — забит досками, в образовавшейся стене была устроена небольшая временная дверь, покрытая черной краской. В храм проходил народ.

Я остановился посреди площади, глядя на эту черную дверь, и наконец-то после многих лет безудержного, тяжкого бега по миру вдруг обрел минуту удивительного покоя и смог неспешно осмотреться вокруг. Храмы восстанавливались, на них появились новые сверкающие купола. Проржавленные, зиявшие раньше дырами кровли были заменены серебристым покрытием из нового оцинкованного железа.

Мне захотелось войти в храм и посмотреть, что там происходит. Мы с Анной не ходили вместе в церковь, кроме того единственного раза, когда венчались... Но когда я подошел к небольшой двери, устроенной во временной стене, перегораживавшей высокий портал церковного входа, — внезапно величайшая нерешительность охватила меня, и я остановился. Что предстанет передо мною там, за деревянной стеною? Если я, находясь с этой стороны, уже потерял все и превратился в невидимку — найду ли на той стороне давно утраченное, воистину сущее и отнюдь не призрачное? И хорошо бы встретить там живую воскресшую Анну.



ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

НА СУХОЙ РЕКЕ

* *
*

Какие клады орлы иные
себе нарыли!
А нам осталось, мои родные,
бряцать на лире.

Ведь мы недаром себя сыздетства
стихом морили.
В честь непромотанного наследства!
Бряцать на лире!

Воловьи жилы на черепахе
ликуют страстно.
Шуметь, шугая ночные страхи,
небезопасно.

Но происходит на «мерседесах»
парад победы,
пока в Афинах или Эфесах
поют аэды.

Не потеряться на вечном пире.
Тебе налили.
Бряцать на лире! Бряцать на лире!
Бряцать на лире!

Баллада

Андрей по прозванию Рѣмша,
вполне вероятно — Рѣмшѣ,
которому женская рифма
служила, с монахом греша,
по имени в роли поэта
впервые назвался у нас.
В шестнадцатом веке до света
язык его свечки погас.

Ученый монах на латыни
умелее, чем на родном,
вещал о житейской пустыне
и славил державный содом.
Увы мне! Тематика эта,
на кровь намекая и гной,
вином монастырским поэта
поила и вечной виной.

Андрей! Одинокие вирши
и парные рифмы твои!
Поют посетителю биржи
компьютерные соловьи.
Когда я по улицам нашим
гуляю на биржу труда,
в простуженном горле монашьям
клокочет живая вода.

Вот так же ко мне позабытый
явился Василий Петров,
когда я очнулся разбитый
на куче наломанных дров.
Кто канты сплетает, кто оды,
кто песенки о пастушках.
Рабы рукописной свободы
ликуют в пропащих стишках.

Полна голосами иными,
не знает родная страна,
что самое первое имя
поэта не помнит она.
Стоит роковая заплата
на ткани преданий седых.
Но вывел нас в люди, ребята,
силлабо-тонический стих.

В мучительной музыке старой
есть нота, которой ты нов.
Был первым поэтом с гитарой
народный поэт Цыганов.
Сивуху закусывал манной
небесной, блистательно наг,
как тот скоморох безымянный,
как тот же ученый монах.

Смешаю эпохи и стили
и выпью — и буду здоров.
Сегодня меня посетили
Рымша, Цыганов и Петров.
Напиток для вяжущих лыко
купили в ларьке на троих.
Андрея дивит превелико
силлабо-тонический стих.

* *
*

Из воздуха уходят очертанья
любимых лиц,
народного не слышится рыданья
в руладах птиц.

На синеве небес воронья стая
черным-черна.
Москва, родных и близких забывая,
искажена.

Не та она среди иных строений,
весь мир — другой,
и ты на силуэт родимой тени
махнул рукой.

Все оппоненты правы были, ибо
по мере сил
свое полумифическое иго
ты заслужил.

Все племена восстали, карауля
дух Шамиля.
В мозгу твоём воспроизводит пуля
полет шмеля.

О, музыка! Она теперь такая
и ты такой.
Сам на себя, любимых забывая,
махнул рукой.

Но ты готов припасть по праву сына
к родной груди.
Что позади? Девонская пучина!
Что впереди?

Письмом на имя капитана Немо
наполнить штоф
и удалиться слепоглухонемо
всегда готов.

Отдать швартов.

* *
*

И снег, летящий вкось.
А. М.

И снег, летящий вкось,
белел тысячекратно,
пропитывал насквозь
и таял безвозвратно.
А ты бежишь под ним,

бегун полубезумный,
физически храним
прапамятью бесшумной.

Ни храм, ни блуд труда
не остановят бега.
В Москве ли никогда
не будет больше снега?
Где новодел гудит
над колыбелью детской,
береговой гранит
сияет москворецкий.

А пух, а пух густой, —
ошипывая гуся,
на купол золотой
установилась Маруся.
Марусе удалось
лететь себе как птица,
за пух, летящий вкось,
руками ухватиться.

* *
*

Снег отдает апрелем, за воротник текущим,
дни превратились в кашу —
кто ее расхлебает? Нет никого в грядущем,
все побежали в кассу.

Обогатится разум девичий легкокрылый
тайнами бухучета.
Это не твой порядок — не хлопочи, мой милый, —
и не твоя забота.

Спит на столе компьютер, око его квадратно,
склонно оно к эффектам.
Не провести ли время весело и приятно,
оный плюсквамперфектум?

Стоит откусать каши. Дешево и сердито.
Опытная столица
выглядит, в общем, сытой — детище общепита.
Стоит повеселиться.

Много дорог на свете, где разъезжает ветер
на вороной кобыле, —
вот и повеселимся — всадник высок и светел
в облаке звездной пыли.

* *
*

Наивные поэмы Аполлона
Григорьева!
Дитя в бреду, и мать его бессонна,
и корь его.

Духовное металось в колыбели.
Ноль плотского.
О, синтаксис «Venezia la belle»!
Соль Бродского.

Сибирь. Шаман

Ошеломительно узнать,
что существует Дева-Мать
в молениях шамана.
Лицо проявится мое
в молочном озере ее,
а с неба сходит манна.

В пределах Белого Творца
подобной пище нет конца,
и белая Береза
листвой грохочет золотой
над смоляною головой
большого виртуоза.

Его возвышенная песнь —
моя порушенная спесь,
внезапная догадка —
его золотоносный ген
внутри моих струится вен
на глубине распадка.

Заглохли птицы по кустам.
Молчат Бальмонт и Мандельштам.
И белая Корова
летает, синей становясь.
Верхом на ней сияет князь
божественного слова.



АНДРЕЙ ВОЛОС



ПЕРВЫЙ ИЗ ПЯТИ

Рассказ

1

Низом-постник толкнул дверь, и она скрипнула. В углу горел масляный светильник, едва рассеивая темноту красноватым огнем. В другом... но нет, Черный Мирзо уже не спал: полулежал, опершись на локоть, и пистолет, выхваченный из-под подушки, смотрел Низому прямо в лоб.

— Свои, командир! — негромко сказал Низом. — Без пяти шесть. Связь с Негматуллаевым...

— Слышу, слышу. — Мирзо сел, сунул оружие в кобуру, потер ладонями лицо. — Чай есть?

— Сейчас закипит.

— С Ибрагимом связывался? — хмуро спросил Мирзо, обуваясь. — Что там?

— Тихо, — ответил Низом.

Он мог бы добавить, что по такой погоде через Санги-Сиёх не проберется ни пеший, ни конный, ни черт, ни дьявол, и поэтому нет нужды морозить людей на водоразделе. Однако он давно знал Мирзо — с тех еще пор, когда тот был не полковником, а владельцем автомастерской, которую через подставных лиц выкупил в Рухсоре у одного отъезжавшего армянина, — и привык к тому, что тот просчитывает свои действия на три хода вперед; потому и не совался не только с советами, но даже и с вопросами.

— Пошли туда двух ребят на смену.

— Есть.

— А что невесел?

Мирзо сделал вдруг пружинистое боксерское движение и неожиданно толкнул Низома плотным плечом.

— Что невесел? — повторил он, целя кулаком в подбородок. Низом увернулся. — Подожди, еще разберемся со всеми. А?

— Точно, командир. — Низом кивнул и не удержался, расплылся в улыбку: — Разберемся, командир!

— Давай, давай чаю! — поторопил его Мирзо. — Я сейчас вернусь.

Свежий снег влажно хрупал под ногами. В темноте облака безмолвно текли с перевала. Ветер гудел, шумно ворочался в зарослях мокрой арчи, гнул деревья, рокотал — и можно было подумать, что это шум вертолетных двигателей: вот-вот машина вынырнет из-за водораздела и накренится на вираже...

Этим рассказом мы завершаем публикацию цикла Андрея Волоса, составляющего роман-пунктир «Хуррамабад» (см. «Новый мир», 1997, № 8; 1998, № 6; а также «Знамя», 1996, № 5 и 1997, № 7).

Ровно в шесть Низом-постник поставил перед ним чайник. Мирзо перелил чай, выждал, чтобы настоялся.

Когда раздался звонок, он придвинул к себе кейс спутникового телефона.

— Слушаю. Это ты, Шариф?

— Я, — ответил Негматуллаев. — Кому еще быть в такое время? Или от какой-нибудь красавицы звонка ждешь?

Голос у него был насмешливый, интонация необязательная. На самом деле наверняка всю ночь совещался, то и дело трезвонил в Хуррамабад: каялся, что не уберег журналистов, грозил кому-нибудь расстрелом, получал указания, снова рапортовал... Сейчас сидит на командном пункте как на иголках, а туда же: бодрится. Бодрись, бодрись... Это правильно. Ветер удачи переменчив. Сегодня другому повезло, а завтра — тебе...

Три дня назад Негматуллаеву удалось-таки серьезно прижать Мирзо в районе завода. Тот едва вывернулся: вывел кое-как человек пятнадцать из-под огня и ушел в горы. Казалось, что Шариф обыграл его вчистую: большая часть отряда, неся потери и беспорядочно отступая, свалилась к реке и была плотно блокирована. Но словно козырный туз из прикупа, подвернулись эти шальные корреспонденты — и теперь уже Мирзо диктовал Негматуллаеву правила игры.

— Давай о деле, — предложил он. — Аккумуляторы садятся, Шариф. А заряжать мне их не от чего. Кончатся аккумуляторы — кончатся и разговоры. Имей в виду...

— Понял, докладываю, — шутливо-бодрим тоном сказал комбриг. Мирзо представил себе его широкую и плоскую, как сковорода, усатую физиономию: узбек, он и есть узбек. Держит марку. Дорого Шарифу стоит докладывать Черному Мирзо о проделанной за ночь бестолковой работе. — Мы готовы идти на твои условия. Готовы. Дело за погодой. Погода нелетная, Мирзо. Что я могу сделать? В такую погоду вертушку не поднимешь.

— Э, опять начинается про погоду... — разочарованно протянул Мирзо. — Что ты как маленький, Шариф! Ты мне вторые сутки голову морочишь. При чем тут погода? Ты не забыл, наверное, как мы с тобой мотались к Кара-хану? Разве лучше погода была? И ничего — завелись и полетели. Ты сам же пистолетом и махал, помнишь?.. — Он хмыкнул. — А теперь рассказываешь мне о погоде. Зачем мне знать о твоих трудностях? Мне это ни к чему. Неужели ты не понял, что мне нужно? Пожалуйста, я повторю. Мне нужны мои ребята — все двадцать шесть человек. Вооруженные. С боезапасом. Вы должны перебросить их сюда. Сегодня. Это последний срок, Шариф. Зачем мы будем это снова пережевывать? Я получаю своих ребят — ты своих. В полной сохранности. — Он помедлил. — Я имею в виду: тех, что останутся. Ты меня знаешь, Шариф. Я тебя никогда не обманывал.

Негматуллаев молчал.

Это правда, он хорошо знал Черного Мирзо. Слава богу, повоевали вместе. Если начать вспоминать, окажется, что каждый из них не раз и не два был обязан другому жизнью. Тут уж ничего не скажешь: серьезные люди держат слово. Черный Мирзо свое слово держал...

Комбриг вытер платком мокрую от пота шею.

Ах, дьявол, ну если б его самого можно было хоть чем-нибудь зацепить!.. ну хоть чем-нибудь! Сунуть бы сейчас трубку — ну-ка, Мирзо, боевой друг, поговори с женой: может быть, если я не могу, так она тебя убедит! С детшками своими поговори, Мирзо! Послушай их голосочки! С отцом побеседуй, с матерью — пусть они тебя вразумят... Но, увы, нет: ничем его не зацепишь, потому что Мирзо уже потерял все, что может потерять человек. Мать умерла молодой, отец второй раз не женился, сам вырастил сына. С самого начала парню не повезло. Говорят, все знали, что он

не был виноват. Мол, этот чеченец не то осетин сам всю дорогу нарывался. История давняя и темная, а к тому же если один жив, а другой мертв, никому уже не докажешь, что прав не мертвый, а живой... Мирзо получил восемь лет, а когда вышел из тюрьмы, то очень скоро стал известным человеком в Рухсоре. Очень, очень известным. Отец его тоже когда-то был довольно известным человеком в Рухсоре. Но с годами про него стали говорить так: «Файз Хакимов? Кто такой? А, это отец Мирзо Хакимова, что ли? Так бы сразу и сказал!» Прошло лет десять, и весной девяносто второго Мирзо надел на банду Кадыра-птицелова под Кабодием. Неизвестно, кто подсказал Кадыру, кто навел: так или иначе, но отец Мирзо оказался у него в руках. Мирзо тут же отвел людей, отдал Кадыру городишко, вообще сделал все, что тот приказал, умоляя взамен только об одном: чтобы ему вернули отца. Кадыр обещал сделать это, а серьезные люди держат слово. Кадыр-птицелов вернул ему отца: старика принесли в мокром от крови каноре — мешке для сбора хлопка. Он еще дышал, но вся кожа со спины была содрана. Тогда-то Мирзо и стали звать Черным — уж больно лютывал... А меньше чем через год его собственный двор был окружен под утро ребятами Камола Веселого, и сам Мирзо только по чистой случайности не угодил в западню. Но он слишком хорошо знал, что ждет жену и детей, если они живыми окажутся у Камола, — и когда стало ясно, что беды не избежать, своей рукой выпустил по дому четыре противотанковых снаряда, мгновенно превративших его в полыхающие развалины...

— Я тебя знаю, — согласился Негматуллаев. — И ты меня знаешь, Мирзо. Я тоже тебя не обманываю. Ты же не слепой, Мирзо! Ты выгляди на улицу, посмотри, что делается! Богом клянусь: у меня все готово, но не поднять сейчас вертолет! Давай ждать! Есть еще вариант, я тебе говорил. Дам грузовик — и пусть катятся куда хотят! Два грузовика дам!

— Снова здорово, — вздохнул Мирзо. — Во-первых, как я узнаю об их судьбе? Ведь они мне дороги, Шариф! Но допустим, я не стану задаваться этим вопросом, а поверю тебе, потому что ты человек серьезный. Все равно не получается: ребята нужны мне здесь, а на грузовике они сюда не проберутся. За Голубым берегом уже тогда дорогу почти размыло, а что сейчас там делается, и сказать тебе не могу. Ну, положим, если еще пару тракторов подтянуть, можно попробовать. Ну а дальше что? Я же тебе говорю: через Обигуль им пути нет. В Обигуле сидит Ислон Хирс. Мне просто повезло — я дуриком прорвался из Рухсора. Чудом. Думал, людей потеряю... Ну, и скажи мне, куда они поедут на твоём грузовике? С Ислонем воевать? У него шестьдесят стволов. Он их перестреляет из-за дувалов, как куропаток. Вот и вся экспедиция...

— Может быть, Ислон из Обигуля уже ушел! — безнадежно предположил Негматуллаев.

— Куда он по такой погоде пойдет? Под лавины? Ислон Хирс — разумный человек. Он в Обигуле непогоду пересидит.

— Ну, хорошо, — сказал Шариф. — Ладно. Я им подкину своих людей. Я помогу. У меня все готово. Через полчаса выступят. К полудню будут в Обигуле...

— Под Обигулем, — уточнил Мирзо. — Чтобы сидеть там неделю. Или две. Без бомбежки Ислома оттуда не выкурить. А бомбить — опять погоды нет. Да и вообще: ну зачем им попусту под пули лезть? Нет, это не дело. Мне ребята живыми нужны.

Они помолчали.

— Тогда давай ждать, — предложил Негматуллаев.

— Сколько? — спросил Мирзо.

— Я же не управляю облаками! — умоляюще воскликнул комбриг. — Откуда я знаю? Свяжусь с авиацией, получу прогноз...

— Прогноз... — повторил Мирзо. Почему-то именно это слово заставило его заклокотать. — Ты хочешь получить прогноз... Что же, у тебя есть

для этого возможности. И время. Это у меня времени нет. Тебе не стоит рисковать. Зачем? А вдруг правда что-нибудь случится с вертолетом? У тебя же могут быть неприятности! Лучше пусть я трачу тут бессмысленно час за часом. День за днем. Понимаю...

Он говорил вкрадчиво, но Негматуллаев почувствовал, как отчего-то стали холодеть щеки.

— Да подожди же, Мирзо...

— Ладно, будь по-твоему, я подожду! — Мирзо повысил голос. — Подожду! И даже скажу тебе сколько! Четыре часа, Шариф! Ты понял?! Если через четыре часа не будет вертолета, расстреляю первого! Ты меня слышишь?

Негматуллаев молчал.

— Одно из двух, — ровно сказал Мирзо через несколько секунд. Клокотание в груди утихло, осталась только сухость во рту. — Или я получу своих ребят. Или пеняй на себя. А? Тебя по головке не погладят...

Он поморщился — последняя фраза была совершенно лишней.

В трубке слышалось какое-то шуршание.

— Знаешь, что я с тобой сделаю, Мирзо, когда ты попадешь ко мне в руки? — спросил Негматуллаев.

— Что об этом сейчас говорить, Шариф, — примирительно заметил Мирзо. — Аккумуляторы садятся, Шариф, честное слово. Отложим до встречи. Может, я к тебе попаду, может, ты ко мне. А? Вот тогда и потолкуем... Через четыре часа свяжемся. В десять ноль-ноль. Годится?

— Годится, — сказал Негматуллаев сквозь зубы. — Годится, брат. До связи.

Мирзо положил трубку и некоторое время сидел, глядя на колеблющийся огонек светильника. Хороший ученик Шариф, ничего не скажешь. Отжал от хлопзавода, сбросил к реке, блокировал. Молодец, молодец... Если бы не второй его батальон... а!

Он поднялся, подошел к занавешенному окну, приподнял сюзане. Начинало светать. Ветер, бессонный ветер шумел в ущелье, гудел в заснеженных зарослях... Ветер, только ветер.

Мирзо вынул из нагрудного кармана бумагу. Наклонившись к светильнику, долго читал список. Свет был тусклым, буквы рябили. Ни одна из этих строк ничего ему не говорила. Задумавшись, он смотрел на колеблющееся пламя. При желании можно было бы вообразить людей, которым эти фамилии принадлежали. Но делать этого не стоило. Разумеется, никто из них ни в чем не виноват. Просто не вовремя оказались в Рухсоре. Разве это их вина? Нет, это не их вина. А чья вина?.. А разве его отец был в чем-нибудь виноват? Разве его отца спросили, виноват ли он в чем-нибудь?..

Он еще раз пробежал список и жестко подчеркнул ногтем первую фамилию.

2

До поздней ночи не было известно, дадут ли им пропуск и машину. Все нервничали, Кондратьев ждал звонка, Тепперс, корреспондент из Эстонии, прибившийся к ним накануне, жаловался на природную невезучесть. В городе было беспокойно, кое-где постреливали, телефон работал через пень-колоду. Вдобавок зарядил дождь и похолодало. Но в первом часу Кондратьев все же добился своего: машину комендант обещал. Насчет охраны договорились так: дорога спокойная, поедут сами, а при подъезде к Рухсору свяжутся с Негматуллаевым, чтобы их встретили и обеспечили безопасность.

Ивачев, правда, и утром еще не верил, что машина будет, и был даже немного разочарован, когда к гостинице подкатил лобастый «уазик» с эмблемой Министерства обороны. Из кабины выбрался немолодой таджик в

гражданском и сообщил, что его зовут Касым и он отдан комендантом вместе с машиной на двое суток в их распоряжение.

Тепперс, благодаря длинным каштановым локонам похожий на рок-музыканта, навешивал на себя фотоаппаратуру, ликовал и то и дело тыкал пальцем в переносицу, поправляя очки.

— Только бензина нет совсем, — сказал Касым, почесывая лысину. — Комендант бензин не давал. Говорит — сам заправляйся.

— Так вы бы заправились, — удивился Кондратьев.

— А деньги я где возьму? — в свою очередь удивился тот. — Давайте деньги, заправимся.

— Это ошибка! — заволновался Тепперс. — Это неправильно!

— Тихо, тихо! — сказал Саркисов. — Петя, не пыли!

— Как же так! — Кондратьев непонимающе смотрел на Касыма. — Он же обещал бензин! Дело не в деньгах! Времени жалко! Я сейчас позвоню коменданту...

— Э, что толку звонить! — возразил Касым, нахлобучивая тюбетейку. — Не надо звонить... Зачем звонить? Знаю я этот телефон-пелефон! Никто ничего не поймет, потом опять скажут: Касым виноват! Ладно! Мало-мало есть бензин... полбака. Может, доедем... — Он разочарованно шмыгнул носом. — А может, и нет.

— Дай ты ему десятку, — буркнул Саркисов. — А то он нас заморочит.

Кое-как разобрались с бензином, с деньгами и в девятом часу выехали наконец из Хуррамабада.

Всю дорогу Кондратьев вяло переругивался с Семой Золотаревским насчет того, можно ли в неразберихе хуррамабадских событий вычленить силы, стремящиеся не к самообогащению и власти, а к реализации своих представлений о справедливости и верном устройстве общества.

— О чем говорить... — бурчал Сема в бороду. — Да вот тебе, пожалуйста, последние события. Черный Мирзо схватился в Рухсоре сначала с бандой Ибода, а потом и с подтянувшимися правительственными войсками. Почему? Потому, говорит тебе Черный Мирзо, что правительственные войска установили в Рухсоре полицейский режим, при котором простому человеку, как говорится, ни бзднуть, ни пернуть; он, Черный Мирзо, знаменитый полевой командир, в недавнем прошлом комбриг, в распоряжении которого в настоящий момент находится всего-навсего около сорока стволов, выступает в защиту простого народа, то есть хочет прогнать из Рухсора правительственные войска и установить справедливую демократическую власть. Об этом, как ты знаешь, он вчера сделал заявление представителям западных агентств. Про Ибода он, разумеется, помалкивает. Но всем при этом известно, что на самом деле Черный Мирзо хочет сам вместо Ибода, и единолично, а не вместе с представителями правительства, контролировать деятельность и доходы самого крупного в республике хлопкоперерабатывающего завода, который приносит уж никак не меньше пары миллионов зеленых в год. Так чего стоят его идеи?

Кондратьев возмущался, вспоминал события девяносто второго, прослеживал исламскую компоненту войны, которая, на его взгляд, была (в отношении идеологии) кристально чистой и преследовала сугубо духовные цели.

— Ну конечно, — бухтел Сема. — А о том, что церковь — такая же властная структура, как, положим, Совет министров, ты склонен не вспоминать. Это не укладывается в схему... конечно, что же!.. давай дурака валять!..

Машина натужно гудела, всползая по серпантину. Ивачев смотрел по сторонам, а когда задремывал, перед глазами начинали мелькать безобразно яркие картины войны; он встряхивался, зевал и снова смотрел в окно, думая о том, как сложит множество разных впечатлений в давно обещанный большой очерк... На перевале их встретило яркое солнце, но они по-

катились от него вниз, в долину, вслянь налитую непогодой, — и снова все вокруг помрачнело, словно они опускались в сумерки; а временами машина оказывалась в полосе плотного тумана, каким выглядели вблизи облака.

Около двенадцати подъехали к блокпосту при въезде в Рухсор. Касым подогнал машину к бетонным плитам, перегораживающим дорогу, остановился, заглушил двигатель и, словно ставя точку, решительно скрежетнул рычагом ручного тормоза.

— Тамом шуд¹, — сказал он. — Приехали.

Откуда-то издалека — с северной окраины города, из кварталов, прилегающих к хлопзаводу, откуда бригада особого назначения генерала Негматуллаева пыталась выбить боевиков Черного Мирзо, — доносились отрывистые звуки стрельбы. Татакали автоматы, гулко, с расстановкой били крупнокалиберные пулеметы. Потом что-то несколько раз ухнуло так, что задрожала земля.

— Во дают. — Саркисов спрыгнул вслед за Ивачевым на землю. — Изю всех видов оружия, как говорится. Хороший был завод. И по камушку, по-о-о кирпичику...

Здесь тоже недавно был дождь, и низкое облачное небо походило на мятую шляпу, надвинутую на самые брови.

Капитан, выглянувший из вагончика, оказался знакомым Касыма: они трижды приобнялись, потом, протянув друг другу обе ладони, стали жать руки, проговаривая обычные формулы приветствий. Затем капитан принял протянутую Кондратьевым бумагу из канцелярии президента и стал в нее тяжело вчитываться. Ивачев знал, что это была сильная бумага: не бумага, а бумажища — вон даже отсюда печати видны. Однако по мере ее чтения круглая обветренная физиономия капитана приобретала почему-то выражение не удовлетворенности, а раздражения.

— Документы! — в конце концов потребовал он и с запинками перечислил, водя по списку пальцем: — Ивачев, Кондратьев, Саркисов, Тепперс... э-э-э... Золотаревский.

Сему вписывали позже, поэтому он нарушал так любимую администраторами алфавитную последовательность.

— Брат! — удивился Касым. — Да все нормально, чего ты!

— Документы! — повторил командир блокпоста.

Ивачев протянул паспорт, редакционное удостоверение и лист аккредитации.

Сопя, капитан положил стопку паспортов и удостоверений на ступеньку вагончика и стал придирчиво их рассматривать. Выкликнув очередную фамилию, долго сличал с фотографией, глядя в лицо с таким прищуром, словно прицеливался.

— Нет, — удовлетворенно сказал он, закончив проверку. — Нельзя.

— Почему? — спросил Кондратьев. — Он был по договоренности с пресс-секретарем назначен старшим группы. — Вы что, товарищ Насруллаев? Вы прочтите еще раз разрешение! Там же написано: командуются в бригаду особого назначения! Честь по чести!

— Нельзя, — равнодушно повторил капитан. — Не положено.

Растерянно обернувшись, Кондратьев пожал плечами.

— Почему не положено? — Саркисов подошел ближе. — Почему не положено, если у нас разрешение есть? Ну хорошо, а позвонить можно?

— Нельзя, — сказал капитан.

— Да какое у вас право! — закричал Саркисов. — Почему вы не слушаетесь распоряжений президента?!

Он сделал еще шаг, и тогда один из солдат как бы невзначай, не глядя на него, приподнял ствол.

¹ Все, конец (тадж.).

Саркисов осекся, отступил и негромко выругался.

Касым, цокая языком и озабоченно качая головой, поднялся вслед за капитаном в вагончик. Через пару минут один из бойцов отнес туда чайник.

— Понятно... — протянул Саркисов и злобно сплюнул. — Господа чай пить изволят. Согласно законам восточного гостеприимства, как говорится. И по камушку, эх, д' по-о-о кирпичику-у-у...

Ивачев сел на бетонный блок и стал смотреть на дорогу.

— Это самоуправство, — сообщил Тепперс, присаживаясь рядом. — Это нарушение правил. Это нельзя допускать. Действительно, это странно, что не слушаются распоряжений властей... — Он нахмурился и озабоченно покачал головой. — Это безобразие. Сколько нас тут будут держать?..

— Куда ты торопишься, Ян? — спросил Ивачев. — Успеем. На наш век пальбы хватит. И потом: ведь всегда одно и то же: несколько трупов под тряпками... пара сгоревших домов... БТР без гусеницы... А? Ведь правда?

— Произвол, произвол... Безобразие, безобразие...

— Не огорчайся. Тут ведь как: у кого автомат, тот и командует. Был бы у тебя автомат, ты бы тоже мог немного покомандовать. Построил бы нас сейчас в шеренгу по три... А?

— В шеренгу по три? — Ян поджал тонкие губы и тут же рассмеялся: — Может быть. Да. Но мне как-то спокойнее без автомата...

Появилось солнце. Дорога заблестела. Мокрые кусты побуревшего шиповника сверкали. Облака постепенно сползли с хребта, рассеивались, обнажая бурые склоны и верхушки гор, покрытые снегом. С востока надвигался новый фронт — тяжелый, свинцовый.

Касым появился минут через двадцать. Смущенно посмеиваясь, он поманил Кондратьева в сторону и стал ему что-то негромко объяснять. Кондратьев согласно кивал. Выслушав до конца, достал бумажник и передал Касыму несколько радужных банкнот. Касым вернулся в вагончик. Ивачеву показалось, что одну из бумажек он мимоходом сунул в карман. Через минуту они вышли вместе с капитаном. Капитан улыбался.

— Кто старший? — спросил он. — Кондратьев, да? Идите сюда. Вы хотели Негматуллаеву звонить? Сейчас свяжемся с Негматуллаевым.

Еще через десять минут все было организовано: начштаба подтвердил, что, в принципе, им можно ехать: ждите у магазина, вас встретит майор Алишеров и проводит в распоряжение. «Дар назди магазин? Алишеров? Кучаи Дониш? — орал Касым в трубку. — Хоп, майли, дар назди магазин!²»

— Счастливого пути, — говорил капитан Насруллаев, пожимая руку Кондратьеву.

— Спасибо, спасибо, — отвечал тот. — Большое спасибо.

Солдат завел трактор, подогнал его к заграждению и ухватил тросом железное ухо одной из бетонных чушек, чтобы освободить дорогу.

— Вот же словочь, — сказал Саркисов, когда они отъехали.

— А, что хотите... бедный человек, — заметил Касым. — Это тот магазин, что у канала, что ли?

— Ну вот, — огорчился Кондратьев. — Что же вы, Касым! Нужно же было узнать, какой магазин!

— Да знаю я тут все магазины! — ответил Касым. — Это возле канала, точно!..

Они быстро ехали по пустому городу, напуганному стрельбой, по кривым улочкам мимо наглухо закрытых ворот и притихших дворов. Скоро миновали канал, наполненный бурливой водой, торопливо несшей коричневую пену и ветки, свернули и действительно оказались возле магазина. Магазин, как ни странно, был открыт — невзирая на близкую канонаду.

² Возле магазина?.. Улица Дониша? Хорошо, возле магазина! (тадж.)

— Во-о-о-от, — сказал Касым, глуша двигатель и оглядываясь. — Нет никакого Алишерова. Ладно... Пойти сигарет посмотреть...

Он вытащил ключи и вылез из машины.

— Открой дверь, — попросил Золотаревский. — Душно.

Ивачев привстал, распахнул дверцу, да так и замер.

Из переулка напротив вынесся крытый армейский «ГАЗ-66», проскочил два или три десятка метров и резко, с заносом остановился, расшвыряв напоследок множество комков желтой грязи. Касым не успел дойти до крыльца и стоял теперь, приложив ладонь ко лбу и разглядывая грузовик. Тем временем из кабины выбрался плотного сложения человек с полковничьими звездами на погонах полевого обмундирования, заглянул в их машину, молча рассмотрел лица, а потом усмехнулся и приветливо (даже как-то обрадованно, подумалось Ивачеву) спросил:

— Русские?

— Есть и русские, — ответил Саркисов.

Он вечно первым находился.

— Вы кого ждете? — осведомился человек.

Ивачев сел на свое место.

— Алишерова ждем, — весело сказал Саркисов. — Вы, часом, не Алишеров? Нам какого-то Алишерова обещали — говорят, он с корреспондентами всю дорогу дело имеет!

Саркисов захохотал.

— С корреспондентами? — переспросил человек. — Нет, я не Алишеров. Меня зовут Мирзо. Где водитель?

— А вон! — ответил Саркисов. — Сигареты покупает.

— Минуточку, — извиняющимся тоном сказал Мирзо. — Сейчас.

Из кузова грузовика уже выпрыгнули двое.

Касым повернулся и тяжело побежал в сторону канала.

— Стоять! — крикнул Мирзо.

Один из парней в три прыжка настиг, сделал движение — словно пытался поймать муху или оборвал нитку, — и Касым вдруг покосился и стал валиться на бок, словно доминошная кость. Парень присел возле него и полез по карманам. Касым мычал и подбирал под себя ноги. Бросив ключи напарнику, парень подошел к дверце и сунул в нее автоматный ствол.

— Спокуха, блад, — сказал он и неожиданно ухмыльнулся, показав редкие зубы. — Спокуха.

Он был невысокий, худой, с нечистым скуластым лицом, обильно покрытым фиолетовыми оспинами давнего фурункулеза.

Никто из них, сидящих по бортам на двух скамьях, не пошевелился. Должно быть, от них ждали именно этого, потому что все происходило хоть и быстро, но без особой спешки и лишней суеты: Мирзо уже неторопливо сажился в кабину грузовика, редкозубый впрыгнул к ним, хлопнул дверцу и пристроился у задних дверей, направив свой проклятый автомат прямо на оцепеневшего Ивачева, а третий забрался на водительское сиденье.

— Это что? — изумленно вымолвил сидевший рядом с Ивачевым Тепперс. — Куда это?

Машины выруливали на дорогу.

— Это что такое?! — закричал Тепперс, тыча пальцем в переносицу. Акцент его сейчас был особенно заметен. — Это произвол! Вы из какой части? Вы из части Негматуллаева? Вы будете наказаны! Мы корреспонденты!..

— Э, блад! — прикрикнул автоматчик и повел в его сторону ствол. — Молчи, сказал! Сказал, с нами поедете!

И неожиданно захохотал.

— Негматуллаев! — повторял он. — Тоже мне, блад, шишка на ровной месте — Негматуллаев!

Ивачев задохнулся, потому что вдруг отчетливо понял, что произошло. Эти люди не имели никакого отношения ни к Алишерову, ни к комбригу Негматуллаеву, ни вообще к правительственным войскам. И Мирзо был не какой-то там просто Мирзо, а Черный Мирзо, полевой командир, с вооруженным отрядом которого никак не может сладить бригада особого назначения!

И, должно быть, Тепперс прочел эту мысль в его глазах, потому что мгновенно окаменел, приоткрыв рот и глядя на Ивачева сквозь запотевшие от ужаса очки...

Большие белые буквы и цифры, написанные на зеленом борту грузовика, были щедро заляпаны грязью. Ивачев смотрел на них, без конца повторяя, словно заклинание, способное отвести беду и несчастье: «Тридцать три восемнадцать эс-бэ-эм... тридцать три восемнадцать эс-бэ-эм...» За «уазиком» мягко переваливался на колдобинах темно-синий джип, пристроившийся к ним где-то на последних окраинах Рухсора: там они остановились на несколько секунд, и Черный Мирзо пересел в него.

Снова пошел дождь, струи воды, кривясь, бежали по лобовому стеклу.

Минут через десять они оказались у знакомого блокпоста на перекрестке. Сейчас путь был открыт, а солдат, стоявший возле трактора, даже не посмотрел в сторону машин.

Еще через полчаса их небольшая колонна свернула с трассы и двинулась по узкой и сильно разбитой дороге. Дождь пузырился в глубоких лужах.

Было два часа пополудни, но казалось, что скоро стемнеет: так тяжело нависало низкое небо.

Дорога забиралась все выше в предгорья.

Двигатель гудел и выл, иногда начиная захлебываться; тогда водитель со скрежетом переключал передачу, и машина дергалась. Слева тянулся каменистый склон, из которого торчали бурые скалы. В конце концов они миновали водораздел и покатались вниз, к деревьям и крышам большого кишлака, выплывавшим из клокастого тумана.

Недалеко от первых домов дорога разбегалась на две: левая, забрав повыше, превращалась в кривую кишлачную улицу, правая огибала крайние дувалы по борту неглубокого сая и уходила в сторону.

Грузовик свернул направо. Дорога шла под уклон, кишлак оставался по левую руку.

Из проулка между крайними домами кишлака показались люди. Их было человек шесть. Они вприпрыжку миновали раскопанные под огороды полосы земли и скрылись в фиолетовых зарослях барбариса. Грузовик надал ходу, по-лягушачьи прыгая на ухабах. Из выхлопной трубы вылетали комья сизого дыма — видно, водитель то и дело перегазовывал, втыкая то одну передачу, то другую.

Ивачев схватился за поручень.

— Э, шайтон³! — крикнул автоматчик, стукнувшийся затылком о потолок. — Девона⁴!..

Люди появились снова — теперь гораздо ближе. Однако спуститься к дороге они явно не успевали. Один поднял руки и закричал. Машины летели, нещадно громяхая и подсакаивая.

— Э, блад... — прошептал сквозь зубы парень с автоматом.

Он схватил Ивачева за ворот и резко дернул. Охнув, Ивачев скатился с сиденья и упал на пол, обхватив голову руками. Железный пол бился под ним, гудел и вибрировал.

Автоматчик тычком сунул ствол в боковое стекло. Стекло хрустнуло, превратилось в белую мозаику и стало распадаться на крошки. Он со скре-

³ Черт, бес (тадж.).

⁴ Сумасшедший (тадж.).

жетом поворачачал стволом, одновременно прилаживаясь к прикладу и расставляя кривые ноги пошире.

Автомат загрохотал и задергался. Салон наполнился пороховой гарью.

Двое или трое из тех, что бежали к дороге, стали палить от живота веером.

Из джипа тоже стреляли длинными очередями.

От бортов грузовика летели белые щепки.

Вот уже каменистый склон отделил их от стрелявших, но машины не сбавляли ходу, бешено прыгая по залитым водой ямам.

Еще через минуту дорога нырнула в заросли.

— А, блад! — сказал автоматчик и пнул Ивачева ногой. — Вставай, проехали...

3

Его звали Низом, а прозвище у него было «постник», потому что он никогда не ел мяса: когда предлагали, его худое неровное лицо невольно кривилось. Честно говоря, в детстве он ни разу не наедался досыта, но и тогда в рот не брал мясного; его воротило, а старуха Фариджа-биби сказала, что у мальчика хорошая густая кровь, а вот желчь маленько подкачала — жидковата, поэтому от мяса ему и впрямь один вред.

Они жили в кишлаке под Рухсором. Класса с шестого отец уже позволял ему садиться за руль «Беларуси». Это было хорошо, потому что, когда вся школа собирала хлопок, он, вместо того чтобы целый день по жаре семенить по рядам колючих пыльных кустов, набивая проклятушим белым золотом тяжелый канор, раскатывал на тракторе, перевоза в прицепе урожай с поля на хирман. Не всем везло так, как ему. После восьмого класса раис — председатель колхоза — приказал записывать на него трудодни и даже давал немного денег — потому что он уже стал полноценным трактористом и мог пахать землю, возить хлопок на завод или удобрения с базы не хуже, чем взрослые мужики. Это тоже было везение. Его сверстники не хотели работать на полях, многие уехали в Хуррамабад, но только двое поступили в техникум; кое-кто все-таки зацепился в городе — но лишь благодаря участию родственников; а у кого не было в городе родственников, к осени вернулись и взялись за кетмени. Да и то сказать, неизвестно, что лучше — жить в родном кишлаке или мыть сальные котлы в какой-нибудь вонючей хуррамабадской столовой... Если бы не армия, раис уже тогда закрепил бы за ним свой, личный трактор. Низом давно мечтал об этом. Приходилось работать на чужих — когда кто-нибудь заболел или, скажем, уезжал к родственникам на похороны или свадьбу. Уж свой-то он бы, конечно, знал до последнего винтика, а с чужими было одно мучение — вечно ломались в самый неподходящий момент. Они твердо договорились с раисом: как только возвращается из армии, получает самый новый трактор. «Только чтобы обязательно три медали! — шутил раис, жирный живот которого был перетянут широким офицерским ремнем с двумя рядами дырочек. — Обязательно три!..»

Низом служил под Омском в бронетанковых. Два года тянулись долго, но кончились и они. Снова ему повезло: в части было много земляков. Он сносно говорил теперь по-русски. Новый трактор раис ему не дал, потому что новых не было. Он получил старый, на котором прежде ездил Юсуф-заика. Юсуф-заика был турком-месхетинцем. После Ферганских событий он продал дом и увез семью. В кишлаке его поступок не одобряли: он что же, думает, что и здесь будут громить турок-месхетинцев?.. Вообще, жизнь начала быстро меняться. Все теперь хотели говорить: о прежнем плохом, о будущем хорошем; о том, что виноваты во всем русские; что русские ни в чем не виноваты, а виновата система; что страна должна обновиться и стать демократической. Раис тоже толковал, что страна должна стать де-

мократической. Раньше мужчины, собираясь в чайхане, трепались о вещах понятных и бесспорных; потягивали чаек да поглядывали в сторону поля, где разноцветными крапинами посверкивали под солнцем женские фигурки. Теперь даже женщины начали кое о чем поговаривать: мол, то не так, а сё не этак. Уже стали открыто — даже в газетах — рассуждать, что старая власть свое отжила; что она сама не понимает, ради чего существует; что она готова на все, только бы продлить свою гнусную агонию; и что новые преступления, совершенные против передовых и уважаемых людей, отстаивающих свои демократические взгляды, ей никогда не простятся. Нескольким раз приезжали из Хуррамабада довольно молодые, но уважаемые люди — поэты. Они читали стихи, в которых речь шла о цветах или бабочках, но всем было ясно, что на самом деле поэты хотели сказать что-то не о бабочках и цветах, а о народе, о необходимости свободы и счастья, и эти звонкие слова оставляли после себя какое-то печальное недоумение: а правда, почему все так, а не иначе?..

Солнце поднималось, а потом садилось, и все то время, что оно стояло над землей, Низом царапал землю плугом, или заглаживал раны бороной, или волок за трактором сеялку, или, чертыхаясь, расстилал на земле черную замасленную тряпку и принимался за починку. Так шло года два или три, у Низома было уже двое детей, и Гульбахор ждала третьего. К весне девяностого зачастили в кишлак деловитые люди, одетые, как правило, либо в хорошие костюмы и шляпы, либо во что-то вроде полувойенных френчей — и тогда непременно с белой чалмой на голове. Машины останавливались у дома раиса. Туда же приходил директор школы и эшон Зиёдулло — человек, уважаемый от рождения, потому что был прямым потомком пророка, — и еще кое-какие уважаемые люди. Иногда они вызывали к себе кое-кого из мужчин, иногда сами целой компанией заходили в некоторые дома. Однажды ранним утром к школе подъехали два грузовика. Директор произнес небольшую речь, упомянув в ней идеалы демократии и свободы. Затем в кузов погрузили несколько охапок стальных прутьев, старшеклассники расселись в одном, а пара десятков самых дурных кишлачных парней постарше — в другом, и покатили за сорок верст в Хуррамабад — и три или четыре дня после этого Хуррамабад горел, изнемогая в безликом бешенстве погромов.

Казалось, налетел черный смерч, покружил и ушел, оставив за собой дым и развалины. Рассказывали, будто теперь русские начали уезжать целыми поездами; газеты разрывались от негодования; поэты почему-то писали и печатали покаянные статьи, в которых призывали всех покаяться вслед за ними и поклясться в вечном дружелюбии — как будто это именно они недавно убивали людей железными прутьями; и все хором и на всех углах обвиняли правительство в бессилии и равнодушии. Но правительство в отставку не ушло, а в полном соответствии с поговоркой натянуло крепкую ослиную шкуру на свою бесстыжую рожу.

Шум то стихал, то снова поднимался: казалось, будто кто-то, бросив пробный камень, теперь внимательно наблюдает, как расходятся круги... Так и тянулось месяц за месяцем — и протянулось почти два года. Жизнь стала тусклой, потому что в ней поселился страх. Низом угрюмо слушал, что говорят, но никому не верил. Он хмуро чинил свой трактор и снова пахал, боронил, сеял и жал: его все еще не покидала безнадежная уверенность, что если упрямо двигаться по одному и тому же давно заведенному кругу, то и жизнь, быть может, в один прекрасный день закрутится по-прежнему... Но однажды все как-то вдруг, буквально в одну минуту, окончательно сорвалось с прежних мест и дико покатилося вниз, обрастая, словно снежный ком, все новыми и новыми ужасами.

...Он стоял возле трактора, когда на дороге показался армейский «газик». Щурясь, Низом смотрел, как он переваливается на колдобинах. Поля были еще зелеными, солнце золотило склоны холмов, теплый душистый

ветер качал траву на краю поля. Машина остановилась. Дверцы распахнулись. Первым показался человек, одетый в серый костюм и шляпу, затем другой — в полувоенном зеленом френче, с белой чалмой на голове, а после него — два автоматчика в камуфляжных одеяниях.

— Соберите их, — брезгливо сказал тот, что был в чалме.

Человек в костюме стал кричать и махать над головой руками.

То же самое было и вчера. Они собрали людей и стали толковать о том, что работать не нужно — мол, работая, вы помогаете прогнившему режиму, которому давно пора пасть. «Завтра на работу не выходите, мусульмане! — голосил человек в чалме. — Не богоугодное это сейчас дело, мусульмане!..»

Низом равнодушно бросил тряпку на гусеницу и сплюнул.

— Говорил ли я вам, что сегодня не нужно выходить на поля? — кричал человек в чалме, когда народ стянулся к машине.

По небольшой толпе прошелся легкий ропот.

— Вы не хотите слушать голос разума, мусульмане! — Лицо его налилось кровью. — Зачем вы снова схватились с утра за свои поганые кетмени? Разве я вас не предупреждал? Я вам говорил вчера: есть сейчас у нашего народа дела поважнее! Но я неправильно говорил с вами! Вы не понимаете человеческой речи! Вы скоты! — Он протянул руку и выхватил автомат у стоявшего справа. — Нет, не человеческим языком нужно вам это объяснять! Скот не понимает слов! Хорошо, теперь я буду говорить иначе!

Он оскалился, коротко шагнул, вскидывая ствол, и длинной веерной очередью ударил в толпу...

Низом-постник хотел одного — водить трактор, получать деньги, кормить жену и трех маленьких дочерей, а еще — купить когда-нибудь автомашину «Жигули» седьмой модели, но это была настолько призрачная мечта, что он никому о ней не рассказывал. Однако теперь прежние его мечтания разом поблекли и потеряли смысл: он никак не мог отделаться от оскаленной рожи того человека в полувоенном френче; стоило только закрыть глаза, и снова она всплывала откуда-то, снова гремела дымная сталь, снова холодело сердце. Он думал, думал, думал — и в конце концов привык к мысли, что деваться некуда: и впрямь пошли совсем другие разговоры — без железа не разберешься.

Тогда он спросил у знающих людей, и ему сказали, что есть в Рухсоре один человек, зовут его Мирзо Хакимов, и если он хочет с ним поговорить, надо сделать то-то и то-то. Низом поехал в Рухсор и через несколько дней встретился с Мирзо Хакимовым, хоть это и оказалось совсем не простым делом. Он сидел, как сказали, в чайхане возле базара. В назначенный срок к нему подсел невысокий паренек в куцем пиджачке. Они коротко поговорили, и паренек, часто оглядываясь, повел его мимо больницы и школы в кривые тихие улочки, где с ветвей урючин тихо скользили на невидимых паутинках белые червячки. В конце концов вышли к большому арыку, и там оказалась другая чайхана — совсем маленькая. Паренек усадил его, заказал чайник, а сам ушел, чтобы через несколько минут вернуться вместе с крепким плечистым человеком в кожаной куртке. Ему было лет тридцать пять или сорок, густые черные волосы тронуты на висках сединой, а взгляд тяжелый и цепкий. Он молча выслушал Низома и затем, глядя в глаза, коротко сказал, что дела обстоят так-то и так-то и для начала Низому придется сделать то-то и то-то.

— Нет, — ответил Низом. — Этого я сделать не могу. Да вы что, уважаемый! У меня у самого три дочери!..

Мирзо Хакимов пожал своими крепкими плечами и встал.

— Ладно, — хрипло выговорил Низом. — Я согласен.

Мирзо смотрел на него секунду или две. Низому показалось, что этот взгляд выжигает зрачки, и он невольно потупился.

— Хорошо, — сказал Мирзо. — Вечером встретишься у меня с Бободжоном, он скажет, что делать. Знаешь, где моя мастерская?

Следующим утром Низом сидел за рулем «Волги». Бободжон курил, выставив ноги на тротуар. Потом он бросил сигарету, неторопливо выбрался из машины и широко раскрыл заднюю дверь. Когда девчонка поравнялась с ним, Бободжон сделал шаг, схватил ее в охапку, зажав рот ладонью, и повалился вместе с ней на сиденье. Низом дал газу. Шприц был наготове, и Бободжон вколол ей что-то прямо сквозь платье. Через минуту она ослабла, закрыла глаза, и тогда он сказал, отдуваясь:

— Тошяя, сучка, как цыпленок... Одни кости. За что они их любят?..

И недоуменно покачал головой.

Вечером они были в Ишдаре. Чернобородый и беззубый Одамшо разговаривал свистящим шепотом, всплескивал руками и отчаянно торговался. Когда наконец ударили по рукам, Одамшо на радостях заправил под язык добрую толику насвою и прогнусавил, что они, если хотят, могут пару часиков вздремнуть. К границе он повел их глубокой ночью. Звезды застилали небо сплошной серебряной занавесью. Низом качался в седле и думал о жене и детях. Девчонка спала, упакованная в ковровый выюк. Под утро вышли из ущелья на огромное плато, и оказалось, что это уже Афганистан. Остановились у ручья, Бободжон сделал девочке очередной укол, а часа через два добрались до места. Небольшой кишлак, не тронутый войной, вольно разлегся при слиянии двух бурливых речушек. Одамшо камчой показал на ворота. Они въехали во двор, спешили и сгрузили выюк. Хозяин дома, которого Одамшо называл Малик-аскером, вышел к ним в калошах на босу ногу — заспанный и недовольный. Бободжон развязал выюк. Сопя, Малик-аскер присел и одним движением разорвал платье. Девочка застонала и открыла мутные глаза.

— М-да-а-а, — протянул Малик-аскер. — Ну, хорошо.

Следующей ночью Одамшо повел их назад, и теперь во выюках было двенадцать автоматов и несколько ящиков с патронами. Правда, один АКМ должен был получить Одамшо в качестве платы. А патроны к нему у него уже были...

Все пять лет войны Низому хотелось встретить того человека в полувоенном френче. Он тысячу раз представлял себе, как это будет: как посмотрит в глаза, что скажет ему перед тем, как выстрелить. Скорее всего, этот деятель отсиживался где-нибудь в Иране, пережидая войну. А война распалась, словно огонь в сухой траве. Мирзо Хакимов выступил против оппозиции, имея в наличии тридцать стволов. Уже через два месяца ему пришлось назначить командиров батальонов. Бронетанковую технику, угнанную из регулярных частей лихими парнями вроде Шарифа Негматуллаева, он вывел в отдельное подразделение.

Это была беспорядочная и кровавая война, каждый день которой убедительно доказывал, что автоматный патрон, который обходится приблизительно в четверть американского доллара, стоит значительно дороже человеческой жизни. Низом знал, что если он попадет в руки того же Кадыра-птицелова, за которым бригада остервенелого от ненависти Мирзо Хакимова из последних сил таскалась по бугристой знойной равнине, попутно сжигая мелкие кишлаки, чтобы лишить изнемогающую банду Кадыра последней поддержки, то ему вспорют живот, отрежут член и, мертвому, сунут в рот. Каждый из них в один прекрасный день мог оказаться лежащим в луже крови, со спущенными штанами и собственным срамом в окоченелом рту — как лежал на асфальте разрушенного города Курхон-Теппа Хамид, троюродный брат Низома, — и поэтому чувство элементарной справедливости требовало поступать так или примерно так с людьми Кадыра, если они попадали им в руки. К зиме, когда закрывались перевалы, затихали и военные действия. Пару раз он ненадолго приезжал домой,

привозил консервы, однажды — мешок рису. Кишлак был тих и бел, поля тоже белы и безжизненны, и все труднее было вспомнить, что три или четыре года назад он был трактористом и любил свою работу. Когда наступала весна, опять становилось не до пахоты, потому что перевалы открывались и по дорогам снова можно было подвозить оружие и боеприпасы.

Он был тяжело ранен во время июльского мятежа полковника Саидова и три месяца провалялся в армейском госпитале в Хуррамабаде. Говорили, что в районе Рухсора уже было совсем спокойно — за три года войны оппозицию кое-как оттеснили к юго-востоку, и теперь где-то там, между Харабадом и Дашти-Гургом, клочкотали затяжные горные бои. Прихрамывая, он вышел из ворот госпиталя — без сигарет и без копейки денег, но зато с красивой желтой нашивкой на рукаве камуфляжной куртки. Автобус на Рухсор был полон, он кое-как протиснулся в середину и сел на какой-то тюк. Низом-постник смотрел в окно, на пыльную площадь.

— До Рухсора? Сорок... Эй, приятель! Платить будешь?

Низом пожал плечами.

— Слушай, брат, денег нет, — просительно сказал он. — Только что из госпиталя...

Водитель онемел от возмущения. Он запунцовел и только немо раскрывал и закрывал рот, словно рыба, вытщенная из воды.

— А ну вылазь! — закричал он, когда дар речи вернулся. — Ты смеешься надо мной?! Думаешь, мне жрать не надо? Детям тоже не надо? Вылазь, сволочь!

Низом рассеянно слушал его вопли, но когда тот схватил за рукав, натомашь ударил кулаком в потное лицо и стал, ослепленный яростью, шарить рукой там, где всегда прежде торчала рукоять пистолета. Женщины завизжали. Вокруг них стало просторно.

— А!.. — сказал он через пару секунд. — Ладно, черт с тобой... Скажи спасибо своему святому. Давай, поехали, долго ты будешь тут скулить?!

Дома он посадил дочерей рядом, обняв, и рассказал, что видел в этот раз в большом Хуррамабаде: на каждом углу звачка и конфеты, и уж в следующий раз он обязательно привезет им разных. Жена напекла лепешек из остатков муки. Кишлак был тих и скучен. Колхоза уже не существовало, и никто не понимал, кому принадлежит земля, однако управлял ею все тот же раис; говорили, будто теперь он ездит на машине с черными стеклами, с охраной и в доме у него несколько жен. Низому не хотелось слушать здешние сплетни. В саду у него были зарыты два ручных пулемета — он привез их во время одной из побывок. Он поехал в Рухсор, встретил кое-кого из ребят и узнал, что на хлопзаводе сидит теперь некий Ибод. Низом знал и самого Ибода, и его ребят: когда-то Ибод командовал у Мирзо батальоном. Но пути людей расходятся.

— Ибод? — удивился Низом. — Он что, с ума сошел? Ему головы не жалко? Это место Черного Мирзо!

Ему объяснили, что Ибод, видимо, договорился с кем-то на самом верху и теперь берет только половину прибыли, а вторую отдает правительству. А когда на хлопзаводе сидели люди Черного Мирзо, правительство вообще ничего не получало.

— Ну, хорошо, — сказал Низом. — Это пускай Мирзо сам решает, что делать. К зиме он в любом случае появится. Ты вот лучше скажи другое: есть у меня одна вещь на продажу...

Как на грех, покупателями оказались люди Ибода. Низом хотел уже было отказаться от сделки, потому что недальновидно и глупо продавать серьезное оружие тем, с кем еще, скорее всего, придется разбираться (как в воду смотрел!), а потом плюнул и взял свои пятьсот зеленых. Жрать-то все равно нужно.

Мирзо приехал в Рухсор в конце октября. И тут же вызвал его к себе.

— С голоду подыхаешь? — как всегда приветливо спросил он.

Низом пожал плечами — мол, перебиваюсь кое-как.

— Не для этого мы воевали, — задумчиво протянул Мирзо. — Значит, так...

Через три дня джип въехал в ворота городского парка и подкатил к колесу обозрения. Аттракционы давно не работали, все проржавело и облупилось. Один из парней сбил прикладом щеколду с трухлявой двери будки и стал наугад включать рубильники. В конце концов колесо заскрежело и пошло.

— Останови, — приказал Низом, и они с Фарухом забрались в люльку. — Вот теперь давай. Потихоньку, а то еще вывалимся к аллаху...

Люлька поднималась выше, выше... Рухсор выплывал из зелени и желтизны осенних чинар — улицы, переулки, домишки, поблескивающие зеркала маленьких хаузов во дворах, цветные лоскуты развешанного белья; вдалеке громоздились белые корпуса хлопзавода, парили трубы; еще дальше — предгорья, раскрашенные разноцветной мозаикой желтых и коричневых полей, а потом и горы, на вершинах уже покрытые белыми шапками снега.

— Еще чуть-чуть! — крикнул Низом.

Дом Ибода был виден как на ладони. Колесо остановилось.

— Так, — сказал Низом. — Ты понял, Фарух?

Фарух смотрел на часы.

— Да, я понял: четыре минуты, — ответил Фарух. — Ерунда: за четыре минуты они не очухаются.

Низом хмыкнул.

— Твоими устами мед пить. Сейчас проверим. Ох, дадут они нам прикурить...

Он положил ствол гранатомета на железный край люльки.

— Вторую готовь, — сказал он, шурясь.

Прицел рассек крестом правое окно. Граната бабахнула и пошла, и он еще не дождался вспышки и грохота и пламени в черном отверстии окна, а уже протянул руку, и Фарух сунул ему вторую. Ба-бах! Колесо дернулось, и люлька стала быстро опускаться. По ним не стреляли. Через двадцать минут Низом доложил о выполнении.

— Молодец, молодец, — сухо сказал Мирзо. — Да только его там не было, падарланат!.. Будем разворачиваться!

Ах, неловко все вышло! Ибод опять выкрутился... Больше суток Мирзо долбил его банду, засевавшую на хлопзаводе, попутно нанося невосполнимый ущерб производству. И снова не успели дожать: помешал Негматуллаев. Подтянул бригаду, навалился, чем мог...

Низом бросил окуроч в снег и сплюнул.

Ветер шумел, с натугой тянул низкие тучи... Погодка.

Он проверил посты, распорядился насчет лошадей, отправил ребят на смену Ибрагиму. Он старался не думать о приказе командира. Что толку думать о приказе? — приказ есть приказ. Черт бы их всех побрал... Глупое, глупое дело. Тут так: или да, или нет. Даст Негматуллаев слабину — хорошо. Хорошо бы...

Он постоял на крыльце, прислушиваясь. Нет, нет... Ветер, ветер тянул над ущельем снежные тучи, и низким протяжным гулом отзывались ему заросли арчи.

4

До рассвета оставалось недолго.

С перевала стекали черные облака; они струились вниз по ущелью, наползали на скалы, на скользкие пятна мокрой глины. Достигнув кишлака, мягко ложились на крыши приземистых кибиток. Голые деревья пугались в них ветвями.

За саманной стеной большими влажными хлопьями падал снег. С крыши капало.

Ивачев слышал сквозь сон и эту капель, и шорох снега, и поднявшийся под утро ветер. Между зрачками и веками колебалась темная кисея, по ней пробегали бледные сполохи... мелькали чьи-то лица, фигуры... а капель и рокошущий шум ветра превращались в неразборчивые слова, и он морщился во сне, сиюсья понять их смысл.

Когда он проваливался глубже, над головой смыкалась тьма, все пропало: голоса, лица, капель, ветер... Но потом его снова встряхивала крупная собачья дрожь, и он выныривал, понимая, что ему холодно, что нужно встать... Однако черная кисея прилипала к самым зрачкам, поднять веки не было никакой возможности, и он только ежился, пытаюсь угреться под армейским ватником, — да ничего не выходило, потому что лежал он на тонкой курпаче, а от глиняного пола несло лютым холодом.

Одна тень меняла другую, и он не знал, спит или бодрствует, но казалось, что бодрствует. Он ясно видел сощуренные глаза Низома-постника, слышал, как тот распахивает дверь и ставит бадью с водой. «Какой тебе еще командир?! Молчи, блад! Командир! Как дам один раз по башке, будешь знать командир... Вертолета ждем! Прилетит вертолет — все будет! Погода, блад, опять плохой. Опять, блад, погода нелетный... Какой закон? Так не говори! Закон придумали бобры! — сказал Низом-постник, страшно шурясь ему в глаза. — Бобры, блад! Богатые, блад! У кого бабок много, вот какие бобры! Чтоб себе удобно было. Чтобы бабок много. Кто у закона стоит, тот такой закон придумывает, чтобы бабок наворовать. Разве не так? — Он вытер кулаком нос и презрительно рассмеялся: — Они, блад, бобры, блад. Народ мучают, блад. Они, блад, бобры, блад, а я за них опять воевать буду?! Хватит. Я все понял. Я пять лет воюю. Мне уже все равно, блад... Я жрать должен, нет? Детей кормить должен, нет? Кто плотит, там и воюю. Талибаны плотят — к талибанам пойду. Кто заплотит чуть больше деньги — туда и пойду. Разницы нету, блад. Если не у Черного Мирзо, тогда у другого. Любой группировка если деньги дает, могу на все идти... Например, если враги-мраги там много у тебя — бабки заплати, пойдем, на хер, разберемся... Да хоть с самим Черным Мирзо — плати бабки, пойдем, на хер, разберемся...» Низом замолчал, лукаво и приглашающе улыбаясь, потом задрал полу плащ-палатки, вынул из кармана узкий полиэтиленовый пакетик с насвоем. Автомат смотрел стволом в сторону. У Ивачева стукнуло и зачастило сердце. Ишь какой он сегодня разговорчивый! Если б его заговорить вот так, заговорить... кинуться врасплох, свалить на землю... автомат отобрать... Низом вытряс толику насвоя на ладонь и вдруг цепко посмотрел на Ивачева прищуренными желто-кариными глазами, словно оценивая его силы. Ловко бросил насвой под язык, почмокал, потом сказал гугняво: «Автомат! Ишь!.. Смотри у меня! Как дам один раз по башке!..» И растворился, смеясь.

Тени, тени блуждали между глазными яблоками и веками, и он видел то, что было на самом деле или только могло быть. В его мозгу жизнь текла быстрее, чем в действительности, но не всегда правильно. Он не умел драться ни в детстве, ни в юности, потому что, когда речь только заходила о драке, когда все еще только осмыслили ее возможность и последствия, он уже многократно переживал ее от начала до конца и знал уже и горечь поражения, и сладость победы, и гадкий вкус предательства, и терпкую сухость решимости. Драка порохом сгорала у него в мозгу, опалая воображение, и когда наконец наступала пора и в самом деле махать кулаками, Ивачев был уже совершенно измотан и опустошен...

Он снова проваливался и тогда видел себя со стороны — будто поднимаясь над самим собой все выше и выше, к низким облакам и снегу, а потом сквозь них, за них — к черно-фиолетовому небу, к звездам, ослепительно ярким на западе и уже бледнеющим на востоке. Превратившись в

неразличимую для самого себя теплую точку, он спал, корчась под бушлатом на ветхой подстилке, а между тем и подстилка, и бушлат, и кибитка, и облака, и перевал, и ветер, и капель, и каждая снежинка, метавшаяся над черными камнями в диких завихрениях ветра, — все они летели, уносимые телом Земли, в крошечно-звездном, безжизненном пространстве, наводненном пустотой и страхом: летели в бесконечную тьму... Он сам, Низом-постник, Черный Мирзо, генерал Негматуллаев, какой-то Фарход Чой-канши, хлопья снега, кибитки, кишлаки... бессчетные горы... считанные дороги, кое-где змеящиеся вдоль рек, прорубивших себе путь между горами... — все это несло в безжизненном космосе: стремительно летело куда-то во мрак, мельчало, удаляясь, становилось светлым пятном, пятнышком, неразличимой искрой...

— Что? — Ивачев сел. Ватник свалился с плеч. Плеснуло холодом. — А?

Было тихо. Гудел ветер, шуршал снег. С крыши падали капли.

— Я говорю, часового нет, — негромко сказал Саркисов.

Он стоял на коленях возле двери.

Ежась, Ивачев надел ватник в рукава. Пошарил в кармане. В мятой пачке осталось несколько бычков. Он нащупал какой подлиннее, сунул в рот, шелкнул зажигалкой. Жадно затянулся.

Голова закружилась.

— Не может быть, — сказал он.

Ни звука — только шорох мокрого снега и мерно накатывающий гул ветра.

Должно быть, охранник задремал, привалившись спиной к стене кибитки или опустив тяжелую голову на руки, сжавшие ствол стоящего между колен автомата.

— Точно! Точно нету! — повторил Саркисов, отрываясь от щели.

Один из скрюченных кульков зашевелился и поднял всклокоченную голову.

— Что такое? — спросил Кондратьев.

— Да ничего, — ответил Ивачев. — Шура говорит, часового почему-то нет.

Он тоже присунулся к щели, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. На воле быстро светало — выплывали расплывчатые ветки кустов... корявый плетень... дувал...

Саркисов торопливо зашнуровывал ботинок.

— Нету, нету! — сдавленно сказал он. — Ну что? Сема, вставай! Толкни Тепперса!

Ивачев обжег губы, загасил дрожащими пальцами окурок о глиняный пол. Сорвать дверь не составит труда — она висела на ременных петлях. Секунда — и они оказываются во дворе... Еще не совсем светло, это хорошо... это и плохо, потому что ни черта не видно. Все спят. Да ну, ерунда, не может быть, часовой где-то здесь... Но, допустим, прокрадутся, допустим, их не заметят... ведь еще не совсем рассвело... Потом дальше, дальше — мимо дувалов и стен зябко дремлющих кибиток, к склону, поросшему боярышником и алычой, оскальзываясь на мокрых камнях, по осыпи... Потом погоня, крики, выстрелы!..

Сердце колотилось, словно и в самом деле уже неся в гору.

— Да ну, ерунда, — прошептал он, переводя дыхание. — Не могли они часового снять. Тут где-нибудь, зараза.

И точно: невдалеке что-то негромко лязгнуло — должно быть, пряжка о ствол. Послышалось хлоппанье неспешных шагов... скрежет мелких камушков под подошвами. Возникли голоса. Ничего не разобрать.

— Холодно, — пожаловался Тепперс.

— Надо бы с ними потолковать, что ли, — вяло сказал Кондратьев. — Они нас заморозят к чертям.

— С ними потолкуешь... — отчетливо лязгая зубами, проговорил Сема.

— Ты попрыгай, — посоветовал Ивачев. — Попрыгай, теплее!

Сема поднялся, стал по-медвежьи переваливаться из стороны в сторону.

— Что с ними разговаривать! — сказал Саркисов. — Мотать отсюда надо, а не разговаривать! Холодно! Подумаешь — холодно! В любой момент укокошат и худого слова не скажут.

— Это правда, — скрипнул из угла Тепперс.

— Заложников не убивают, — прокричал Сема.

— Если бы заложников не убивали, никто бы и не волновался, — рассудительно возразил Кондратьев. — Что волноваться, если не убьют: поддержат да отпустят. Тоже неприятно, конечно...

— Вот именно, — согласился Саркисов. — Вот именно. Нет, Сема, нет. Пальнут — и не вспомнят потом, что пальнули. А у тебя мозги на тротуаре.

Ивачев вздохнул. Курево кончилось.

— Дай сигаретку, Шура, — попросил он.

Саркисов вдруг вскочил и яростно пнул дверь ногой.

— Ты чего? — спросил Кондратьев, приподнимаясь.

— Так и будем здесь сидеть, пока не подохнем? К вечеру воспаление легких у всех будет! Давай делать что-нибудь!

Кондратьев прокашлялся.

— Черт его знает, — растерянно сказал он, переводя взгляд то на Сему, то на Саркисова.

— Как даст очередью... — пробормотал Сема, глядя в щель двери. — Мало не покажется.

— Не даст, — зло сказал Саркисов, садясь. — Мы им живые нужны.

— Да ну, — смущенно произнес Тепперс. — Почему воспаление? Просто холодно. Не обязательно воспаление... Может быть, вертолет скоро прилетит?

— Ого, вертолет! — кивнул Сема. — По такой погоде?

Все замолчали, надеясь услышать за шумом ветра рокотание вертолетных двигателей.

— С ними поговоришь, с идиотами... — снова неопределенно высказался Сема.

Саркисов дал наконец сигарету, и теперь Ивачев смотрел на струйку сизого дыма.

— Погодка... — протянул Кондратьев.

Сема хмыкнул, словно вспомнил что-то приятное.

— А ведь нас давешний капитан Черному Мирзо продал! — сказал он. — А? Век воли не видать! Ну, тот, с блокпоста! Которому Касым деньги относил! Пока мы там коноводились, он и отрапортовал. Мол, так и так, редкие в наших краях птички. Можно сказать, иностранные. А у того быстро сработало. Дошлый парень этот Мирзо, ничего не скажешь. Его бы, как говорится, в мирных целях... Точно — капитан! Ну, народ... Как думаешь, Шура?

— Это просто из того анекдота про Вовочку, — мрачно отозвался Саркисов. — Учительница вызвала отца и пожаловалась, что один из его сыновей обещает ее изнасиловать. «Который? — спрашивает папа. — Этот? Этот может!..»

Кондратьев рассмеялся.

— Не слышал, что ли? — оживился Саркисов. — А вот тогда еще...

Черт их знает, действительно... Ивачев вздохнул и закрыл глаза. Нет, ну правда, если рассуждать всерьез — это же все детская игра в солдатики! В войнушку понарошку. Тах! — убит! Зачем все это?..

Дрожь никак не хотела оставить прозябшее тело: накатит, пробежит по груди и животу мелкими ледяными лапками... отпустит.

Просто дурацкий маскарад. Понятно, что никто никого не убьет, — заложников не убивают, Сема прав. Зачем эти муки: холод, страх, две бессонные ночи в ледяном сарае, голод, грязь, позавчерашняя стрельба? По

нужде — и то под автоматным дулом... Ну ведь явная чушь, сон, бред; очнешься и сам себе не поверишь: шагаешь по Тверской с приятелем, шарф на сторону, парок изо рта, коньячное тепло в груди, снежок, витрины... доступные девки... жизнь!..

Глупость, глупость! А с другой стороны: действительно — дельце, гильзы веером, одни нападают, другие отстреливаются... Вот и не верь после этого... вот тебе и маскарад... бау! — и готово.

Он глубоко затянулся кисловатым дымом... Курить... как хорошо курить!

А как это можно вообще — убить человека? Ну, хорошо, ладно, он готов понять такое: в схватке, в бою, в беспамятстве, в ужасе надвигающейся смерти. А иначе как? Вот он стоит перед тобой... и в голове у него то же самое, что у тебя, — страх, надежда, бесконечность. Взять и пальнуть ему в затылок? Чтобы и впрямь мозги на тротуар?

Его всегда занимало устройство собственного тела. В сущности, некрасивое, оно изумляло своей прекрасной цельностью. Оно было удивительно незащитно, и следовало в меру возможностей оберегать его от разрушений. Оно несло на себе несколько каких-то единственных, только этому телу принадлежащих отметин: тут — вмятинка, какой нет ни у кого другого... там — желвак... здесь сломанный в детстве палец сросся чуть неправильно. Казалось, после того как жизнь отлетит, его должны тщательно исследовать... изучать... фиксировать все отклонения, изъяны, все надломы, порезы, шрамы... раскладывать на составляющие... на молекулы... подробно записывать устройство каждой — потому что оно воистину было одним-единственным на свете!

Но еще более близким и более необходимым, чем тело, было то бесконечное и неповторимое вращение теней и света, способное породить любой образ и любое ощущение, которое и являлось его жизнью. Кинематограф мозга, проецирующий на белую простыню сознания любые картины прошлого и будущего; чудесный живой океан, в котором у поверхности хаотически мельтешат представители микрофлоры — те юркие суетливые мыслишки, движение каждой из которых невозможно толком зафиксировать, — а в темной искристой глубине неторопливо проплывают живые и быстрые надежды, желания, мечты и страхи — бескрайний океан жизни, которая плещется в черепе...

Может быть, люди разнятся сильнее, чем кажется на первый взгляд? Может быть, кто-то не способен понять, как много живет в этом мозгу, как много исчезает с его гибелью. Может быть, те люди, что способны стрелять в затылок, — совсем другие? Может быть, и душа их, и тело устроены принципиально иначе — просто, как картонный ящик или железная бочка, — и они никого не жалеют, потому что уверены, что перед ними такие же бочки и ящики? Или, напротив, все в этом смысле одинаковы, в каждом бурлит такой же океан и в каждом же черные глубины до поры до времени прячут хищных чудищ, которые однажды вдруг поднимают над вспененной поверхностью оскаленные кровавые пасти — и тогда уже не до рассуждений? В каждом где-то в марианских впадинах души живет стремление к власти, хищность и безжалостность, — и что же, Саркисов тоже может взять автомат и разнести кому-нибудь башку?

Он обжег губы, но все-таки затянулся еще раз.

Нет, нет, войнушка, детская игра... Вот сволочи, ведь простудят всех к черту...

— Который час, Шура? — спросил Ивачев, гася окуроч.

— Одиннадцатый, — мельком ответил Саркисов. — А вот еще: мужик уехал в командировку...

— А вчера во сколько хлеб дали? — спросил Тепперс. — Я считаю, надо стучать. Это произвол. Это противоречит всем конвенциям.

— Конвенциям! — фыркнул Саркисов. — В гробу они видали ваши конвенции! В общем, так, мужики! Давай до одиннадцати подождем— и все. Нет, ну что мы их так боимся, в конце-то концов!

Сема вздохнул.

— Понятно почему... Тебе непонятно?

— Так что, лучше тут молчком сдохнуть?!

Никто не отвечал.

— Значит, до одиннадцати, — повторил Тепперс. — А потом...

— А потом головой начнем об стенку биться, — подхватил Кондратьев. — Правильно! Чтобы им больно было.

— Черт их знает, что за люди, — сказал Ивачев. — Куска лепешки не дадут...

— Тихо! — приказал Саркисов, поднимая палец.

Все прислушались.

Шаги, скрежет стальных шипов по камням. Донеслись непонятные слова отрывистого разговора.

— Ага, — тихо сказал Сема. — Это, кажется, тот самый, сизорылый... как его? Может, лепешки принес, — предположил он. — Вот уж точно: не ужас-ужас-ужас, а просто ужас...

— Лепешки... Хоть бы в сортир отвели, суки, — буркнул Саркисов.

Снова шаги, скрежет, шорох, звяканье. Какая-то тень легла на щели. Кто-то возился с дверью — распутывал бечевку, которой была замотана щеколда. Потом вытащил кол и отставил в сторону. Ивачев чувствовал, как стучит сердце.

Дверь распахнулась, и в глаза ударило ослепительное после полумрака сарая белесо-темное снежное небо, перечеркнутое черными ветвями деревьев.

Точно, это был Низом-постник.

Второй стоял за его плечом, направив ствол в проем двери.

— Ивачев кто? — хмуро спросил Низом.

Ветер гудел, гудел над ущельем, бросая хлопья мокрого, тающего на земле снега. Заросли арчи отзывались ему низким протяжным гулом. Этот звук был широк и громок, и казалось, будто где-то совсем недалеко за водоразделом грохочет, приближаясь, невидимый пока вертолет.



ЛЕОНИД РАБИЧЕВ



ИНЕЙ НА ОКНЕ

Справка

*В 19 лет я стал лейтенантом, командиром взвода,
в 28 лет — художником книг,
в 35 лет — мастером полиграфического дизайна,
в 50 лет овладел рисунком,
в 60 лет после тридцатилетнего перерыва
начал писать стихи и картины, стал живописцем,
в 63 года напечатал первую книгу стихов,
после 70 лет принимал участие в выставках живописи
и рисунка в Москве, Петербурге, Варшаве, Париже,
Кембридже, написал и напечатал 5 книг стихов и
как дизайнер создал 11 оригинальных книг, около
пятидесяти картин находится в художественных
галереях и частных коллекциях за рубежом и около
ста стихотворений в толстых журналах и альманахах,
с 1960 года член Союза художников СССР,
с 1993 года член Союза писателей Москвы.
Идет работа, все впереди.*

Ольга

Удача посмеялась над двоими,
Когда у санаторного крыла
Я шапку снял, но перепутал имя,
А ты перекрестилась и ушла.
Звонили за рекой колокола,
Мы поняли друг друга — это чудо,
А чудеса, как талая вода,
Заранее не знаешь никогда
И место отправления отсюда,
И точка назначения куда.



Последние автобусы,
Последние «прости».
Смириться, вспомнить, вычеркнуть,
Итоги подвести,
Менять часы на месяцы,

Секунды сторожить,
 Побриться,
 Завещание в шкатулку положить.

Холсты незавершенные —
 Туннели и мосты
 Случайно возникающей
 Какой-то красоты,
 Копирка нерастраченная,
 Иней на окне,
 И грустно мне, и радостно,
 И страшно, страшно мне.

Джотто

Атакует старость, спит под Оршей рота,
 Ревич про Агриппу пишет д'Обинье,
 Маленького роста безобразный Джотто,
 Как дурак, под ноги падает свинье.

И свинья смеется, а художник плачет,
 Рвет холсты на части, тычет рылом в бок
 И уходит в вечность. Кто кого дурачит
 И что это значит, знает только Бог.

Лампа

Гнилье, столетних вязов пни,
 Сарай или комбайн?
 Все просто, небо, ночь, огни,
 Но это тайна тайн.
 Ползет паук, комар летит,
 Кот рыщет по земле,
 На сундуке ребенок спит,
 И лампа, как звезда, горит
 На письменном столе.

* *
 *

Каждый выдох, каждый вдох,
 Свет горит часов до трех,
 И глазами всех домов,
 Окнами, дымами труб
 Пробует издалека
 Заглянуть за времена.

Я с тобой был очень груб,
 А теперь дрожит рука,
 Словно горная река,
 Старость. Не хватает слов,
 Окна, трубы, облака.
 Где ты? Почему одна?

* *
*

Деревня Старая Тухиня,
Печные трубы и воронки,
Начальник пишет похоронки,
И танков, вроде стай ворон,
Скелеты. Тут Наполеон
Стоял, как мы с тобою ныне.

Зеленый холм, сгоревший дом,
Улыбка в зеркале кривом,
Я с коммутатором в машине,
А ты при штабе полковом.
Квадрат «2-10» (На Петровке!),
«3-45» (На Земляном?),
— Ты с Верхней Масловки, а я
С Покровки! — Значит, рядом жили...
.....
Озера, звезды и поля.
Телефонисточка моя,
Так мы и не договорили.

Весна

У воздуха какой-то вкус иной,
Свет с тенью, берег с берегом играет,
Весна богаче осени. Весной
Несбыточных желаний не бывает.

На желтый луг, на глиняный бугор,
И на Оку, и лес за Велигожем,
На синих отражений их узор —
Смотреть и верить! Говорить не можем.

Вот молния в скопленье черных туч,
А вот и грач — таинственная птица.
Смотреть и верить! Верить — это ключ!
Не повернешь — и дверь не откроется.



АЛЕКСАНДР РЕВИЧ

ПЫЛЬЦА В ЛУЧЕ

Привал

По кровле барабанил град
и рушились потоки ливня,
казалось бы, все шло на лад,
хоть этот водо-камнепад
стучался в крышу все надрывней.

Был потолок и три стены,
окно, зажатое в простенки,
такому в мире нет цены,
считая по любой расценке

и по такой, когда живешь,
открытый стуже, ветру, небу,
когда в бараке кормишь вошь
и мрешь собакам на потребу,
когда...

Все это знали мы:
и град, и потолок небесный,
и стены непроглядной тьмы,
и свист падения отвесный.

И, слава Богу, кончен путь,
и милостью дарован высшей
какой-то угол, чтоб уснуть
под ливнем, под грозой, под крышей.

Окно

Подумать только, как давно
входить случалось в эти двери,
глядеть в просторное окно,
где листья шевелились в сквере
на дне квадратного двора,
где раздавался скрип качелей,
перекликалась детвора
и ясным утром птицы пели,
а там, над кровлей жестяной,

громадой каменной нависший,
 краснел Почтамт глухой стеной,
 слепил своей стеклянной крышей,
 и это виделось в окне
 из комнаты, где посредине
 стоял мольберт и, как во сне,
 высвечивалось на картине
 окно, покатою кровли жечь,
 над кровлею стена без окон,
 всего теперь не перечесть,
 но помнится, как черный локон
 смахнула женщина с лица
 и опустила кисти в банку,
 а рядом плавала пыльца
 в луче, прохладном спозаранку,
 и снова видится сейчас
 тот заоконный образ четкий
 и взгляд усталый карих глаз
 родной, увы, покойной тетки,
 чей старый холст передо мной,
 на нем окно, дома, а выше
 стена над кровлей жестяной
 и тусклый блеск стеклянной крыши.

Переделкино

Здесь в подмосковном сосновом поселке,
 в кряжистых стенах бревенчатых дач
 жили бараны и серые волки,
 рыцари бед, джентльмены удач.

Здесь, как повсюду, в те дни был обычай:
 камень за пазухой, ложь про запас,
 кто-то был хищником, кто-то добычей,
 кто-то... но это особый рассказ.

Где же все это? И где же все эти
 лица и роли? Исчезли как дым.
 Только надгробья в полуденном свете
 спят меж стволов под навесом густым.

Сосны все те же, и дачи все те же,
 новые лица, повадки и быт,
 новые дыры в заборах, и свежи
 новые ссадины тех же обид.

Этих уж нет, а иные далече,
 но почему-то, как в давнем году,
 небо ложится деревьям на плечи
 и перевернуты сосны в пруду.

Зимний сонет

И вновь снега, и снова будут зимы,
а сколько было горок и саней,
коньков и лыж в мороз невыносимый,
и музыки, и елочных огней.

Потом все это заслонили дымы
пожаров и раскаты батарей,
и ватный пласт, в котором тонут пимы,
в котором кровь попробуй отогрей.

Российский снег веселый и унылый,
искрящийся в глубинах ранних дней
и черный над окопом и могилой,
парящий пух, свистящий снеговей.

Нас, горемычных, Господи, помилуй,
но прежде тех, кому еще трудней.



БОРИС ЕКИМОВ



ДВА РАССКАЗА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В пору зимнюю или ранней весной, когда свои припасы на исходе, а до смерти захочется вдруг сладкой тыквенной каши, горькой редечки или жгучего перца «гардала» — приправы для хлеба, — куда правиться... К бабке Наде. Там уж точно не будет отказа и скупых отговорок, когда отводят глаза: «Было, да вышло...» Баба Надя ли, баба Надежа — она и есть «надежа».

Весной идут к ней за семенами да рассадой. Легкая рука у бабы Надежи. Соседи идут, а родня да свойство — словно в дом свой. Порой копеечку надо занять, на хлеб. Опять — к бабе Надеже.

Домик у нее — хозяйке под стать — ветхая скворечня. Словно на куриных ножках, стоит на какой-то шаткой подставе. Дунь — улетит вместе с хозяйкой, которая все больше говееет. А там уж, по правде, и говеть нечему — живые мощи: под старой кофтенкой — узкие худые плечики, за ними — горб; иссохшие плети рук с большими ладонями и шишковатыми пальцами; под белым платком теплится, словно свеча, беззубая улыбка. Она — для всех.

— На провед?.. — радуется любому гостю. — Спаси Христос... Не забывают люди добрые. Кто с нуждой, а кто меня поглядеть, трухлю старую. Соседи идут, родненькие, свои. Мы все тут посплелись, как плетень. Гостинцы несут. А мне какие гостинцы, я говею.

Она говеет. Великий пост да Рождественский, Петров да Успенский, среды да пятницы.

— Покушай моей тыковки, — угощает она гостей жданных и неожиданных. — И свеколку я нынче парила, сладимая свеколка...

На черном листе противня светят оранжевые кусочки печеной тыквы. Они душисты, сладки даже на погляд, в коричневых каплях и подтеках пахучей сахарной патоки.

Знаменитые тыквы ее громоздятся, заполняя невеликую хатку. Они — под кроватью, под столом, вдоль стен: серые, словно мраморные валуны, — «русские», ярко-желтые, праздничные «костянки», дольчатые «ломтевки».

Печеная тыква для старой женщины — это баловство, на заедку, а больше — для гостей угощенье. Еда ее — вечные казачьи щи: картошка, кислая капуста, красная помидорная да капустная заправка.

— Казачура... — посмеивается над собой баба Надя. — Щи всему отвечают. У нас, бывало, на хуторе и в завтрак — похлебаешь, в полудни — само собой, и вечером: «Давай, мать, горяченького...» Такой адат.

В доме пахнет сладостью щей, печеной тыквы, кислиной яблочной кулаги, горькими травами, что висят за печкой, и, конечно, старостью.

Лет бабке Наде много и много.

— Была бы сучкой, давно бы повесили, — простодушно объясняет она свои годы. — Всякий день молюсь Господу, Богородицу всякий день прошу... Богородица — моя заступница... — подслеповато жмурясь, обращается она к божнице, крест кладет. — Всякий день прошу: «Дай покою. Изработалась, устала...» — жалуется она Богу и людям, гостям своим. — Так устала, жилочки нет живой. Смерти прошу. Не дают. Надо покоряться.

— Не помирвай, — говорят ей. — Как без тебя. Ты — первая огородница. Семена да рассаду где будем брать?

Окраина малого степного поселка. Невеликие дома, просторные огороды, от них — жизнь. Долгое лето, жаркое солнце. Зимой поселок засыпан снегом. Осенью чернеет заборами да нехитрым строением. Летом вскипает цветом и зеленью, словно рай.

В пору теплую, от светлого апреля до черной осени, жилье у бабы Нади царское: над головой — небо, под ногами — теплая земля и сочная зелень вокруг. С утра до ночи старая женщина в трудах: сажает, рыллит, поливает; недолго, по-стариковски, спит где-нибудь в меже, кинув на землю дерюжку. Подремлет, очнется — и снова за дело.

Летом ее хатенка пустая стоит, двери — настезь. Гости придут, ищут:

— Баба Надежа! Ты где?! Хозяйка!!

— Аюшки... — тихим эхом отвечает она из огородной чащобы.

— Где схоронилась?!

Она не хоронится, она живет в огородной зелени, словно плеть огуречная, тыквенная. Кипень головного платка, словно белый цвет, порой всплывает над зеленью ботвы.

— Баба, ты где?!

— Аюшки... Тута...

Зимой — тесная хатка. Печь, железная кровать, стеганое одеяло, серая телогрейка — на гвозде, возле двери. Закопченный чайник — на плите. Хата — словно пещерка. В малые оконца еле цедится непогожий день. В переднем углу — божница: Спаситель и Богоматерь, Никола, Иоанн Златоуст. Иконы старинного письма, староверские, от дедов. Они и во тьме светят. А когда погожий день заглянет в окошко или лампочка вспыхнет, тогда сразу праздник: густая киноварь, медовая желтизна, лазурь — иконы словно новехонькие. И будто раздвигаются стены. Не хатка, а храм Господний.

Баба Надя — не только огородница, она и перед Богом заступница: блюдет посты, знает молитвы. К огороднице бегут за тыквой да свеклой, за пахучей мятой да капустной рассадой. К заступнице, когда приходит иная нужда: болезнь ли, беда. В трудную дорогу человек соберется, просит: «Помолись, баба Надя...» Она молится: «...нехай едет и легкой ногой ворочается, сохрани его... ему — нужда...» О служивых нынче душа болит: то Чечня, то иная казнь. «Помолись, баба Надя...»

Далекий степной поселок. Окраинная улица. Ветхий домик с шатким скрипучим крылечком. Порой по нему поднимаются чередом: родные, внуки да правнуки, соседи. Все — с нуждой. А порою словно отрежет. Никого нет. Особенно в непогоду. Но старой женщине не скучно. Она не торопясь потрудится, помолится, отдохнет. Пригреется на кровати: так покойно, так тихо, словно в могилке.

Иногда в домике бабы Нади живет девочка. Далекая, но родня. Как запьют отец с матерью, девочка к бабе Наде стучится: «Можно я пока поживу?» — «Живи, моя хорошая», — ей в ответ. Она и живет. Школьный портфель при ней. Спит на сундуке. Покойная девочка, тихая, старательная. В тетрадках пишет, по книжке зубрит, рисует картинки и лепит их на стены. На картинках — цветы, нарядные дома, а еще — простое зверье, кошки да собаки, со странными, все понимающими глазами. На серых стенах хатенки рисунки глядятся хорошо.

Девочка живет. Потом за ней приходит мать — печальная, усталая женщина. «Прости, Христа ради», — кланяется она бабе Наде. «Бог простит», — машет рукой старуха и, провожая гостей, одаривает их тыквой, свеклой, хрусткой морковкой, а то и сунет немного денег — на хлеб. И снова остается одна. Грех говорить, но одной — легче. Старому человеку все в тягость. Покоя просят тело, душа. Особенно когда неможется, в непогожие дни.

В непогожий осенний день, как раз перед Анной-зимней, пришла беда. Как всегда, порой утренней старая женщина, выйдя во двор, копошилась позади хатки своей, возле сарая: дров набирала, секла топором хворост на разжижку, нагребала уголь. Слышала она от старости плохо и глазами не больно хорошо видела, но что-то почудилось: какие-то шаги, движенье у крыльца ли, у калитки. Она откликнулась:

— Аюшки! Тута я!

Но никто не ответил.

В хату она вернулась не вдруг, копошась по-стариковски неторопливо. А когда вернулась, то сразу почуяла неладное.

Во дворе стояла осенняя сумеречь, а в хате — и вовсе тьма. И пахнуло каким-то смрадом. словно не в родную хату вошла, а в чужой дом, давно брошенный.

Она щелкнула выключателем. Тусклая лампочка, подчиняясь приказу, лишь обозначила желтый зрак, сумерек не рассеяв.

Еще не видя, старая женщина все поняла и шагнула к тому углу, перед каким молилась. Она шагнула и стала руками обшаривать стены, глазам не веря.

Угол был пуст. Осталась лишь липкая паутина, пустые гвозди. И не было икон. Все ушли: Спаситель, Богоматерь, Никола, Иоанн Златоуст. Сухие цветы и цветки бумажные, прежде украшавшие иконы, теперь валялись на полу.

Раздетая, в тонкой кофточке, неверными шагами, шарясь перед собой в воздухе, словно слепая, старая женщина вышла из дома, спустилась с крыльца и, ухватившись руками за планки калитки, пыталась увидеть ли, услышать чей-то след, чей-то голос, а потом попросила: «Христа ради, Христа ради...» Ей ответил лишь ветер. Осенняя непогожая улица, темные дома и заборы молчали.

Она вернулась в дом и словно заведенная, по вечной привычке, затопила печь, поставила чайник. А когда он запел, закипая, достала мешок с травой, стала ломать и сыпать, накладывая в клокочущее чрево узкие листы, розовые цветы, обломки граненых стеблей. Пряная горечь клубами растекалась по хате. Рука привычно потянулась к кружке. Но вдруг, опомнившись, старая женщина упала на колени и поползла к пустому углу:

— Прости, Христа ради... Прости... Не уберегла...

Она не молилась, она просто плакала, припав к дощатому полу. Поженски, по-детски наивные слова лились чередой, невнятно, со всхлипом. Потом она замерла, словно ожидая ответа. А не дождавшись, почуяла, что озябла, устала. Добралась до кровати, легла, но не заснула, а просто лежала, отдыхая и приходя в память.

Но день требовал своего. За печкой нужно глядеть, чтобы не прогорела. И маковой росинки не было во рту.

За полдень объявилась девочка. Как всегда, она поскреблась у двери, встала у порога, тихо спросила:

— Бабушка, можно я у тебя поживу?

— Живи, моя хорошая... Живи, — ни о чем не выпрашивая и все понимая, ответила баба Надя, хотя нынче ей было не до гостей и тем более не до жильцов.

Сразу вспомнилось, что ничего не варила, а дитя нужно кормить. Девочка лишь глаза подняла, узрела пустой угол.

— А иконы где?

Баба Надя лишь руками развела:

— Были — и нету... Унесли... Ныне... Не углядела...

— Без иконок плохо, — сказала девочка. — Они красивые.

Старая женщина лишь вздохнула: кому что...

Вместе принялись готовить обед: картошку чистили да капусту крошили, поставили в духовку противень тыквы, запечь. С молодыми руками дела правились побыстрее.

— Иконы в магазин принимают, за деньги, — объяснила девочка. — Объявление было в газете.

— Это — грех, большой грех, — осудила баба Надя.

И тут же припомнилось ей, что кто-то из своих, из молодых, приглядывался, словно приценивался к иконам. Но кто?

— В милицию нужно пойти, — твердо сказала девочка. — А с милицией — в магазин. Пусть отдадут. Ты же угадаешь свои иконы?

Старая женщина подумала над словами девочки и отказалась со вздохом:

— Нет-нет... Это я, грешница, виновата. Не сберегла. Вот и ушли мои заступники. Спокинули. К другим людям ушли, — объясняла она. — Там — нужней. А мне чего... Я и так, встану да помолюсь. В хате, и в чистом поле, и в темном лесу. Везде молилась, и всегда меня Господь слышал, помогал, вразумлял.

Она объясняла это себе и девочке, верила своим словам. Но потом, помолчав, пожаловалась:

— Только помирать без Богородицы трудно. Она у меня в головах так бы и стояла. Упокоила. И душеньку мою к месту бы отвела. Так было бы расхорошо...

И она заплакала, словно лишь теперь осознав всю горечь утраты. Этой горечи было столь много, что в одной душе она не вместились. И потому — со старой женщиной плакала девочка, уже не о смерти страдая, но о жизни: своей, короткой, не больно сладкой, и той долгой, что еще теплилась рядом, в старом, изношенном, но таком добром теле бабушки Надежи.

Они были схожи: худенькая нерослая девочка и старая женщина, высохшая от жизни. И плакали одинаково: крупными белыми слезами.

Недолго поплавав, они принялись за обед. Пахучие свежие щи девочка хлебала истоиво. Старая женщина радовалась, понимая, что юное тело просит сытости, словно молодой росток в огороде. Сытости и тепла.

— Хлебай, моя родная, — ласково говорила она. — Хлебай... Щи, они... для здоровья. На хуторе завсегда: и утром, и в обедах, и вечером — щи отвечают. Казачье хлебово.

Пришел ранний и долгий предзимний вечер. Свои заботы были у старой женщины: ощупкой, помаленьку, но шерсть пряла. Девочка занималась школьными уроками, тесно разложив тетрадки да книжки на малом столике, возле окошка. Каждый занимался своим.

Но когда уходит из дома родная душа, о ней вспоминают, говорят. Так было и нынче. Икона Богородицы прожила с бабой Надежей долгий век. Под ней крестили, ею благословляли к венцу.

И потому не вдруг, но вспоминалось об ушедшей иконе, а значит, о прежней жизни на хуторе, где жили за веком век. Степные селенья: Зоричев, Еруслань, Ластушенский, Затон-Подпесочный, Плесистов...

— Свой родненький хутор и ныне вижу как на ладонке, и буду видеть, покель глаза землей не покроются, — рассказывала баба Надя, радуясь своей счастливой памяти. — Наш хутор, он — на бою, прависься от станции шляхом через Малую Донщинку, через речку — бродом. И вот он, хуторок наш. Возле него — гора. С нее весь белый свет видать. Там мы век прожили, и Богородица нас берегла, сохраняла. Бывало, такая страсть...

Отуманенный памятью взгляд старой женщины уходил далеко, через темное стекло окошка, в прошлые годы.

— Ныне он помер, этот человек, на Суровикином доживал. Помер, такой ему и помин. Господь ему судья. Но пять человек доразу посадил. Сколь осиротил деток. Шепнул кому надо: они, мол, зерно крали с тока. Забрали всех. И нашего Тимофея Фетисыча. Всех сравнили, по десять лет всем. И осталась я с тремя на руках. Все — горох. Куда кинешься? В речку. Богородице помолилась. И выжили. Не сослали нас, из хаты не тронули. Работала, как об лед билась. Днем — на колхоз, ночью — на себя. Так и прожили без хозяина. А потом — война... Уходили да хоронились по степи, по балкам. А потом — вовсе. Немцы все хозяйство раздергали. Какая техника... Быкам sprawy нет. Ни ярма, ни войца, ни занозки. Мужики — на войне. Меня бригадиршей поставили. Бабы, говорю, давайте все вместе помолимся Богородице и будем трудиться. Богородица нам поможет. Так и выжили... Утром до света на работу бежишь. А поля — далекие. Теплый рын, Калиново... Везде — пёшки. Какой хлебушко есть, детям оставишь. А сама — колос ухватишь, пошелушишь. В карман немного насыпешь, ребятишкам. Так и выжили. Богородица сохранила. Никаким судом меня не судили: ни сельским, ни колхозным...

Старая женщина привычно поднимает глаза к своей избавительнице, забывая, что нет ее под этой крышей.

Девочка, закончив уроки, стала рисовать. Склонившись над столом, она слушала повесть далекой жизни и рисовала. И появлялась на белом листе бумаги синяя речка, желтое хлебное поле, зеленая гора, а под боком ее — дома, возле домов — палисадники с яркими цветами.

— Работали и работали... — вздыхает баба Надя. — В колхозе стали хорошо получать, зерном... И деньги давали. Но много трудов. Огород большой. Помолюсь — и работаю. Картошка, капуста, тыковка. Спаси Христос, все остались живые, здоровые... Повыросли...

Девочка отдала законченный рисунок бабе Наде. Та глядела, глядела и признала:

— Это наш хутор. Смысленное мое дите... Умудрил Господь. Вот она, гора, наше поле и речка — все дочиста наше.

Спала девочка на сундуке, возле печки, теплая кладка которой не остывала всю ночь.

С вечера, когда погасили свет, баба Надя еще долго шепотом молилась, поднимая лицо к пустому углу. Молилась, потом плакала во сне. Девочка слышала молитву и слезы, сострадая им. Она знала цену слезам, жалела старую женщину, в доме которой было так хорошо: ни разу здесь не укорили ее ни углом, ни куском хлеба. «Живи, моя хорошая... Хлебай, моя сладкая, сил набирайся... Бери, моя родная...»

Утром баба Надя поднялась с трудом. Провожала девочку в школу, сокрушалась:

— Чего-то неможется... Либо погода...

— Давай я тебе врача вызову, «скорую помощь».

— Ушла моя помощь... Спокинула, — горько вздохнула баба Надя и напомнила, вручая деньги: — Хлебца нам купи. А себе — пирожок в переменуку возьмешь. Уроки-то долги.

Уроки были не больно долгими. Но после них девочка не сразу вернулась домой.

Выйдя из школы, она медленно, словно нехотя, побрела к невеликой поселковой площади, которую обступали магазины. В одном из них с недавних пор покупали у людей иконы.

Невысокое крыльцо в три ступени, стеклянная большая витрина, за ней — электрический свет. Набираясь храбрости, девочка долго стояла у дверей и шмыгнула в магазин лишь вослед за кем-то из взрослых.

Икон в магазине не было. Обычные товары: платья, рубашки, что-то еще — под стеклом, за прилавками. Немолодая продавщица с пуховым платком на плечах.

— Вы иконы покупаете? — выдавила из себя девочка.

— Игорь! — позвала продавщица. — К тебе!

Выглянувший из задней комнаты мужчина поманил девочку:

— Иди сюда.

Комната была тесной, заставленной ящиками, несколько икон — на полу, рядом.

— Показывай. Чего у тебя... — сказал мужчина.

Искоса, но пристально глядя на иконы, стараясь признать их, девочка стала сбивчиво объяснять: про бабушку Надю, про ее Богородицу, про воров...

Не дослушав, мужчина сказал твердо:

— Мы краденого не берем. Так и скажи тем, кто послал тебя!

Она не заплакала только потому, что боялась заплакать, и не помнила, как очутилась на воле. Лишь там она немного всплакнула и, недолго подумав, опять пошла не домой, не к бабе Наде, но тоже к недалекой милиции.

Короткий путь она одолела не вдруг и не сразу, но стало грезиться ей доброе: как приходит она в милицию, все объясняет, и тут же, в единый миг, летят с сиреной машины, люди с овчарками весь магазин обшаривают, все коробки, находят иконы, везут и водружают на место. Такая у всех радость...

Худенькая несмелая девочка, с испуганным взглядом, в вязаной шапочке и сером пальтишке, не сразу сумела пройти через железную вертушку к окну милицейского дежурного, пытаясь протиснуться против хода. Кто-то помог ей. Вовсе растерянная, она принялась рассказывать про бабушку, про иконы.

Ее выслушали, сказали:

— Иди в школу, девочка. Взрослые без тебя придут и разберутся. Иди в школу.

Ненастный день декабря, перевалив за полдень, торопливо спешил к ночи. Темные тучи тянулись низко, задевая маковки тополей да вязов. В тесных улочках, в глухих переулках гнездилась сизая мгла. Желтели окна домов; редкие машины зажгли свои неяркие фары и пробирались осторожно, словно ошупкой. На улицах — безлюдье: ни стариков, ни детишек. Все сбились к теплу.

К теплу спешила и девочка. В одной руке — портфель, в другой — пакет с хлебом, от него — сладкий дух корочки. Хорошо ею похрумкивать вприкуску с горячими щами. При этой мысли захотелось есть. Ноги быстрее пошли, даже вприпрыжку. Девочка знала: щи уже на печке стоят, ее ждут. Так всегда было, когда она жила у бабушки Нади.

Так было и ныне. Горячие щи да жареная картошка — на плите. Крепкие пахучие огурчики, щекастые алые помидоры — на столе, в миске. В духовке — сладкая тыква. И вечное: «Хлебай, моя сына... Уроки-то долгие, наголодала... Зубки у тебя вострые. Жуй да жуй, жуй да расти...»

Сама баба Надя не встала с кровати.

— Что-то неможется. Печь затопила, чуток повозилась — и нет мочи. Лежу... Гляжу на твою картинку.

Вчерашний рисунок девочки висел на стене, возле кровати.

— И поле наше, гора тоже наша. И цветки... У нас красивые цветки в палисадах: алилея, индюшина, жар-уголь... эти как угольки горят, а еще цветок ваня-да-маня зовется. Пестренький такой, пахучий... Ваня-да-маня... Ты их тоже нарисовала. Ведь не была у нас, а все наше. Умудрил Господь...

— Вот лето придет, — продолжила старая женщина речь, — мы Тимофея попросим, он отвезет нас на хутор. Поедем, поглядишь. Такие места расхорошие. Родина...

— Мы летом огород будем сажать, — напомнила девочка, уплетая сладкие оранжевые дольки печеной тыквы. — Тыквы много насадим.

— Конечно, всего насадим, — пообещала баба Надя. — И тыквы, и свеклы, и картошки-моркошки. У тебя глаза молодые, острые. И спина гнется.

— Конечно гнется... Я буду все делать, ты лишь подсказывай, — сказала девочка.

— Помолимся и будем работать. У нас на хуторе, я всегда...

Баба Надя нынче была говорливей обычного, хотя с кровати не поднималась и часто просила пить.

— У тебя, наверно, температура, — сказала девочка. — Ты болеешь.

— Неможется, моя сына, — легко согласилась старая женщина. — Годы я свои выжила, мне бы помереть. А теперь и вовсе заступницы моей нет. Жила возле нее как дите, горя не знала. А ныне и помирать страшно. Как без нее...

Отобедав, девочка помыла и прибрала нехитрую посуду, села за уроки. Баба Надя будто задремала, что-то порою шепча в забытьи.

Ранняя ночная тьма наглухо закрыла окошки. От печки, от чугунной плиты ее и духовки, наплывало тепло. Неяркий свет лампочки с трудом освещал бедные стены.

Девочка готовила уроки, потом принялась рисовать, достав из портфеля не обычные карандаши, а заветную коробочку с красками, еще прошлого года подарок. Она берегла их: кисточки и пахучие тюбики, в которых таились и яркая весенняя зелень, и ослепительный летний свет, и небесная лазурь.

Девочка рисовала огород: зеленые листья, алые, оранжевые плоды и солнечно-яркий подсолнух на жилистом стебле. Но это был не обычный подсолнух, а прозревший. Из сияющей желтизны его цвета смотрели глаза. И как всегда это у девочки получалось, глаза необычные: у зверей, у людей. Совсем живые. В них — печаль и радость, а еще — что-то большее. Словно многое знают, многое видели. И хотят рассказать свое знанье, предостеречь, ободрить — словом, помочь.

Девочка рисовала, забывшись. Была она не в тесной хатке, за стенами которой — промозглая осень, а в мире ином: летнем, солнечном и счастливом, где пахучий вей и полуденный жар. И чьи-то теплые руки легли ей на плечи, обнимая.

— Родная... Нарисуй мне иконочку, — это баба Надя стояла рядом за спиной. — Моя сына, — просила она, — нарисуй маленькую. Ты — безгрешная душа, ты сладишь. Мне без иконки тяжело. Всю жизнь с Богородицей. Я ныне, может, помру. Нарисуй...

Девочка поднялась, сказала:

— Я не смогу, баба. Не сумею.

— Сможешь, моя родная... — убеждала старая женщина. Глаза ее горячно блестели; обычно восковое лицо розовело от жара. — Нарисуй, моя сынушка, — со слезами просила она.

Девочка поняла, что отказаться нельзя, и сказала:

— Хорошо, баба, я попробую. Но ты ложись, ты болеешь.

— Неможется, моя сына. А помирать нельзя без иконки.

— Ложись. Я попробую, постараюсь.

Она отвела старую женщину к постели, уложила; сама же вернулась к столу, недолго смотрела на свой рисунок с огородом и подсолнухом, потом убрала его и, достав чистый лист, стала карандашом, легко, едва касаясь бумаги, рисовать женщину с покрытой головой и скрещенными на груди руками. Она рисовала долго, стирая резинкой и снова начиная и все более понимая, что ничего у нее не выходит.

— Господи, помоги... — беззвучно шептала на кровати старая женщина. — Господи, помоги ей...

А девочка, понимая свое бессилие, вдруг озябла. Она подошла к печке и присела возле нее на низенькой скамеечке, сразу почуввав, как вливается в ее тело живительное тепло.

— Господи, помоги ей... — прошептала старая женщина.

Девочка повторила за ней:

— Господи, помоги...

Глаза ее вдруг остановились на кухонной полке, где сушились миски, ложки и прочая нехитрая снасть. Там же висели две небольшие некрашенные доски, на которых всякий раз крошили капусту, морковку да лук. Доски были скобленные, мытые, явственно проступали на них мягкие линии древесной текстуры. И на одной из досок, той, что висела справа, девочке почудился живой образ. Боясь спугнуть это зыбкое видение, она подалась вперед, чтобы взглянуть пристальнее. И увидела отчетливо, ясно, среди зыби линии увидела лик женщины. Он проступал все отчетливей: мягкий рисунок лица, складки большого платка, лицо обрамляющего, выпростанные из платка руки, бережно держащие спеленутого младенца.

Не дыша и не спуская с образа глаз, девочка взяла краски и, опустившись на колени, начала осторожно работать, закрепляя и упрочивая на всем только ей видимое на темном дереве.

Коричневый цвет и охристый, золотистый... Багрянец и лазурь... Одна кисточка, другая...

«Господи, помоги...» — пробормотала на кровати своей старая женщина. Очнувшись от забытья, она с трудом приоткрыла глаза и увидела что-то большое и светлое. Не было тесной хатки, низкого потолка ее, а лишь — золотой теплый свет, который не слепил, а словно врачевал глаза. Но она все равно зажмурилась. «Может, горим...» — подумалось ей. Но свет был не от земного огня. Кто-то стоял, высокий, в золоте ли, в серебре, а может, в снежной сияющей бели. И старая женщина разом поняла, что она умирает и Господь прислал за нею высокого гонца. «Слава Тебе...» — прошептала она, теряя сознание.

А когда через время старая женщина очнулась, уже не было огня и света, лишь электрическая лампочка желтела под потолком. А вокруг — старые стены, родная хата. Но у дальней стены, у печки, лежала на полу девочка, и старая женщина позвала ее: «Сына... Чего с тобой?..» Позвала — и неловко сползла с кровати, на неверных ногах шагнула раз и другой, протянула руки.

Девочка была теплая и живая. Она подняла навстречу бабушке лицо с сияющими счастливыми глазами.

Но вдруг другие глаза увидела старая женщина. Глаза, светлый лик... Возле них жизнь прожила. Глядела со стены Богородица. В ее глазах — нежность, страдание и раздумье. И радость возвращения. Свет исцеляющий в потупленном взгляде ее.

— Господи, слава Тебе... — прошептала старая женщина, опускаясь на колени.

За стенами, за малыми темными окошками тянулась долгая ночь. Для людей — время покоя.

Наутро в хате все было как прежде. Лишь из переднего угла, украшенная сухими и бумажными цветами, глядела Богородица.

А еще — всю неделю в хатке стояло тонкое благоухание. Люди заходили и, почуввав его, спрашивали:

— Чем это?.. Так хорошо.

— Цветок зацвел, — объясняли им. — Зима, а он зацвел.

Потом понемногу этот запах пропал. Осталось лишь прежнее: старости дух, горечь сухих трав, кислина щей да яблочной кулаги да сладость пареной тыквы, которую любила девочка, как все дети.

В СТЕПИ

По старому казачьему шляху ли, грейдеру, что напрямую ведет к станции Клетской, не ездил я уже несколько лет. Асфальтом хоть и длинней, но надежней. Нынешним летом решил я спрямить, поехал.

Утренняя дорога пустынна, тем более здесь. Встречная машина не прогудит, не замаячит впереди попутная. Поднималось солнце. В низинах истаявал легкий розовый туманец. На буграх сияла, переливаясь, утренняя роса. В открытое окно машины тянул и тянул встречный ток прохладного пахучего ветра. Можно было закрыть глаза, чутьем понимая, что пролетает мимо: горькая ли полынная залежь, хлебное поле или просто пашня, влажная от росы. Пусто было в степи, словно в морских просторах.

Тридцать верст резво отмахал я по ровному набитому грейдеру, свернуть с которого нужно было возле хутора Салтынский, а уж там и до места — рукой подать.

Дремать за рулем я вроде не дремал. А вот нужный поворот пропустил. Обычно едешь, слева на бугре, еще издали, белая водонапорная башня маячит, чуть ниже — строения молочной фермы. Это — знак поворота.

Нынче я проскочил мимо, да, спасибо, еще вовремя опомнился. Сам хутор Салтынский — за бугром, его с дороги не видно. А ферма пупом торчит: водонапорная башня, кирпичные строения под шифером, городьба базов. Словом, не проглядишь. А теперь — ничего нет. Один лишь бугор. Все остальное будто корова языком слизала.

Проехав нужный поворот и все же вернувшись к нему, приглядевшись, увидел я на бугре жалкие остатки молочно-товарной фермы: кучи мусора, следы фундамента. И лишь в одном месте поднимался над землей обломок стены.

Картина эта по нынешним временам знакомая и уже привычная: колхоз развалился или еле дышит, коров ли, свиней, овец перерезали, а скотьи строения разломали, по кирпичику разобрали и развезли ко двора. Пригодится в хозяйстве. Все это ныне привычно, но все равно горько. И потому глядел я, охал. А потом и вовсе встал, свернув на обочину.

Несмотря на ранний час, возле остатков стены коровника копошился человек. Видно, торопился свое добрать. Припоздал, бедолага.

Вышел я из машины без цели. Просто поглядеть, недолго побродить на руинах, словно на кладбище, повздыхать, вспоминая бывшее. На этом хуторе и на этой ферме бывал я прежде.

Из машины вышел, размял занемевшую поясницу, а приглядевшись, немало удивился и пошел напрямую к остаткам стены коровника и к человеку, что возился там. Почудилось мне, что он... Нет, не почудилось: человек действительно не доламывал стену, но поднимал ее. Жалкий остаток старой кирпичной кладки продолжила кладка новая, но уже самородного камня — песчаника. Когда-то, в годы старые, он был в ходу под названием дикой камень.

Картина была странная: невеликая груда камня, вязкой глины замес, пара саженей новой каменной кладки на глине да столько же старой, кирпичной... А вокруг — великий разор. Остатки фундамента, обломки серого шифера, осколки кирпича, щепка да клочья минеральной ваты, которой утепляют крышу, обрывки черного рубероида. Словно смерч ли, Мамай ли прошел — все смел, оставив лишь мусор.

И на этом пустом бугре, возле остатка стены орудовал мастерком живой человек. Он набрасывал глиняный раствор, ровнял его, а затем клал за камнем камень, подстукивая, чтобы плотнее ложились в глиняную постель.

— Здорово работали... — подойдя ближе, приветствовал я странного трудягу.

Он поднял голову, охотно ответил:

— Слава богу...

Но дела своего не оставил, пока не доложил ряд, камень за камнем. Класть его не больно сподручно: не ровный кирпичик, а дикая булыга. Гляди да прикидывай, как ловчее пристроить.

Человек был вида обычного: ростом невелик, худощав, поверх легкой одежды — линиялый серый халат, какие прежде дояркам да телятницам выдавали для работы.

— Ломали, ломали... — сказал я, окидывая взглядом разоренье. — Теперь строим.

— Меня не было! — гневно ответил мужик. — Я бы с ружьем засел и никого бы не подпустил! Такое богатство враспыл пустить!

— Да, ферма была хорошая, — согласился я.

— Какая ферма?.. — обиделся он. — Ферма была при мамке-покойнице, при колхозе Буденного, я помню. Плетневые стены да крыша из чакана. Это называется ферма. А в совхозе тут настоящий комплекс был. Иди за мной! Гляди... — уложил он последний камень и, оставив работу, быстро пошел.

С трудом поспевал я за своим провожатым.

— Я здесь вылупился и возрос возле коров, — объяснял он на ходу. — С мамкой-покойницей, она всю жизнь при скотине. И я отсюда не выводился. Помогал, чистил, доил. Плетни были да загаты. Соломы и той не досыта. Зимой не доили. Весной на веревках тянули коров. Вот это ферма была. А уж потом, при совхозе, строили да строили... Все по науке. Гляди сюда! Вот она, вот тут была родилка! — широко развел руками. — И называлась как у людей — родилка. А тут, рядом, помещение для теляток. У них — теплочко. Обогрев работал да горели лампы. Где они, эти лампы?! — гневно спросил он. — Не с ружьем, с пулеметом бы засел, кабы знать... Из больницы бы убежал и засел! Никого бы не подпустил! Акционеры! Хозяева! Умом рухнуть надо! Все порушить! — кричал он в голос, и яростным темным огнем горели глаза его. — Гляди сюда! — звал он меня далее.

Я послушно шел по пустому бугру. Под ногами хрустело крошево битого кирпича да шифера.

— Комната отдыха! — торжественно объявил, останавливаясь, мой провожатый, и лицо его будто посветлело, разгладилась морщины. — Телевизор, диван, два кресла, не считая стульев. На окнах — занавески с цветами. Зеркало! Бабам чапуриться. Умывальник... — Он темным сухим перстом указывал мне, незрячему и потому ничего не видящему, кроме следов разоренья. — На стенах картины! Три богатыря — на конях и Алешка возле воды сидит, виски распустила. В рамках картины.

Он показывал, и я послушно поворачивался туда да сюда.

— Тут вот дверь... Тут коридорчик. Тут кладовка. А тут — вот они, коровки, стоят!

Лежала вокруг пустая мусорная земля: осколки, обломки, обрывки, битое стекло да всякая ржа. А счастливый спутник мой видел иное: «Компрессорная! Охлаждение! Моечная с горячей водой! Молокопровод!» А вокруг — лишь мусор да скотий дух, который долго живет даже на летних стойлах. Здесь и подавно.

— Автопоилки! Вся скотина под номерами, в книгу заносится! — возглашал провожатый. — А как же... Завели симменталок. Стали коровок породить... Только искусственное осеменение. Плохих не держали... Роза, Ромашка, Фиалка... Ведерницы... По пять, по шесть тысяч давали... Калина... Мальва... Бабы им такие имена давали, как цветкам, — снисходя к женским слабостям, улыбнулся он и добавил: — Они и были не коровки — цветки лазоревые. — А потом посуровел: — Сроду, до смерти своим не прошу, что мне в больницу не переказали. Промолчали, как тут хозяйнуют. Да я бы... — стал наливаясь он черной кровью. — Я бы не с пулеме-

том, я бы с пушкой засел! И минные поля вокруг. Не подходите, гады! Я жизнь на скотину поклат! До крови, до поту трудился! Мамка моя померла! — Снова яростью горели глаза его, на губах пена вскипала: — Акционеры! Хозяева! В бога... в креста... — матерился он. — По метру кладки, по три листа шифера поделили! Шей с говядиной! Холодца наварили! Из гаубицы бы стрелял! Прямой наводкой!!

Я уже понял, что передо мной человек больной: сбивчивая, с горячим захлебом речь, худоба, в глазах — огонь нездоровый. Я все понял. Сделалось не по себе. Пустой бугор, до хутора — не близко. Конечно, не страх я испытал, а нечто иное: жалость и горечь. Надо было уйти и уехать. Но как...

— Таких коровок сгубить! Астра, Былина, Майка... Такое богатство! Сколь труда! Либо они коммунистками были, эти коровы?! — яростно вопрошал он. — Либо у них красное молоко?! И горчей полына?! Ядовитое?! За это — на бойню?! Не-е-ет... Все это мы восстановим, — уже без крика, но твердо обещал он. — Стены складем, крышу накроем. Родилку, телятник... А потом и комнату отдыха. И зеркало возвернем, — пообещал он. — Знаю, кто его упер, вместе с умывальником. Картины сами нарисуем и повесим.

Конечно же этот человек был тяжело болен. Недаром и о больнице поминал. Я слушал его, кивал головой и думал, как мне полвечнее распрощаться и уехать.

Избавление мое было близко.

По дороге от хутора, а потом к нам напрямую на стареньком позвякивающем велосипеде катила немолодая женщина с корзиною на багажнике. Темный платок на голове. Платье велосипедною рамой вздернуто, выказывая бель незагорелого тела.

Подъехав ближе и заметив меня, женщина спешила, оправила платье, позвала:

— Иди! Покушай...

— Вот и жена приехала... — обрадовался мой собеседник. — Подзавтракаем.

На дощатом ящике, прикрыв его неструганую плоть белой тряпицей, женщина разложила простую снедь: порезанное крупными дольками свиное соленое сало, розоватое, с прозрачной, даже на вид хрусткой корочкой, парящую вареную картошку в трещинках развара, пару крупных яиц, большую белую чищеную луковицу, разрезанную в четверть, увесистую краюху хлебного каравая.

Усевшись возле еды, мужик радушно пригласил меня:

— Подзакусим со мной.

— Садитесь... — предложила и жена его. — Картошка горяченькая.

Голос у нее был тихий, платок на лицо низко опущен. Она пригласила, сама же осталась стоять возле мужа, который докладывал ей, хрустя на закуску луковицей:

— Погляди. Ныне два ряда выложил. Человек вот подъехал... Подзавтракаю, третий ряд буду класть. Камень этот доложу, — указал он на небольшую грудку, — и подамся новый бить. Тут рядом, своими силами камень добываю. — Это было для меня объяснение. — Лом да ковалда... Клинья да опять ковалда. Наше дело такое... — похрумкивал он сочной луковицей, сало жевал, облупливал белое яичко короткими узловатыми пальцами. — Клинья, ковалда... Ныне буду бить и возить на тачке. Солнышко... Жарко будет, — поднял он к небу глаза и успокоил: — Нам не привыкать, наше дело такое.

Женщина заплакала, ниже опуская голову, видно стыдясь чужого человека, но совладать с собой не умея. Она плакала тихомолом. А муж ее успокаивал:

— Не реви. Все восстановим. Я же не реву. А мое, родное, все погубили. Жизнь поклат. И мамка... Сердце день и ночь кровит. Закричал бы слезьми вот такучими, — показал он яичко. — А я креплюсь. Слезьми не поможешь. Я не реву, а тружусь. Трудиться надо бесщадно. Трудиться... И все восстановим. Коровкам, теляткам... И комната отдыха будет. Телевизор, може, не осилим. Дорогучий, черт. Да и некогда глядеть. А зеркало будет. Умывальник... Наладим.

Лицо его, темное, морщинистое, обрзанное худобой, светило улыбкой. Мягко сияли глаза, к жене обращаясь:

— Не реви... Все восстановим...

Прощавшись, я пошел к машине, чтобы поскорее уехать.



**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА БОРЩАГОВСКОГО
С 85-ЛЕТИЕМ!**

СЕРГЕЙ НОВИКОВ



БЕСПРИЗОРНАЯ ВОДА

Школьный альбом

Как дождем прошедшим пахнет гравий!
Тяжек лист. И синь — чистопородна.
...Сквозняком от старых фотографий
вдруг потянет зябко и свободно.

Так просторно в этом мире моментальном!
Так звеняще — до пронзительного свиста! —
ах! — и голубей уносит шквально
с колоколен, с площадей крупнозернистых...

Есть в глубинах старых фотографий
обморочность странного испуга.
Немота лукавая... Лукавей
двух зеркал, глядящихся друг в друга:

та же запредельная остуда,
где уходит в небо перспектива...
Только вот глаза, глаза оттуда
(если уж попались объективу)

смотрят как-то слишком обреченно,
словно бы в мольбе и укоризне,
с четвертушки ломкого картона,
с паспорта давно сгоревшей жизни.

Словно бы с далекой той окраины
видят то, что различит не каждый,
словно им уже открылась тайна,
что и нам откроется однажды...

* *
*

Дверь моталась в продутом парадном
одичало. И дождь моросил...

В эту ночь мне приснились невнятно
все, кого я когда-то любил.

Были жесты и лица их смутны,
и ложились слова невольно,
и казалось мне, спящему, будто
перед ними я так виноват...

Да, уходят любимые наши
в сновиденья, под слой тишины,
где мерцает экран непогасший,
надеяя нас чувством вины.
Но не вымолвят гневного слова.
И упреком — не облегчат.
Только тихо из мрака ночного
с укоризной глядят...

* *
*

В том январе
море штормило так,
что над городом стоял гул,
словно тяжелые ангелы
патрулировали воздушное пространство.
Витрины магазинов на набережной
были разбиты,
и местное радио
заклиало население не подходить к берегу...

В том январе
у старика провизора
умерла единственная дочь.

От месткома
чтобы помочь, —
пятый этаж без лифта! —
прислали меня и Сашку,
двух грузчиков на подхвате,
каждому — по семнадцать.

Помню:
гору кислородных подушек,
уже ненужных,
и — восковой профиль...
Белее, чем цветы,

— Несите осторожней! —
сказал кто-то, —
скоро придет машина.

О, этот путь
с пятого этажа на первый
со смертью чужой на плечах!..

А на улице — морозный ветер,
солнце,
запах соли, долетающий с гудящего моря...

Закурим!
 Нам — по семнадцать.
 Грузчики на подхвате.
 Крепкие такие ребята!
 Не привыкать!
 Смерть — но ведь чужая...

Реквизит

О, тшета бутафорских вещей!
 Плод из воска. И дом из картона.
 Ложный шик ренессансных плащей,
 жестяная монаршья корона...

О, наивный раскрашенный быт,
 ты пленишь на мгновенье, а после —
 лак сойдет, позолота слетит,
 обнажая фанеру и гвозди.

Ну а мы-то им верили так,
 этой пышности, прочности этой!..
 Но уносят ампир на чердак,
 но в подсобку увозят карету...

В реквизиторской — места в обрез,
 и сквозь щель незахлопнутой двери
 ото всех этих полых чудес
 вдруг потянет крушеньем империй.

И суров, как усталый монарх,
 как последний из Плантагенетов,
 реквизитор в ковбойских штанах
 паутину снимает с портретов...

Евпатория

Евгению Никифорову.

Этот трогательный город,
 акварельный, в стиле ретро,
 где июль — в песок размолот,
 а песок — подхвачен ветром,

где пленяют дев злодеи
 на бульварах шоколадных,
 где вовсю кипят затеи
 городошников квадратных...

Он почти ненастоящий...
 А иначе бы откуда
 этот вкрадчивый, щемящий,
 этот легкий привкус чуда?

Этот детский спазм испуга
 с ощущением, что скоро
 чудо спрячут в темный угол,
 как коллекцию фарфора.

Словно нежности собранье,
вздохов и сердцебиений,
всех загаданных желаний,
всех непрочных сновидений,

всех рожков почтовых хриплых,
всех пастушеских, пожарных...
...Но тихонько дверцы скрипнут,
шлепанцы хозяйки шаркнут...

Ключик — на два поворота.
За погляд не спросят денег.
И детей уводит кто-то
снова в мутный понедельник.

* *
*

Человек умирает —
и в мире
пространство пустое зияет
в форме тела его...
Как замочная скважина
в пыльной знакомой двери.
Дверь закрыли,
а ключ —
потеряли.
В этот дом онемевший
не войти никогда.

* *
*

То ль поклянчился декабрь на порог,
то ли к празднику пекут в доме пироги:

тянет дымом, тянет детством, и видна
сквозь ограду беспризорная вода.

В милосердный голову упаду песок —
этот жребий чересчур, видать, высок:

видеть все, но не уметь сказать,
лгать во всем, но не суметь солгать...

Забредал я как-то раз в эдемский сад.
С червоточиной там фрукты, говорят...

С червоточинкой укромною, сквозной...
Ни к чему мне этот искус золотой.

Я полью их завтра серной кислотой.

Ялта.



Ю. КАГРАМАНОВ



«ЖЕСТОКИХ ОПЫТОВ СБИРАЯ ПОЗДНИЙ ПЛОД»

Кое-что о роли знания в истории

На выходе из морока

Быть может, самое неожиданное из того, что произошло в нашей стране после девяносто первого года, — резкая убыль «идеализма», худо-бедно еще трепыхавшегося в тенетах советской системы. СССР, если перевести в прошедшее время строчку Сергея Городецкого, «летел за ленинской звездой», и этой видимостью полета вслед тому, что подменило собою небесное светило, долгое время питалась вера в «разумное, доброе, вечное», поскольку такая еще имела место; в последние же десятилетия она держалась одною лишь силой инерции. Эйфория «перестройки» внушила некоторую надежду, что вот теперь-то мы начнем набирать высоту, кое-что проведая о пути, действительно ведущем *ad astra*. Вышло скорее наоборот: наше общество «приземлилось» самым жестким образом, больно (для подавляющего большинства) стукнувшись о твердую почву, и теперь не без некоторого недоумения ощупывает само себя, с головы до ног, равно как и все близлежащее, открытое для тактильных контактов.

Что такое, например, вездесущая мафиозность, как не жизнь на ощупь?

Наверное, жесткое «приземление» было неизбежным: у истории есть свои ритмы, своя амплитуда колебаний; то бишь, конечно, от нас, ее участников и «субъектов», в большой мере зависит, как она будет развиваться дальше, но нужно время, чтобы «раскачать» ее в определенном направлении. Пока же приходится удовлетворяться тем, что нынешнее тактильное самопознание есть все-таки шаг вперед на выходе из того морока, в котором мы существовали. Недавно я прочел статью Алена Безансона «Похвальное слово порче нравов в Советском Союзе» (1976), которая представляется сегодня более актуальной, чем двадцать с лишком лет назад, когда она была написана. В СССР, пишет Безансон, порча нравов (*corruption*) «есть проявление жизни, и сколь оно ни уродливо, это все же лучше, чем смерть... Покидая искусственные формы идеологии, люди обретают твердую землю реальности: они пытаются выяснить, что есть „мое“ и что „твое“, в чем состоит интерес каждого человека в отдельности, коль скоро он обретает некоторую автономию»¹. Заговариваемая в продолжение многих десятилетий, жизнь наконец пробудилась и взяла свое, притом самым грубым и бесцеремонным образом.

Наше сегодняшнее сумеречное сознание (вечерних сумерек, но, может быть, и утренних) в основном определяется предметным бытием, как его называют философы, проще говоря, тем, что мы имеем у себя «под носом». Но

¹ Besançon A. *Présent soviétique et passé russe*. Paris, 1986, p. 302.

то, что «под носом», связано с другими предметами — теми, что остаются вне пределов чувственного восприятия, — и так или иначе от них зависит. Чтобы малое-близкое не владело нами, чтобы, наоборот, мы им овладели по своему разумению и вкусу, надо «увидать, не глядя» (С. Франк) далекое-большое. Тем свободнее и богаче и одухотвореннее будет со-знание, чем больше объективного знания о мире оно сумеет вобрать.

В сущности, это сегодня главная проблема — знания в широком смысле слова. Сюда входит, как подчиненный, вопрос национальной идеологии, о котором столько говорят в последнее время. Идеология есть форма общественного сознания, опирающаяся на определенное знание (истинное или ложное). Ее место среди «соседей» — религии, философии, науки, литературы и искусства (в рамках последних стоит особо выделить миф) — достаточно скромное. «Взбесившаяся» идеология стремится подчинить себе всё и вся; «нормальная», «знающая свое место» идеология, напротив, признает свое подчиненное положение по отношению к религии и философии. С другой стороны, она тесно взаимодействует со сферой культуры — настолько тесно, что иногда бывает трудно провести между ними четкую границу. В то же время идеологию отличает особая активность, наступательность: она борется за то, чтобы ввести в определенное русло общественную практику и прежде всего политическую жизнь. Распространенная у нас «боязнь идеологии» наивна: без идеологии не обойтись. Как не обходится без нее ни одна страна. Со времен Просвещения мир поставлен на голову, по известному выражению Гегеля; это значит, что двигаться вперед надо отталкиваясь «от ума», от некоторого теоретического багажа. Задача в том, чтобы выработать оптимальную для России идеологию «на фоне» истинного или, во всяком случае, максимально приближенного к истине знания. А также в том, чтобы найти должную пропорцию между идеологией и тем, что ею не является.

Разумеется, общенациональная идеология должна строиться с учетом национального опыта, включая советский опыт, который долгое время еще будет так или иначе сказываться, особенно на уровне коллективного бессознательного. Советский опыт должен быть по н я т как негативный — я делаю ударение на том, чего у нас, по-моему, еще сильно не хватает. Советское прошлое сидит у нас «в печенках», но не доведено до ума; мы устремились в неведомое будущее, оставив позади себя жуткую путаницу, которую еще долго придется распутывать. Добавлю, что советский опыт уникален в отношении той роли, какую сыграла в нем идеология, и поэтому даже с чисто познавательной точки зрения представляет огромный интерес.

Призрак и «его» тело

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что трансформация идеологии станет для будущих историков самым трудным «участком» в изучении советской эпохи.

Как получилось, что идеология коммунизма, хоть и имевшая некоторые касательства к национальной душе (преувеличенные, как мне кажется, Н. Бердяевым), но в общем и целом ей скорее чуждая, утвердилась у нас на долгие семьдесят с лишком лет? Некоторую психологическую опору изначально создала для нее Гражданская война. В первые месяцы после октябрьского переворота положение большевиков в стране было крайне шатким и казалось, что их легко свалить (и сами они так считали). И может быть, их только то и спасло, что судьба их решалась на поле брани, а не на поле, скажем, экономической деятельности. *Inter arma* («там, где дело решало оружие») большевики сумели победить, наобещав всем молочные реки и кисельные берега. Белые были трезвее и честнее и оттого проиграла. Война, особенно гражданская, разделяет и сплавивает, причем не только на время, пока она длится; созданные ею силовые линии остаются в национальном сознании и после того, как умолкают пушки. Начатая ради некоторого Дела (иногда не вполне ясного для многих ее участников), она как бы до-создает его, укрепляет и возвеличивает.

Тому есть исторические прецеденты. Один из них — Вандея в период «великой» Французской революции и после нее. Вандейские крестьяне долго колебались, кому отдать предпочтение — «синим» или «белым»; но однажды сплотившись под королевским знаменем, они посчитали себя «белыми» раз и навсегда — и хранили верность ему многие десятилетия после окончания военных действий (подробнее я писал об этом в статье «Чужое и свое» — «Новый мир», 1995, № 6).

Другой пример — американский Юг. В канун гражданской войны между ним и Севером не существовало никаких глубоких различий, за исключением института рабовладения. Но подавляющее большинство белых южан не были рабовладельцами и практически ничего от этого института, как говорится, не имели; к участию в войне их подвигло в основном чувство «своей команды». Представление о Юге как о некоей духовно-исторической общности (хорошо знакомое нам хотя бы по романам Фолкнера), как об особом регионе, объединенном особой памятью и противостоящем Северу, возникло в результате гражданской войны, как следствие совместно пролитой крови.

Одержав победу в Гражданской войне, большевики некоторое время могли чувствовать себя хозяевами положения. Самый факт победы производил впечатление; часть населения, косо на них смотревшая, приходила к невеселому для себя выводу: «Черт бы их взял, Бог, видно, большевиков любит» (Гр а б а р ь Л е о н и д. Коммуна восьми, 1927). Но чтобы черт действительно их не взял раньше времени, большевики должны были как-то подтверждать свое право на власть. Между тем, выиграв войну, они почти сразу же проиграли мир, что было очевидно для всех, в том числе и для них самих: мировая революция не зажглась и обещанного немедленного коммунизма не получилось. Приходилось отступать (нэп). А заверения, что это отступление временное, выглядели не слишком убедительными. Чтобы спасти коммунистическую идею, нужен был кто-то или что-то.

В 90-е годы, очевидно, пришли к завершению некие смысловые массивы, берущие начало в 1917-м; история номенклатуры — один из них. Чтобы судить, допустим, о чьей-то повести, надо обязательно дочитать ее до конца. Так и здесь: только зная конец, можно понять историю восхождения нового правящего слоя в его смысловой «закругленности».

Одно из первых определений номенклатуры было дано в 30-е годы Троцким: «термидорианская бюрократия». Тогда это определение вызвало сильные сомнения. В самом деле, то, что происходило в СССР, слишком мало походило на «классический» Термидор, каким он был во Франции и каким его уже в первые пореволюционные годы ожидали увидеть в России — кто со страхом, а кто с надеждой. Для большевиков начала 20-х Термидор — нечто скользкое, с рогами, грозящее в один присест поглотить все «завоевания» революции. Объективно главной базой Термидора они считали (и совершенно справедливо) деревню, остававшуюся гигантским резервуаром частнособственнической стихии в стране, провозгласившей Коммуну своим терминалом. Непосредственным же агентом переворота, с точки зрения того же Троцкого (напомню: в 20-е годы), могла явиться армия (особенно после того, как он перестал быть председателем Реввоенсовета) или даже дипломатические круги.

Что, собственно, такое Термидор в его «классическом» виде? А. Сорель некогда определил его как «возвращение человечности и снисходительности». Общество сбрасывает с себя иго схематизма и максимализма, наложенное на него революционными идеологами и сопряженное с постоянным кровопролитием; вообще «приходит в себя». Восстанавливается более или менее нормальное функционирование институтов репрезентативной демократии и сами эти институты, если они были уничтожены. Возвращается свобода слова. Открываются церкви. В области экономики на смену государственному регулированию приходят рыночные отношения. Пробуждаются после некоторой спячки частные интересы — нередко в ущерб общественным. Даже члены недавно еще пламенного Конвента наперегонки спекулируют «национальными имуще-

ствами»; современник пишет в этой связи о «гнусности разнузданных аппетитов». «Новые снисходительные», пришедшие к власти, снисходительны также в вопросах морали: ни алчность, ни торопливая жажда удовольствий уже не считаются чем-то предосудительным.

Были ли признаки Термидора в России начала 20-х? Были, и даже весьма убедительные. Власть заметно ослабила прежнюю хватку, и в результате изо всех щелей полезла «живая жизнь». В витринах магазинов стали исчезать портреты Карла Маркса с библейской бородой, зато появилась изобретательная реклама всевозможных товаров. Пошли в рост торговля и мелкая промышленность. Нажитые деньги тратились без особого стеснения: рестораны полнились фокстротирующими нэпманами и нэпманками в дорогих мехах. У молодежи, по крайней мере в городе, разбегались глаза — столько было вокруг всяких соблазнов. Даже класс, продолжавший именоваться «гегемоном», не проявлял должной «сознательности»; особенно это касается «рабочей смены». Большевицкая печать постоянно сетовала на то, что молодые рабочие и работницы охотятся за привозными тряпками, запоем смотрят заграничные фильмы и зачитываются разными «вредными» и «ерундовыми» книжками, такими, как «Рынок любви», «Путь к женщине», «Все подробности», вместо того чтобы читать «Азбуку коммунизма» и т. д. и т. п.

Расторопный Эренбург в романе «Трест Д. Е.» (1923) попытался представить, как будет выглядеть Россия через десять лет. Картина получилась такая. В «красной» оболочке в стране возродился капитализм, да такими быстрыми темпами, что многие города могут теперь потягаться с американскими городами по своему богатству и изобилию. В Москве, например, «магазины кичились товарами, школы — профессорами, кабаки — винами». Подлинные «хозяева жизни» сидят не в Кремле, а в правлениях трестов, где дымят черными гаванскими сигарами, совсем как в Америке. При этом сохраняется формальный пиетет по отношению к серпу и молоту. (А один из управленцев, встретившись за бутылкой с бывшим сослуживцем по Красной Армии, а теперь, судя по всему, бомжем, с удовольствием вспоминает, как вместе рубали Деникина.)

Это сейчас, когда мы знаем, чем все обернулось, такая перспектива выглядит иллюзорной, а тогда в ней не было ничего нереального: за подымающимися, хоть и слабыми пока, торгово-промышленными кругами, громоздился могучий тыл — крестьянская Россия, своротить которую с ее пути, казалось, не было никакой возможности.

Поэтому нувориши глядели именинниками, а «сменовеховцы», сидя на чемоданах где-нибудь в Берлине или Харбине, радовались всем проявлениям «живой жизни», «веселым, как шампанское», и ждали часа, когда они смогут вернуться на родину, чтобы помочь «новым Баррасам» (П. Баррас — один из ведущих термидорианцев), откуда бы те ни появились, избавиться от остатков коммунистического доктринерства. Большевики, напротив, хмурились: за что боролись? Демьян Бедный писал, что памятники борцам революции в Москве и Питере плачут крупными слезами, глядя на то, что творится вокруг них. Мечтатели и фантазеры, взыскующие «нового неба» и «новой земли» в секулярном преломлении, отчаивались: после «метелей революции» — та к а я пошлость!² А у самых крутых партийцев, привыкших «разговаривать» маузером, чесались руки — ставить к стенке всех подряд буржуазных гадов.

И все-таки «классического» Термидора, вопреки всем надеждам или опасениям, не получилось. Объяснение этому надо искать в отношениях между

² В одном из стихотворений известного пролетарского поэта Владимира Кириллова возникает «унылая» картинка Страстной площади, где, оказывается, все осталось на прежнем месте (на самом деле, увы, — далеко не все): пыльный двор, где «самцы петушатся» и «кудахтают самки», вокруг «дома, как зеваки, затертые давкой».

Все было прилично, все было в порядке.
Так будет и впредь — через тысячу лет.

Было от чего пустить себе пулю в лоб!

властью и собственностью. Во Франции те, кому принадлежала власть, как правило, уже владели собственностью — в основном это была «новая буржуазия», разбогатевшая на продаже «национальных имуществ» и на военных поставках, к которой примкнула и «старая» буржуазия вместе с обуржуазившимся дворянством. В России становящаяся номенклатура в подавляющей своей части вербовалась из бедняцких, преимущественно крестьянских слоев, «иванов — дырявых карманов», у которых ничего не было за душой. Можно представить, как чувствовали себя среди нэпманского изобилия эти парни в шинелишках и обмотках, которых и в ресторан могли не пустить. Конечно, очень большие начальники ездили в автомобилях, женились на актрисах и вообще кое-что себе позволяли, но подавляющая часть «комиссаров» как была голю, так голю и оставалась; разве что появились у них маузеры в карманах да кое-какие властные функции. Эти люди должны были испытывать естественную зависть к обладающим, естественное желание так же пользоваться «радостями жизни», как и другие. В то же время психологически они были не готовы к тому, чтобы стать частными собственниками, если бы такая возможность им представилась. Вроде бы не за то боролись. Идеалы коллективизма, равно как и аскетические привычки революционных лет, еще владели их сознанием и не могли бы так сразу отпустить его на все четыре стороны³.

Здесь мы вступаем в область, хранящую «тайну» всей последующей советской истории. В темном поле сознания (напомню, что речь идет конкретно о новом правящем слое «комиссаров», становившемся реальным субъектом истории), этом прибежище немых жизненных инстинктов и виталистических сил, шла «проверка» идеологии — рациональных конструкций, как бы свалившихся на голову, в общем и целом малопонятных и могущих быть усвоенными лишь в крайне огрубленном и отрывочном виде — в соотношении с жизненными фактами. К. Юнг, наверное, поставил бы этот процесс под знак Рака: новые содержания улавливались в подсознательные формы, ставшие результатом прежнего исторического опыта; новое, таким образом, прилеплялось к старому.

Поэтому с большой осторожностью, я бы сказал — подозрительностью, надо относиться к словоизвержениям тогдашних партийных деятелей любых уровней и рангов. В рассказе Вс. Иванова (одного из писателей, в ту пору особенно чутких к «проискам» разгулявшегося подсознания) «Плодородие» (1926) крестьянин видит «по губам» другого (никчемного шатуна, который, определив, откуда дует ветер, начинает «подбочиваться» и мечтает вступить в партию), что он думает не то, что говорит. Так вот, «по губам» — хотя теперь, естественно, это выражение надо понимать метафорически — «второго эшелона» в партии, наступавшего на пятки первому, легко прочитывается древняя как мир воля к власти и к обладанию, заставляющая идеологию работать на себя. В этом его принципиальное отличие от большевистской «старой гвардии» — Ленина, Троцкого и других. Им тоже в наши дни приписывают необузданную волю к власти, и зря: слишком велика их вина перед Россией, а в какой-то степени и перед человечеством, чтобы стоило вешать на них еще и чужие грехи; на самом деле воля к власти не была у них на первом плане, а стремление к обладанию, как правило, вообще отсутствовало⁴.

³ В рассказе Александра Малышкина «Поезд на Юг» (1925) автор как бы предупреждает своего героя — «красного командира» из крестьян, увлекшегося «мещаночкой»: не ходи в ту сторону, там — чужие, там — «избалованные, непонятные тебе комнаты и тонкие запахи и слова, расстраивающие воображение».

⁴ Даже «чудесный грузин» на таком фоне не слишком выделялся. Некоторые современные биографы излишне дьяволизуют Сталина (и тем самым вольно или невольно его «укрупняют»), изображая этаким шекспировским персонажем, чуть ли не с семинарской скамьи торившим себе «путь вверх». На самом деле Сталин перерождался с течением времени и под давлением окружающей его среды. Я не сомневаюсь в том, что в 1917-м году он мыслил совсем не так, как в 1927-м, и даже в 1927-м не так, как в 1937-м.

Между прочим, поражение Троцкого в борьбе со Сталиным объясняется тем, что он дал ему бой не на том поле, на каком вообще можно было выиграть. Председатель Реввоенсовета республики (с 1925-го бывший) не хотел замечать, что революция, в сущности, уже закончилась и никакие идейные туры на колесах сами по себе уже не смогут «привести в движение горы». Как форма ложного знания (иллюзорно выведенная из «интересов трудящихся масс»), коммунистическая идеология сама по себе исчерпала свои возможности. Более практичный Сталин раньше других понял, что складывается некоторая система властных отношений и опираться имеет смысл только на нее. Здравый смысл подсказывал заполнившим иерархическую лестницу «комиссарам», что вожди обмишурились со своими проектами и, значит, надо самим соображать, как дальше быть. Ленин, тот «вовремя» заболел и потом умер (а в последний год жизни, по свидетельству Е. Драбкиной, плакал от бессилия), а вот Троцкому пришлось изведать всю горечь поражения внутри собственной партии; уже весной 1923 года его выступление на очередной партконференции вместо привычных оваций было встречено выкриками «Хватит!» и «Надоело!».

Наблюдательный Н. Устрялов, один из тех эмигрантов, что с нетерпением ждали прихода «новых Баррасов», с удовлетворением писал, что в партийной политике цели и средства меняются местами: «повсюду — причудливое сплетение **посредствующих целей и целеподобных средств**»⁵. Самым существенным или, во всяком случае, первичным из этих перемещений было изменение отношений между властными структурами и коммунистической идеей. Ленин не раз говорил, что надо иметь «хорошую» и «твердую» бюрократию — для осуществления идеи. Новая бюрократия «про себя» решила, что не она существует для идеи, а, наоборот, — идея для нее.

Это не значит, что идеология становилась просто камуфляжем, за которым строились в боевые порядки жизненные инстинкты. Несомненно, «второй эшелон» искренно верил в возможность и необходимость построения «нового мира» более или менее соответственно с марксистской догмой. Но реальное содержание догмы выхолащивалось и подменялось другим; все меньше было в нем «от виденья» и все больше «от прикосновенья». Иначе говоря, коммунистическая идея стихийно приспособлялась к нуждам «второго эшелона»; хотя и нужды, в свою очередь, приспособлялись к идее, получавшей, таким образом, новый жизненный импульс.

Более того, только теперь идея обрела относительно прочную, долговременную опору. Кустодиев изобразил своего Большевика великаном, шагающим с красным знаменем через дома и скопления людей. Но этот Большевик был на самом деле призраком, коему суждено было растаять в воздухе, если бы... Если бы не нашел он «свое» тело.

Пишу «свое» в кавычках потому, что призрак рад был бы отказаться от такого тела, да не мог и даже не слишком пытался (проявив готовность «раствориться в партийной воле», «старая гвардия» фактически сама себя обрекла на уничтожение; исключение в этом отношении составили небольшое меньшинство, к которому присоединилась и часть «молодой гвардии» и которое не вполне справедливо было названо «троцкистским» только потому, что во главе его стоял Троцкий). Налившись живой кровью, призрак с учетверенной энергией ринулся дозавоевывать страну, несколько уже оправившуюся от первоначальных его посягательств.

Новое «углубление» революции, выразившееся прежде всего в насильственной коллективизации крестьянства, кажется, для всех наблюдателей явилось полной неожиданностью. Главный «певец» Термидора, Устрялов не мог понять: почему Сталин одной рукой расправляется со «старой гвардией», а другой давит мужика? По логике «классического» Термидора, здесь было явное противоречие. Но это противоречие снимается, если встать на точку зре-

⁵ Устрялов Н. Под знаком революции. Харбин, 1927, стр. 201.

ния молодой номенклатурной когорты, которую представлял Сталин: идеология, понятая преимущественно (хотя и не целиком) инструментально (в узкоэгоистическом, классовом приложении этого понятия), послужила ей оружием в борьбе с мужиком, остававшимся главной опорой частной — то есть не ей принадлежащей — собственности; с другой стороны, такое отношение к идеологии делало ее врагом «старой гвардии», которую она оттеснила от власти, а потом уничтожила физически. Устрялов недооценил силу и значение оматериализовавшегося великана и размеры его соответственно великанских appetitов, недооценил его волю к власти и стремление к собственности, хотя бы и превращенное, скованное идеологией.

С надеждой писал Устрялов: настанет день, когда можно будет сказать, что «идея отрицания собственности сама стала источником перераспределения богатств и, следовательно, новой (частной. — Ю. К.) собственности»⁶. Эта надежда сбылась — но много-много лет должно было пройти, чтобы такой день настал. Должна была измениться психология номенклатуры, рабски преданной идее (хотя бы и плохо понятой), которая, в полном соответствии со строкою «Интернационала», все дала тем, «кто был ничем»; точнее, некоторым из тех, «кто был ничем». И прежде всего должно было измениться представление о собственности, силою идеи надолго загнанное в коллективные рамки.

Коллективная собственность имела и определенные преимущества с точки зрения тех, кто ею владел. Об этом пишет Дора Штурман: «...совокупный всевластный монокапиталист боится возвращения к частной собственности: зачем ему риск, работа, торговля, казусы конкуренции, забота о качестве предлагаемых им потребителям услуг и товаров? Все это снято внеконкурентностью иерархического распорядителя, за которую — единственно — он и борется, которую — единственно — и охраняет»⁷. И все-таки коллективная собственность не отвечала в должной мере природным побуждениям: все-таки «наше» есть лишь суррогат «моего». И настал час, когда номенклатура не только не могла больше управлять по-старому, но, по-видимому, уже и не очень хотела: собственнический инстинкт, работавший под землей на протяжении многих десятилетий, вышел наконец на поверхность, чтобы принять «нормальные» формы стремления к частному присвоению.

Из повести Андрея Новикова «Причины происхождения туманностей» (1929, разгар коллективизации): «Кулаки хорошо знали, что эти властелины, достигнув личного благополучия, перестанут быть властелинами и станут такими же кулаками, как и они». Поправим из 90-х: станут еще большими кулаками, не перестав при этом быть властелинами.

Глядя с конца, видим, что конфигурация власти и собственности, возобладавшая в советской России, была, в сущности, переходной: нужно было отдать дань идеологии, а с другой стороны, нужен был своего рода «отстойник», в котором правящая номенклатура психологически была бы «доведена до кондиции» — нормы, естественным образом сложившейся в ходе истории. Таким образом, весь советский период начиная с 1922 или 1923 года (скорее всего, с весны 1923-го) и кончая началом 90-х может быть понят как задержанный Термидор. Хитрый разум истории, как называл его Гегель, на сей раз проявил особую изворотливость, совершив обманное движение далеко в сторону от намечавшегося курса, чтобы в конечном счете прийти к результатам, в основном уже знакомым благодаря «классическому» прецеденту.

Что осталось от «завоеваний» революции? В сущности, только одно: полностью сменилась правящая элита. Европа ничего подобного не знает. «Процедура» смены элит, которую продемонстрировала Россия начиная с 1917-го года, — чисто азиатская (это говорит не о том, что Россия — Азия, а о том лишь, что ее открытые пространства в очередной раз оказались беззащитными

⁶ Устрялов Н. Под знаком революции, стр. 145.

⁷ Штурман Д. О вождях российского коммунизма. Кн. 2. Париж, 1993, стр. 206.

перед свирепыми азиатскими ветрами). Она характерна, например, для Китая, который периодически, раз в несколько столетий, подвергался нашествию полудиких степняков. Завоеватели свергали правящую династию, вырезали мандаринов, сжигали их дома, вообще разрушали все, что хотелось разрушить. Но проходило время, и новые мандарины, севшие на место прежних, надевали халаты с запахом направо (по-китайски), учились, по старому образцу, сложным придворным поклонам и возжиганию благовоний перед изображениями богов, привыкали есть палочками и писать кисточками, обмахиваться веерами, развлекаться запуском бумажных змеев и т. д. и т. п. Пусть не все, но многое, таким образом, возвращалось на круги своя. Нечто подобное произошло и в России, только, в отличие от Китая, роль внешних варваров у нас сыграли внутренние.

Ничего нового под луной? Не совсем так. Попытка тотальной перестройки действительности сообразно с определенной идеологией, знанием (в данном случае ложным), ставшим сознанием, не лишает его своеобразной ценности. В большой мере чужеродная, «иноязычная» действительности, идеология оказалась не столь уж могущественной; сильно поторопился, например, Бердяев со своим заключением об осуществимости утопий. Но, с другой стороны, действительность оказалась более подымчивой, подвижной, податливой, более лепкой, пластичной, чем это можно было предположить. В результате урон понесли обе «стороны». Идея изуродовала жизнь, а жизнь, в свою очередь, изуродовала идею. Разумеется, не жалко идею, о которой можно сказать, пользуясь пословицей: летит хорошо, да сесть не умеет. Жалко — жизнь.

Обманутая обманщица

Очень трудно, почти невозможно представить, как могла бы номенклатура управлять страной посредством идеологии, если бы культура не проявила по отношению к ней (идеологии) некоторую отзывчивость, не стала бы ей подыгрывать. Не случайно, что это произошло главным образом в 30-е годы, когда идеология изменилась в сторону большего схематизма, но одновременно и большей условности.

Столкнув в могилу, сначала фигурально, а потом и буквально, «старую гвардию», номенклатурные «большевики» (не считаю возможным называть их большевиками иначе как в кавычках) унаследовали не только властные, но и идеологические ее функции. Иначе говоря, новая верхушка заняла «место», откуда, по ее искреннему, вероятно, убеждению, должно было быть видно во все концы света и далеко вперед по ходу времени. А чтобы убедить самих себя и всех остальных, что они видят именно то, что надо, а не что-либо другое, «большевики» повторяли как заклинания формулы «марксизма-ленинизма», ставшие для них, по сути дела, суррогатом молитвы. Подлинные большевики все-таки более осмысленно подходили к вопросам теории. Во всяком случае, так можно сказать об интеллигентском ядре партии, по своему культурному уровню далеко превосходившем массу, которую оно себя окружило.

В составе русской дореволюционной интеллигенции большевики были сектантской группой, не имевшей шансов перетянуть на свою сторону сколько-нибудь значительную ее часть и тем более «управлять течением мыслей» целой страны. Известный американский исследователь Французской революции Р. Дарнтон писал, что активизм ее крайних течений (проявивших себя уже на жирондистском, но особенно на якобинском этапе) явился своеобразной компенсацией для той, относительно более слабой, части французской интеллектуальной элиты, которая не могла добиться успеха нормальным путем, иначе говоря — убеждением.

Нечто подобное произошло и в России. Но попытка навязать свою волю другим в конечном счете обернулась против самих большевиков: относительно слабые в интеллектуальном отношении должны были уступить абсолютно сла-

бым. Различия между теми и другими очень существенны, принципиальны. Партийные интеллектуалы были знакомы не только с марксизмом, но и со всем тем интеллектуальным полем, в котором он сложился, и не отказывали себе в некоторой свободе его истолкования. А для «второго эшелона» марксизм стал мертвой, вырванной из контекста (и поставленной в иной контекст) буквой, но как раз мертвая буква и стала-то особенно требовательной, деспотичной.

Я отнюдь не хочу сказать, что «первый эшелон» был «лучше» второго. В обоих двух — один пёсий дух. Правда, я ловлю себя на том, что большевики вызывают у меня меньшую антипатию, чем их номенклатурные наследники и могильщики, но это легко объяснить различием их судеб. Те — почти все — получили по заслугам и сошли с исторической сцены давным-давно. (Большевистская Россия — еще одна Атлантида, ушедшая под воду вслед за первой, дореволюционной, Россией и в отличие от нее никого сейчас, кажется, не интересующая; но это временно: историкам интересно все.) Эти до сих пор сидят в начальнических креслах и еще долго будут сидеть.

А если взглянуть на дело с точки зрения ответственности перед историей, то окажется, что «хуже» как раз «первый эшелон». Народная мудрость говорит: незнайка дома сидит, когда знайку на суд ведут. В конце концов, простецы не виноваты в том, что они простецы. Это «умники» своротили Россию на катастрофический путь, с которого она до сих пор не может выбраться.

Вернусь к тому, что отличало большевиков от «большевиков». Разница между ними очень заметна, в частности в плане культуры. Большевики-интеллигенты не чувствовали себя чужими в мире культуры. Часто указывают на культурный консерватизм Ленина; но среди его коллег были люди, интересующиеся современными им литературой и искусством и более или менее знакомые с ними: таковы Троцкий, Луначарский, Воронский и некоторые другие. Они не только умели ориентироваться в этом мире, но и вели себя в нем уверенно-размашисто, «по-хозяйски» всему назначая свою цену: вот это обречено умереть, а здесь еще есть признаки жизни, а там «восходящий класс» должен сказать свое веское слово и т. д. и т. п. Но такая самоуверенность, даром что она была основана на абсолютно ложных посылках, имела своею оборотной стороной некоторую терпимость: тот, кто уверен в себе, не торопится преследовать «заблудших». И в самом деле, в литературе и искусстве 20-х годов диапазон запретного был еще довольно узок; появлялось немало ярких, талантливых произведений, строем мысли и чувства достаточно далеких от большевистской идеологии.

Иначе повели себя номенклатурные «большевики». Мир культуры с его разноцветными огнями должен был внушать им страх, притом страх двоякого рода. Во-первых, в большей своей части он оставался непонятным и, значит, явно или не явно оспаривающим тот жизненный смысл, который был для них руководящим. Во-вторых, он оставался самочинным, более того, претендующим на власть над умами и, следовательно, что-то неизбежно вычитающим из их собственной власти. Отсюда усугубление цензуры и переход к жесткому управлению культурой на протяжении 30-х годов.

Примером может служить отношение к группе «Перевал», возглавлявшейся самим Воронским. Чем объяснить массивные атаки на «перевальцев», развернувшиеся в конце 20-х — начале 30-х годов? Что такого нашли в произведениях Ивана Катаева, Зарудина и других, что дало основания посчитать их «социально чуждыми»? Эти писатели, прошедшие гражданку, в идеологическом смысле оставались ортодоксальными коммунистами; беда их была в том, что для них, как для художников слова, еще существовали области, идеологии не подвластные. Их герою вдруг могло захотеться одиночества, «сладчайшей тоски непричастности»; он мог испытать совершенно неуместную грусть в самый разгар октябрьской демонстрации; вопреки всем партийным инструкциям его посещала «старосветская нежность к людям», в их числе людям тоже вполне старосветским, ставшим в советское время «антиками»; порою он «слиш-

ком» задумывался о смерти; мог «с головою уйти» в любовь. Все это было, конечно, неприемлемо: «перевальцев» обвинили в «ползучем интуитивизме», в том, что мироощущение у них преобладает над мировоззрением (на самом деле как раз наступал час, когда торжествовал интуитивизм определенного сорта, да только полз он совершенно в другую сторону). «Героическая» младость нового коллективного хозяина земли русской не терпела соперников; даже любовь и смерть исключались в этом качестве.

Кажется парадоксальным, что «сдача» творческой интеллигенции приходится на 30-е годы, когда иго идеологии становится значительно более тяжелым. В предыдущее десятилетие далеко не все ее слои считали необходимым «соответствовать» официальной политике; да и «соответствие», когда оно имело место, зачастую не лишено было некоторого лукавства. Примером в этом отношении могут служить конструктивисты (в литературе и искусстве), двумя руками поддерживавшие большевистские лозунги, но вкладывавшие в них свое собственное, отличное от большевистского, содержание; реальной их целью было построение в России общества, основанного на принципах «технического разума», а отнюдь не на началах «марксизма-ленинизма».

Перелом в настроениях творческой интеллигенции, ставший ощутимым уже в первой половине 30-х годов, невозможно объяснить только (или преимущественно) действием страха (тем более, что страх по-настоящему дал о себе знать лишь в 1936 — 1937 году). Главная причина в другом: вчерашние скептики и люди «себе на уме» в значительной своей части проникаются доверием к власти, твердою рукою сумевшей «поднять на дыбы» огромную страну и направить ее вроде бы по единственно правильному пути; естественным образом доверие переносилось и на те магические формулы, которыми руководствовалась власть, какими бы угловатыми и далекими от жизни они ни выглядели. Постепенное исчезновение «на верхах» лиц с интеллигентскими бородками и в пенсне скорее укрепляло доверие к власти, чем наоборот: ее природный облик становился все более «народным», а с народом русскому интеллигенту, как известно, всегда должно быть по пути.

Таким образом, после некоторых колебаний культура «легла» под идеологию, тем самым придав ей глубину, прежде ею неизвестную (я, конечно, не забываю о тех, кто устоял, но это буквально единицы, хотя и очень крупные). Если со стороны власти идеология была формализована и инструментализована, то со стороны культуры, наоборот, обогащена своеобразной художественной космологией, собранной из различных уже имевшихся в наличии элементов (с равным правом мы можем назвать ее советской массовой культурой или советским мифом). В запасниках культуры было возбуждено и пушено в дело все, что хоть с какого-то боку имело отношение к коммунистической идее: и крестьянский фольклорный утопизм с его мечтою о «воле», с его жаждою «песен небывалых и сказок нерасказанных»; и поэзия «народной» (а то и прямо разбойничьей) сплотки, исторгающей из недр своих все чудное и чудное; и сентиментализм старой народнической литературы, путавшей реального мужика с эпическим Микулой Селяниновичем; и шестидесятнические грезы о жизнелюбивых фалангах — вместе с шестидесятнической близорукой рассудочностью (поставившей на место Святого Духа Здравый Смысл, над которым обыкновенный, не заносющийся, здравый смысл вволю мог посмеяться) и «святою верой в науку»⁸. Да, впрочем, и вся русская и мировая культура была

⁸ Этот «компот» заваривался задолго до 1917-го. Остроглазый В. Розанов уже в годы первой русской революции наблюдал молодых людей, мечтающих о «грядущем братстве юных работников и работниц, учеников и ученых, слушающих тоже юных, по крайней мере душою, наставников и наставниц... Самая „республика“ у них мечтается не в тяжеловесных формах реального республиканского строя, например Франции или Соединенных Штатов, с этими разными департаментами и штатами, судом и судебными следователями, налогами и прочей „гадостью“, а в виде какого-то зеленого и нестареющего пансиона или русского „интеллигентного поселка“, раскинувшегося от Амура до Вислы... где с чрезвычайной охо-

мобилизована таким образом, чтобы подпирать идеологию; высокие, в смысле художественного исполнения, образцы из прошлого были представлены как несовершенные варианты того, что еще только становится в советской «буче».

Такую жесткую телеологию не сумели бы выносить, наверное, даже схоласты: все мировое развитие стягивалось к одной точке, от которой начиналась прямая линия, ведущая в светлое будущее. Ключевым событием, «точкой» в этой картине мира была, разумеется, революция и Гражданская война. В 30-е годы Гражданская война уже отодвигается на значительное историческое расстояние.

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости.
Над костями шумят ветерки.

Казалось бы, память о ней мало-помалу блекнет, тем более что сегодняшних забот полон рот. Но нет, только теперь ее мифологизация и поэтизация идет полным ходом: из довольно хаотического сцепления фактов, из мозаики разнонаправленных вер, сомнений и колебаний, из неразберихи, какую сплошь и рядом представляла собою Гражданская война (особенно на ранних ее этапах) в чисто военном отношении, складывается стройная картина, прочувствованная в ее целостности и мнимой целесообразности и музыкальная в обоих смыслах этого слова, фигуральном и буквальном. Заметим, что почти все известные песни о Гражданской войне были сложены именно в 30-е годы, а отнюдь не в ходе войны, как многие думают⁹.

Набоков однажды попробовал перевести Маркса (с немецкого) стихами, чтобы не было «так скучно». Советская массовая культура — «перевод» идеологии и политики на язык поэзии, кинематографа и т. д.; причем перевод весьма вольный, но только в пользу оригинала. Когда бы ни усилия «переводчиков», точнее, лучших из них, не возникло бы «скромное обаяние социализма», как его назвал Александр Гольдштейн (в книге «Расставание с Нарциссом», кстати говоря сделавшей существенный шаг в осмыслении советской культуры 30-х), далеко пережившее силу воздействия идеологии и даже сейчас совсем еще не улетучившееся.

Вся психологическая сторона жизни 30-х годов («осевого времени» для шестидесятилетия, закончившегося «перестройкой») — грандиозное квипрокво¹⁰. Правящий класс обманул сам себя относительно реального содержания своих жизненных инстинктов, которые он сковал броней идеологии. Равным образом он обманул сам себя относительно своей способности что-то видеть сквозь призму «единственно верного учения». Он, наконец (а в хронологическом смысле изначально), жестоко ошибся в самом учении, приняв его, вослед учителям, за «единственно верное». Со своей стороны, творческая интеллигенция жестоко

той люди работают и работают, учатся и учатся — только учатся и только работают». Это интеллигентский вариант. А вот простонародный вариант: республику представляют как «достигнутое братство, полное равенство, наконец-то осуществленную справедливость, где рабстают все, кроме стариков, младенцев, малых и больных, и работают сильно, грубо, — и в заключение веселятся, и веселятся тоже дружно, громко, заразительно, с таким расцветом в душе, точно и на деревьях хоть среди зимы вдруг распустились цветочки и появились яблоки» (Розанов В. Когда начальство ушло. СПб., 1910, стр. 325, 327 — 328). Вот они, ростки советской массовой культуры! Не случись революции, они, наверное, все равно дали бы какие-то плоды, хотя и несколько иного сорта.

⁹ Среди них есть замечательные песни, и их тоже — жаль. Они ведь шли от сердца, но — от «глупого» сердца, устремившегося на ложный свет. Веря в реванш Белого дела (понятого как переход на онтологически обоснованный путь развития, сочетающий разумный традиционализм с разумным новаторством), думаю, что можно продлить им жизнь, полностью или частично изменив текст. Именно так поступали красные в период Гражданской войны: почти все песни, которые они тогда пели, были дореволюционные русские песни с новыми текстами.

¹⁰ Недоразумение как сценическая ситуация (франц. *quiproquo*, от лат. *qui pro quo* — «одно вместо другого»).

ошиблась, уверовав, что «наверху» знают, куда ведут страну; увлеченная полусомнамбулическим движением великана-тяжелоступа, она приняла и даже полюбила, хотя бы на время, коммунистическую идею тою русскою любовью, которая, за некоторым критическим порогом, «всему верит». До некоторой степени она увлекла за собою народ, поверивший мастерам культуры гораздо больше, чем запарским «марксоедам», «цитатам в брюках».

Возможны два взгляда на советскую массовую культуру. Один из них — снисходительный: она помогала людям сносить бремена неудобноносимые и стремилась поэтически украсить жизнь, приведя ее в некоторое соответствие, хотя бы и весьма поверхностное, с органикой русской культуры. Она заметно смягчила нравы, приведя душевный мир людей в некоторое, хотя бы и сугубо временное, равновесие. Это касается и начальствующих лиц. Я догадываюсь, например, что одной из причин, побудивших партийный синклит 1956 года принять историческое решение о ликвидации ГУЛАГа в его «развитой» форме, было чувство стыда или по крайней мере неловкости: то, что казалось возможным и необходимым в атмосфере «взорванного» революцией общества, спустя двадцать лет стало шокирующим и нетерпимым.

Но по «твердому счету» нельзя не уличить ее в измене русским культурным традициям. Повинуясь указанию сверху, она заперла все двери, открывающие человеку доступ в глубины бытия. Ее задушевность без духовности лишь упрочивала ложь, в которой увязала жизнь. Созданный ею образец человечности, при всей его ущербности не лишенный некоторых достоинств, был совершенно призрачным и очень скоро стал рассыпаться вследствие своей безосновности. Она не разглядела за идеологией пустоты, вернее, разглядела ее с запозданием, да и тогда — обманутая обманщица — делала вид, что не замечает ее; в результате она перестала «держаться» души, и взаимное восприятие людей чем дальше, тем больше становилось настороженным, ироничным, а то и прямо враждебным. А некоторая ее связь с культурными традициями в конечном счете обернулась против самих культурных традиций: молодые поколения все решительнее сторонились их именно потому, что они сопрягались и сопрягаются с ложью.

Не так просто решить, применительно к 30-м годам, где кончается беда творческой интеллигенции и начинается ее вина. Слабость, толкнувшую ее в объятия идеологии, можно ведь объяснить и дурной наследственностью: даже за дореволюционной интеллигенцией, находившейся в несопоставимо более благоприятных условиях, замечалось недостаточное внимание к движению мысли, недостаточный интерес и любовь к истине. На это указывали еще «веховцы». На это указывал Солженицын в «Образованщине»: среди грехов прошлой интеллигенции — «слабость самоценной умственной жизни, даже ненависть к самоценным духовным запросам». Последовавшее в 20-е годы насильственное извержение из среды творческой интеллигенции той ее части, что могла претендовать на духовное водительство, лишило ее последних ориентиров. На поле оставался один-единственный игрок, уверенный в том, что он выражает всю полноту истины, и не терпевший соперников.

Вопрос о духовном водительстве и сегодня остается несколько не менее злободневным. Художественное мышление, конечно, свободно воспринимать действительность таковую, какою она открывается непосредственно с точки зрения личности; но сама личность всегда и с т о р и ч н а, а история становится все более сложносочиненной и запутанной, и оттого моменты п о н и м а н и я ее объективно требуют все большего места для себя. Во всяком случае, так обстоит дело на сломе эпох. Без этих моментов культура рискует стать легковерной, мелочной или сервильной (будь то по отношению к власти или по отношению к толпе), покорной сиюминутным настроениям — так размягчаются кости без калия, так кровь без ферментов замедляет свой питательный бег¹¹.

¹¹ Творчество Солженицына замечательно, между прочим, движением художественной мысли, «изголодавшейся» по истине, в сторону мысли исторической, историософской и даже некоторым сращением с ней. «Архипелаг ГУЛАГ» — «опыт художественного исследования». Грандиозное «Красное Колесо» сочетает в себе художественную эпопею с истори-

Странный союз знания и власти

«Сдача» творческой интеллигенции облегчалась тем обстоятельством, что в советском обществе, по видимости, существовал пиетет в отношении знаний, культуры как таковых. А то, что важнейшие знания, религиозное и философское, изгонялись или подавлялись идеологией, а некоторые другие деформировались ею, было истолковано, как следствие ревнивой заботы об истине: изгонялось якобы все ложное. Зато критерию якобы истинности, помимо идеологии, более всего отвечала наука, особенно естественные и точные дисциплины.

Мы жили замыслом заветным
Дорваться вдруг
До всех наук —
Со всем запасом их несметным —
И уж не выпустить из рук.

Сама идеология выдавала себя за безупречно «научную». Было принято за аксиому, что ее внутренняя логика якобы соответствует движению истории; поэтому она бралась все на свете объяснить, и не только объяснить, но и исправить все, что подлежит исправлению. Убеждение, что правильно найденное «ученое» слово способно изменить мир, проникло в головы, хотя бы слегка задетые образованием, — отсюда громадная вера в слова, даже самые деревянные. Сегодня трудно даже представить переполненные аудитории 20-х годов, не замечающие, как бежит время за тяжеловесными многочасовыми лекциями или докладами, будь то «О политическом положении» или, скажем, «О влиянии климата на классовую борьбу»¹².

Но все это — одна сторона тогдашних реальностей. Была и другая.

В разгар революции Василий Каменский писал в декрете «О заборной литературе» (1917):

Вчера учили нас Толстые да Канты, —
Сегодня звенит своя голова.

«Своя» — это значит голова «человека с улицы». Павел Антокольский в стихотворении «История» (1924) без всякого сожаления отнес «философов и скрипачей» к «вымирающим породам». В платоновском «Чевенгуре» (1928) Дванов «в душе любил неведение больше культуры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура — уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет». Там же Чепурный отвергает науку и просвещение по другой причине: «...ум такое же имущество, как и дом, стало быть, он будет угнетать ненаучных и ослабелых». Я мог бы умножить примеры подобного рода, дабы не подумалось, что это какие-то случайные мышлечувства: по-разному здесь выражено одно и то же — стихия «народного» недоверия к знаниям, культуре, выплеснувшаяся вместе с революцией и нашедшая отклик «наверху» — в настроениях усталости от культуры (продемонстрированных, к примеру, М. Гершензоном в «Переписке из двух углов»).

чеким исследованием, фундированным, наверное, несколько не меньше, чем самая солидная научная работа. Притом фундированным, как принято, в двояком смысле: автор опирается, во-первых, на источники и, во-вторых, на уже сложившуюся в трудах русских религиозных мыслителей традицию объяснения революционных событий. Одним исполинским шагом было преодолено слабоумие подсоветской культуры, и прежде всего литературы.

¹² Даже страшная практика НКВД 30-х годов по-своему говорит о вере в магическую силу слова. Палачи всегда старались выбить из своих жертв нужные им слова — зачем? (Исключая те редкие дела, которые доводились до показательных процессов.) Сами они, палачи то есть, прекрасно знали, что правосудие стало чистой фикцией, так что бы им стоило самим писать и подписывать «признания», вместо того чтобы тратить время на многочасовые допросы? И может быть, вообще можно было обойтись без всякой документации? Но нет, тут уже вступала в силу другая магия, бюрократического свойства, — входящих и исходящих бумаг.

Приведу еще только один пример, зато, наверное, самый красноречивый. Первый по значению или, во всяком случае, по силе воздействия на массы (оценка Троцкого, думаю, справедлива) поэт революции Демьян Бедный в басне «О соловье» (1924) не постеснялся поправить Крылова: рассуживая петуха с соловьем, осел вынес правильный вердикт, отдав предпочтение петуху; ослиная точка зрения — подлинно «народная».

«Осел» был в басне псевдонимом,
 А звался в жизни он Пахомом или Ефимом.

 Он предпочел родного певуна
 «Любимцу и певцу Авроры»...

Здесь, правда, взят только один аспект отношения к вышестоящему в культурном смысле — эстетический; но все творчество «блудливого Демьяна» пронизано враждебностью к высокой и сложной культуре, в любых ее аспектах, как исходящей от «господинов господиновичей». Некоторое замешательство эта воинствующая простота должна была испытывать перед вездесущими портретами человека с библейской бородой (тоже по всем признакам «чужого»). Но разве сама коммунистическая утопия, санкционированная Марксом, не содержала в себе, в одном из своих аспектов, побуждение к спонтанному «творчеству масс», к постоянному экспериментированию, идущему «снизу»? Так что о Марксе можно было подумать, что он лишь затем явился, чтобы развязать языки и руки «простым людям», и потом навек затихнуть в безобидном пространстве портрета. Ведь и куда более просвещенный поэт писал: «Мы диалектику учили не по Гегелю», — что можно понимать и так: учили не по книжкам (а значит, и не по Марксу), сама жизнь учила нас диалектике, то есть тому, что мы под этим словом подразумеваем.

В 30-е годы поборники «народного» «своеумия» должны были умолкнуть: пиетет в отношении знаний, культуры получил официальное оформление; в рабочих наука стали видеть своего рода жрецов, священнодействующих в тиши библиотек и лабораторий — на пользу и во славу «социалистической Родины». Наверное, впервые со времен наполеоновской империи (представлявшей собою духовную пустыню и в то же время создавшей передовую систему научных учреждений и первенствовавшей в Европе по уровню развития естественных и точных наук) возник столь демонстративный союз знания и власти. Но странный это был союз. Во всяком случае, со стороны власти он не был вполне чистосердечным: «опростившись» с устранением более или менее культурных большевиков, она хранила в себе, не слишком, впрочем, его скрывая, «народное» недоверие к носителям знания — ученым, деятелям культуры.

Особенно выразительно об этом свидетельствует кино, ставшее «важнейшим из искусств». Само слово «интеллигенция» в фильмах 30-х годов — едва ли не бранное; в знаменитом «Чапаеве», например, так зовут офицеров-капеллецев, откровенных врагов. Любые признаки «утонченности» грубо окарικатурируются, после чего это создание собственных рук вызывает неудержимый смех; таков композитор Керосинов в фильме «Антон Иванович сердится» (1941). Положительные ученые и деятели культуры на экране приближаются к «народу» не только морально-политически, но даже физиономически; но и они обнаруживают те или иные признаки «неполноценности». В известном истерне «Тринадцать» (1937) пожилой геолог, сильно похожий на Максима Горького, пристав к отряду пограничников, не умеет, бедняга, становиться в строй, и красноармейцы ласково, как ребенку, объясняют ему: научим выполнять команды «направо равняйся», «смирно» и т. д. Даже крупный ученый, сумевший стать на правильный путь в «Депутате Балтики» (1937), выглядит забавным чудачком. И в более позднем фильме «Весна» (1947) все ученые мужи и жены, при всем подчеркнутом «уважении» к ним, хотя бы чуть-чуть комичны.

Недоверие, только спрятанное, вызывало и само знание, научное знание в частности. Оно оставалось (я говорю о недоверии) и тогда, когда «заказчик»

несколько пообтесался, а с другой стороны, культура отвоевала некоторые свои права, и в результате откровенное похотывание над учеными и композиторами вроде бы прекратилось.

Настораживали и определенные несоответствия между наукой и идеологией. Пока и поскольку существовала вера в идеологию, наука вызывала «наверху» основательные подозрения, ибо утверждала много такого, что с идеологией не согласовывалось или даже ей противоречило. Это относится не только к гуманитарному циклу, но и к естественным и точным дисциплинам, демонстрировавшим «неизбежность странного мира», в котором вещество почему-то переходит в энергию, а в поляризованном вакууме рождаются какие-то диковинные частицы, и прочая в таком же роде. Но вот парадокс: по мере того как вера в идеологию — и «наверху» и «внизу» — истаивала, соответственно истаивала и вера в науку; ибо последняя оказалась крепче привязанной к идеологии, чем это могли подумать сами ученые.

Когда известный академик А. Крылов, по слухам, говорил своим сотрудникам: «Плюнь, батюшка, поцелуй у злодея (Сталина. — Ю. К.) ручку», — он, наверное, радел не столько об их (и своем) личном благополучии, сколько об интересах самой науки. В те поры научный мир полагал аксиоматичной высокую степень своей независимости от общества, равно как и пользу, какую приносят обществу научные исследования. И ход мыслей академика (если он говорил то, что ему приписывается) был, наверное, таков: злодеи приходят и уходят, а народ остается, и остается наука, которая должна продолжать работать для народа. Время внесло существенные поправки в эти представления: автономия научного мира весьма относительна, ибо так или иначе он проникается умонастроениями, характерными для общества в целом, что не может не сказаться на результатах его профессиональной деятельности; в частности, энтузиазм, коим движутся научные изыскания (привычный для читателя в жизнеописаниях великих ученых прошлого), — не столько внутринаучного, сколько общекультурного происхождения. В дореволюционные и раннесоветские времена российскую науку одушевлял общий для европейской науки пафос, возрожденческо-просвещенческий по своим истокам. Коммунистическая идея подчинила его себе, впитала его — и, таким образом, соединила его судьбу со своей собственной судьбою.

И когда сбылось удивительное пророчество В. Розанова о том, что «„новое здание“, с чертами ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении», вся традиция «уважения» к науке, к знаниям вообще, по сути, рухнула; лишь кое-какие обломки от нее остались. Зато правящий слой, вероятно, вздохнул с облегчением: отныне нет необходимости делать вид, что испытываешь чувство, которого на самом деле не испытываешь.

Инвективы в адрес власть имущих, звучащие сегодня с разных сторон, в значительной мере, конечно, справедливы: «наверху» не хотят видеть, сколь важно для России сохранить большую науку. Хотя психологически можно понять экс-номенклатуру, ее классовая память (существует и такая) подсказывает ей, что отвлеченные знания лучше держать на некотором расстоянии. В самом деле, стоит припомнить, как все начиналось: вытолкнутый революцией из деревни крестьянский сын пришел в город «покупать разум». И досталось ему, натурально, «единственно верное учение»; ибо ничего другого «в продаже», собственно, не было. Теперь выяснилось, что купил не то, что товар был — «из той тюки, где нет ни хлеба, ни муки». Ну а промашка вынуждает к избыточной осмотрительности; обжегшись на молоке, как известно, дуют и на воду.

А тут еще новый идол появился — рынок. Экономика, основанная на рыночных принципах, ценит специфические знания, порою самые незатейливые, дающие сообразительному пройдохе определенные преимущества перед теми, чье академическое образование не имеет «выходов» в хозяйственную практику; каковое обстоятельство, естественно, оскорбляет «недоходные лбы», если воспользоваться выражением Набокова. Что поделаешь, свободный рынок в значительной мере относится к органической части общественной жизни (об

этом писал, в частности, Ф. фон Хайек), и тут всякие полусознательные жучки могут оказаться полезнее иных «мозговиков» с их отвлеченно-планиметрическим мышлением. Правда, современная экономика требует, как утверждают, специальных знаний, даваемых высшей школой (ее даже называют «экономикой, основанной на знаниях»), но, во-первых, это именно узкоспециальные знания, а во-вторых, движущей силой экономической жизни все равно остается *ingenium vulgare*, «обыкновенная смекалка».

Есть, однако, еще один аспект в том глубоком кризисе, какой переживает отечественная наука, уже не собственно российский, а мировой. На него четко указал Гавриил Хромов в оставшейся, кажется, малозамеченной книге «Наука, которую мы теряем» (М., 1995). Непрерывный экспоненциальный рост науки не мог продолжаться длительное время; рано или поздно он должен был оборваться, притом неизбежно болезненным образом. В России это уже произошло, в других странах произойдет несколько позднее. К тому же качество научных исследований — и у нас и «у них» — постоянно снижается; зато процветает (по крайней мере у нас) карьеризм и групповщина. И если наши ученые все еще высоко котируются в мире, то это потому лишь, пишет Хромов, что прежний уровень отечественной науки и высшей школы был «заоблачно высок».

Иго коммунистической идеологии создавало самую чудовищную из диспропорций в составе знания. С освобождением от него (впрочем, еще не завершившимся) остаются другие диспропорции, достаточно серьезные и порою кричащие, притом уже не только в российском, но и в мировом масштабе.

Знание — сила?

Самой серьезной из диспропорций остается та, какую вносит наука. Ненормальная вещь с нею происходит: с одной стороны, она овладевает все новыми «территориями», а с другой — сдает давно занятые ею позиции. Это похоже на то, как если бы чьи-то полевые части продолжали наступление в то время, как в тылу у них, в их собственных базах и крепостях, высаживался вражеский десант. В данном случае «тыл» — гносеология и логика науки.

По крайней мере с XVII столетия крепло и распространялось убеждение, что последние истины добываются на поле науки и что извлечение их является делом более или менее замкнутого научного сообщества, которое «спускает» их со своих высот остальному человечеству. Вот это убеждение оказалось сильно расшатано за последние десятилетия.

Его расшатывали с разных позиций. Так, известная теория научных революций Т. Куна поставила под вопрос представление о кумулятивном возрастании науки, столь характерное для предыдущих столетий. С точки зрения Куна, линия развития науки периодически ломается — возникает новая картина мира, каждый раз во многом не схожая с прежней. Наверное, по крайней мере доля истины в таком утверждении есть.

Кун, однако, полагал, что создание любой научной картины мира является делом исключительно ученых и всякие «посторонние» влияния на них отметал. Между тем новейшая социология знания убеждает в противоположном: работники науки — «тоже люди» и как таковые разделяют, в той или иной степени, убеждения, чувства, свойственные обществу в целом, что не может не сказываться на их профессиональной деятельности. Культура, таким образом, оказывает определенное давление на научные исследования. Значительную роль играют при этом досознательные предпосылки. К примеру, «венский кружок» (логические позитивисты) показал «организующую» силу языка: в научных исследованиях не столько важны факты сами по себе, сколько связи между ними, которые позволяют установить язык, или система знаков.

Научные исследования могут быть замутнены идеологией; такое случается не только в тоталитарных, но и в самых демократических странах. Они (особенно, конечно, гуманитарные исследования) могут отражать взгляды опреде-

ленных классов и социальных групп. Некоторые социологи на Западе проявляют даже чрезмерную придирчивость в этом отношении, пытаются социально локализовать любое научное высказывание; стоит кому-то открыть рот, как немедленно раздается грозный вопрос: «Откуда ты говоришь?»

Правильные, в принципе, суждения о влиянии общества и культуры на научные исследования перерастают в отрицание их объективной значимости. Науку с головой погружают в культуру, а в условиях наступающего мультикультурализма это ведет к релятивизации любых научных истин. Тот же эффект дает и критика науки с точки зрения якобы демократии, а на самом деле — прилепившегося к демократии культурного эгалитаризма. С такой точки зрения любые мнения, кем бы они ни высказывались и о чем бы ни высказывались, равноценны, и специалисты не должны иметь в этом отношении, как и в любом ином, никаких преимуществ перед неспециалистами (на самом деле должны быть по возможности точнее очерчены границы компетенции специалистов).

Особенно потрудился в указанном направлении П. Фейерабенд. Для него работник науки — та же пифия: сидя на своем треножнике, он улавливает некие испарения, о чем спешит поведать странным языком, принимаемым всеми за язык истины в последней инстанции. Фейерабенд поставил целью не только низвести науку с ее высоты, но и посадить ее в некую яму, откуда она могла бы обслуживать общество, не будучи в силах «командовать» им. С его позиции, ученые должны стать «добровольными рабами», знающими свое место. «Мы будем хорошо обращаться с этими рабами, — пишет П. Фейерабенд, — мы будем даже слушать их, когда они рассказывают нам интересные истории, но мы не позволим им под видом «прогрессивных» теорий обучения навязывать нашим детям их идеологию. Мы не позволим им фантазии науки выдавать за единственно возможные фактуальные суждения»¹³.

Но пока звучат подобные угрозы, «истории» науки продолжают завоевывать общество, проникая во все его сферы, в любые «уголки», включая самые интимные, те, которые до недавних пор принято было подчинять религиозным соображениям, и те, в которых естественным образом руководствовались инстинктом, наитием или здравым смыслом. Особую агрессивность проявляет не столько даже наука, сколько некое ее продолжение, «наука вне науки», как сказал об этом еще Достоевский; она твердо усвоила, что истина лежит на поверхности вещей и, следовательно, «подобрать» ее не составляет большого труда. Выйдя из недр науки, наукообразное — формализованное и квантифицированное — мышление стало в значительной мере «стилем» мышления современного человечества, поспевающего «путем змия».

Св. Василий Великий исповедовал, что мир есть «художественное произведение», созданное «художественным Умом»¹⁴.

В этом мире, который изначально был «хорошим весьма», современный человек (если допустимо такое обобщение), претендующий на сотворчество с Богом, — просто плохой художник. Ему, кажется, ни в чем не удастся соразмерность — в части знаний во всяком случае; одни из них гипертрофируются, другие, наоборот, атрофируются. Он хочет «все знать» и впадает в отчаяние оттого, что «ничего нельзя понять», хотя второе естественно вытекает из первого. Ибо «все знать» действительно невозможно: «...знание человеческое навсегда обречено оставаться только несовершенною выборкою из бесконечной сложности мира...» — пишет Н. Лосский¹⁵. Ощущение высшей Тайны есть самая первая, самая элементарная ступень на трудном пути познания и в той

¹³ Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986, стр. 456.

¹⁴ Ильин И. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993, стр. 267.

¹⁵ Лосский Н. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995, стр. 159.

мере, в какой современный человек подавляет его в себе, он делает шаг назад в сравнении со своими «темными» предками.

Только интуиция открывает путь в глубины бытия — в мир сущностей, который может быть выражен символически, и никак иначе. Такой подход, назовем его онтологически-символическим, во многом близок наивно-реалистическому мироощущению. Самый «темный» человек ощущает в себе движение света, хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть влекущего его в направлении того, что является истиной и что не торопится броситься в глаза всем и каждому (истина, говорил Паскаль, остается неузнанной среди расхожих мнений, ничем от них по виду не отличаясь). Душа человеческая есть «потенция знания» (С. Франк). Притом знания именно сущностного, цельного, обращенного к самому важному в жизни, а вовсе не к частностям ее.

Наука тоже изначально стремилась проникнуть в глубину вещей, но, исключив из своего рассмотрения сущностное, она обречена оставаться на поверхности их; хуже того, поверхностное она обычно выдает за единственно необходимое. Даже современный человек с его «нестройным умом» (Пушкин о Вольтере) не может не чувствовать здесь подмену. В этом одна из причин ширящегося разочарования в науке, где подспудного, а где открытого, так или иначе распахивающего двери для мистики, но — оккультной, витальной, оргиастической. В массовом сознании сейчас царит мешанина, где с научными и околонучными (и зачастую суеверно-научными) представлениями сочетаются или, во всяком случае, соседствуют обрывки восточных религий, поверья, близкие к анимистическим, шаманизм, черная магия, вера в НЛО и прочая, и прочая¹⁶.

Изгнанная через красное крыльцо, мистика, таким образом, возвращается через черный ход уже в ином, гораздо более архаичном, качестве.

И если со стороны онтологического знания науку необходимо «окоротить», то с другой стороны, наоборот, ее надо оградить от болотных испарений, проникающих в нее со всех сторон и разъедающих психологические основы, на которых она держится. Да, наука не содержит последних истин, но она собирает частичные истины, которые сами по себе важны. Она изучает только поверхности мира, но это поверхности мира, который объективно существует, пронизан единством смыслов и волею Творца устремлен к высшей гармонии¹⁷. Именно таким, а не каким-либо иным образом воспринятый, он способен вызвать то восторженное «изумление», по слову Аристотеля, которое сообщило науке ее пафос и без которого она уже сегодня сильно хромает (специалисты считают, что пока она движется вперед главным образом благодаря эксплуатации фундаментальных открытий 20 — 30-х годов) и в дальнейшем будет хромать еще больше.

Разумеется, ученый ходит по земле и, подобно Фалесу, может упасть в яму, рассматривая звездное небо. И вообще многое из того, на чем настаивает социология знания, имеет место быть. Коллективные переживания предшествуют знаниям (любим, не только научным) и в определенной мере обуславливают их. Социальный опыт, реальная культура, персональная жизненная ситуация — все это влияет на то, как ставятся вопросы обществом в целом и каждым его членом в отдельности, а от постановки вопросов зависят и ответы.

¹⁶ О том, что «наука не только рассеивает суеверия, но и способна сама их порождать», писал Ю. Шрейдер в статье «Наука — источник знаний и суеверий» («Новый мир», 1969, № 10), одной из первых в СССР содержавшей критический взгляд на развитие науки.

¹⁷ Наука, особенно в истекающем столетии, обнаружила в природе множество явлений, относящихся как раз к дисгармоничной, разрушительной ее стороне. Но это лишь подтверждает представление о двойственности бытия. Научные исследования, пишет в данной связи епископ Василий Родзянко, открывают в космосе «две стороны мира, в котором мы живем: хаотическую (паразитическую область князя мира сего — разрушительную) и гармоническую (творческую область Промысла Творца, не оставившего Своего творения, — в развитии и созидании мира и жизни, в космической и биологической эволюции всего)» (Епископ Василий (Родзянко). Теория распада вселенной и вера отцов. М., 1996, стр. 28). «Треснувшая вселенная», «непутевый космос» — это еще не вся вселенная, не весь космос.

Но ответы исходят от величины, которая всегда равна самой себе: звездное небо остается звездным небом, чтобы ни приключилось с наблюдателем, какие бы земные ловушки его ни подстерегали; и оно терпеливо ждет, когда адресованные ему вопросы будут именно те, которые оно хотело бы услышать.

Ждет не напрасно: рано или поздно Дух находит взыскующую его среду, и тогда он увлекает за собою все содержания знания, собирая их в некий единый куст. «Тучка золотая», нашедшая временный приют на чьей-то смертной (коллективной) груди, оставляет в обществе след, который дает о себе знать на всех его путях и во всех его начинаниях.

Сказанное относится и к национальной идеологии. У нее есть когнитивное измерение: она не может не опираться на знания, а «качество» знаний, в свою очередь, определяется тем, насколько они одухотворены. В то же время у нее должна быть живая, динамическая связь с реальным положением вещей. Опыт истекающего столетия в этом аспекте до крайности противоречив. Стоит сравнить хотя бы годы, последовавшие за 1917-м, с нынешним временем. Пореволюционная действительность выстраивалась а *capillo usque ad unguis*, «с головы до ног», иначе говоря, сверху — от заплутавшей головы — вниз. Нынешняя действительность, наоборот, выстраивается *ab unguibus*. Уже видны массивные, тяжелые «ноги», весомо стоящие на земле: материальные интересы, собственные аппетиты, в которых с удвоенной силой сказался естественный инстинкт, загнанный вглубь на протяжении многих десятилетий. Но тяжесть их тоже относительна. Что Господь кладет камешком — подымает перышком. Стоять на коленях перед фактами жизни так же опрометчиво, как и пренебрегать ими. «Волк инстинкта», как сказал бы И. Ильин, не может не встретиться с «ангелом духа». А что выйдет из этой встречи, в большой мере зависит от состояния знаний, от того, как и с какого «боку» они будут активизированы.

Как ответим на вопрос, поставленный в заголовке? Не слишком считаясь с нынешней мировой (но особенно российской) оторопью, скажем так: знание — действительно великая сила, хотя и не в привычном для нас магическом значении этого выражения. В общественной жизни оно позволяет находить смысл вещей и явлений и определяет меру возможного и необходимого в истории. И «собирает» волю для реальных свершений в рамках истории, всегда связанных с достижением некоторого «качества» человечности. Что в отношении природы? Магический подход к природе, ставящий целью извлечение из нее всего того, что может быть полезно для человека, сделал его рабом своего же магизма; а это уже противоречит его собственной природе. Ибо человеку свойственно думать не только о пользах, но и о смыслах. Между тем как раз форсированный утилитаризм, характерный для познавательной деятельности на протяжении последних столетий и особенно последних десятилетий, вызвал к жизни много такого, что остается не- или по крайней мере недоосмысленным. Объективно это еще усиливает значение религиозно-философской мысли в составе знания: только она может найти пути-дороги в той «очарованной местности» (Мефистофель у Гёте), в которую вступило человечество и в которую ему еще предстоит углубиться. XXI век обещает быть прямо-таки фантастическим веком: произойдет небывалое сближение жизни с научной фантастикой. Чего стоит в этом смысле одно только клонирование человека, которое кем-то когда-то наверняка будет реализовано. Внутринаучные соображения в подобных случаях никакой силы не имеют. Более того, весь культурный опыт человечества оказывается ничемным перед задачами такой степени сложности. Лишь ответственно сущностное мышление, способное к глубинному, объемному видению мира и человека, сможет выдержать экзамен на этой неслыханно трудной и опасной стезе.

СЕРГЕЙ ЖИТОМИРСКИЙ



ПЛАТОН И АТЛАНТИДА

О литературных основаниях атлантологии

Впервые Платон упомянул об Атлантиде в диалоге «Тимей», пообещав подробно рассказать о ней в отдельном сочинении. Он выполнил свое обещание, но не полностью. Посвященный Атлантиде диалог «Критий», который считается одним из последних сочинений философа, остался незаконченным. Возможно даже, что именно кончина не позволила Платону его завершить.

Полтора десятка страниц «Крития», где описывается прекрасная утонувшая страна, породили необъятную литературу, в том числе фантастическую. Я сам приложил руку к ее пополнению, написав вместе с Виктором Жуковым роман «Будь проклята Атлантида!»¹, где затопление страны объясняется таянием ледников, а война праафинян с атлантами проектируется на миф о борьбе богов и титанов. Но Атлантидой занимались и занимаются не только фантасты. К примеру, сравнительно недавняя книга архитекторов Т. Н. Дроздовой и Э. Т. Юркиной «В поисках образа Атлантиды»² написана в стиле художественного эссе и сопровождается оригинальными рисунками авторов, а монография Н. Ф. Жирова «Атлантида»³ имеет подзаголовок «Основные проблемы атлантологии» и библиографию в 730 названий!

Последние достижения геологии как будто складываются в пользу Атлантиды. Морской геолог и поэт Александр Городницкий, сам изучавший горы Атлантики в обитаемом подводном аппарате, ратует за организацию экспедиции для обнаружения затонувшей страны. Поисками возможных культурных влияний погибшей цивилизации занимались многие, в том числе В. Я. Брюсов, выступивший в 1917 году со статьей «Учители учителей». Атлантологи, как правило, рассматривают «Критий» в качестве исторического источника и исходной точки своих построений, хотя изложенная Платоном легенда не подтверждена ни одним другим письменным памятником. Брюсов, например, дает ему такую оценку: «Если допустить, что описание Платона — вымысел, надо будет признать за Платоном сверхчеловеческий гений, который сумел предугадать развитие науки на тысячелетия вперед... Надо ли говорить, что при всем нашем уважении к гениальности великого греческого философа такая прозорливость нам кажется невозможной, и мы считаем более простым и более правдоподобным другое объяснение: в распоряжении Платона были материалы (египетские), шедшие от глубокой древности» (цитируется по книге Н. Ф. Жирова, стр. 381).

Я, со своей стороны, не нашел в диалогах Платона фактов «научного предвидения». Описанные в «Критии» чудеса не более чем гипербола — уве-

¹ Жуков В., Житомирский С. Будь проклята Атлантида! М., «Молодая гвардия», 1992.

² Дроздова Т. Н., Юркина Э. Т. В поисках образа Атлантиды. М., «Стройиздат», 1992.

³ Жиров Н. Ф. Атлантида. М., «Мысль», 1964.

личение до громадных размеров современных ему достижений цивилизации. Внимательный анализ источника показывает, что диалог Платона — это не передача древнего предания, а первое в истории произведение фантастической литературы.

Диалог

Сначала поговорим о том, по какому случаю Платон обратился к легенде об Атлантиде. Эта задача не отличается сложностью, поскольку «Критий» не стоит особняком, а завершает триаду диалогов, связанных между собой общностью участников и близостью времени, к которому они отнесены.

Первый и самый знаменитый из них, «Государство», является, вероятно, и первым в истории научно-политологическим исследованием. В нем Сократ анализирует пороки существующих государственных систем и конструирует некое идеальное государство (как известно, Платон в диалогах никогда не выступает от собственного имени, а вкладывает свои мысли в уста беседующих).

Следующий диалог, «Тимей», посвящен устройству мира, который по законам гармонии творит демиург. Как явствует из реплик участников, этот диалог происходит на другой день после беседы о государстве. В «Тимее» кроме Сократа участвуют философ пифагорейского толка Тимей, полководец Гермokrat, который в 415 году до н. э. отстоял осажденные афинянами в ходе Пелопоннесской войны Сиракузы, и афинский философ и политик, ученик Сократа Критий. Этот человек в 404 году до н. э., после победы спартанцев, стал главой печально известной «тирании тридцати», а через год погиб во время гражданской войны, вернувшей Афины к демократическим порядкам (время диалога отнесено Платоном примерно к 411 году до н. э.).

В начале «Тимея» помещено что-то вроде предисловия к «Критию». Там Сократ напоминает собеседникам вчерашний разговор об идеальном государстве и замечает: «Мне было бы приятно послушать описание того, как это государство ведет себя в борьбе с другими государствами, как оно достойным его образом вступает в войну, как в ходе войны его граждане совершают подвиги сообразно своему обучению и воспитанию, будь то на поле брани или в переговорах с каждым из других государств» (19 e)⁴.

Откликаясь на это пожелание, Критий сообщает, что подобное государство некогда уже существовало у древних афинян, и предлагает изложить предание о происшедшей девять тысяч лет назад их войне с Атлантидой. Вкратце изложив суть предания, Критий обещает Сократу: «Граждан и государство, что были тобою вчера нам представлены как в некоем мифе (то есть предположительно), мы перенесем в действительность и будем исходить из того, что твое государство и есть вот эта наша родина, а граждане, о которых ты размышлял, суть вправду жившие наши предки...» (26 d). Однако выступление Крития решают отложить до другого раза, и слово предоставляется Тимею, рассуждающему о мироустройстве.

Наконец, в последнем диалоге Критий выполняет свое обещание и начинает перед теми же собеседниками рассказ об Атлантиде, обрывающийся на самом интересном месте. Итак, эта легенда всплывает в связи с образом идеального государства, причем для ее подтверждения.

Следует заметить, что философ не был чужд мифотворчеству, в «Государстве» он обращается к нему дважды. В первом случае Платон, чувствуя, что далеко не все согласятся с предлагаемым здесь разделением общества на сословия, рекомендует устроителям идеального государства внушить жителям миф о том, что людей создала Гея-земля из разных металлов. Те, в природе которых преобладают железо и медь, призваны стать «кормильцами» (земледельцами и ремесленниками), сделанные из серебра — «стражами» (воинами и

⁴ Диалоги «Тимей» и «Критий» цитируются по кн: Платон. Сочинения в трех томах. Том 3, часть 1. М., «Мысль», 1971. Перевод С. С. Аверинцева.

полицейскими), а вылепленные из золота, естественно, — «товарищами по власти» (правлящим классом философов).

Другой миф введен в связи с идеей посмертного воздаяния. Он оформлен в виде истории Эра, воина, который пал в бою, пролежал на поле несколько дней и очнулся на погребальном костре. Воспоминания о том, что Эр видел в загробном мире, содержат рассказ о посмертных мучениях порочных и блаженстве добродетельных душ между их реинкарнациями, а также интересные сведения об устройстве Вселенной. В других источниках этот миф, как и легенда об Атлантиде, не встречается. Таким образом, сочинение Платоном еще одного мифа выглядит вполне вероятным.

Платон в «Тимее» и «Критии» не раз подчеркивает мифологический характер легенды. Ее участниками являются люди — прямые потомки богов, события отнесены к эпохе, когда боги делили землю на сферы влияния и устраивали в своих областях человеческие государства. После потопа, уничтожившего Атлантиду, упоминаются еще два, так что все претензии читателей по поводу правдивости легенды заранее предупреждены. Интересно, что между «Тимеем» и «Критием» есть некоторые расхождения. В «Тимее» Критий говорит, что слышал рассказ об Атлантиде десятилетним мальчиком от девяностолетнего деда и при передаче может рассчитывать только на крепость детской памяти. Однако во втором диалоге выясняется, что у него хранятся записи самого Солона, якобы узнавшего о ней от египетских жрецов. Так что, переходя к подробному рассказу, Платон решил усилить впечатление его правдоподобности.

Атлантида

Описывая прекрасную утонувшую страну, Платон рассчитывал поразить воображение современников, и это ему удалось. Древняя цивилизация, не имеющая себе равных по развитию и богатству, описана настолько достоверно, что невольно завораживает читателя, и на этом фоне меркнут высказывания о политике и военном конфликте, заявленном в качестве основной темы сочинения.

Здесь Платон выступает как истинный фантаст, упоминая гигантские сооружения и неведомые технологии, демонстрируя неслыханную роскошь. В описании Атлантиды заметно влияние пифагорейцев, к которым философ был близок; совершенные фигуры — круг, квадрат, прямоугольник, — как и случайные числовые отношения, демонстрируют привязанность Платона к геометрической гармонии. Символом Атлантиды является симметрия и упорядоченность. Платон пишет: «...на равном расстоянии от берегов и в середине всего острова была равнина, если верить преданию, красивее всех прочих равнин и весьма плодородная, а... примерно в пятидесяти стадиях (10 километрах. — С. Ж.) от ее краев стояла гора со всех сторон невысокая» (113 с). Там Посейдон, получивший остров во владение, сошелся со смертной женщиной Клейто. Она родила «пять раз по чете близнецов мужского пола», которые и дали начало царским династиям десяти областей Атлантиды.

Холм, где жила Клейто, заботливый бог укрепил «по окружности, отделяя его от острова и огораживая попеременно водными и земляными кольцами... проведенными на равном расстоянии от центра, словно бы циркулем» (113 д). Потомки Посейдона не жалея сил продолжили его начинание: «Пользуясь... дарами земли, цари устроили святилища, дворцы, гавани и верфи и привели в порядок всю страну... Дворец они с самого начала выстроили там, где стояло обиталище бога и их предков, и затем... все более его украшали, пока в конце концов не создали поразительное по величине и красоте сооружение. От моря они провели канал в три плетра (100 метров. — С. Ж.) шириной... а в длину на пятьдесят стадиев вплоть до крайнего из водных колец: так они создали доступ с моря в это кольцо, словно в гавань» (115 с, d). Кольцевых каналов было три: внутренний имел ширину один стадий (200 метров), следующий —

две, а наружный — три (600 метров); он и служил главной гаванью. Город был окружен грандиозной круглой стеной, отстоявшей от наружного канала на 10 километров. «Она смыкалась, — пишет Платон, — около канала, входившего в море. Пространство возле нее было густо застроено, а проток и самая большая гавань были переполнены кораблями, на которых отовсюду прибывали купцы, и притом в таком множестве, что днем и ночью слышались говор, шум и стук» (117 d, e).

Богатства столицы были непомерны. Например, каменные стены вокруг каналов атланты облицевали «медью, нанося металл в расплавленном виде», литьем из олова и таинственным «орихалком», «испускавшим огнистое блистание». В огромном храме Посейдона стояло золотое изваяние бога на колеснице, правящего шестеркой крылатых коней, а вокруг него также золотые скульптуры ста Нереид на дельфинах. В этой пышности убранства и архитектуры храма, по словам Платона, даже «было нечто варварское» (116 d).

По-видимому, столица была единственным городом острова Атлантиды, который Платон рисует в виде горной страны, переходящей в широкую плодородную равнину. Первоначально она описывается довольно идиллически: «Вся равнина, окружавшая город, и сама окруженная горами... являла собой ровную гладь; в длину она имела три тысячи стадиев (600 километров. — С. Ж.), а в направлении от моря к середине — две тысячи (400 километров. — С. Ж.)... Там было большое количество многолюдных селений, были реки, озера и луга, доставлявшие пропитание всем родам ручных и диких животных, а равно и леса, огромные и разнообразные...» (118 a). Но вскоре мы узнаем о грандиозных работах по «преобразованию природы», которые совершенно изменили ее облик: «Такова была упомянутая равнина от природы, — продолжает Платон, — а над устройением ее потрудились много царей на протяжении многих поколений. Она являла собой продолговатый четырехугольник, по большей части прямолинейный, а там, где его форма нарушалась, ее выправили, окопав со всех сторон каналом. Если сказать, каковы были глубина, ширина и длина этого канала, никто не поверит, что возможно было такое творение рук человеческих... но мы обязаны передать то, что слышали: он был прорыт в глубину на плетр, ширина на всем протяжении имела стадий, длина же по периметру вокруг всей равнины была десять тысяч стадиев (2000 километров. — С. Ж.)» (118 c, d). Но этого Платону показалось недостаточно, и всю окруженную главным каналом землю он разделил через одинаковые промежутки малыми каналами, которые использовались для орошения и перевозки грузов.

Так выглядел созданный Платоном мир. Но философ строил его не на пустом месте. Происхождение царских родов Атлантиды имеет параллель в аттической мифологии. Мать первых царей острова Клейто была дочерью некоего Евенора, «произведенного на свет землей». Первым афинским царем считался змееногий Кекроп, также рожденный землею. Прообразом кольцевого вала, которым Посейдон защитил детей Клейто, могла послужить кальдера потухшего вулкана на острове Тира (Санторин), того самого, катастрофическое извержение которого произошло незадолго до Троянской войны и осталось в памяти греков. Кстати, Посейдон считался «колебателем земли» и отвечал за землетрясения. Погружение Атлантиды само по себе также не казалось невозможным, тем более что при жизни Платона во время сильного землетрясения в Пелопоннесе под воду ушли два поселения. Одним из важных доводов в пользу реальной основы мифа считается упоминание в «Тимее» «противолежащего материка» за Атлантическим океаном (25 a), сделанное задолго до открытия Америки. Однако здесь можно вспомнить о том, что Платон признавал шарообразность Земли и вполне мог предположить существование суши за океаном «в силу симметрии». Позже, около 165 года до н. э., подобную гипотезу предложил Кратес Малосский, который по тем же соображениям поместил на земном шаре четыре симметричных материка.

Цель

Но вернемся к цели, во имя которой Платон задумал миф об Атлантиде. В «Тимее» Критий, продолжая рассказывать собеседникам легенду о ней, приводит слова жреца, сказанные великому афинскому политику Солону, одному из предков рассказчика.

Жрец восхваляет египетские порядки, а именно систему сословий, и сообщает афинскому мудрецу, что Афина, поселив своих подопечных в Аттике, дала им такие же законы еще раньше, чем египтянам: «И вот, — сказал он, — вы стали обитать там, обладая прекрасными законами, которые были тогда еще более совершенны, и превосходя всех людей во всех видах добродетели, как это и естественно для отпрысков и питомцев богов» (24 d).

Естественно, народ, обладающий «прекрасными законами» и «всеми видами добродетели», становится непобедимым и способным на великие подвиги. Самым славным из них, по словам жреца, явилась победа праафинян над атлантами, которые пытались поработить всю Европу и Азию. Таким образом, праафинское идеальное государство стало общим спасителем: «Тех, кто еще не был порабощен, — говорил жрец, — оно спасло от угрозы рабства; всех же остальных, сколько ни обитало нас по эту сторону Геракловых столпов, оно великодушно сделало свободными» (25 с).

Подробнее о политическом строе древних афинян и атлантов Критий рассказывает в последнем диалоге. Там он говорит: «О многочисленных варварских племенах, а равно и о тех греческих народах, которые тогда существовали, будет обстоятельно сказано по ходу изложения; но вот об афинянах и об их противниках в этой войне необходимо рассказать в самом начале, описав силы и государственное устройство каждой стороны» (109 а). Дальше Критий описывает легендарную древнюю Аттику в виде благодатного плодородного края, от которого теперь, в результате нескольких потоков, смывших плодородную землю, остался только горный скелет.

Край этот, по его словам, в то время мог прокормить многочисленное обособленное от земледельцев и ремесленников войско, которое жило единой общиной, не зная частной собственности. Критий сообщает: «...воины имели общие жилища, помещения для общих зимних трапез и вообще все то по части домашнего хозяйства и священных предметов, что считается приличным иметь воинам... кроме, однако, золота и серебра: ни того, ни другого они не употребляли ни под каким видом, но, блюдя середину между пышностью и убожеством, скромно обставляли свои жилища... Так они обитали здесь, — стражи для своих сограждан и вожди всех прочих эллинов по доброй воле последних; более всего они следили за тем, чтобы на вечные времена сохранить одно и то же число мужчин и женщин, способных когда угодно взяться за оружие, а именно около двадцати тысяч» (112 с, d).

Дальше, вслед за уже приведенным описанием Атлантиды, Критий рассказывает и о ее государственном устройстве. Он говорит, что этот остров был разделен на десять областей, в каждой из которых правил свой царь, причем: «Каждый из десяти царей в своей области и в своем государстве имел власть над людьми и над большею частью законов, так что мог карать и казнить любого, кого пожелает» (119 с). То есть во внутренних делах они были совершенно автономны. Зато их отношения между собой строго регламентировались и «ни один из них не должен был подымать оружия против другого, но все обязаны были прийти на помощь, если бы кто-нибудь вознамерился свергнуть в одном из государств царский род...» (120 с).

Интересна и такая деталь: в древности цари Атлантиды «ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ» (120 е). Согласно тексту диалога, именно порча нравов и обуявшая царей «безудержная жадность» толкнули их на путь завоеваний. В отличие от государства добродетельных и скромных афинских «стражей», возглавлявшего добровольное объединение эллинских племен, Атланти-

да представляла собой конфедерацию тиранических режимов, утопавших в богатстве и пороках.

Очевидно, диалог был призван описать противоборство граждан двух различных политических систем — праафинян, носителей принципов идеального государства, и могущественных царей Атлантиды. Платон хотел предложить своим читателям некий миф, прославляющий его любимое детище. Прочтя его, читатели должны были постичь все преимущества идеального общественного устройства без необходимости осиливать сложный и громоздкий (больше 350 страниц) диалог «Государство».

Содержание

В диалоге «Критий» имеется только вступление и экспозиция — рассказ о расстановке сил. Еще, пожалуй, как начало завязки в гомеровском стиле можно трактовать заключительные фразы диалога: «И вот Зевс, бог богов... помыслил о славном роде (атлантов. — С. Ж.), впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию. Поэтому он собрал всех богов... и обратился к собравшимся с такими словами...» (121 с).

Казалось бы, этого совершенно недостаточно, чтобы представить развитие повествования. Однако в текстах «Тимея» и «Крития» есть немало указаний и намеков, которые позволяют с какой-то долей вероятности это сделать. О предполагавшейся величине сочинения можно судить по другим диалогам Платона. Большинство их занимают порядка сорока — девяноста страниц, то есть в «Критии» могло быть около семидесяти страниц, и его существующее начало составляет около 20 процентов объема. Что же должно было содержаться в неосуществленных 80 процентах?

Кратко содержание диалога передают приведенные в «Тимее» слова египетского жреца: «На этом-то острове, именованном Атлантидой, возник великий и достойный удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть (заморского. — С. Ж.) материка, а сверх того по эту сторону пролива они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тиррении (Средней Италии. — С. Ж.). И вот вся эта сплоченная мощь была брошена на то, чтобы одним ударом ввергнуть в рабство и ваши и наши земли и все вообще страны по эту сторону пролива. Именно тогда, Солон, государство ваше явило всему миру блистательное доказательство своей доблести и силы; всех превосходя твердостью духа и опытностью в военном деле, оно сначала встало во главе эллинов, но из-за измены союзников оказалось предоставленным самому себе, в одиночестве встретилось с крайними опасностями и все же одолело завоевателей и воздвигло победный трофей» (25 а-с). Как мы видим, события развивались драматично и афинскому воинству пришлось сразиться с намного превосходящими силами противника. Тем славнее была победа, обеспеченная приверженностью героев к ценностям идеального государства.

Можно с уверенностью сказать, что описание войны не должно было отличаться конспективностью. Этому противоречит введение Платоном имен героев. Для атлантов названы имена всех десяти царей. При этом философ не стал утруждать себя выдумыванием чужеземных имен, а дал правителям Атлантиды эллинские значащие имена, например: Евэмон (пылкий), Амферея (круглый), Мнесей (мыслитель), Элассипп (всадник), Мнестор (жених), Диатреп (великолепный). Исключение составляет старший из царей, живущий в столице, которого зовут Атлант. Происхождение греческих имен атлантов Платон объясняет в специальной реплике Крития: «Расскажу нашему, — говорит он, — нужно предположить... пояснение, чтобы вам не пришлось удивляться, часто слыша эллинские имена в приложении к варварам» (112 е). Оказывается, Солон уже спрашивал об этом жреца-рассказчика, и тот ответил, что «египтяне, записывая имена родоначальников этого народа, переводили их на

свой язык» (113 а). Солон же перевел эти значения на греческий. Имена атлантских царей вполне могут отвечать характерам героев.

Имена афинских вождей Платон заимствовал из аттической мифологии. Критий говорит о них так: «...имена Кекропа, Ерехтея, Ерихтония, Ерисихтона и большую часть других, относимых преданием к предшественникам Тесея, а соответственно и имена женщин, по свидетельству Солона, называли ему жрецы, повествуя о тогдашней войне» (110 б). Платон объясняет, что греки сохранили в памяти имена героев, забыв об их делах. Таким образом, если Платон собирался следовать эпической традиции, то мог бы описать ряд битв, в которых сходились отряды отдельных полководцев.

Атлантида не зря описана так подробно. Славной могла считаться только победа над достойным противником, и Платон не жалея красок описывает военную мощь Атлантиды. Только одна ее столичная область могла выставить войско в 900 000 человек, в том числе 10 000 колесниц, 120 000 всадников и флот из 1200 кораблей с экипажем в 240 000 моряков. И это кроме «несчетного числа простых ратников». А мы знаем, что таких областей было десять. И все же двадцати тысячам афинских воинов и воительниц удалось победить!

Не исключено, что Платон мог украсить повествование рассказом о невиданных военных машинах. Философ трижды бывал в Сиракузах, где незадолго до этого царь Дионисий Старший в преддверии войны с Карфагеном финансировал создание новой военной техники — крупных кораблей и мощных метательных орудий. Возможно, Платон предвидел и применение боевых слонов, недаром он пишет, что «даже слонов на острове (Атлантида. — С. Ж.) водилось великое множество» (114 е).

Итак, читателей ждали описания боев, измен, подвигов, переговоров и, наконец, не очень оправданной трагической развязки, которая упоминается в «Тимее» и звучит так: «Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена разверзнувшейся землей; равным образом и Атлантида исчезла, погружившись в пучину» (25 с).

Вообще подобный финал обычен для ранних периодов развития жанра фантастики, когда у авторов было сильным стремление непременно создать иллюзию достоверности вымысла. В этом смысле финал типа «концы в воду», который у Платона реализован буквально, достаточно характерен. Однако в случае с диалогом Платона он вызывает вопросы. Как можно судить по последним фразам «Крития», война Атлантиды с Афинами была спровоцирована Зевсом ради наказания атлантов. По-видимому, победив их, афиняне выполнили желание бога. Казалось бы, посчитав эту кару недостаточной, Зевс мог дополнительно наслать на атлантов еще и потоп. Но во имя чего ему понадобилось губить афинское воинство, которое отличалось доблестью и другими добродетелями? Или, может быть (неужели Платон решил бы на такое?), граждане идеального государства, завладев богатствами Атлантиды, утратили принципиальность, предали порокам и были за это наказаны?

Возможно и другое — например, что в битве атлантов с праафинянами, как в Илиаде, у каждой из воюющих сторон были свои божественные болельщики (скорее всего Посейдон и Афина), и гибель афинян явилась предметом какого-то торга между ними. Тогда получается, что Зевс далеко не всемогущ или, возможно (это уже индийская традиция), он неосторожно дал некое обещание, которое не смог нарушить. Вопросы остаются открытыми, и мы никогда не узнаем, как Платон собирался разрешать это противоречие.

Трудно оценить и роль других участников диалога. Гермекрат, опираясь на свой опыт полководца, мог бы, например, дать собственную трактовку каких-либо военных решений героев. Но возможно, начавшийся монолог Крития продолжался бы не прерываясь до конца диалога. Именно так построен «Тимей». Едва там заканчивается речь об Атлантиде и собеседники предлагают высказаться Тимею, Платон начисто забывает о них, и философ говорит один на протяжении восьмидесяти страниц, пока не убеждается, что исчерпал тему.

Идея

Думаю, есть смысл напомнить о сути предложенного Платоном идеального общественного устройства, породившего подражания Кампанеллы и Томаса Мора. Основной принцип платоновского государства — профессионализм. Платон утверждает, что каждое дело лучше других выполнит тот человек, который к нему наиболее способен. По этому принципу государство делится на три упоминавшихся сословия: работников, воинов и философов. О рабочих Платон почти не упоминает, для воинов изобретает «коммунистический» образ жизни с общностью имущества, общественным воспитанием детей, строгой регламентацией жизни. По его мнению, это позволит им с наибольшим успехом выполнять свой долг. Управлять же обществом, естественно, должны не какие-нибудь прославленные победами вожди, а профессионалы умственного труда — философы.

Поскольку Платон сам был философом и даже пытался уговорить сиракузских правителей практически создать такое государство, посмотрим, как он справился с теорией управления обществом. Первое, что бросается в глаза в государстве Платона, это полное игнорирование человеческой психологии, превращение людей в «винтики» государственного механизма. И хотя, как он пишет, важнейшим свойством философа является честность, его государство не может обойтись без лжи. О специально вводимом мифе естественного разделения людей на сословия говорилось выше. Еще более изощренно тот же способ предлагается для улучшения людской природы. Для этого философы по своему усмотрению подбирают брачные пары. Но чтобы избежать возражений и обид со стороны вступающих в брак, пары подбираются по жребию, а жребии подтасовываются! То есть вводится двойной этический стандарт — требование правдивости в отношениях между правителями и допустимость обмана по отношению к подвластным (разумеется, для их же блага). Пренебрежение сутью человеческой личности видно и из предложения Платона ввести цензуру. Например, из Илиады предлагается изъять упоминания о страхе, горе, нерешительности, слабости, то есть все места, где описываются человеческие чувства героев.

Мы видим, что с современной точки зрения Платона трудно считать профессионалом в области добродетели, справедливости и понимания людских потребностей. Очевидно, выдвинутый им принцип «каждый должен заниматься своим делом» не подходит для управления обществом. Чтобы у власти не оказались люди, претендующие на знание «истины в последней инстанции» и готовые проводить ее в жизнь любой ценой, общество должно иметь возможность контролировать своих руководителей. И здесь, по-видимому, нет альтернативы двум важнейшим принципам: гласности и демократии.

Итак, изложение Платоном легенды об Атлантиде, вне зависимости от ее происхождения, подчинено литературным целям и не может играть роль полноценного исторического источника. Незаконченный диалог «Критий» был задуман и начат как первое в истории фантастическое произведение. В его основу положена конкретная цель — популяризация утопической идеи государства Платона. Его сюжет — столкновение крупного традиционного государства с меньшим «идеальным» и победа последнего — призван доказать жизнеспособность этой идеи. Его финал — гибель обоих государств — средство добиться иллюзии достоверности, впоследствии ставшее в фантастике обычным. Знаменательно, что все без исключения детали легенды не выходят за рамки объявленной в «Тимее» цели этого незавершенного повествования.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

П. П. ПЕРЦОВ



ВОСПОМИНАНИЯ О В. В. РОЗАНОВЕ

Не составлен еще мартиролог лиц русской культуры, «умерших от революции». Подчеркну — умерших. Не погибших в революцию, не погибших от революции, но именно — нравственно не переживших революцию. Эти лица были связаны с Россией такою же связью, как дети связаны с родителями. Пример такой трагедии мы знаем в судьбе Константина Сергеевича Аксакова, умершего после смерти «отесеньки», Сергея Тимофеевича, через год. Эту сыновнюю драму не могли никак и ничем предотвратить родные и близкие. Но такие случаи — редки. Часто родители как раз не могут пережить раннюю и преждевременную смерть детей. Сколько родительских трагедий от Афганистана и Чечни! После гибели сыновей («мальчишек») умирают молодые отцы — в сорок, сорок пять лет. Не могли пережить смерти детей.

Нравственное начало глубоко сидит в сердце, связано с духовным самочувствием человека. Здесь проходит невидимая граница между физикой и метафизикой человеческого существования. И вот — «сердце не выдерживает».

Современники не особенно баловали Розанова в его литературной судьбе, и если он «сделался Розановым», то не благодаря им, а скорее вопреки. Полное фиаско на философском поприще (судьба книги «О понимании»), глухое почти десятилетнее сотрудничество в консервативной прессе и нелепая полемика с Вл. Соловьевым. Нечаянно помогли Розанову «декаденты». Розанов стал «всероссийской персоной», но с сомнительной репутацией. «Новоременец». Потом — выступления против революции (с 1907 года), антиеврейские выступления в связи с «делом Бейлиса» (1911 — 1913 годы), «кислота в лицо» (общественная дискредитация) в Религиозно-философском обществе (на заседании 26 января 1914 года), кроме того, книги «Уединенное» и «Опавшие листья», вызвавшие монотонное осуждение почти по всему пространству тогдашней культуры — от декадентки Зинаиды Гиппиус до протоиерея Дроздова. Полное отчуждение интеллигенции после экзекуции 1914 года. Когда-то хлебосольные чаепития на «воскресеньях» сменились пустотой в доме с «боящейся Варварой», женой, и подростками критически настроенными детьми. Революция настигла стареющего Розанова в унынии. И бегство из голодного Петрограда было чем-то похоже на бегство Толстого из Ясной Поляны.

События 1917 года для многих людей из интеллигенции стали настолько неожиданными, что атеисты становились религиозными, демократы — монархистами, космополиты — патриотами. Это были не простые переходы от одних рубежей к другим. Изгнание, потеря родины (только сейчас ее увидели!), потеря культурной почвы — все это «естественно» произвело кризис и вызвало новые чувства и новые взгляды. И уже в первые месяцы лихолетья Розанов получил совершенно новый для себя отклик в душах читателей. Его «Опавшие листья» ищут на книжном рынке, где они идут по повышенной цене. Читатель увидел, что мрачные пророчества Розанова после 1907 года и вплоть до революции стали сбываться, что Розанов предугадал многие события, непосредственным свидетелем которых он стал.

Кончина Розанова 23 января (5 февраля нового стиля) 1919 года никого не оставила равнодушным. В печати, в переписке или же в дневниковых записях проходила но-

вость — смерть «ересиарха». Думается, что многие почувствовали пустоту, которая образовалась после ухода из жизни и литературы этого необъятного мира слов, мыслей, чувств. Правда, время было неподходящим для того, чтобы сполна оценить случившееся. Россия была растоптана, и в сердцах и умах ее насельников не оставалось места ни для чего другого, кроме катастрофы. Но вскоре после смерти Розанова в печати стали появляться «последние мысли Розанова», «воспоминания о Розанове»... В Петрограде был образован Розановский кружок (по сообщению «Вестника литературы», 1921, № 9, подписались Андрей Белый, А. Вольтер, Н. Лернер, Э. Голлербах, В. Ховин), целью которого была работа над творческим наследием писателя, собиранье материалов для его биографии и прежде всего собиранье писем. Но это «явление Розанова после смерти» было перекрыто «железным занавесом»: на страницах «Петроградской правды» 21 сентября 1922 года с резкой критикой «канонизации» Розанова в печати выступил партийный вождь Лев Троцкий. Это был тот клеп, который запер голос Розанова на два-три поколения в России.

Сейчас широко известны прощальные письма Розанова к друзьям, писателям. За помощью Розанова их писала под диктовку восемнадцатилетняя дочь Надя. Извещения о смерти отца дочери Надежда и Татьяна посылали многим писателям и друзьям Розанова. Такое извещение, в частности, получил 6 февраля 1919 года и автор публикуемых воспоминаний П. П. Перцов (см.: «Литературная учеба», 1990, № 1, стр. 88).

Мережковский пишет Надежде Васильевне 15 (28) февраля: «Мне очень больно, что я не успел написать В. В. Вы, вероятно, знаете, что между нами были глубокие и сложные отношения. Он знал, что я его люблю и признаю одним из величайших религиозных мыслителей, не только русских, но и всемирных. И вместе с тем между нами лежал тот меч, о котором сказано: „Не мир пришел Я принести, но меч“. Всякую свою огромную гениальную силу В. В. употребил на борьбу со Христом, Чей Лик казался ему „темным“, и Кого он считал „Сыном Денницы“, т. е. Злого Духа. Я хорошо знал и теперь знаю еще лучше, что это было страшное недоразумение. Я не сомневаюсь, что, подобно пророку Валааму, В. В. благословлял то, что хотел проклясть; и если он умер, как Вы пишете, „весь в радости“, то радость эта была Христова, и он, умирая, понял все до конца.

Обо всем этом я хотел ему сказать, но Вы чувствуете, как трудно это было сделать. Когда Ховин собирался к Вам ехать, я готовил большое письмо, чтобы отправить с ним, — и вот в последний день Ховин получил от Вас телеграмму, что В. В. уже скончался. Я надеюсь, что все, не высказанное в этом письме, мне удастся высказать впоследствии, когда наступит пора справедливой оценки великого русского писателя Розанова, а что эта пора наступит, — я больше не сомневаюсь» (ОР РГБ, ф. 249, к. 8, ед. хр. 22).

Молодой издатель Г. А. Леман писал Татьяне Васильевне 20 февраля (5 марта) 1919 года: «Я мало знал Василия Васильевича, но я умел почувствовать всю глубину его духа. Вся совершенно изумительную, потрясающую многогранность его души. Я никогда не забуду тех минут, когда он входил в мой кабинет и сразу все оживало, все приходило в движение, все начинало жить и дышать. Дар жить, любить жизнь и вызывать эту любовь к жизни у всего и всех — было одним из самых изумительных свойств Василия Васильевича. И по мере того, как уходит воспоминание о нем в прошлое, я все сильнее ощущаю громадность потери, понесенной Россией и всеми знавшими и любившими покойного, и чувствую, как много и лично я потерял в его лице. Если жизнь оценивает людей по степени их незаменимости, то Василий Васильевич, конечно, незаменим как культурная, творческая личность никогда до окончания времен. Никому никогда не было дано того, чем обладал Василий Васильевич. Никому никогда не было позволено того, что было позволено ему. Каждый шаг его был целой концепцией, новой и оригинальной, каждая мысль, брошенная мимоходом и невзначай, — целым замком грез и видений. Василий Васильевич, несомненно, самый богатый, самый замечательный, самый гениальный человек, с которым меня сводила жизнь. И от сознания этого еще тяжелее мириться с происшедшим. Утешаешься тем, что он не мучается, не страдает больше, но это — утешение слабое, ибо при его любви к жизни он, кажется, и больным умел бы жить и думать» (Архив священника Павла Флоренского).

Попрощавшись с отцом, дочери писателя стали собирать сборник воспоминаний о Розанове.

А. А. Блок писал к Н. В. Розановой 9 июля 1919 года: «Простите, что отвечаю Вам поздно: мне трудно было собраться снять наконец прилагаемую точную копию с единственного письма Василия Васильевича, которое я от него получил 19 <евраля> 1909 года. Письмо очень драгоценно; я очень хотел бы написать вокруг него несколько воспоминаний, но сейчас не могу сделать этого. Если удастся, я проведу через журнал и пришлю Вам отпечаток или корректурный лист» (ОР РГБ, ф. 249, к. 7, ед. хр. 23, л. 2).

29 июля 1919 года М. Горький отвечал на письмо Н. В. Розановой от 14 июня:

«Написать очерк о нем — не решаюсь, ибо уверен, что это мне не по силам. Я считаю В. В. гениальным человеком, замечательнейшим мыслителем, в мыслях его много совершенно чуждого, а — порою — даже враждебного моей душе, и — с этим вместе — он любимейший писатель мой.

Столь сложное мое отношение к нему требует суждений очень точно разработанных, очень продуманных — на это я сейчас никак не способен.

Когда-то я, несомненно, напишу о нем, а сейчас — решительно отказываюсь» («Вопросы литературы», 1989, № 10, стр. 150. — Публикация И. А. Бочаровой).

Ответил отказом написать воспоминания о Розанове и А. Н. Бенуа в письме от 25 июля: «Память Василия Васильевича я чту более, чем кто-либо, и я почел бы своим душевным долгом участвовать в создании того сборника его имени, о котором Вы пишете. При этом Вы совершенно правы <...> что в начале 1900-х годов я был среди тех, кто особенно часто виделся и беседовал с Вашим отцом, бывал у него ежедневно, и мы с ним вместе многое передумали, многое искали. Ваш сборник был бы своего рода памятником, который ему создали бы близкие люди, в ожидании того, который поставит ему родина, когда поймет весь смысл всего им сказанного. — Но вот, увы, я собрался-то к Вам написать эти несколько строк всего месяц спустя получения Вашего письма, да и вынужден я здесь ограничиться малодушным заявлением, что ныне ничего написать не могу, буквально не могу, нет сил: душа съезжилась, слиплась и прячется даже от людей, с которыми всегда был вместе. Называя это заявление малодушием, я иду навстречу Вашему совершенно заслуженному упреку... И кто знает, если нам суждено будет всем жить, я, быть может, и найду в себе то настроение, прежнее свое хорошее настроение, чтобы поделиться с другими самым сокровенным; тогда, чувствуя особенно остро свою вину перед Вами, я еще напишу о Василии Васильевиче, напишу то, что знаю о нем, и особенно то, что запомнилось из моих личных бесед с ним о самом его облике, таком странном, единственном, обаятельном и истинно русском... Меня, иностранца по крови и в душе, особенно привлекает в Василии Васильевиче именно его „русское лицо“, полное противоречий, но и не знающее преград в поисках правды; дивным представляется мне тоже его чисто русский душевный анархизм...» (ОР РГБ, ф. 249, к. 7, ед. хр. 20).

Настоящий текст воспоминаний о Розанове П. П. Перцова, написанный в марте 1919 года, вероятно, единственный из исполненных очерков для неосуществившегося сборника памяти В. В. Розанова.

Текст «Воспоминаний» печатается по авторизованному машинописному списку, находящемуся в Отделе рукописных фондов Государственного Литературного музея (ф. 362, оп. 1, ед. хр. 175). Список состоит из 15 страниц большого формата, выправленных в отдельных местах. К этому надо добавить, что мне удалось познакомиться с автографом «Воспоминаний», написанным черными чернилами на двенадцати страницах такого же большого формата, и сличить его с машинописным текстом. Правка оказалась редакторской, весьма незначительной; в автографе отсутствовала датировка. Автограф находится в частном собрании.

Петр Петрович Перцов (1868 — 1947) не нуждается в особом представлении. О нем можно найти сведения в любом литературном справочнике. Он вращался в среде писателей новой литературы и сам был одним из первых пропагандистов-«декадентов» (см. его «Литературные воспоминания», М., «Academia», 1933). Это был глубоко образованный литератор, но без претензии составить себе имя в литературе. Он все «прятался» за корифеев, все помогал другим, сам же, обладая незаурядными способностями, намеренно оставался в тени — Брюсова, Мережковского, Розанова. Благодаря издательской инициативе Перцова Розанов смог в 1899 — 1900 годах предстать перед читательской публикой как автор четырех сборников статей: «Сумерки просвеще-

ния», «Религия и культура», «Природа и история», «Литературные очерки», вобравших почти всю его публицистику 1890-х годов. Перцов был также издателем знаменитого журнала «Новый путь».

Это было очень давно — двадцать с лишним лет тому назад. Я жил тогда в Петербурге, на Пушкинской, в том громадном «Пале-рояле», который был так хорошо известен петербургскому литературному миру. Однажды утром ко мне постучались... Так как я начинал свое «утро», по петербургским обычаям, к вечеру, то и не торопился открыть дверь. Незнакомый посетитель ушел, ничего не добившись... Часа через два раздался снова стук. На этот раз я открыл, и в дверь просунулась сердитая физиономия господина средних лет, в очках, с рыжей редкой бородкой, с угрюмым и раздраженным видом. «Какой учитель!» — было первое мое впечатление. Какой типичный учитель, сердитый, потому что ему плохо ответил ученик и потому что учителям вообще полагается сердиться. Именно «педагог», каким мы, питомцы Толстовско-Деляновского псевдоклассицизма¹, привыкли его себе воображать.

Это был Василий Васильевич, и с этой смешной встречи началась наша долгая и прочная дружба — та «великая и прекрасная дружба», как выразился он в последнем своем письме ко мне, дошедшем до меня уже после его смерти². Эта дружба теперь оборвалась... Но хотя прошло уже столько времени, мне как-то все еще трудно представить себе, что Василия Васильевича действительно нет в живых, что нельзя с ним говорить, его видеть. Вообще, в смерть трудно поверить и никогда нельзя принять ее как *последний* конец.

Я рассказал об этой встрече, чтобы дать понятие о том внешнем впечатлении, которое поверхностно мог еще тогда производить Василий Васильевич. Впоследствии он так глубоко изменился, так далеко ушел от этого «педагогического» своего облика даже по внешности. И из знавших его за последнее время, я думаю, мало кто помнит его таким — Розановым половины 90-х годов. Но я захватил его еще на этом исходе его раннего, «провинциального» периода, когда ни Петербург, ни петербургский литературный мир не переработали его или, лучше сказать, не раскрыли, не дали еще раскрыться в нем всему, что таилось... В те годы ни сам Розанов не знал еще самого себя, ни другие не могли даже смутно подозревать его будущего. Уже шел его «консервативный» период, когда, верный ученик Константина Леонтьева, понятого тоже по преимуществу лишь как «истребитель либералов», Розанов в коротеньких статьях тогдашних убогих консервативных газет проводил что-то очень «реакционное», а в длинных философских этюдах, вроде книги о «Великом инквизиторе» Достоевского³, в еще не выработанной, не установившейся форме начинал уже раскрывать какие-то неясные горизонты... Прошло всего несколько лет с той поры, что он бросил свое учительство в глухих городках и переселился в Петербург, где служил пока чиновником в Государственном контроле, получал пустое жалованье и порядочно нуждался. Литература лишь полупризнавала его; реакционные газеты и журналы старались по возможности не платить гонорары, а пышное «Новое время» лишь изредка, больше по протекции Страхова, печатало его фельетоны. «Как пройдет фельетон в „Новое время“, так мы и живем месяц», — говорил мне тогда Василий Васильевич⁴. Пресса же не консервативная, разумеется, вовсе не захотела замечать «ретроградного» новичка. Впрочем, Н. К. Михайловский, который был все-таки зорче других, уже не раз подымал полемику вокруг «отказа от 60-х годов»⁵ — темы тогдашних интересов Розанова. Вообще уже тогда стала обозначаться эта характерная черта розановских писаний — умения вызывать по поводу себя полемику. И сколько их, этих разнообразнейших полемик, последовало вслед за тем! Я думаю, мало найдется в русской литературе писателей, вокруг которых кипели бы такие литературные битвы, перекрещивалось столько копий из противоположных лагерей, как вокруг и по поводу Розанова. По-видимому, эта особенность не тяготила его: он был насквозь «писатель», литератор, а писателю как не любить литературной борьбы. И Василий Васильевич сам был настолько искусен в этой борьбе, что, ког-

да его не увлекала «розановская» неуравновешенность в полемические крайности, он умел всегда нанести противнику неизлечимые раны...

Если не считать Владимира Соловьева, с которым у него тоже только что прошла горячая полемика (о свободе совести и о прочем)⁶, в ту пору из крупных писателей Розанов знал и ценил только один Н. Н. Страхов⁷. Последний из старых славянофилов отчасти надеялся на молодого защитника традиций школы, отчасти опасался его, когда под обликом благонамеренного продолжателя проглядывал вдруг *enfant terrible*, чувствовались черты какого-то нового, необычайного явления... Со стороны Розанова к Страхову было и навсегда осталось глубоко любящее и почтительное отношение, как к старому «деду» (сравнение в одной его статье), «ноги которого хочется омыть, но, омыв, бежать в безвестную даль»⁸... Сама личность Страхова, хрустально-чистый моральный его облик, естественно, вызывали такое отношение. И если любил Розанов в литературе многих больше Страхова, то никого, я думаю, не уважал более его.

Любил же он (опять-таки в те же годы) больше всего, несомненно, некоего Шперка — странного юношу, «декадента» (тогда это слово было в ходу), больного, морально весьма непохожего на Страхова, философа и критика, писавшего на не понятном ни для кого языке, поклонника стихов Сологуба (тогда почти никому не известных), тоже искавшего или чужавшего что-то новое... Он умер от чахотки двадцати с небольшим лет, еще в 1897 году. Но Розанов никогда не мог его забыть. Говоря о духовных движениях в России, о прозрениях будущего, о самых ценных в этом отношении людях, он всегда и неизбежно должен был упомянуть эти два имени: Шперка и «Рцы» (Ив. Фед. Романов — тоже уже давно покойный)⁹. В последние годы к ним прибавилось еще третье — имя Павла Александровича Флоренского, которого он чрезвычайно высоко ценил¹⁰. И четвертого такого имени, мне кажется, для Розанова не было (если не возвращаться к Константину Леонтьеву). В таком предпочтении в высшей степени сказалась духовная оригинальность Василия Васильевича. Конечно, он понимал, что ни Шперк, ни Рцы не первоклассные писатели, но он ценил в них людей, мучащихся над теми самыми задачами, которые мучили его самого и которые он имел основания считать самыми важными из всех возможных задач. В такой *качественной* (с его точки зрения) оценке эти двое весили для него больше всех других, количественно (талантом) более богатых. И в этом он не ошибался, в особенности относительно Рцы. Шперка, я думаю, он ценил особенно еще потому, что в те смутные для него самого, и внутренне и внешне, 90-е годы в одном этом юноше находил В. В. устремления, отвечавшие его собственным еще неясным мыслям и влечениям, находил интересы, которые едва пробуждались в нем самом. Шперк шел или пытался идти именно по тем путям и к тем духовным целям, к каким пролегла после дорога Розанова, тогда еще, повторяю, не знавшего самого себя. И после встреч и бесед с эпигонами славянофильства и консерватизма¹¹, и даже самим Страховым, Розанов, я думаю, впервые начинал чувствовать себя Розановым лишь во время долгих своих ночных разговоров с чудачком, непонятным философом, вечно декламировавшим Сологуба, ставившим христианству в упрек отрицание пола и с безмерной иронией относившимся ко всей кипевшей вокруг литературной суете.

Итак, я застал Розанова еще «педагогом». Общеизвестный портрет Бакста (в Третьяковской галерее), пожалуй, верно передает его внешность тех годов, хотя относится уже к несколько более позднему времени¹². Впрочем, у Бакста схвачен и тот зоркий, пронизывающий взгляд, которым Розанов выучился смотреть, как мне кажется, тоже лишь позднее — именно к эпохе написания этого портрета: к «египетской» своей эпохе¹³. В половине 90-х годов в нем осталось еще много провинциального простодушия и непосредственности (отчасти он выдерживал эти черты и потом). Любопытны его письма того времени — столь непохожие на позднейшие, жизненные, как сама жизнь. Тогда он еще педагогически верил, сердился, распекал «Сенат и Синод» (в одной из

мелких своих статей) за недостаточное соблюдение всех подробностей официального ритуала и особенно был тем, что немцы назвали бы *Liberalenfresser*¹⁴: наши «западники» были для него предметом настоящей ненависти — «по Константину Леонтьеву». Еще очень далеко было до тех дней, когда он напишет своего «Ослабнувшего фетиша» (1907) — гениальную брошюру о революции, оставшуюся почти неведомой для публики¹⁵.

Таким я оставил Василия Васильевича, уезжая весной 1897 года за границу. Хотя в предшествующую зиму у него завязались кое-какие новые литературные знакомства (кружок «Северного вестника» с А. Л. Волинским во главе; Мережковские) и он стал немного выглядывать со своей «Павловской» (далекая улица на Петербургской стороне, где он тогда жил) в широкий мир, но сближение с новыми элементами шло туго, и люди, видимо, не спаивались друг с другом.

Я пробыл за границей год — и этот год (зима 1897/98 года) был решающим в духовной жизни Розанова. По возвращении я не узнал его... это был уже другой Розанов, вдруг пробудившийся к своим истинным интересам, — тот Розанов вопросов пола, религии, Востока, семитизма, — одним словом, тот «египетский» Розанов, которого мы все теперь знаем. Превращение или, вернее, самораскрытие произошло, по-видимому, быстро, но оно отразилось уже и на писаниях Розанова той зимы. Помню, как поразили меня и безмерно заинтересовали необычайностью своего тона его первые «живые» фельетоны, которых «Новое время» догадалось напечатать целую серию («Христианство активно или пассивно?» — против Владимира Соловьева; «Кроткий демонизм» — против Меншикова, тогда еще полутолстовца «Недели»; «Женщина перед великой задачей» и др.)¹⁶. Тогда (как видно уже из этих заглавий) он старался стоять еще на точке зрения христианства, которому предстояло только обновиться и быть каким-то «активным». Совершенно так же, как раньше, в свой «ортодоксальный» период, он подходил к православию собственно как к религии быта и упорно прилагал к нему свой уже назревавший «египетский» критерий, — так и теперь он переносил на всю широту христианства все ту же свою единственную и всегдашнюю концепцию религии как рождения, религии как пола, «религии как света», религии как быта, коротко говоря, религии в семитическом ее аспекте (еще точнее: иудаическом). Если взглянуть: Розанов не менялся в течение всей своей жизни — менялись только те объекты, к которым он поочередно прилагал свои требования и надежды, пока не понял окончательно самого себя...

Итак, я застал Василия Васильевича *en pleine revolution*¹⁷... Помню, как в первый же вечер — бессонный, негаснущий вечер петербургской весны, он засыпал меня своими новыми «откровениями». Передо мною был человек, только что испытавший «рождение из духа». Конечно, он сам не знал еще тогда, куда приведет его захватившая его стихия, но он в высшей степени остро, совсем по-юношески переживал ее наитие. Впрочем, юношеские черты сохранились в Розанове до последних его годов: недаром же он был гениальным человеком.

Бурная стихия рождающейся мысли увлекла его: «голова моя горела вопросами» — эта фраза часто встречается в розановских писаниях того времени, и она верно передает его духовное состояние. Он и спешил навстречу своим выводам и временами пугался их. Несомненно, что его «новаторство» доставалось ему недаром. Долгое время он боялся этой своей «судьбы»: он — такой «бытовик», человек крепкий сложившимся формам жизни, верный «дедовским» традициям; человек, любивший Страхова, славянофилов, консервативные типы жизни, а больше всего любивший ее спокойную, неизменную творческую мощь, ее глубокое русло, полное неиссякаемых сил... Ему ли оторваться от этого рула, стать в какую-то «оппозицию», когда он так не любил все «оппозиционное», весь пошлый шаблон всяческих «протестов»?.. Тогда, в минуты сомнений и колебаний, он оглядывался на близких, на семью, на свою «домашнюю часовенку» — на тех, которые «всему, всему меня научили»

(предисловие к сборнику «Религия и культура»). Если это (его идеи, влечения) «не отпугивало Вари» (супруга Василия Васильевича), то он мог смело идти вперед — значит, тут не было болота, и торная дорога вела туда же, куда вел мятежный проселок.

И еще он оправдывал себя моральной чистотой своих целей. Помню, мы зашли с ним однажды в какую-то табачную лавочку на Невском. Под руки Василию Васильевичу попала обычная папиросная коробочка с изображением раздетой «красавицы». «Вот, — с ненавистью и отвращением сдавил он, отшвыривая ее, — я хочу, чтобы не было больше таких коробок». Он никогда не уставал подчеркивать, что действительно интенсивность пола неразлучна с религиозным напряжением. «Скальковские»¹⁸ (тогдашний журналист — бонвивёр — для Розанова прототип полового легкомыслия) были ему самыми ненавистными из людей, и даже сам «Спенсер»¹⁹ (такое же нарицательное имя для позитивистов) внушал ему безмерную иронию собственно потому, что ощущал (как предполагалось) в поле лишнюю природную «функцию».

Но на открывшемся пути было столько препятствий... И те первые годы Вас. Вас. стоял и перед препятствием чисто личного характера: все его связи, все литературное положение влекли его в традиционное русло. И тут не было натяжки: повторяю, все традиционное он любил и сам по себе — уже именно как таковое. Такие типы, как Победоносцев, Мих. П. Соловьев (консерватор-церковник, бывший одно время начальником печати)²⁰, были ему искренно близки, уважались им не за страх, а за совесть, были ему гораздо понятнее, нежели «искатели», как, например, Д. С. Мережковский. К последнему он долго и, пожалуй, до конца относился не совсем серьезно: «Конечно, Рцы важнее вашего Мережковского, — говорил он мне, — это один из кардинальных умов эпохи». Кардинальный ум значил для него человек, религиозно переживающий быт, а там он мог, сверх того, иметь в себе и элементы пророка: их одних было недостаточно. — Наконец, журнально Розанов связался, и надолго, до конца, с «Новым временем»²¹: газета и особенно личность старика Суворина многими сторонами (тот же «бытовой колорит») должны были искренно привязать его. К Суворину он всегда хранил глубочайшее уважение и любовь, доходившую до энтузиазма, и это не только из чувства личной благодарности (без того материального устройства, которым он был обязан Суворину, русская литература не имела бы Розанова), а из совершенно бескорыстного влечения к этому типично бытовому человеку, «обывателю» с талантом литературного импрессиониста. А такого импрессионизма было ведь масса и у самого Розанова: первоклассный литературный талант всегда подразумевает эту черту.

В этой странной двойственности Розанов жил еще долгие годы. Он «горел» своими открытиями и предчувствиями, но если в разгар этого горения вдруг падало письмо-строчка от Михаила Петровича Соловьева: «Под духом прелюбодеяния написана Ваша статья»²², — Василий Васильевич был смущен надолго и серьезно. Сколько раз я заставлял его в этом колеблющемся, недоумевающем настроении — настроении страха перед самим собой. Только в последние годы и даже в последние месяцы с него спала окончательно бытовая оболочка — и «пророческий» элемент взял верх над «священническим». Впрочем, опять-таки только в его литературе, потому что ни в жизни, ни в смерти он не захотел изменить церковной традиции.

В те годы — в конце прошлого столетия и в начале нынешнего — было интересно жить в Петербурге. Когда-нибудь будет написана подробная история этих годов — может быть, несколько не менее значительных для русского духовного развития, нежели пресловутые 40-е годы. Такая интенсивность и свежесть вновь возникающих умственных интересов еще не повторялись в России. Теперь все захвачены «практикой» жизни; тогда, при слабой практике, было время для поисков «теории». В этих поисках, в том напряжении созерцательного творчества, в ряду других, одно из первых мест занял Василий Васильевич. Его дом, естественно, стал одним из интеллектуальных «журфик-

сов»²³ столицы, куда волна выносила, надолго или мимолетно, каждого захваченного течением. Теперь это было уже совсем не похоже на Павловскую улицу... Напротив, наряду с понедельниками у Дягилева (редакция «Мира искусства»), собраниями у Мережковского и друг., розановские воскресенья были одним из тех очагов, где ковалась новая идейность. При радушии хозяев и газетных связях Василия Васильевича здесь набиралось, может быть, больше постороннего элемента, чем в других местах, но «оглашенные» постепенно сами собой отходили в сторону, а «елицы верные» продолжали пряхть переходившую со станка на станок пряжу. Кружок «Мира искусства», с которым через Мережковских и Д. В. Filosofova сблизился в это время Василий Васильевич, несомненно впервые дал ему вполне соответствующую среду. Сперва он тоже побаивался этих «декадентов»: «Вы видели, какая у них люстра? — боязливо спрашивал он меня (у Дягилева висела резная люстра в форме дракона). — Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?» Но Розанов ходил и раз, и два, и десять, и пятнадцать — и наконец убедился, что Дягилев, Filosofov, Александр Бенуа, Бакст, Нувель, Мережковские — самая естественная его аудитория и самые близкие попутчики²⁴. Именно на встречах с ними, под страшной люстрой, он привык развивать вполне откровенно весь ход своих идей; здесь он получал уверенность в себе после назидания М. П. Соловьева или благодушно-импрессионистической беседы А. С. Суворина. И этот кружок, конечно, первый понял, кого он имел в лице Розанова. Л. С. Бакст, как мне кажется, интимно ближе других усваивал его идеи: недаром ему захотелось написать с него портрет; более арийский ум Александра Бенуа глубоко интересовался этими идеями, но не мог и не хотел замкнуться в их кругу. Самым же пылким энтузиастом Розанова, «этого русского Ницше»²⁵, был, конечно, Д. С. Мережковский, еще чуждый тогда политическим соображениям, толкнувшим его впоследствии к ненужной борьбе с Розановым и наивным «исключениям» из Собраний.

Из этой атмосферы, из этих частных собраний, из споров выросло, как естественный плод, первое Религиозно-философское общество в Петербурге 1901 — 1903 годов, на почве которого духовное созревание Розанова достигло своего зенита. Те «доклады» — «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира» и «Христос — Судия мира», которые были написаны для собраний²⁶, — представляют собою высшую точку в раскрытии его идей. Здесь он уже высказался весь со всею последовательностью оснований и выводов, к каким привела его вся предыдущая дорога. Впоследствии, в последние годы своей жизни, он достиг еще большего усовершенствования литературной формы, еще большего обострения психологических переживаний «à la Розанов» — в таких книгах, как «Уединенное», «Опавшие листья», «Апокалипсис». В них он окончательно стал великим писателем и заразил нас тем, что еще долго будет переживаться (и не в одной России) как «розановские настроения». Но философское обоснование этой фарфоровой башни, циклопические камни ее метафизических устоев были обтесаны и выложены уже тогда и явлены миру впервые на тех памятных заседаниях в зале Географического общества у Чернышева моста²⁷...

Да, эти заседания памяты. Обширный зал был всегда битком набит народом. «Широкая публика» уже интересовалась этими темами. Провинциалы, молодежь, дамы — все как водится. Но главный интерес собраний был, конечно, в «очной ставке» представителей церкви — не только в рясах, но и в клубках — с представителями интеллигенции, встрече двух лагерей, не встречавшихся по крайней мере с времен Петра (а до Петра какая была у нас «интеллигенция»?); Протопресвитер и царский духовник Янышев — и поэт-философ Н. М. Минский; рьяный архимандрит Антонин²⁸, глава духовной цензуры, который сжег бы, кажется (по его речам судя), на костре всякого инакомыслящего, спокойно пропускал все «жупелы» того же Розанова в органе собраний «Новом пути» (к ужасу цензора светского), — и рядом с ним рьяный «декадент», ницшеанец и «неохристианин» Д. С. Мережковский, об исключитель-

ном пророческом таланте которого не дают никакого понятия его сравнительно тусклые книги; бледный в черных своих облачениях, под черным куколом епископ Феофан²⁹ — и изящно-парадоксальная в своей боттичеллиевской наружности поэтесса Гиппиус (обыкновенно она сидела рядом)... Да, это были совсем особенные собрания и совсем особая обстановка. Для Василия Васильевича эти первые собрания были незабвенным временем; он никогда не мог говорить о них равнодушно, а до самых последних дней оживлялся при каждом о них напоминании. И это слишком понятно: эти собрания как бы конкретно воплощали все то, чем он внутренне жил и о чем волновался. Здесь он мог прямо, «в упор» спрашивать церковь — церковь, при мысли о которой, от судеб которой он никогда не мог оторваться, — «вопрошатель» ее и о «сладчайшем» идеале, и горьких плодах реальности. И он это делал с энтузиазмом, с отвагой, с упорством, из заседания в заседание. Вместе с Д. С. Мережковским он был, конечно, душою этих собраний — той двигательной силой, которая влекла и тревожила и эти длинные рясы, и эти куцые пиджаки, волновавшиеся рядом друг с другом. Какова была тогда сила этих волнений, показывает тот факт, что один из самых горячих участников прений, с церковной стороны, заболел временным душевным расстройством (еп. Антонин)... Но скромную по существу натуру Василия Васильевича (он был глубоко скромным человеком, несмотря на свою громадную минутами самоуверенность) как нельзя лучше характеризует тот факт, что сам он *лично* почти не выступал на собраниях. Его знаменитые доклады читал обычно С. А. Андреевский³⁰ или кто-нибудь другой, из привычных членов, а Василий Васильевич, сидя где-то в сторонке, только густо краснел, как школьник, на самых резких местах. В нем еще была вообще (в те годы) эта юношеская способность к смущению. Помню, как однажды, коснувшись в домашней беседе, с глазу на глаз, Христа и поставив вопрос с подразумеваемым ответом (который читатель может найти в его позднем «Апокалипсисе»): «Кто же Он был?» — он вдруг невероятно смущился, покраснел, расстроился и не мог справиться с собой. Смущение еще увеличилось, когда вошедшее в комнату близкое Вас. Вас. лицо с укоризной посмотрело на него... Так философское «новаторство» еще плохо ладило с психологическою традиционностью русского человека. Другой такой же припадок овладел Вас. Вас., когда однажды Д. С. Мережковский попробовал определить истинное отношение, возможное между Розановым и Тем же Лицом, заключив свою мысль в следующие прекрасные слова: «сколько бы Розанов ни отрекался от Христа, — но Христос не отречется от него»... Я думаю, что эти слова действительно лучше всего определяют такое соотношение, и та острота, с которой почувствовал их тогда Розанов, сама свидетельствует об этом. И опять-таки вспоминаются его последние дни... Одно ли «бытовое тяготение» привлекало его основы, в сознаваемом чувстве конца земного пути, к тому, что он только что безмерно отвергал? Историческая роль, выпавшая на долю человека, — это одно, сам человек, в его личной глубине и в смутном сознании *условий* правдивости этой роли, — другое.

Собрания оборвались скоро: такой парадокс вообще не мог долго продолжаться. На минуту их спасло «честное слово» Янышева Николаю II, что на собраниях нет ничего преступного. Но в конце второй зимы (весной 1903 года) собрания были запрещены, а вслед за тем запрещено даже печатание их отчетов в «Новом пути», и журнал (где у Розанова был отдел «В своем углу») захирел³¹. Для Розанова все это было большим ударом, и я редко видел его в состоянии такого негодования, в каком он был тогда на ближайших (частью литературных) виновников этого крушения (нововременец Меньшиков)³². Действительно, *внешне* он уже никогда не находился больше в таких благоприятных условиях для самообнаружения: «своего угла» ему так и не пришлось еще раз дожидаться ни на кафедрах собраний, ни в журналистике, — хотя он столько мечтал о нем. Возобновленные несколько лет спустя, после революции 1905 года, петербургские собрания, лишённые церковного элемента и окрашенные политической нетерпимостью (тогда все старались быть как мож-

но «левее», не предвидя от сего никаких последствий), были уже чужды и скучны Василию Васильевичу и с каждым годом становились чуждее и скучнее, пока дело не окончилось памятной инсценировкой Мережковскими и А. В. Карташевым «исключения» Розанова из собраний³³. Будущий министр исповеданий в кабинете Керенского показал себя уже тогда прекрасным специалистом по истерике...³⁴

Позднейшие московские религиозно-философские собрания (имени Влад. Соловьева) были духовно ближе Вас. Вас., и он часто говорил о них с симпатией³⁵. Последние годы его вообще тянуло в Москву и удерживали в опустевшем Петербурге только материальные соображения. «Да, конечно, я встретил бы там больше сочувствия, — говорил он мне, когда я звал его переехать в Москву, — но „Новое время“...» Нельзя сказать, чтобы положение его в газете отвечало уже не говоря его дарованиям, но хотя бы той огромной работе, которую он для нее сделал за много лет. Даже заработок его там был, в сущности, несправедливо мал, и ему постоянно приходилось искать дополнительных. Так, устроился он на несколько лет (через гремевшего тогда священника Г. С. Петрова³⁶) в «Русском слове» (псевдоним «В. Варваринъ»), пока те же Мережковские и Философов не изгнали его и оттуда...³⁷ Как «Варваринъ», Василий Васильевич был, конечно, гораздо свободнее, чем как «Розановъ», и благодаря характеру газеты, и благодаря своей маске, — но писание издалека ли, литературная ли усталость или отсутствие у «Русского слова» необходимой для В. В. бытовой подпочвы, но статьи его в этой газете были не так значительны... Вообще десятилетие после 1904 года было, как мне кажется, временем относительного ослабления розановского таланта (конечно, очень относительного: этого таланта хватило бы на десяток хороших писателей), точно, отойдя от минутно наметившейся общественной роли, он тогда еще не сосредоточился на самом себе³⁸.

Это сосредоточение наступило в последние годы... Сидя по преимуществу дома (он был большой домосед) долгими вечерними часами, за любимым своим занятием → переборкой, рассматриванием, определением и описанием древних монет (у него была одна из лучших не только в России, но даже в Европе частных коллекций греческих, римских и восточных монет), В. В. имел обыкновение набрасывать на чем попало, на клочке бумаги, на обороте транспаранта, на вашем письме, приходившие ему в голову, вечно бродившие в нем мысли. Он был, действительно, «литератор» — человек, непрерывно рождающий мысли, новые и старые, в обточенной оболочке литературного слова. Мне кажется, не было минуты, когда он был бы не способен к такому творчеству, и не было темы, которую он пожалел бы или затруднился бы взять материалом для такого обтачивания. Это, впрочем, доказывают и сборники его записей — «Уединенное» и два тома «Опавших листьев». При жизни В. В. вышло только три таких книги, но материала у него должно было быть на много томов, еще в Петербурге, как-то раскрыв ящик своего письменного стола, куда он сбрасывал эти исписанные лоскуты, он показал мне целое бумажное море, прибавив, что у него есть уже «тома на четыре» — таких, как «Уединенное». Это было очень давно (пожалуй, еще до войны), и с тех пор и до смерти В. В. глубина и объем этого моря должны были сильно возрасти³⁹. Следовало бы московским писателям (Москва, мне кажется, умеет больше ценить Розанова) — тем, кто понимает его значение, — образовать особый розановский кружок, который занялся бы разысканием, собиранием и возможным напечатанием всего оставшегося после него материала. Ведь многое из лучшего, что он написал, так и осталось лежать еще в рукописи⁴⁰. Осталась ненапечатанной и большая работа В. В. 90-х годов — эпохи первых его «египетских» увлечений и расцвета под символическим заглавием «Лев и Овен». Эту рукопись он тщетно предлагал тогда по очереди всем «толстым» журналам: они были слишком тощи, чтобы ее вместить. Между тем это, вероятно (судя по беглому просмотру), одна из главных его работ. Она написана в золотую его пору и ведет мысль розановскими путями, начиная от «Диалогов» Платона, через восточ-

ные культы, в глубину любимого Египта, символы которого он начинал тогда разгадывать с таким страстным энтузиазмом⁴¹ (он скопировал собственноручно множество сложных египетских рисунков в целый лист из материалов Публичной библиотеки — интересно, сохранились ли эти рисунки?). Со временем придется, конечно, подробно изучить каждую черту его мысли, каждую его складку. Потому что другого такого мыслителя, как Розанов, мы еще не скоро найдем... И, мне кажется, пора уже теперь приступить к этой сложной работе, не откладывая ее.

Последние годы я, не живя в Петербурге, реже видался с Вас. Вас. и реже переписывался с ним. Гигантские пачки его писем прежних годов разбухали уже медленно. Но он, по-видимому, до конца оставался все таким же неутомимым «переписчиком» — любителем переписки, готовым каждую минуту к длинному, одушевленному ответу. Правда, что подпись в его письмах часто фигурировала посередине письма и, вслед за предполагавшимся окончанием, бесконечный «постскриптум» удваивал и утраивал не только длину письма, но часто и его интерес. В этом отношении В. В. был типично-русским человеком. Точно так же, когда он, прощаясь с вами и после долгих поцелуев, уходил в переднюю, надевал калоши и шубу, — это еще не значило, что он сейчас уйдет: нередко именно тогда-то и завязывался самый одушевленный разговор. Собеседник В. В. был вообще живой и неистощимый: я даже не могу представить его себе не расположенным к разговору — он всегда был готов еще и еще раз вернуться к излюбленным темам, распространить какой-нибудь «восточный мотив», а более всего рассказать и показать свои монеты. Чудесно отчеканенные на греческих экземплярах фигуры богов и символы культа давали ему неистощимую тему... Новые монеты, начиная с Византии, он презирал так же, как всю эту современную скуку...

Война, потом революция надломили Василия Васильевича. Что-то страшное случилось с ним осенью 1917 года, закрытие «Нового времени», потеря заработка и всего состояния повлекли его в отъезд из Петрограда «в каком-то беспамятстве» (писал он мне) и тяжелое разрушение его здоровья, до тех пор сравнительно очень крепкого⁴². Сергиев Посад приютил его в последние месяцы его жизни⁴³, и он умер 23 января (5 февраля) 1919 года здесь, возле той Москвы, где провел когда-то молодые студенческие годы⁴⁴. Жизнь сложилась так, что он жил в Петербурге, но внутренне Москва, я думаю, была ему ближе. А может быть, еще ближе то Троице-Сергиево, куда привела его судьба, как Константина Леонтьева, в последние дни... Он и лежит теперь там, возле своего учителя-друга, и, думается, он сам не захотел бы избрать себе другое место⁴⁵. Именно там — близ стен старой русской лавры — он всегда увидел бы для себя надежное пристанище после того долгого, бурного плаванья по духовному морю, которое выпало на его дело...

1919, март.

КОММЕНТАРИИ

¹ Имеется в виду время правления министров народного просвещения гр. Д. А. Толстого и И. Д. Делянова, когда под внушением влиятельного критика «Русского вестника» и газеты «Московские ведомости» М. Н. Каткова в русской школе был принят классический метод образования, то есть введены классические языки — греческий и латынь. Розанов был учителем истории и географии в уездных гимназиях и прогимназиях Московского учебного округа с 1882 по 1893 год.

² Знакомство Розанова с Перцовым следует отнести не позднее начала ноября 1896 года. Первое письмо Перцова к нему написано 7 ноября, последнее — Розанова к Перцову, нам известное, — относится к лету 1918 года.

³ Консервативный период 1890-х годов, или, как называл его Розанов, «катковско-леонтьевский», проходил под известным влиянием эстетики К. Н. Леонтьева (1831 — 1891), с которым он состоял в переписке в последний год жизни мыс-

лителя. Статья Розанова «„Легенда о Великом Инквизиторе“ Ф. М. Достоевского» печаталась в журнале «Русский вестник» (1891, № 1 — 4), выходила отдельными изданиями в 1894, 1902 и 1906 годах.

⁴ После переезда в Петербург в 1893 году с семьей Розанов поступил чиновником в Государственный контроль и, получая мизерное жалованье, очень нуждался. Свой семейный бюджет он старался поддержать печатанием статей в консервативных изданиях, но материальное положение выправилось только с оставлением государственной службы и принятием в мае 1899 года предложения А. С. Суворина стать постоянным сотрудником газеты «Новое время».

⁵ Перцов намекает на полемику 1891 — 1892 годов между Розановым (см.: «Почему мы отказываемся от наследства?» — «Московские ведомости», 1891, 7 июля; «В чем главный недостаток „наследства 60 — 70-х годов“?» — там же, 14 июля; «Два исхода» — там же, 1901, 29 июля; «Европейская культура и наше отношение к ней» — там же, 16 августа, и др.) и Михайловским (см.: «Письма о разных разностях» — «Русские ведомости», 1891, 25 июля, и др.).

⁶ Имеется в виду известная полемика между Розановым и Соловьевым в 1894 году. См. статьи Розанова «Свобода и вера» («Русский вестник», 1894, № 1); «Ответ г. Владимиру Соловьеву» (там же, 1894, № 4) и статьи Соловьева «Порфирий Головлев о свободе и вере» («Вестник Европы», 1894, № 2) и др.

⁷ «Литературная нянька» — критик, литературовед и философ Н. Н. Страхов (1828 — 1896), один из последних крупных писателей так называемого консервативного направления, опекал Розанова с самого начала его сотрудничества в журналах.

⁸ Источник цитаты не найден.

⁹ Читателям Розанова имена молодого философа Федора Эдуардовича Шперка (ок. 1870 — 1897) и публициста Ивана Федоровича Романова (1861 — 1913), печатавшегося в периодических изданиях под псевдонимом Рцы, известны по книгам «Уединенное» и «Опавшие листья». «Трех людей я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Фло<ренско>го. Первый умер мальчиком (26 л.), ни в чем не выразившись; второй был „Тенетников“, просто гревший на солнышке брюшко...» (Розанов В. В. Уединенное. СПб., 1912, стр. 227).

¹⁰ С П. А. Флоренским Розанов фактически был знаком с сентября 1903 года, когда получил от него, московского студента, письмо с признанием в ученичестве, но переписка возникла лишь в 1908 году и велась вплоть до личных встреч в Сергиевом Посаде в 1917 — 1918 годах.

¹¹ В Государственном контроле, куда Розанов был приглашен министром Т. И. Филипповым (1825 — 1899), известным славянофильствующим деятелем, другом Ап. Григорьева, К. Н. Леонтьева и других, были собраны литераторы, называвшие себя последователями славянофильской традиции.

¹² Портрет Розанова, исполненный мирискусником Л. С. Бакстом в 1902 году, находится до сих пор в запасниках Третьяковской галереи.

¹³ Перцов намекает на увлечения Розановым египетской культурой и религией, вылившееся в ряде статей 1899 года и повлиявшее на его творчество, особенно в так называемой теме пола.

¹⁴ Истребитель либералов (нем.).

¹⁵ «Ослабнувший фетиш. (Психологические основы русской революции)» (СПб., 1906). Тщетно Розанов пытался напечатать эту статью в периодике, предлагая даже в «Русское богатство». Позднее он включил ее и в сборник «Когда начальство ушло» (СПб., 1910).

¹⁶ «Христианство активно или пассивно?» («Новое время», 1897, 28 октября); «Кроткий демонизм» («Новое время», 1897, 19 ноября); «Женщина перед великою задачей» («Биржевые ведомости», 1898, 1 и 3 мая).

¹⁷ В разгар революции (франц.).

¹⁸ Имеется в виду К. А. Скальковский, постоянный сотрудник «Нового времени».

¹⁹ Спенсер Герберт (1820 — 1903) — английский социолог, позитивист.

²⁰ С обер-прокурором Синода Константином Петровичем Победоносцевым (1827 — 1907) и главноуправляющим по делам печати Михаилом Петровичем

Соловьевым (1842 — 1901) Розанов был лично знаком; с последним находился в дружеской переписке и личном общении.

²¹ Постоянным сотрудником «Нового времени» Розанов оставался вплоть до закрытия газеты в ноябре 1917 года.

²² Ср. письмо М. П. Соловьева 18 мая 1898 года: «Василий Васильевич! Под гнетом духа любви страсти пишете Вы последние статьи Ваши. Ваш М. Соловьев» (ОР РГБ, ф. 249, М 4208, л. 15). Обращение к теме пола вызывало у его консервативных читателей болезненную реакцию.

²³ О «воскресеньях» Розанова, собиравшихся в 1905 — 1906 годах, можно прочитать в воспоминаниях Андрея Белого, Вл. Пяста, Б. Садовского, Д. Лутохина.

²⁴ Сергей Павлович Дягилев (1872 — 1929), редактор журнала «Мир искусства»; Дмитрий Владимирович Философов (1872 — 1910) вел литературный отдел журнала; Александр Николаевич Бенуа (1870 — 1960) вел художественный отдел; Вальтер Федорович Нувель (1871 — 1949), любитель-композитор, вел музыкальный отдел. С мирискусниками Розанова связывали теплые отношения.

²⁵ Это определение Д. С. Мережковского 1899 года широко распространилось в литературе о Розанове.

²⁶ Доклад «Христос — Судия мира» был прочитан в Религиозно-философских собраниях и опубликован в «Новом пути» (1903, № 4) под заглавием «Об основаниях церковной юрисдикции, или О Христе — Судии мира». Доклад «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» был прочитан на заседаниях Религиозно-философского общества 21 ноября 1907 года и опубликован в «Русской мысли» (1908, № 1), затем в книге «Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества» (СПб., 1908, вып. 2). См. эти статьи в книге Розанова «Темный Лик. Метафизика христианства» (СПб., 1911).

²⁷ Там происходили заседания Религиозно-философских собраний в 1901 — 1903 годах.

²⁸ Протопресвитер Янышев Иоанн Леонтьевич (1826 — 1910); Антонин (в миру Александр Андреевич Грановский; 1865 — 1927), старший цензор в Санкт-петербургской духовной академии (1899 — 1903), с 1903 года — епископ Нарвский, после революции — «обновленец».

²⁹ Епископ Феофан (в миру Василий Быстров; 1873 — 1943) — инспектор Санкт-петербургской духовной академии, после революции — в эмиграции.

³⁰ Андреевский Сергей Аркадьевич (1847 — 1918) — поэт и литературный критик. По профессии криминалист. Почитатель таланта Розанова.

³¹ 22-е заседание оказалось последним, и вскорости, 5 апреля 1903 года (заседания открылись 29 ноября 1901 года), последовало запрещение Религиозно-философских собраний. Записки, а потом и стенографические отчеты заседаний публиковались как приложения в журнале «Новый путь» в течение 1903 года. Отчет о предпоследнем, 21-м заседании в наши дни опубликовала итальянская исследовательница Paola Manfredi (см.: «Russica Romana», 1996, vol. III, p. 301 — 328). При подготовке стенографических записей к печати в них по цензурным соображениям делалось много исправлений и пропусков.

³² Роль М. О. Меньшикова в запрещении Религиозно-философских собраний нам неизвестна. Вероятно, Перцов припомнил другое выступление Меньшикова, относящееся к тому же времени: он раскрыл псевдоним протоиерея А. П. Устьинского, корреспондента Розанова по проблемам семьи, брака и развода, письма которого Розанов печатал за подписью: «прот. А. У-ский» (см.: Меньшиков М. О. Тоже стиль модерн. — «Новое время», 1903, 23 марта, стр. 2 — 3). Событие это вызвало тяжелые последствия для священника: А. П. Устьинскому запрещено было печататься, вести переписку с Розановым (чего он не исполнил) и он был заключен на три месяца в монастырь для покаяния.

³³ Имеется в виду известный инцидент исключения Розанова из состава Религиозно-философского общества на заседании 26 января 1914 года под председательством Карташева.

³⁴ Карташев Антон Владимирович (1875 — 1960) — историк русской церкви; во Временном правительстве был назначен обер-прокурором Синода с июля 1917 года, позднее собственным приказом назначил себя министром вероисповеда-

ний и эту должность исполнял только десять дней. На заседании Религиозно-философского общества 26 января 1914 года, во время дебатов по поводу исключения Розанова из состава членов, вел себя крайне несдержанно.

³⁵ В Религиозно-философском обществе им. Вл. Соловьева (1905 — 1918 годы) Розанов не принимал участия и мог присутствовать на заседаниях только в какой-нибудь приезд в Москву в качестве гостя.

³⁶ Священник Петров Григорий Спиридонович (1867 — 1925) широко выступал как в печати, так и перед аудиториями с конца XIX века. Его проповедничество было окрашено в либеральные тона. В 1907 году был лишен сана священника. Розанов был лично с ним знаком, был очарован его талантом, но в начале 10-х годов «раздружился». Ср. его характеристику: «Петров — одна из самых отвратительных фигур, мною встреченных за жизнь. Но: какова слабость человеческой природы: постоянной лъстивостью и „вниманием во все мои идеи” он подкупил на много лет меня. <...> Раз он проговорился мне: „Я (в сочинениях) *балаболка*”. Я промолчал, но был поражен: неужели он *видит*?! Тайна его успеха лежала в чарующем *тембре голоса*, одновременно властительного, великолепного и что-то *шепчущего вот лично Вам*, я думаю, таков был Авессалом. <...> Жил он (жена?), как кокотка, кушеточки, диванчики, тубареточки, шелк, бархат, цветы — камелии, альбомы из серебра etc. и всегда даст курсичке 10 р. „на родителей”, чем очаровывал бедняжек. Но — целомудрен и лично одевался скромно. Такого честолюбия я ни в ком не видел...» (ОР РГБ, ф. 249, М 3874, л. 1).

³⁷ Розанов сотрудничал с «Русским словом» с конца 1905 по 1912 год. Назревавшая ссора между ним и кругом Мережковского к 1912 году перешла в открытое противостояние. Мережковский и его друзья поставили редактору «Русского слова» Ф. И. Благову ультиматум: или они, или Розанов, — и Благов предпочел Мережковских.

³⁸ Трудно согласиться с этими словами: как раз к 1909 — 1910 годам у Розанова оттачивается форма «маленького фельетона», в которой, по моему мнению, просматриваются знаменитые «опавшие листья». Они, как известно, стали записываться именно в это время. «Ослабление» наступило в 1914 — 1915 годах и было вызвано скорее всего остракизмом, возбужденным в обществе бывшими друзьями Розанова.

³⁹ Продолжение издания «опавших листьев» Розанова сейчас осуществляет А. Н. Николюкин. Им уже изданы произведения этого жанра за 1914 и 1915 годы и находятся в печати «опавшие листья» за 1916 год. Они изданы под розановским названием «Мимолетное». Осталось издать «опавшие листья» за 1913 год (частично изданы в периодике) под заглавием «Сахарна» и за последние, 1917 — 1918 годы, что, вероятно, и исполнится. Наряду с «Апокалипсисом нашего времени», писавшимся с октября 1917 года до тех пор, пока рука писателя держала перо, Розанов писал и «опавшие листья». Формальное различие между тем и другим циклами: очерки «Апокалипсиса» всегда имеют заглавие, тогда как «опавшие листья», как правило, такового не имеют и часто начинаются с отточия. Тем не менее Розанов однажды говорил Э. Ф. Голлербаху в письме от августа 1918 года, что «„Апок.” есть „Опав. листья” — на одну определенную тему — инсurreкция против христианства» (см.: «Звезда», 1993, № 8, стр. 113).

⁴⁰ В творческом архиве писателя (РГАЛИ, ф. 419) находится много писем Розанова, которые были собраны после его смерти. Это усилия собирателей Розановских кружков в Петрограде (В. Р. Ховин, Э. Ф. Голлербах и другие) и Москве (П. А. Флоренский). Кроме того, много потрудился над собиранием «материалов для биографии» земляк Розанова по Нижнему Новгороду поэт Борис Садовской (ЦГИА г. Москвы, ф. 418, оп. 292, ед. хр. 266, л. 1). Но усилия были прерваны упомянутым в предисловии выступлением Л. Д. Троцкого.

⁴¹ «Лев и Агнец» — большой труд, который Розанов писал в 1897 году. Местонахождение рукописи остается неизвестным. «Хищное» и «кроткое» мира сего — вот основные символические темы этого сочинения. Об этом сочинении Розанов рассказывает в январском письме 1898 года А. А. Александрову, редактору «Русского обозрения» (см.: Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., «Московский рабочий», 1990, стр. 677 — 679), а также в письме к редактору «Вестника Европы»

М. М. Стасюлевичу (РГАЛИ, ф. 1167, оп. 2, ед. хр. 12). Основные идеи неизданной рукописи скорее всего «рассосались» в последующих статьях, посвященных египетским и семитическим темам.

⁴² В последние месяцы жизни Розанов, пережив небольшой удар, находился на одре болезни и немощи. См. выдержки из заключения врача Аркадия Владимировича Танина, записанного под диктовку священником Павлом Флоренским 9 марта 1919 года: «Движения правой руки и ступни левой ноги были затруднены. Мне казалось, что была некоторая затрудненность речи, выражавшаяся в шепелявости. Общее состояние <...> сердца было удовлетворительно, сознание было вполне ясное. Вообще В. В. Розанов до последней минуты сохранил полную ясность сознания... Когда я был у него во второй раз <...> мною было [найден] расстройство зрения в форме <...> выражавшееся в том, что больной видел только правую сторону предметов. Поэтому он <...> видел только правую половину слов на правой стороне страницы. Кроме того, у него было расстройство мочеиспускания в форме частых неудержимых позывов на мочу. Болезнь была мною диагностирована как тромбоз артерии в правой половине мозга на почве артериосклероза <...> Мною был назначен <...> кроме того, массаж левой руки. Вначале, под [воздействием] этого лечения, замечены некоторые улучшения: движения руки стали свободнее и расстройство зрения стало как будто [меньше]. Но потом вновь наступило ухудшение. Кроме того, под влиянием плохого питания общее истощение организма и <...> слабость все более увеличивались <...> Деятельность сердца также постепенно слабела. И когда я последний раз был приглашен к больному, накануне его смерти, то пульс был уже настолько слаб, что не оставалось никакого сомнения в близкой кончине больного, о чем я и сообщил его родным. Сознание все время оставалось ясным» (Архив священника Павла Флоренского).

⁴³ Розанов выехал из голодного Петрограда в конце августа (или начале сентября) 1917 года и, таким образом, прожил в Сергиевом Посаде около одного года и пяти месяцев.

⁴⁴ Розанов учился в Московском Императорском университете в 1878 — 1882 годах, снимая комнаты на 3-й Мещанской улице, меблированные комнаты в Брюсовом переулке, Денежном переулке, в Козихинских переулках.

⁴⁵ Розанов был похоронен на территории Гефсиманского скита, слева от церкви Черниговской Божией Матери, подле могилы К. Н. Леонтьева. В 1923 году могилы двух мыслителей наряду с другими могилами были срыты. В 1991 году была восстановлена могила Леонтьева по найденной плите, и в 1992 году была восстановлена могила Розанова, определенная по точной записи в дневнике Пришвина, посетившего кладбище в конце 1927 года с дочерью писателя Татьяной Васильевной Розановой. На могилах установлены дубовые православные кресты. С 1989 года 5 февраля на могиле совершается молебен настоятелем церкви Черниговской Божией Матери с братией, которые и ухаживают за могилами. Из Москвы ежегодно уже по традиции в этот день приезжает группа почитателей, посещает Лавру, могилу, дом Розанова и в районной библиотеке им. В. В. Розанова встречается с читателями.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН



ОКУНАЯСЬ В ЧЕХОВА

Из «Литературной коллекции»

«Егерь» (1885). Какой зрелый, сжатый рассказ, ни строчки лишней. Вмещает в малый диалог и всю историю этого несчастного брака и даже всю историю жизни егеря и даже его «мировоззрение». И сюжет-то истинный раскрывается мастерски (мимоходом!) только в середине рассказа — и ударяет нас дикостью: оказывается, уже 12 лет как венчаны! (А в начале кажется — какая-то случайная связь.) И избу поставил — другой, не ей.

Самыми простыми словами передана сила чувств: в горе брошенности Пелагея «смеётся, как дурочка»; закрывает рукой улыбку, «стыдясь своей радости» от встречи; вослед уходящему подымается на цыпочки, чтоб ещё раз увидеть белый картузик поверх поросли. С этим-то отчаянным чувством она и решилась 12 лет назад на брак с пьяным.

Какая переключка! Он: «Чтобы все степени мне были». — Она, через несколько слов и вовсе не как ответ: «Не степенное ваше дело»...

Сколько тепла и тоски. И эти три утки, ввысоке пролетевшие. Музыка, а не рассказ.

А вот «неподвижная, как статуя» — сюда не идёт. И слово «горизонт» — не в лексическом фоне.

«Горе» (1885). Как забирает рассказ — этот долгий, сбивчивый полутрезвый монолог, уже к покойнице. И опять — поместилась перед нами долгая жизнь в малых строках. Заблудшее чувство простонародного человека — хорошо Чехов чувствует, никакой фальши в монологе, ни в его опоминаниях потом — и от смерти старухи, и от собственной беды.

«Небось думает, я и взаправду такой», «Заказы брать, деньги бы старухе отдавать», — и ведь как же это многотипно в нашем народе: мастер — и пьяница.

Смерть передана так: на лице у старухи не тает снег; потом — голова бьёт о сани.

Но и тут: употреблены в авторской речи слова не в фоне с персонажами, с повествованием: «дорога ужасная» (никогда так простой человек не скажет и не подумает); «вся энергия [лошади] ушла на вытаскивание ног», «он болтает машинально»; «поле зрения».

А слов исконных, корневых, ярких русских — у Чехова почти не бывает (от южного детства?).

«Художество» (1886). Собственно — очерк, а не рассказ. И написан местами торопливо, комкано. Но — тёплый. И хорошо, что увековечил этот обряд.

Серёжка-мастер — опять ведь из того же народного русского типа, что егерь Егор.

А вот и тут: «неподвижно, как статуя» — и не идёт, и повтор.

А на полушубке клочья шерсти обвисают, как на линиящем псе, — как хорошо!

«Тоска» (1886). Опять: рассказ — по сути простонародный, как и три предыдущих (вот тебе и «интеллигентский» писатель) — верный взгляд *снизу* на всех этих петербургских...

Верное, простое, безысходное чувство потери — и этот болезненный переход у Ионы — к неестественному, некместному смеху: «гы-ы-ы», очень убеждает.

Уже в пассаже — «Кого оторвали от плуга и бросили сюда...», чудовищные огни, бегущие люди, двоится: кому это «тому нельзя не думать» — вроде: лошади. И в конце рассказа откликается уже классическим: «Таперя, скажем, у тебя жеребёночек, и ты этому жеребёночку родная мать...»

Иона «весь бел» под снегом — и достаточно бы; «как привидение» — добавка из реквизита приёмов, да и, предельно согнутый, какое он привидение? Гораздо сильней тут же рядом, вполне чеховское: «упади на него целый сугроб — не нашёл бы нужным стряхивать».

Опять выпадение из языкового фона: «Иона смотрит, *какой эффект* произвели его слова...» — И опять же — ни единого коренного русского слова, а ведь тут бы — как уместно!

«Анюта» (1886). Незабываемый рассказ, от первого прочтения — и навсегда. Жестокий рассказ — и тем жесточе, чем лаконичней. Уж такое невнимание? уж такое пренебрежение? Да...

И как трогательна Анюта. Пронзительна эта её покорность — то уходит прочь, то остаться.

А вот: подушки и таз с помоями «свалены в одну кучу»? — перо спешит.

«Ведьма» (1886). Тоже рассказ, который годами не забывается и ни с чем не спутаешь. Динамичный, и ничего лишнего. Никакой затяжки, объём точно соответствует сюжету. (У Чехова, очевидно, было очень верное чувство допустимого объёма.) И как умеренно, как точно дозирован юмор: чувствует эту пропорцию!

Очень верны оба характера, и язык их естественный, и естественно дьячок вспоминает все случаи по святым. И вся предыстория брака ввёрнута легко, мимоходом, без натяжки. — В контрасте белизны дьячихи с ею же запущенной обстановкой избы — как бы ещё раз повторена ситуация.

Почтальон, правда, почти никакой.

Неподходящее к ней (господское) сравнение: «Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьёт».

Но и тут есть срывы языкового фона: «*логика жены*», «*нервно заходила*», «*опозтизировал её*». И слабовато назвать такую мятель — «в природе каша».

«Шуточка» (1886). Очарование. Стихотворение в прозе. Со светлой грустью. С музыкой. (Нечастый пример *звукового* текста, ритмики у Чехова. Мне невозможно прочесть его свежими глазами: я его в юности учил наизусть, читал со сцены. И ни единого словесного срыва не нахожу и сегодня.)

«Агафья» (1886). В главном — рассказ превосходен. — Традиционное добавление сюда рассказчика (притом интеллигентного) не усиляет его, но может быть было неизбежно, чтобы видеть со стороны. (Прямо от Агафьи — никак бы не чеховская была манера.) И всё-таки — рассказчик тут не обязателен.

Очень верно, сильно передана Агафья, во всех изменениях её настроения — от робости, стыда перед чужим, отчаянности поступка, и, забываемо, как по лугу шла к мужу: «Никогда я ещё не видал такой походки ни у пьяных,

ни у трезвых» — корчило её от взгляда мужа, зигзаги, подгибались колени, пятилась, села.

А Савка — опять «артист-бездельник», почти тот же тип, что Егерь, сходный тип вот уже в третьем из немногих рассказов. С какой верностью дан! и — как соловья пошёл ловить, бросив любовницу.

Но — лаконичность всё-таки нарушается ненужными разъяснениями (накладные расходы на рассказчика?): «При всём своём мягкосердечии Савка презирал женщин, обходился с ними небрежно...» — совсем лишнее, и без того ясно. «И может быть это презрительное обращение и было одной из причин обаяния на деревенских дульциней...» (Режет и слово «дульциней», хотя при рассказчике тут языковые срывы как бы прощаются.) «Она страдала»... «Она, видимо, собралась с силами и решилась» (заключительная фраза — а лишняя).

«Очные ставки с летними ночами» — нехорошо.

Есть чудесное сравнение: «как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни»; ещё, свободное: «бледно-багровая полоска заката стала подёргиваться мелкими облачками, как уголья пеплом». Но обязательность ли непременно «делать сравнения» ведёт и к усильному: «Цветок на высоком стебле коснулся моей щеки, как ребёнок, который хочет дать понять, что не спит».

Ну, и: в потёмках рассказчик видит подробности чувств на лице и в жестах. Этого — нельзя.

«Кошмар» (1886). Невольно сопоставляю этот рассказ с «Архиереем». На 16 лет раньше того написан, а насколько жизненной взята церковная проблема, в её современном положении. (И ещё было бы значительней, если бы весь рассказ и был посвящён ей, не вставил бы Чехов, совсем отвлекаясь, этот эпизод с докторшей, полошущей бельё, — дрогнул, чтоб не остаться только вокруг церковного? расширить на «вообще сельскую интеллигенцию»? — но в этот рассказ уже не вмещается.)

Отец Яков показан во стольких мелочах быта, наружности, одежды, жестов, поведения, и все безупречно точны. Нелепая ряса, сборная мебель в доме, шушуканье о чае, слезливый блеск глаз, застенчивая почтительность, робость на кончике стула, спрятанный в карман кренделёк, неделя пешей проходки за местом писаря — ни убавить, ни прибавить, превосходная работа. И когда его прорывает в объяснение — то и тоже не в противоречие с предыдущим — и так, в свободном диалоге, всё естественно объясняется.

Позднедворянский интеллигент Кунин выписан гораздо приблизительней. Но — замечательно, конечно: эти две написанные проповеди; это долгое упорное верхоглядство (да ещё год перед тем совсем не поинтересовался церковью!), это самомнение, снисходительность, «благородный донос» архиерею — конечно тут многое схвачено из гибельных черт нашей тогдашней интеллигенции. Может быть — чуть-чуть и посмеивание от Чехова, не без публицистичности. А как несколько раз из храма выходит покурить — верно. (Храм-то нищий, убогий — какой трогательный.)

А в конце вдруг — совсем избыточный в рассказе разъяснительный абзац: «Так началась и завершилась искренняя потуга к полезной деятельности...», гораздо б лучше без него.

Вписаны повадки грача у дороги — хорош грач и укрепляет ткань рассказа; а — нужен ли здесь? — «Колонки у паперти походили на две некрасивые оглобли» — вот это метко.

«Святою ночью» (1886). И снова — на церковную тему, не оставляет она Чехова равнодушным, мучит его чувство поиска какой-то истины об этом. И вник в акафисты, в законы написания их. Но всё сводит — не к вере собственно, а к поэтическому восприятию её, для того и взял изо всех монахов

две поэтических души. (Оттого и, редкость для Чехова, внимание к составу слов, вот — «предлинновенный», «светоподательный».)

Но это — не рассказ, а поэтический очерк, без концентрации, ослаблен в конструкции, зато — с меланхолическим настроением, которое Чехову всегда удаётся.

Хороша картина столпления людей, лошадей, повозок перед воротами монастыря при свете костров. Лошадиные морды «точно вылитые из красной меди». «Звёзды шевелили своими лучами».

«Суетливое» пение пасхальной ночи — это неточно, даже несправедливо.

Опять: «оглядел» в полной темноте.

И трижды — «*слуэт мужика*», корябает ухо!

Монастырь (да не этот ли?) снова повторен в «Перекасти-поле» — но уже конкретный Святогорский, и там — сходная масса телег и лошадей (которым «не разъехаться»). Всё же — Чехов не разовый посетитель служб, он тянется к ним, но с силой ли веры — целомудренно не выражает этого, не узнать.

«Хористка» (1886). Превосходный рассказ; и однажды читавшему врезается навсегда. Совершенство по движению чувств всех троих. Образец — новеллы, не рассказа. Немеет всякий анализ.

Только: после того, что дама сказала «Вы гадкая», можно ли писать как заново: «Паша почувствовала, что производит на неё впечатление чего-то гадкого», — недосмотр.

«Несчастье» (1886). Большая верность в рассказе. В чувствах немало переживов, и Чехов проследил их, кажется, безупречно. Хорошая работа. — «Готова была расцеловать змейку» его булавки.

Диалоги звучат верно. Но от автора чуть-чуть лишние иногда объяснения: «Мелочность и эгоизм молодой природы никогда не сказались в ней так сильно, как...»; «её хвалёной добродетели...».

Хорошо: путаница, как трудно посчитать летящих воробьёв. А сосны и облака как подкупленные старые дядьки? — сомнительно. — Вообще часто пользуется малохарактерным словом «красивая».

Всё-таки: ещё бы строже, лаконичней, подразумеваемей. Но тогда не писали иначе, это в XX веке научились.

Название — интересно соотнесено. — И не передлинён рассказ, нет.

«Пустой случай» (1886). Дольше половины читается ненапряжённо, как бы оправдывая название рассказа. Мало правдоподобно, что за 15-вёрстную дорогу князь не разбеседовался со спутником ни о положении своих денежных дел, ни о взглядах на никчемность, пустоту всех видов служб — но именно всё это успеваешь втиснуть на последней версте, когда взволнован внезапно представшему встречей с его бывшей любовью. (И уклоняется от встречи.)

А вот развязка хороша: как глубоко взволновалась помещица, какая неушедшая сила любви. Но и тут порча — грубое сравнение несчастной женщины с собакой, которая «делает стойку с нетерпением „пиль“!» и спрятала лицо за драпировку (тут и остановиться бы!) «как будто почувствовала на глазах слёзы, которые хотела скрыть» — уж к чему это разъяснение?

А — выразительно беззащитный получился характер у князя.

«Даже цепочка на жилете улыбалась и старалась поразить нас своею деликатностью» — чуть с натяжкой. — Небрежность: «Чувствовал себя в своей тарелке». Без «о»: «с всегда занавешенными». (Конечно, тут твёрдый знак работал, а нам теперь всегда не хватает гласной.)

«В суде» (1886). Почти весь рассказ читается едва ли не как газетный очерк, а описание судебного разбирательства — даже с преувеличениями, какие позволял себе Толстой-публицист.

Судится — убийца своей жены. И вдруг — мгновенное обнажение: что конвоир — сын подсудимого, и — мог бы отвести обвинение от отца? — *где топор?* — да может быть тут роковая случайность? Но: «Подсудимый, говорить со стражей не дозволяется... (Блестящий новеллистический поворот. И тут выступает непонятая раньше спотычка конвоира...)»

«С до крайности утомлённым лицом» — зачем это громожденье предлогов?

Хорошее наречие: «сарайно».

А вот что: за 1886 год Чехов напечатал — 73 рассказа! (Начинал — ещё по полдюжины в год.) Так рассказ — в 5 дней? И — сколько хороших! Поразительный разгон.

В том же 1886 он впервые коснулся еврейской темы. И от этого первого же касания до последнего, на протяжении всего-то девяти лет из своей недолгой жизни, он держится перед ней без напряжённости, без стеснения, как будто нет в ней ничего особенного, неприкасаемого, запретного, и эта непринуждённость Чехова более всего и успешна.

«Тина» (1886). Тут видим не традиционный для русской литературы придушенный бедностью еврейский слой, но материально возвышенный, как уже встречается у Некрасова и Салтыкова, — богатую наследницу, и не чего-нибудь, а водочного завода, и не где-то в черте оседлости, но во внутренней губернии. Существует единодушный приговор этому рассказу: что он — грубая карикатура. Я с этим — никак не согласен. Уже в том, что чеховская естественность не делает заострения на собственно еврейской теме: она — отодвинута, она — только часть реального быта и обличья, а сюжет — в бесчестной соблазнительнице, и, будь бы она русская, полька или грузинка, никто б и не додумался упрекать, что это — карикатура. Рассказ — живой во плоти. К тому же, симметричными поступками ослабших духом братьев, вся серьёзность рассказа дважды снимается, он вообще сводится к юмору. Об органической связи поступков Сусанны с еврейством тут можно строить только предположения. Алчность к деньгам? кружение мыслей вокруг этого: «не придёшите?» и тщательные прятки денежного портфеля? Напротив: прямое, грубое похищение векселя, насильно вырвать из рук — уж вовсе не еврейский жест. — Но Чехов не может обойтись без густого описания быта: этот «приторно жасминовый запах» в непроветриваемой комнате, в спальне — окурки, конфетные бумажки, среди дня неприбранная постель; вещи, напиханные в лишней тесноте, «претензии на роскошь и моду оттеняли безвкусицу»; однако и оговаривается: «собственно еврейского в комнате ничего не было, кроме картины встречи Иакова с Исавом». Не может миновать и наружности: кислое лицо (оттого, что спала не вовремя), «длинный нос с острым кончиком и маленькой горбинкой» — а куда ж их денешь? И быстрые перемены в диалоге («какой, однако, длинный язык»), то: «Я очень часто бываю в церкви! У всех один Бог. Для образованного человека не так важна внешность, как идея», то — щеголянье своим еврейством: «Когда-нибудь вспомните: „Если б та пархатая жидовка не дала мне тогда денег...”», и если «взяла гостя за пуговицу», то может быть даже и демонстративно. То: «И вообще я, кажется, мало похожа на еврейку. Сильно выдаёт меня мой акцент?» То: «Я еврейка до мозга костей, без памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мне противно в нашей семитической крови, так это страсть к наживе». И внезапное короткое слияние этой страсти с сексуальностью — почему ж карикатура, а не явление жизни? «Глаза, не мигая, уставились на поручика, губы открылись и обнаружили стиснутые зубы. На всём лице, на шее, даже на груди задрожало злое кошачье выражение». — И заключают покорённые братья в слабое себе утешение: «Не красотой берёт, а наглостью и цинизмом», «другого такого хамелеона во всей России не сыщешь». Но тут нет обобщения на еврейство: это — лицо, это — персонаж.

Уже в следующем году, 1887, Чехов в пьесе «Иванов» даёт совсем противоположный тип еврейки — Сарры Абрамсон, которая, по сильной любви, ради замужества с христианином, переменила веру, ушла от богатства родителей, проклявших её («до каких пор будут ненавидеть меня отец и мать?.. день и ночь, даже во сне чувствую их ненависть»), «честная, умная, почти святая» — она вдруг обнаруживает, что муж разлюбил её, — и это её убивает, и очевидно всё вместе и вгоняет молодую женщину в смертельную чахотку. Его словами: «Все пять лет она угасала под тяжестью своих жертв, изнемогала в борьбе с совестью, но ни косога взгляда на меня, ни слова упрёка». То она — ласково уговаривает его быть с ней, то выражает запоздалое желание «кувыркаться на сене» — и убивается его ежевечерней тоской, постоянными отлучками из дому, пока не приходится ей своими глазами увидеть, как он целуется с девушкой. — Однако разработка её трагедии искажена и замутнена полной издурманностью её мужа Иванова: головной образ, плохо мотивирован, никакой ясности: не верится ни в прежнее «хорошее» прошлое его, небывалую энергию в добрых делах, ни как он потом «надорвался от непосильной ноши», неизвестно какой, и почему его теперь так непрерывно «душит злоба», и верно ли, что у него паралич воли, — всё это сведено к неразборному «чеховскому» нытью, которое и затмевает картину. В конце концов и Сарре остаётся только поверить сплетне, что он отначала женился лишь из расчёта на приданое, которого вот не получил, — а муж срывается ей в лицо: «Замолчи, жидовка!» — и безжалостно открывает ей скорую неизбежную смерть её. — И зрителю — жалко Сарру. И даже циничный старый граф-приживальщик, всё время передразнивавший Сарру то «фаршированной шукой», то изображая утрированный еврейский акцент, которого у неё вовсе и нет, — при виде виолончели зарыдал: «Жидовочку вспомнил... Мы с ней дуэты играли... чудная, превосходная женщина!» (Не следует и упустить, что именно в этой пьесе выведена богатая русская процентщица и непомерная скупердяйка Зинаида Саввишна — видимо не без авторского умысла и может быть — для равновесия с «Тиной»? Но в глазах критиков тот первоначальный «грех» Чехова нисколько не прощён и ради такой пьесы.)

Эта проблема — перехода еврея в христианство — именно в тот год привлекла внимание, а то и растревожила Чехова. Возможно, он испытал побуждение к тому от реальной встречи в престольные дни в Святогорском монастыре — с молодым Исааком, перекрещенным в «Александра Ивановича», — типичный и проблемный случай для молодёжи 80-х годов.

«Перекати-поле» (1887). Тут, кажется, и вовсе нет художественного вымысла, но посильные наблюдения и выводы. «Было в его лице что-то характерное, типичное, но что именно — я никак не мог понять», только — «толстые губы» да «особенный маслянистый блеск глаз», узкие плечи, не знал физического труда. Зорко и зримо передаёт нам Чехов и характер Исаака, и противоречивое, неустойчивое состояние его духа. Из его уст: «видя такой факт», «страшное психологическое расстройство», «вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта»; «скажите, какую бы мне почитать психологию?» (готовясь преподавать в церковно-приходской школе). Сказав умную фразу, поднимал бровь, будто: «Теперь вы наконец убедились, что я умный человек?» — и смотрит боком, как петух на зерно. И характер быстро расширяется, перерастает в *тип*, очень верно увиденный. «Беспокойный дух, который бросал его как шепку из города в город и который он, по всеобщему шаблону, называл стремлением к просвещению», «благоговейный страх» при перечислении замысловатых наук; и желание получить хорошее жалование: «сколько штегера получают?»; и — «вы слыхали про Грумахера?» (тот писал «очень умные» статьи); и трогательное отчаяние от того, что свернул каблук, остался без обуви, и радость от подаренных ему тут же штиблет, однако (дух поколения): «Я бы поблагодарил вас, но знаю, что вы благодарность считаете предрассудком». И — детские ласковые глаза. «Этот человек никогда не будет

иметь ни своего угла, ни определённого положения... Какое множество таких же перекаати-псле, ища, где лучше, шагало теперь по большим и просёлочным дорогам...»

А сосредоточивается Чехов рассмотреть и понять — проблему *смены веры* — этого тяжкого, болезненного жизненного шага. «Чем ярче воскресало в нём прошлое, тем сильнее чувствовался в его речи еврейский акцент». «Вспоминаю папашу и мамашу, и Могилёв, и Грумахера... молюсь Богу». «Мои родители ни за что не хотели учить меня, а хотели, чтобы я тоже занимался торговлей и не знал ничего, кроме талмуда». «Когда я в Новочеркасске принял православие, моя мамаша искала меня в Ростове. Она чувствовала, что я хочу переменить веру»; «без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережёт свою народность». — И по каким же мотивам переменял? Чехов дослушивается, доглядывается, но и сам остаётся и нас оставляет всё же в сомнении. Первый толчок с детства? видел офицеров, помещиков, «было соблазнительно и разбирала зависть». И вот — носит сорочку с вышитым русским воротом, «теперь ведь я православный и имею право быть учителем». И в настойчивое себе оправдание и подкрепление: «Когда лежал в больнице, я вспомнил [!] о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможна только одна религия, а именно христианская. Если не веришь в Христа, то уж больше не во что верить... Не правда ли?» — тон «лёгкого» переспроса. «Иудаизм отжил свой век и держится ещё только благодаря особенностям еврейского племени». — Но Чехов настойчиво ищет: «Если можно было верить, что он, как утверждал, принял православие по убеждению, то в чём состояло и на чём зиждилось это убеждение — из его слов понять было невозможно». Предположить, что ради выгоды? но: дешёвая одежонка, проживание на монастырских хлебах... («А не ходить в церковь неловко... Дают монахи номер, кормят, и как-то, знаете ли, совестно не ходить».) Тогда — от беспокойного духа? (Тут Чехов, наверно, ближе всего к решению.) Вот Исаак подбирал фразы, «как будто старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменяв религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступал как человек мыслящий и свободный от предрассудков». (Сюда и ещё черта: боялся оставаться в комнате один, «один на один со своею совестью»?) И убеждал себя, «и глазами просил моей помощи». А вот, при мощном крестном ходе в солнечный престольный день «лицо его сияло; вероятно, в эти минуты, когда кругом было столько народу и так светло, он был доволен и собой, и новой верой и своею совестью».

Очень глубокий по замыслу рассказ, и задевает душу. Этот «перекаати-поле» — какой существенный тип для того десятилетия, и ещё с неясным будущим развитием!

«На пути» (1886). Тип Лихарёва — пример бескрайней и непрерывной смены вер и убеждений, действительно не редок на Руси. И его долгий монолог о том введен автором непринуждённо (это чутьё — всегда у Чехова) и — по объяснимой причине: его новое увлечение — женщины, и вид женщины вызвал весь монолог. (Эта тема повторится в «Душечке». Но когда в долгом перечне вер пробрасывается мимоходом революционерство, которое уже сотрясает Россию, — это «уютный» уход от больших проблем, как будто море можно передать ложечкой.)

Не вполне ясно, зачем такая во всём «угловатая» и «колючая» Иловайская, да и девочка, — в контраст вере Лихарёва?

Очень по-чеховски — неразрешимость, несобытийность, недо-, недо-... Это почти и музыкальность придаёт. Тут — и расставальные снежинки на ресницах. Эпиграф из Лермонтова хорошо приложен. (Последний вид Лихарёва — белый утёс, занесён снегом.)

Хороша зимняя буря («оно», но передлинено). Игра ветра со звоном колоколов.

«Свой запах» Пасхи, Троицы и Рождества — это никак не стороннее Чехову, только очень скромно он выражает. «Вера есть способность духа, всё равно что талант». Да.

Свежее слово: «бездолье» и хорошо «распереписатель».

Сравнение с парходом — из записной книжки? сюда искусственно взято.

«Свирель» (1887). Меня ещё много лет назад, в детстве пронзил этот даже не рассказ, а очерк, мелодия. Ещё никакой природы не зная и не сравнив, я — сразу в него поверил. И за полвека, за жизнь не вижу причин усомниться. Наоборот, Чехов за 70 лет вперёд угадал все тревоги экологов и убедительнейше, неопровержимо их изложил, — наверно, да конечно, не из его одних впечатлений сложилось, какой-то вещей старик ему передал.

Лука Бедный — отличен. «Подумал и ничего не сказал». «Опять поглядел на небо, подумал, поморгал глазами». — И как нарастает апокалиптический мотив: «К худу, паря. Надо думать, к гибели... Пришла пора Божьему миру погибать» — «всё ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено» — какая глубина вполне крестьянского понимания мира. — «Всё время я Божьи дела примечая» — а лицо «как слезами, покрыто крупными брызгами дождя». — «На кой прах людям ум перед погибелью?»

А Мелитон — неудачный. — Сочетание крупного мужского тела, пискливого голоса и бабьей мелкости, это сочетание никак тут не работает и ни к чему оно. Только — точные охотничьи наблюдения у него.

А два раза «машинально» об игре Луки на свирели — ухо режет.

«Счастье» (1887). У кого ещё, кроме южанина Чехова, есть в полной силе и красоте степь? (И — как я всё узнаю и признаю по его описаниям.) Сколь-ко красоты в ней, не описанной писателями Средней России.

Степь, предутрие, восход, овцы, пастухи с герльгами, замершие у стада, — они и суть главное в этом рассказе, впечатляются в душу. Монотонный шум летней ночи. Серый фон зари. Белеющий восток. Млечный Путь, тающий, как снег. Хмуро-мутное предутреннее небо, не поймёшь, в облаках или нет. Первый утренний ветерок без шороха. Проснувшиеся грачи. Проступившие курганы. И вот — ночное всё заснуло, а лучи солнца ложатся по росистой траве. Застыли пастухи. Музыка.

Что «в ночном» разговоры об ужасах, страхах, колдовстве и кладах — это традиционно. Но Чехов сквозь традицию поднялся выше, и в этом второй успех рассказа. Народная этимология, когда клад так прямо и называется «счастьем», у него осмысливается уже философски: что это и есть несомненное *счастье*, вообще счастье, оно и в название пошло. — Сперва кажется неестественным, что 80-летний беззубый старик так полошится, вскакивает от волнения, никакой устоявшейся выдержки, а эту-то мысль Чехов и протягивает с неожиданностью: почему именно старые жадно ищут «счастья», а молодым оно и ни к чему. Это — свежая и мудрая постановка.

Ещё отличны народные мотивировки: паны и казна хотят отнять народное счастье (вон, уже курганы копают, а клады велят представлять по начальству, и как казаки после 1812 закопали трофеи с французов — чтоб только начальству не досталось). Это — пугачёвская глубина сохранилась и к концу XIX века, вот она скоро вспыхнет. Подметил, учуял, может быть и не придав большого значения.

Объездчик Пантелей, который почти не говорит, со всем согласен, всё это «знает», — здесь, в торжественной музыке предутренней степи — на месте, так. Но поскрёбывает, что его бездействие и со всем согласие напоминает Мелитона из «Свирели», повтор приёма.

По-прежнему разрешает себе Чехов (и это странно у писателя, столь требовательного к деталям) «видеть» то, что никак невозможно увидеть в темноте: величаво-сниходительное выражение Мелитона (и обоснование ему странное); пристальный взгляд молодого пастуха из-под чёрных бровей; не-

подвижный взгляд; выражение страха и любопытства в тёмных глазах; складки холщёвой рубахи; чёрную от загара спину. (А вот — короткое освещение лица от трубки — другое дело.)

Не первый раз встречаю фамильярное снижение в суждениях о природном, тут: «широкие полосы света, стараясь показать, что это не надоело им», — это недостойно предмета. — Так же и о мыслях овец лучше бы ничего не сказать, нежели: «вероятно, угнетали их самих до бесчувствия».

Зря-зря Чехов не дал старому пастуху украинского акцента (и даже переделал «бисова сила» на «бесова») — ведь несомненно хохол, и насколько б это сливалось со степью.

Но что это опять не в языковой фон: «жестикуляция», «после некоторого молчания»? «Факиры на молитве» тоже сюда не идут.

«Степь» (1888). Родилось, несомненно, как развитие «Счастья», оттуда толчок: ощутил, что ещё многое знает и мог бы написать о степи. И опёрся, очевидно, на свою же детскую поездку.

«История одной поездки» — она как будто и не претендует на композицию, — а совершенство! Особенно первые три главы, шедевр.

Какой сразу тон взят отначала! — лёгкого юмора, сердечности, привольности. Да выше того — общее ладное восприятие всей вселенной — через восприятие мальчика (бережно выдержанное в первых трёх главах; а в 4-й главе, не удержавшись в рамке, автор видит степь уже прямо от себя, от взрослого человека). «Уютное зеленое кладбище», «до своей смерти она была жива» (впрочем, от главы к главе мальчик понимает и рассуждает уже заметно взрослей).

Через всю повесть Чехов раскрывает степь — как единое, живое, главное, и с каким знанием её фауны и всего растущего, и с каким полным художественным впитыванием её пейзажных изменений. Первое явление её: нарастание и густая неподвижность зноя (главы 1-я и 2-я). Замечательно верно! — как узнаётся тем, кто это видел сам. (Может быть, Тургенев и Пришвин могли бы такое написать, но они этой полосы не знали.) И потом — «пение травы» — вместе с Егорушкой веришь, пока оказывается, что это — женщина вдали. Скульптурное стояние карапуза Тита, очаровательная сценка. — Второе явление степи — несостоявшаяся гроза, только порыв к ней («Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось»... и дальше абзац, и самый конец главы 2-й), — ведь это требует и тонкого наблюдения, и тонкого изображения, это же надо и наблюдать, и помнить. — Третье: состоявшаяся ночная гроза в главе 7-й — от багровой больной луны с вечера, потом фосфорические миги дальних молний, «где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше босиком», «чернота на небе раскрыла рот и дынула белым огнём», лапа тучи тянется к луне, разломалось небо — и явление трёх «великанов» с вилами. — В первой главе ещё раз после «Счастья» разработан степной восход.

Егорушку Чехов без труда мог бы провести терпеливо и дальше, не нарушая его восприятия, тогда был бы сплошной шедевр. А вот (в главе 3-й) просыпается Егорушка на постоялом дворе при входе, невиданном им, графини Драницкой: «Пахнуло лёгким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая чёрная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями». (Да почти только ради этого появления и введена в повесть графиня.) — Странно гнутые стулья — будто какой-то силач их согнул, забавляясь. Или: этот же силач каблуком пробил щели в полу. Очень верна и картина разбаливания мальчика — уж это у Чехова всегда безупречно. А дальше — повесть выходит за пределы того, как видит и понимает мальчик.

К тому, правда, и подводчики — фигуры либо свежие (Вася со сверхострыми глазами; безголосый певчий Емельян), или просто типичные (озорник Дымов, степенный многоопытный Пантелей). И все характеры их, поведение, разговоры очень верны, кроме одного: почему они все как будто великороссы, а не украинцы? «В церкви все были хохлы», и счастливец, набредший на кос-

тёр, — хохол, — а почему ж ни одной украинской фразы? Не могу допустить, чтобы Чехов не владел украинской речью. Счёл применение её сплошь — приёмом слишком натуралистическим? Но тогда можно было дать — колоритом, дыханием, отдельно вкрапленными словами, чтобы хоть напоминать нам, что это — таврическая степь. — А разговор, взятый как русский народный, — весьма хорош: и по неточной направленности, и по ускользающему смыслу. В диалогах — Чехову *никогда* не отказывает ухо.

А вот отклонения в авторском языке, нарушающие фон персонажа, — это портит, и Чехов за этим почему-то не очень следит. В повести от мальчика: «усечённый конус», «губные согласные», «развивать мысль», «в заключение попробовал», «чувство вымысла», «фанатизм», «в высокой степени поэтическая», «по всей вероятности» (и о чём? что, наверное, перекаати-поле взмело к самой туче)... Несколько раз «горизонт» — а поблизости как хорошо: «там, где небо сходится с землёй».

И здесь опять: сквозь мглу — а всё видно.

Много о ночных птицах, почему ни разу о летучих мышах?

«Вкусный запах кожи и дёгтя». А от кучи денег — «запах гнилых яблок и керосина».

Сравнения часто находчивые, свежие. Но природа через человеческий быт и понятия («дождь и рогожа поняли друг друга») — не нравится мне почти нигде.

«Русский человек любит вспоминать, не любит жить» — этот афоризм нахожу весьма неточным.

А какой замечательный о. Христофор — даже трудно найти в русской литературе, даже у Лескова, — такого светящегося и такого *жизненного* христианина: и как кафизмы свои читает неуклонно, и как едет шерсть продать для неумелого зятя. — Каково смирение его: покинул успешные науки по воле родителей, «послушание паче поста и молитвы». «Всю свою жизнь не знал такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу». «Счастливей меня во всём городе человека нет, ничего не желаю». — Совмещает внутреннюю молитвенность, и полный житейский смысл, и ласковую заботу о чужом ребёнке. И запах от него: кипариса и сухих васильков. И какие прекрасные жизненные нравования из уст отца Христофора.

Но как же и Чехов сердечно отзывчив к церковной теме, как часто возвращается к ней в разных рассказах. Сколько ж заложено в нём этого тихого влечения — в образцованский век. — «Старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние».

Очень нравственная повесть.

Беглей, но так же метко и безошибочно дан сухой Кузьмичёв. «И за молитвой в церкви, когда пели „Иже херувимы“, думал о своих делах» — ведь высшую духовную точку литургии Чехов привлёк. — Властные отношения с Дениской, так что тот смеет брать себе еду только похуже, огурцы-желтяки. Да вот, племянник Егорушка мешает ему в пути, взял купец его нехотя, но исполняет обещанное честно.

Неожиданно и очень ярко вклинивается в «Степь» еврейская тема. Это — постоянный двор (в неприятном помещении — «Правила с двуглавым орлом», гравюра «Равнодушие человеков») и два брата: Мойсей Мойсеевич и Соломон. Автор описывает их как просто очередных в галерее встреченных в путешествии.

Оба брата — зримо узнаваемы. Мойсей Мойсеич вылеплен без каких-либо прямых характеристик от автора (ибо увидено всё — глазами ребёнка) — только жестами и речью, но с какой же полнотой. Шумные проявления показной

радости приёма постояльцев (и угадываешь в ней не только деловую услужливость для барыша, но и — униженность годами да при боязни грубых выходов брата Соломона). Всплескивания руками то в радости, то в ужасе, а фалды как крылья. Многословный поток приветственной речи, и вдруг «диким, придушенным голосом, будто кто тонул или звал на помощь: — Соломон!» И снова: «выставил вперёд ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой» умоляет. «Из приличия» вслед за гостем и смеётся и кашляет. Взятая за живот — и, от судорожного будто бы смеха, — еле устаивает на ногах. (И пугливо-подозрительно всё смотрит на Соломона.) Проезжие начинают считать большие деньги (характерно, что, как и в «Иванове», тут — их русские считают, а не евреи) — и Мойсей Мойсеич «skonфузился, встал, как не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и, балансируя руками, вышел из комнаты», — какая живопись, скульптурность! И возвращается потом, «стараясь не глядеть на кучу денег». В своё время он получил в наследство 6 тысяч рублей, купил вот этот постоялый двор, имеет «шесть деточек» и крутится в заботах. И разумно обижен на Соломона: зачем же тот свои 6 тысяч сжёг, а не отдал брату? — «грубитель» и «много об себе понимает».

Обстановка дана тягостной. Постоялый двор ничем не огорожен; на бархатной жилетке хозяина — «рыжие цветы, похожие на гигантских клопов». В комнатах пахнет «чем-то затхлым и кислым», тряпье навалом в спальне (через мальчика автор вводит нас и туда), большая постель под сальным стёганым одеялом, кудрявые детские головки из-под того одеяла — и долгий диалог мужа и жены, подарить ли проезжему мальчику пряник.

Но Соломон! Наружность — не сказать, чтобы прямо помогала понять внутреннее: «рыжий, с большим птичьим носом, с плешью среди жёстких кудрявых волос», жирные губы. Зато — жесты, мимика! Вошёл «не здороваясь, а как-то странно улыбаясь». Ставит на стол поднос — а сам «насмешливо глядит в сторону и странно улыбается». В его улыбке «много чувств, но преобладает явное презрение», «хитрые выпученные глаза напряжены», «вызывающая, надменная, презрительная поза» — и вместе с тем «в высшей степени жалкая и комическая». Однако он «презирал и ненавидел серьёзно, но это не шло к ошипанной фигурке». Не отвечает на вопросы постояльцев, но остаётся присутствовать при счёте их денег. Потом мы слышим и его рассуждения: «Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие — у Варламова, а если бы я имел 10 миллионов...»; «нет такого барина, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого»; «я свои деньги спалил в печке» (каков характер!). «Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы и не нужно, чтоб меня боялись». Но говорил он «голосом глухим и сиплым от душившейся его ненависти, картавя и спеша» и при этом впадая в утрированный еврейский акцент, — говорил о евреях, очевидно что-то разоблачительное, об их привычке гнуться и унижаться. И вот только тут, при вечерней лампе, автор нам являет лицо Соломона «в три четверти», «когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие насмешливые глаза, надменное выражение... делали его теперь похожим не на шута, а, вероятно, на нечистого духа».

Здесь Чеховым совершён следующий важный шаг от Исаака-«Александра Ивановича», это — продолжение и возвышение образа, с угадкой будущего — не в этом уже поколении, в следующем: Соломон пока — не революционер. Но сила ненависти в нём — это крупно и дальне движущая пружина. Из таких-то следующих Соломонов — успешно восстанут «кожаные куртки» военного коммунизма и 20-х годов.

«Враги» (1887). Сюжет — замечательно найден: столкновение двух горь, из которых одно от сытости, другое от тяготы. — И динамичен. И почти не зятанут — если бы автор не разжижил его своими разъяснениями: что именно за чувства и какие за ними стоят значения. И хотя в этих объяснениях нет ошибок, они верны (что «бывает едва уловимая красота человеческого горя»; что

высшее выражение счастья или несчастья — чаще всего безмолвие; «в обоих случаях эгоизм несчастных») — но именно они и мешают. Без объяснений этот диалог двух горь — настолько был бы сильнее, такой разлаженный, друг друга не слышащий.

Очень верен доктор на первых страницах, пока ещё не принял решения ехать, и эта правая нога, поднимаемая больше, чем левая; ищет руками дверных косяков. Да и до конца рассказа — верен.

И как верен мёртвый мальчик: с удивлённым выражением лица, а глаза темнеют, как уходит вовглубь черепа. И — всё, и достаточно.

Но в этом рассказе есть и несвойственное Чехову длинное описание наружностей.

Весьма уж натянутое сравнение: сентябрьская ночная земля «как падшая женщина, которая одна сидит в тёмной комнате и старается не думать о прошлом». — А в комнате от сильно бледного лица как будто стало светлей — это очень выразительно.

В ходе чтения долго непонятно название: откуда тут могут возникнуть «враги»? В конце объясняется: социальные враги. И — понятна докторская обида Чехова. Однако слишком прямой поворот, или это только нам, наглотавшимся социальности? В то время — звучало призывно граждански.

«Полинька» (1887). Модистка, не могущая побороть ухаживаний студента, — у влюблённого в неё приказчика, пришла за покупками. — Какой мастерский, какой блистательный рассказ! Изумительная переслойка магазинного разговора по выбору галантерейного товара — и разговора о чувствах. С каким вкусом это переслоено, нигде не перебрано (и сколько же знания о самом товаре!). — И какие верные характеры. Ну, мастерство!

«Верочка» (1887). Сюжет оставляет ноющее чувство. Этот рассказ — который запоминается и в большом ряду самых разнообразных чеховских рассказов. В этой проходке в августовскую туманно-лунную ночь (да, такие именно ночи иногда бывают в августе) — содержится какое-то огромное обобщение, как символ тогдашней русской жизни.

Верочка — как отлитая, и в её повседневной уютности-полунебрежности, и в момент объяснения — каждый жест и поступок, и «придушенный от волнения голос». — А этакий статистик в 29 лет хотя и возможен, но недообъяснён нам: такова сила научной страсти в нём? или уж такая лень души?

Световые эффекты — все очень хороши.

«На страстной неделе» (1887). Очень мило, славный юмор и теплота. И ведь тоже — автобиографично. Бывал, бывал Чехов в детстве в церкви, и ещё в молодости касался не раз. Чистая у него душа.

«Следователь» (1887). Хорошо построено. И — психологическая спираль, и детектив. По пути на вскрытие, которое следователь и врач полномочны объяснить и квалифицировать, а пока — отвлечённый рассказ о другом случае, загадочной смерти некоей женщины. И никто же он, как именно следователь, — а на своей собственной жене не догадался, подсказывает врач: умереть, только бы казнить мужа — да, это бывает. (Но при таком ли славном характере, какую следователь вспоминает свою жену?)

Что ж за богатый диапазон у Чехова в искусстве рассказа.

«Попрыгунья» (1892). Совершенно не в манере Чехова: прямая сатиричность, издёвка. Утрировка, никак не свойственная Чехову. Прямолинейность, все штрихи резкие до последней определённости, почти ничего не оставлено на подразумеваемость. Но и выявляет в Чехове здорового труженика-созидателя.

Хотя в общем-то вся эта богемная компания — она такая и есть, не столько уж и преувеличений. Да и: косвенно переложенный монолог Рябов-

ского на пароходе — даже и не утрирован, это вот так заумно-туманно и говорилось. Сцена на волжском пароходе — вообще хороша. (И умели же писать страсть без секса, а теперь не умеют.)

А Ольга Ивановна — почти и преувеличений-то нет, верна: и — такие женщины бывают, и — такое бывает в иных женщинах, да. И даже узнав о дифтерите мужа — идёт посмотреть себя в зеркале. В болезни мужа — всё занята разлукой с Рябовским. Раскаянье её — импульсивно, совсем не глубоко, не продержится долго после смерти Дымова. — Такие женщины — бедствие для тех, кто касается их.

А великодушное терпение Дымова и услужливость его к гадким ничтожным гостям — уже немо кричит нам, так что нельзя читать без возмущения: да когда же он, наконец, взорвётся? И находка автора, что — никогда, так никогда и не взорвётся. Где край этому неправдоподобному терпению? Объяснить его безмерной любовью к жене? — так нет этой любви. А есть — непомерное, невообразимое благородство. И когда это завершается смертью — то постройка (драматической силы, тоже не характерной для Чехова) вот и завершена. И уже — лишние, ослабляют назидательные разъяснения, какой он был великий человек.

«Не мог смотреть жене в глаза, как будто у него была совесть нечиста» — как верно.

А вороны, кричащие Волге: «голая», — вряд ли находка.

«В ссылке» (1892). Просто поразительно, как Чехов так переимчиво и полно воспринял и передал мирочувствие вечного ээка, вечного ссыльного, *семикасторжного* (отличное слово). Чтоб этим проникнуться — надо самому прожить и много лет таких. Но он — от случайного ли разговора у костра? — воспринял и передал Семёна Толкового! Тут — ни убавить, ни прибавить, это — как отлито. «Могу голый на земле спать, и траву жрать, и дай Бог всякому такой жизни» — «Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал». — «На этом свете нет надобности спешить». — «Люди веки вечные ездят, а всё никакого толку». Замечательно!

Да и другие три перевозчика, никак не описанные, видно тоже близки к тому: распахнутую в избе дверь никто не поднялся закрыть, так и заснули.

И только бедный многообиденный и ранимый татарин — мечется, оттеняя безжалостную мудрость Толкового. «Камню надо ничего и тебе ничего — и Бог тебя не любит!» Очень тут у места этот татарин, именно такой. (И автор сочувствует именно его взгляду.)

И как, малыми средствами, кратко и неопровержимо передана лютая суровость местности.

Барин — уже на втором плане, как частная иллюстрация.

Великолепный рассказ! — из лучших чеховских. (Повесомей всего его «Сахалина».)

«Палата № 6» (1892). От самого начала читается как натуралистический («физиологический» говорили прежде) очерк, безо всякого движения. Но когда позже, с медленным-медленным развитием, начинается и сюжет — всё равно читается трудно. (Дальше тяжесть добавляется, конечно, и от поворота сюжета.) Растянутое мучительство и в жизни главного героя, но — и как авторский метод. Рассказ (скорее — повесть) отяжеляется и рыхлой композицией, растянутостью (совершенно лишняя вставная поездка в Москву и в Варшаву, а их и не видно ни глазком) и разнохарактерностью глав. Всё это вместе — делает повесть литературно малоудачной.

С почтмейстером сперва тонко: Рагину, по жажде, кажется, что он нашёл понимающего человека. С юмором, как почтмейстер подлаживается: «Захотели от нынешних ума», и какая была прежде в России «умная интеллигенция»: дать займы без векселя, походы, приключения, стычки, «какие женщины», «а

как пили! как ели, какие отчаянные были либералы!» — И — хватило бы на том, на этом бы можно и кончить образ. Но Чехов ещё долго продолжает его, всё более выступающую пошлость (разоблачение дворян, отставных военных — а ведь уж не ново, да и не находчиво). И если уж так явно пошёл, то как же Рагин мог долго утешаться в «умных» разговорах с ним?

Но, конечно, с большим знанием описаны все симптомы и истинных болезней, и мнимой болезни Рагина. И ужасное состояние больницы и амбулаторного приёма.

Несомненно, повесть имеет философскую вертикаль: о соотношении мировоззрений людей, страдавших и не страдавших. Но эта проблема открыта ещё в древности. Есть удачные повороты её: «Если человечество научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию». И потом — жестокое опровержение: что отнюдь не «всё равно», где быть и в каком состоянии. — Столкновение мыслей из Марка Аврелия — и жизненного чувства Ивана Дмитриевича.

Однако этот философский вопрос поставлен как бы не в общечеловеческом виде, как трагедия одинокого ума, а: что всех и всё губит российская действительность, насквозь отвратительная. Весь вокруг провинциальный русский город — как слитное рыло. Так это опять — обличительное искажение? Выписывание уродств, начатое Гоголем, — и катилось до Горького, впрягался и Бунин, вот и Чехов. И даже вот прямым текстом: «Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашёл во всём городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший». А ведь это — тогдашнее социальное поветрие.

И вот же: как будто — у важного стержня жизни, а — не на главном. (А Достоевский *всегда* на главном.) И получается: ещё добавка к серии брюзжаний о пустых ненужностях и нескладностях русской жизни.

Но что действительно по-русски: что, имея такие высокие взгляды, Рагин не только не борется с мерзостью, но и способствует общему ходу её. Вся его философия — философия лежебока на краю помойной ямы. И в этом смысле — он даже более нарицательный тип, чем Обломов, или уж не менее: умственное успокоение, утопая в грязи! И может быть и привился бы как нарицательный, если б не малая ошибка автора: он не пользуется его фамилией, ни разу её не повторяет, а «Андрей Ефимович» неразличимо стирается вместе с «Михаилом Аверьяновичем» и «Евгением Фёдоровичем» (закрой книжку — и ни одного этого сочетания не вспомнишь, только «Иван Дмитриевич»; другое дело — Никита или Мосейка — с его услужливостью, беззлобием, детской весёлостью).

Как начинается интрига против Рагина, драматический с ним поворот — это берёт за живое, больно читать. И хорошо передано жуткое ощущение от *посаженности*, от невозможности жить и жить в этом бессмыслии. (Но слишком быстрый, лёгкий выход через смерть. Сильней было бы: остаться ему вот так.)

Есть в этом — и как пророчество: о будущих советских психушках.

Иван Дмитриевич — живой; хороша сцена, как от гнева на Рагина переходит к умственному разговору. Но и: слишком уж прозорлив, знает о Рагине, чего знать никак не может, это уже — прямая проповедь от автора.

«Скрипка Ротшильда» (1894). Этим рассказом Чехов продолжает втекать во всё то же заунывное и давно не новое «разоблачительство русской жизни». — Для этого он конструирует довольно искусственный образ гробовщика Якова Иванова — искусственный не только по многодесятилетнему отсутствию в нём движения живого чувства к жене или людям (даже в памяти не осталось, что у него была дочь), но даже и по хозяйственному смыслу его жизни: при умеренно гипертрофированной тревоге об убытках — по понедельникам не работает из-за того, что «тяжёлый день», а и детские гробики делает неохотно: «не люблю заниматься чепухой». И от гробов, мол, нет заработка, «мало умирают». Какое же и самое низшее по интеллекту человеческое существо в таких случа-

ях не искало бы других заработков? Их нет? Но в предзаключительной сцене у реки Якову открывается, что их было много, он просто не занялся ими — не догадался? — да это же дурной анекдот.

Следующая искусственность: этому совершенно тупому работяге придаётся язык полуобразованности, которого ему никак бы не освоить: «мой предмет», «благодарим за вашу приятность»; «всякому насекомому жить хочется» — о жене.

И в это его состояние неизменного раздражения и злости — вносится скрипка, и даже прочувственная игра на ней. Или это — нацело искусственная приставка, или бы это отзывалось на душе Якова и во многих случаях его жизни. Но второго нет — значит, придуманность (или как символ упущенных возможностей?). И — с каким же чувством играл на скрипке русские песни, всех трогало. И, перед смертью, сел на порожке играть на скрипке. (Сцена, впрочем, слишком картинная.)

В эту безотрадную, беспросветную жизнь надо же было внести тёплые пятна. И это дано через *счастливое* выражение умирающей жены, затем через чувствительного, многообиденного, а потом и облагодетельствованного Ротшильда.

Сюжет с флейтистом Ротшильдом приставлен сюда как бы из другого рассказа. Но от того, что еврейский персонаж приставлен к куску — как тогда виделось Чехову, да всей интеллигенции, — безнадёжно и безысходно тупой русской жизни, он, по контрасту, лишь выигрывает — свою более тонкой духовной организацией. Уж тут, кажется, никто не упрекнёт Чехова в недожелательности к евреям. Ну, Шацкес берёт себе больше половины дохода «жидовского» оркестра — так это дело внутривеерейское. А Ротшильд (удачен и печально-комичен выбор фамилии) — «хрупкая деликатная фигура», у него флейта «плачет», и на всё происходящее он отзывается с сильным душевным движением. Хотя весь образ написан сентиментально (и даже в некоей традиции сентиментально-сочувственного изображения) — но неправды тут нет. «Красные и синие жилки на лице», рыжие веснушки, тощость — эти мазки Чехов смело кладёт в общий благоприятный для Ротшильда оборот сюжета. И грубость Якова к нему — работает в том же направлении, и погоня за ним мальчишек и собак. Живо видно и как он «присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов», «вздрагивала длинная тощая спина», он «подпрыгивал, всплескивал руками», «от страха делает руками знаки, будто хочет показать на пальцах, который час»; от игры Якова испуганное выражение на лице Ротшильда «сменилось скорбным и страдальческим». — Этой сценной предсмертной игры гробовщика и затем наследственной передачей скрипки Ротшильду — вносится примирение во весь сюжет рассказа. — А можно услышать в нём и призыв символический к русско-еврейскому примирению вообще?

«Мужики» (1897). Чехова с годами всё больше тянуло не на короткие стройные рассказы — а на повести. Таковы и «Мужики». Даже это и не повесть — а цепь несвязанных эпизодов, сбор очерков, на отдельные темы каждый, — но, правда, объединённый общим настроением.

Весь этот сбор очерков претендует на *суммарное* суждение о русской деревне, — и тут Чехов впадает (как и Горький, как за ними и Бунин) в ошибку слепоты: остаётся непонятным: кто же кормит Россию? и на чём изобильная Россия стоит? Чехов истрачивает талант если не в ложном (нет, не в ложном), то в искривлённом направлении. Упускается — тот глубокий *смысл труда* и живой *интерес к труду*, который и держит крестьянство духовно, и веками.

Однако преимущество перед идеологизированной «Деревней» Бунина — больша́я талантливость изображения, непринуждённый чеховский талант никак себе не изменяет, что видит — он видит и передаёт нам ярко. (Только видит, увы, — не всё.)

Прежде всего — ярки и самоособенны все характеры, даже при малом объёме описания каждого из них: отчётливый Николай Чикильдеев («об эту пору в „Славянском базаре” обеда», и как перед смертью примеряет свой фрак, прячет снова в сундук); и бешеный вопьянец, пристыженный после хмеля Кирьяк; очень верная старуха; и Марья; и Ольга (устойчивая молитвенная настроенность и «господа все приличные» в Москве); и Саша, перенявшая её умильно-церковный тон; и Мотька, хотя о ней так мало: стояла на камне, отвечала басом, потом плеснула молока бабке в пост, чтоб отправить её в ад; и уж, конечно, Фёкла (и первые пощёлки в дармоедстве, ударила Ольгу коромыслом, и прибежала раздетая со своих побегушек). Пожалуй, перебрано, но сильно воспринимается: в церкви при громких восклицаниях дьякона Марья вздрагивает: ей слышится «Ма-арья!» Кирьяка. — Только Антип Седельников, молодой староста, дан описательным пересказом, но тоже убедительно, и язык верный: «Причина вся водка, и озорники очень» (почему податей не платят). — Тут и пристав, которому так это всё надоело, но о том не сказано, а: «Покойным, ровным тоном, точно просил воды: „Пошёл вон!”».

Конечно, великолепна картина пожара — удивительно живописная. Как «померкла луна» при разгаре пожара, «красные овцы», «розовые голуби». (Чехов и здесь, и везде зорко следит за световыми эффектами, и хорошо чувствует их, ещё например: при последних звёздах лица кажутся смуглыми; когда в избе загородят лампу от окна — в окно светит луна.) И — общая картина выноса вещей на улицу, выгона скота. И как пьяные мужики, вышедшие из трактира, без сил катят пожарную машину, некоторые падают. И во всём бы верно, но общая предвзятость к мужикам приводит к такой кричащей неверности: мол, все «мужики стояли толпой, ничего не делая, никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел» — это фальшь, небылица. А вот: студент так энергично и умело тушит, «будто тушение пожаров было для него привычным делом», — ну, разве что сам из деревенских. (А вот Глеб Успенский видел иначе, хотя не на мужиках, но тоже простонародное: при пожарном набате — где вечная апатия жителей? Этот соня, «который целые дни не знает, куда деться от тоски и бессилия, таскает руками обгорелые доски, пропорол подошву гвоздём и не чувствует боли в жару хлопот».)

И перекося в завершающем (гл. 9) приговоре о мужиках — как будто от Ольги, а нет — от автора, и сплошная же публицистика. (И где это — боялись мужики озноба, «даже летом одевались тепло»?)

Прелестно о манере гусака («поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идёт ли старуха с палкой») и другие подобные, всюду рассыпанные у него блёстки. И степи чуть коснулся в конце — и опять хорошо. — А вот (гл. 9) в общем рассуждении о весеннем закате — хорошо, но выбивается из тона персонажей: не от кого, как прямо от автора.

И все верности быта (умрачённый вид не малой же избы, и как Кирьяк бьёт Марью, и всеобщая привычка к брани), а то и неверности — только работают на помощь той слеповатой традиции в описании крестьянства. Где светлость степного «Счастья»?..

Интересно, что и здесь мельком, и отчасти с недоверчивой усмешкой, услышано то, о чём настойчиво и отчётливо писал Успенский: что немало крестьян жалеют о прежней крепостной жизни: «При господах лучше было. И работаешь, и ешь, и спишь, всё своим чередом. И строгости было больше, всякий себя помнил». — И дальше Чехов ощупью: утеряна какая-то тайна их жизни? какая-то вера? А теперь, мол, не осталось тайн.

Не то чтобы не осталось, но очень жестокая, продувная жизнь, к которой патриархальное крестьянство не было готово, и никто из правящих, ведущих общество, не позаботился подготовить. На этом жестоком продувном ветре ускорилось разложение крестьянства, потеря христианской веры, а с тем и приближение революции.

Шутливо, но метко: никто из крестьян не знает, что такое земство, но все и во всём его винят. Ах, и земства ведь «не объяснили». А главное — не дали волостного. Сколько этой безголовости было, царь за царём.

О вере — несколько раз, а предпоследняя глава (8) и целиком и полностью посвящена ей. Но в общем тоне здешнего недогляда к крестьянской душе — автор и в оценке веры не кажется вполне убедительным. Слабая вера у деда — этого, отдельного, — возможна, но другие-то деды не таковы; слабая вера бабки — совсем маловероятно. Слабая вера молодёжи? — да, как раз уже не мало у кого, но это-то Чехов как бы заслонил неоднократным красивым шествием разодетых девушек в церковь. Чтобы Марья не знала «Отче наш» — не верю: может твердить не вникая, может не знать других молитв, но «Отче наш»? И даже «бывала рада», когда у неё умирают дети? — не то слово, не то чувство. — Однако автор утверждает, и прямо от себя: «В прочих семьях было почти то же самое: мало кто верил, мало кто понимал». Второе верно, а первое нет.

Другое дело: жуткое питьё по праздникам, что там от веры? Другое дело — церковные грехи: с неговевших батюшка собирает на Пасху по 15 копеек. А помещицы дочери входят в храм во время чтения Евангелия, и не стеснены этим...

Всему тому противопоставлена истово верующая Ольга (с подражающей ей Сашей) — но богомольство её и приговоры о смирении Чехов утрирует: ходя по богомольям, «забывала о семье». Всё ж — не монашка ведь, многие годы замужем.

И чего опять нет как нет, и что удивительно в мужицкой повести: совсем никто из крестьян не употребил ни одного сочного русского слова. Разве один раз «не добытчик ты», — так и не находка.

«Ионыч» (1898). Очень *жизненный* рассказ — до такой степени без вымысла: и постепенное духовное ожирение Ионыча, и резкая самоуверенность провинциальной девицы, потом крушение её пианизма. И ничего особенного в этой истории, рядовая — а уж очень верно.

И в столь малом рассказе — такая плотная динамика превращения Ионыча. Виден «языческий бог», веришь: как осматривает дом для покупки, как кричит на больных. Только вот — чтоб сын дьячка, да зонтиком по спине кучера?..

И у Кати: «какое это счастье — помогать страдальцам, служить народу» — после жизненного крушения придуманный идеал, чтобы понравиться.

А ещё — только родители Туркины, никого в рассказе больше и нет. Удачен этот язык, «выработанный долгими упражнениями в остроумии», коверканые слова, ведь это нередко. — Интересно, что этот мнимый юмор Чехов использует не для смеха, а как задыхание в пошлости, комические черты — для уныния и угнетения читателя.

Но вот примечательно: и этот приём, как уже столько раз у Чехова, направлен всё в то же пустое и мрачное пространство: как пошло, тупо, бездарно мы живём — *все сплошь*, вот, мол, — такова «лучшая» семья губернского города. Вот так, значит, и во всей России. Сам ли Чехов искренно не видит нигде в России — людей деловых, умных, энергичных создателей, которыми только и стоит страна, — или так внушено вождями общества и предшествующими литераторами? И почему же он — не прорвётся через внушение? откуда эта несопротивляемость мысли у столь наблюдательного человека? С другой стороны, осуждая Ионыча, не преминует вложить ему (как любимое авторское?) эти надоевшие общие плоскости: «нужно трудиться, без труда жить нельзя», «никто ничем не интересовался» и *всё*, что говорили люди, «было неинтересно, несправедливо, глупо». С таким ощущением — и правда завоешь, даже и сорока лет не проживёшь.

Но! — кладбище при луне, это отдельная поэма, высочайшего класса, своей яркостью и силой даже выпадает из этого унылого рассказа. Из лучших кусков чеховской прозы.

«Чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее»...

Не пропустим и такое, очень милое: «В здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку».

А вообще — есть у Чехова рассказы и болезненные (как «Володя»), и вялые очерки без цели (как «Холодная кровь»), и растянутые, несостроенные. Среди повестей (обычно — из интеллигентской жизни) — и довольно рыхлые, с некрепкой композицией.

Не случайно Чехов не написал ни одного большого романа? От этой слабости композиции при растущих объёмах? От недостатка общей энергии? От недостатка терпеливости работать над перестройками, перебросками, пересоединениями, неизбежными в романе? (Всегда просит издательство присылать ему корректуры для исправлений — так и малые рассказы не доработаны сразу?) А главное: для романного обзора, охвата — нужны ведущие мысли. А у Чехова чаще вот эти бесконтурные: благородство труда! надо трудиться! или: через 20-30-200 лет будет счастливая жизнь. И общественные процессы, проходящие при нём в России, у него смазаны в контурах. (Д. С. Лихачёв настаивал: у Чехова нет чувства русской истории; может быть и так.) Нет у него общей, ведущей, большой своеобразной идеи, которая сама бы требовала романной формы. — Для 1903 года «Невеста» — ну, пониманье ли это общественно-го процесса?

А общий образ Чехова — какой светлый! какой нежный!

«Сахалин» его — был поступок гражданский. Книга весьма интересна с экономической и этнографической стороны. А живого изображения каторги — и близко нет, оно заменено статистикой. И язык — тяжёлый, из-за того, что Чехов добросовестно следует многим чиновничьим документам.

Очень жаль, что он пренебрегал и народной лексикой, и звуковой и ритмической стороной.

Зато уж в импрессионичности портрета он сделал первый смелый шаг. Вроде как: лицо Памфова «вот-вот растает от жары и потечёт вниз за жилетку» («Мыслитель»). Отсюда-то, от Чехова, пошёл великолепный краткостью и зримостью портрет у Замятина.

И — бессмертная лаконичность, вроде («Дама с собачкой»): «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Ответ: «А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!» (Но дальше — сам портит объяснением: «Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми».)

«Архиерей» (1902). Из самых поздних рассказов Чехова и считается его шедевром. Но меня — всегда это удивляло, я никак не вижу тут шедевра.

Не понимаю — смысла выбора главного персонажа. Архиерей? — тогда всё-таки это не может не быть и рассказ о Церкви?

Есть. Церковная служба, несколько раз. С теплом — к виду службы, к звону, как уже мало принято было в русской литературе в то время. И даже — с верным ощущением её вневременности («Казалось, что это всё те же люди, что были тогда в детстве и в юности, что они всё те же будут каждый год»). И службы особенные — Страстной недели и на фоне весёлой весны. Это — хорошо.

Но всё это можно было дать — и от священника, от дьякона, и просто от прихожанина. Зачем понадобился архиерей, да ещё развитой (ли)? Так, может, автор хочет хоть как-то коснуться изнутри — кричащих, больных (и губящих Россию) проблем русской православной Церкви? Её бюрократическая колея, так видная архиерею? господство над ней государственной власти? обер-прокурора над Синодом, без обер-прокурора невозможна даже хиротония епископа? А епископ не свободен у себя в епархии — ни в назначениях-увольнении-

ях, ни в открытии приходо́в. Да епископом вертят чиновники синодальной канцелярии, да даже епархиальной. И — возможен ли сильный епископ при этой системе? И непрерывное перемещение епископов с кафедры на кафедру, и тем бо́льшая роль чиновников консисторских? — Во всей этой недостойности — возможна ли разумная, твёрдая и спасительная для верующей массы роль епископа?

Кажется, вот эти проблемы только и были важны в жизни архиерея? Но ни о чём об этом в рассказе вовсе нет! (И о тех проблемах — хоть задумывается ли автор? Не угадать.) Единственно: «десятки тысяч входящих-исходящих бумаг», да — «благочинные ставят священникам, даже их жёнам и детям, отметки по поведению».

Только текут перед архиереем просители: грубые, скучные, глупые, иные плачут — да хоть о чём же? Неизвестно. «Он выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения». «Его поражала пустота, мелкость всего того, о чём просили». Да как это может быть?!

Правда, он — викарный епископ, не епархиальный, и в этой епархии как бы случайно, временно. Но тем более поражает странный выбор персонажа. «По крайней мере до 15 лет был неразвит, учился плохо, так что хотели его из духовного училища отдать в лавочку». (А сегодня его «сердила неразвитость» просителей.) Затем он каким-то неизвестным образом развился — да чуть ли не в учёного богослова, есть на́меки; была и Академия, и диссертация. Потом, по совету докторов, уехал за границу — да на целых 8 лет. Занимался ли там богословием, как касался религиозной и духовной жизни Европы? — неизвестно и ни в чём не проявлено. Там служил «в белой церкви, у моря» — можно думать в Ницце? в Ментоне? и значит публика у него была самая богатая, разъездная. И вот: от той ли превосходной прихожанской публики? от общего заграничного воздуха? — он вернулся с презрением к низкой русской жизни, тяготясь ею на каждом шагу. Униженной кажется ему родная мать — лишь от её робости перед саном сына; презренны рассказы о русских чаепитиях (это — с назойливым повтором); презренен и бывший епархиальный эконом Сисой, которого он призвал «поговорить о делах» — ещё раньше, чем стал заболеть, и всё не собрался. (И почему-то у архиерея сомнение: верует ли Сисой в Бога? Да уж верней бы — усумнился в самом себе?) Он сам — из коренного духовного рода, и такое образование, и сан, и независимость (от заграничного образа жизни), — кому ж другому ещё и задуматься над проблемами Церкви? Но высокой духовной мысли — тоже ни одной, ни от архиерея, ни от автора. Нет, заболел — и «захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось».

Так это — и главная мысль рассказа, наряду с отвращением к русскому быту? «Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешёвых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжёлого запаха». Да, и ещё ж — дежурное нытьё, переходящее из рассказа в рассказ, насквозь через десятки их: «Всё ещё казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чём смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнуется всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве».

Правда, службу он ведёт с увлечением — так уверяет автор, а один раз это передаёт и нам, когда тот заплакал на Вербной всенощной — впрочем, во многом оттого, что неожиданно увидел мать. Но и его же внутренняя жалоба: «как долго шла всенощная» — хотя он же сам её и ведёт.

«Через месяц» об умершем архиерее «уже никто не вспоминал». Так — и не удивительно.

Да впрочем и местный епархиальный архиерей дан в немощи и в безволии. Один образ к одному.

Вот нарастающие симптомы брюшного тифа — вероятно, даны классически, тут не усумнишься.

И не смог Чехов не вставить каких-то посторонних, ни с чем не связанных и ни к чему тут не нужных анекдотцев: «И дурак же ты, Илларион», «Kinderbalsamica secuta», да зелёная борода.

В таком небольшом рассказе — заметные повторы:

и о том, что «прошлое представлялось прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было» — дважды эта мысль;

и: как обидно, что старуха-мать с чужими держала себя обыкновенно, просто, а перед сыном робела — дважды.

Сисоево «не ндравится» — это запомнилось всем читавшим, и даже иным — как главное украшение рассказа.

«В овраге» (1900). Выдающаяся повесть — и по глубине замысла, и по исполнению, и по остроте наблюдательности, по тьме разнообразных накопленных жизненных впечатлений. В одно чтение и не охватишь; тут надо вчитываться, возвращаться. Повесть — без неудач, даже без мелких промахов, и многое выражается лаконичнейшими кусками. И как будто составлена без напряжённой композиции, такова же, как другие повести? — а нет! собрана и настроением, и сюжетом, и мыслью — замечательно.

Сюжет развивается ненавязчиво, медленно, с грозными намёками и предупреждениями — и естественно входит в общую обстановку зла и неправды. И раскрытие фальшивомонетчества, уже угаданного читателем, но ещё никому не ясного там, — мимоходом, естественно, через рассказ Костыля. Потом — как Аксинья раздаёт фальшивки косярям (вся она тут!), потом — как у Цыбукина мутится, не может отличить фальшивых от настоящих — и это вырастает в замечательный символ — и всей той жизни, где фальшивое смешалось с настоящим. — И всестаранье, всеуспевание, потом и развязность Аксиньи так же неумолимо переходит в бешеный взрыв, когда она бросает ключи, топчет чужое бельё (исключительное наблюдение с этим съёмом мокрого белья — и совсем не такой глупый глухой начинает снова его развешивать, поняв, что «наша взяла», — непостижимо, как можно такой эпизод, действие, угадать или придумать!). И потом — раздирающе, как она обварила ребёнка Липы, — и ещё поразительнее, что ни у кого и мысли не возникает судить её за убийство, а всё — как неотвратимый ход судьбы. Всестороннее торжество убийцы, выгоняет Липу из дому — и захирение, падение Цыбукина (наживал, обманывал — а всё к чему?) — и, самое поразительное в финале: подёнщица Липа снова поёт, и ещё подаёт Цыбукину кусок пирога с кашей...

Вся повесть — не столько о злодеях, сколько о праведниках.

«В ихнем деле без этого нельзя... без греха то есть». Сюда отравы воды кожевенной фабрикой (крестьянский скот болеет оттого сибирской язвой) и попустительство уездного врача за взятку. И — волостной старшина и писарь, за 14 лет не отпустившие из правления ни одного человека без того, чтоб его не обмануть и не обидеть, — «казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мощенническая». И жена писаря, как хищная птица, хватает с тарелок и прячет по карманам себе и детям, — а ведь старшина и писарь это и есть та бесконтрольная власть, которой, не дав волостного земства, и подчинили крестьянство от самой освобожденческой реформы, да и на полвека. — Да ведь туда же и батюшка на поминках, с солёным рыжиком на вилке: «Не горюйте о младенце, таковых есть царствие небесное». — И во время свадьбы прорывается со двора криком бабы: «Насосались нашей крови, ироды!» — И вскоре затем, так же верно, о народном чувстве: пустился Цыбукин плясать русскую — «и на минуту простили ему всё, и его богатство и обиды». — И само-то название «В овраге» тоже поднимается в символ тогдашней низовой российской жизни.

И в этом Овраге Чехов безо всякой натяжки, без усилий волшебным образом показывает нам, да без умиления, без выпяченной святости, — целую вереницу праведников: Липу, Пелагею, Варвару, Костыля и неназванного старика в ночном поле — где ещё таких встретишь.

Добродетельная Варвара: «Скучно у нас. Уж очень народ обижаем. На всё обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей дёготь лучше». (Не в упрёк Чехову: были и совсем другие, честные лавки, и немало,

но за всем не поспеть одному перу, а традиция, аж от Гоголя, — тянет сюда и сюда.)

Убогий душою Анисим, вскоре и каторжник, но вовремя — вдруг захотел плакать, в этой церкви он с детства, и сейчас пронзило его, что Бог — есть. А через несколько дней, прощаясь с мачехой Варварой, уже вернулся в свою повседневную трезвость: «Кто к чему приставлен, мамаша. Бога-то всё равно нет, чего уж там разбирать. Целый день ходишь — и ни одного человека с совестью».

Так и — зачем же самому?.. Мало об Анисиме написано, но как ярко выражен. Его письма — «написаны как прошения», чётким писарским почерком Самородова, в конце испорченным пером: Анисим Цыбукин, и опять превосходным: «Агент». (И потом с каторги — превосходным почерком стихи, а под ними некрасивым, едва разборчивым: «Я всё болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа» — и Христос же не случайно сюда вернулся. Но в окаменевшей семье уже не думают об отсеченном.) «Пошёл по учёной части» — прежде с гордостью о нём отец. И очевидные сыскные качества Анисима (видимые из крохотных замечаний), и его сыскной порыв со свадьбы — ринулся ловить, кто украл поддёвку, и его через силу затолкнули в спальню к невесте и заперли там, какое видение! — Через несколько дней прочь, с женой почти и не простая.

Обманы Цыбукина — тяжёлые, в престольный праздник сбывали мужикам протухлую солонину, от пьяных брался заклад; даже портнихам платит ненужными стеариновыми свечками и сардинами. И его постоянное раздражение на мужиков, на нищих, и вместо милостыни крик надменный: «Бог дасъть!» — Но, по-своему, способен уважать доброту других: нововзятой жене Варваре не мешает ходить к нищим, странникам, богомолкам, и: «Варварушка, ежели тебе понадобится что в лавке, то ты бери, не сомневайся». — И ещё потом, надумленный, что внук же есть: «Ты, Липынька, что захочешь — кушай, мы не жалеем, была бы здорова», и перекрестил ребёнка. — А перед свадебным угощением «около столов, постукивая каблукками и точа нож о нож, ходил старик». Как это всё замечательно видно, самими малыми средствами, и как рельефно, не плоско подаётся нам характер.

От появления в доме Варвары «будто вставили новые стёкла» (как просто и хорошо), в том, как она милостыню подавала, «было весёлое и лёгкое». Но в этой обстановке она оказывается не только безвлиятельна изменить роковой ход событий в семье, а и от самого доброго её движения к внуку — пошла к внуку смерть: на неправде жизнь стоит — так неправда и в её исходе.

Да и — никто другой, из череды праведников, тоже никак не пытается мешать злу. (Вполне по-русски, а всё ж есть в народе и другое.)

Хотя очень это образно, об Аксинье: «зелёная, с жёлтой грудью» (такое платье) «с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову» — а может быть эта дорисовка избыточно прямая? тем более, что и ещё раз потом повторено сравнение со змеей. Как и лишнее видится в конце о её близости с Хрыминым (а фамилия!), после того как *два* брата из трёх её утаскивали, якобы насильно, — там больше сказано. Может быть и довольно было бы, в добавленье к её поведению вот этих «наивных глаз и наивной улыбки»; без персонального змеиства — было бы и сильней обобщение обо всём ходе зла. (Да ещё есть и: «дорога бежала змеей», случайно, а цепляет. — Такие все подробности легко видеть у других, а вот у себя не пропусти...)

Душевная чистота Чехова в том, что через это овражное зло ступает у него столько праведных людей — чистота нужна и чтоб увидеть их, и показать их нам так уверенно. Это — не выдуманный автором житейский контраст.

Навек напуганная старая подёнщица Пелагея, не смеющая даже выйти к жениху дочери. — Но какова Липа — покорно угнетённая замужеством, запевшая «как жаворонок» лишь после отъезда мужа. В доме свёкра — охотно на привычной чёрной работе, как служанка, только и смеющая пить чай с вареньем. «Отдавали другим всё — кроме своих испуганных кротких душ». И со своим любимым младенцем играет искренно: «Вместе на подёнку будем хо-

доть!» Как и мать, она не может привыкнуть к богатству: «страшно у них». Вот спят летом в сарае, случайно услышали хозяйские опасения о фальшивых монетах. «Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, где звёзды. И как ни велико зло — всё же ночь тиха и прекрасна, и всё же в Божьем мире правда есть и будет». А это — уже и Чехов сам, вера его застенчивая, тихая.

С поразительным чувством меры угадано и описано, как Липа возвращается с мёртвым ребёнком домой. Чехов не пытается передать нам раздирающей горя — да в Липе всё ведь и смягчается божественно. Первое, что мы слышим, — задумчивое «Не пьёт» (соседняя лошадь у реки). Досидела в беспмятстве до месяца, потеряла головной платок, сбилась с дороги. И из всех её скорбных мыслей Чехов выдвигает только: а — где теперь душа мальчика? уже там ли, около звёзд, и уже не думает о своей матери?.. И «месяц тоже одинокий». А незнакомым встречным вдруг сказала: «Сыночек у меня помер».

И дальше — идёт эта приставная сцена с незнакомыми людьми, вся музыкальная, с парением непрояснённых, но верных мыслей. «Птице положено не четыре крыла, а два. Так и человеку положено знать не всё, а только половину или четверть». — «Будет ещё и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия». (Тут — и осколок от сибирских впечатлений Чехова.) И увидев при раздутом уголке в глазах старика сострадание и нежность, Липа неожиданно и пронизательно спрашивает: «Вы святые?»

Галерея праведников выпукло добавляется ещё и богомольным, мохнобровым подрядчиком-плотником Костылём. Не держит лошади (покойная жена уговаривала купить, а он — «пряники ей покупал, ничего больше», так любил), по всему уезду отмахивает пешком, в мешочке у него — хлеб да лук. Пропитан своим трудом: «О каждом человеке или вещи судил со стороны прочности: не нужен ли ремонт?» (И тут — тоже вырастает обобщение.) И о себе: «Стал я уже трухлявый, балки во мне подгнили». И к окружающим ласково: «Топорики мои любезные». Бранят его, не угодил, куда пошёл тёс, — «Мы на этом свете жулики, а вы на том свете будете жулики».

Вообще такая повесть — урок для русского писателя, многому поучишься. Более всего — как Чехов лепит характеры, кажется безо всякого труда, по каким-то случайным деталям, все характеристики — через поступки, даже менее — через слова персонажей.

В этой повести у него и одушевление природы (вообще его частый приём) — удачно. Послезакатные длинные лиловые облака «сторожили покой» зашедшего солнца. «И ты такова!» — переквакиваются лягушки. — «Шумели птицы, мешая друг другу спать». — Бежит с ярмарки за телегой лошадь, «рада, что её не продали».

Вся мирная картина общей гурьбы на Казанскую, с церковной службы и с ярмарки, в однодневный обязательный перерыв страды — дышит народным здоровьем, высветляя нам, что не все, не всё «в овраге». (Разработка — мало тронутая русской литературой.)

«Овёс уже поспел и отсвечивал, как перламутр».

Это неверно, что Чехов — певец интеллигенции. В интеллигентских рассказах и повестях у него бывает и разреженность, и наносное, не своё. А несравнен он — в изображении типов мещанских. Тут — и лучшие языковые его удачи:

- Нешто мужик понимает соус?
- Личный почётный гражданин и может разговаривать.
- Кто к чему приставлен, мамаша.
- Решение прав (приговор суда).

А вот народных слов — шаром покати. Но два южных хороших подхвачено: зубами заскриготела, дверь зашкорубла.

А — есть у Чехова предчувствие, что это — из предсмертных его произведений. Отсюда — и такая глубина.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР

*

КОГДА? ГДЕ? КТО?

О романе Владимира Маканина: опыт краткого путешественника

С первых же страниц роман Маканина¹ производит впечатление сочинения особо значимого (по крайней мере — для автора), подводящего смысловую черту под многолетними «поисками абсолюта», итогового в самом точном смысле слова. Сразу слышна властно-презрительная интонация героя (она будет выдержана на протяжении всего текста), как нельзя лучше сочетающаяся с прямолинейно цитатным названием, повергающим в прах все так называемые литературные приличия.

Присваивая второй части «Пушкинского дома» лермонтовское имя (и соответственно статус Печорина бедному Левушке Одоевцеву), Андрей Битов исходился судорожно-ироническими курсивными оговорками. «Мы вывели крупно, на отдельной, пустой странице название второй части и вздрогнули: все-таки наглость... все-таки Лермонтов... надо знать свое место», — и так далее на две с лишним страницы. Не то у Маканина. Внешне полное отсутствие опосредований и рефлексий: оглушил читателя общеизвестной, давно ставшей фразеологием, лермонтовской формулой, добил цитатой из классического предисловия (по его канве Битов выводил свои хитромудрые узоры) — и к делу. Такой вот будет вам герой — на другого не рассчитывайте. Такой вот будет вам роман — в линию классика.

За хозяйской самодостаточностью героя, кажущегося поначалу победительным и всепознавшим, — самодостаточность автора, имеющего право на большое и окончательное слово. «Сбросил обувь, босой по коврам. Кресло ждет: кто бы из русских читал Хайдеггера, если бы не перевод Бибихина! Но только-то замер, можно сказать, притих душой на очередном *здесь и сейчас*, как кто-то уже перетаптывается у двери».

То-то и оно, что кто-то обязательно в дверь войдет — и тем самым разрушит иллюзию воспарения над бытием, абсолютной и холодной свободы, вроде бы достигнутой таинственным созерцателем. И кресло окажется чужим, и ковры, а головоломный немец и прежде своим не был — свои у двери перетаптываются, свои — те, кто не читает Хайдеггера даже при наличии перевода Бибихина. Вопреки интонационному напору герой с первого абзаца начинает двоиться, текст — вибрировать. Установка на торжественную окончательность высказывания приходит в противоречие с постоянным смысловым мерцанием. (Нечто подобное маканинский герой прозревает в «Черном квадрате» Малевича.) Кажется, именно эта внутренняя поляризованность авторского сознания и подводит Маканина к жанровому выбору: не так-то легко сейчас вывести слово «роман», того труднее — приняться за возведение собственно романного

¹ Маканин Владимир. Андеграунд, или Герой нашего времени. — «Знамя», 1998, № 1 — 4.

текста. В русской традиции это, кроме прочего, подразумевает немалый объем².

Маканин, все главные достижения которого были связаны с компактными (и семантически перенасыщенными) повествованиями, написал «большую прозу». Написал, одолевая себя и «общие тенденции». «Предтечу» и «Лаз» писатель чуть иного склада непременно счел бы должным разворачивать; в «Столе, покрытом сукном и с графином посередине» (вещи, на мой взгляд, наиболее близкой к нынешнему роману и принципиальной для эволюции Маканина) конспективность «рваного» письма и беспощадное сжатие «всей жизни» (прошлой и, возможно, будущей) в символическую ночь маскировали внутреннюю экстенсивность — «малый (экспериментальный) роман» казался перегруженным рассказом, а суетливо-номенклатурное решение второго букеровского жюри невольно мешало адекватному прочтению текста.

Что до «общих тенденций», то, если оставить в стороне живущую по своим законам массовую словесность, на романы у нас явный недород. Вопреки постоянной околбукеровской трехкопеечной демагогии премия британского происхождения стимулировала на русской почве не столько романистику, сколько безответственное обращение со словом «роман»³. «Большие формы» у нас все чаще образуются путем механического соединения «форм малых», при откровенном игнорировании самого понятия о форме. Писатель всю жизнь пишет один текст, в котором все одинаково важно или не важно. Сколь ни различны творческие манеры, скажем, «поздних» Битова, Войновича и Искандера, но тенденция эта здесь вполне отчетлива. Отселе характерные чудеса: благодаря последней Государственной премии РФ мы, к примеру, узнали, что три ни в чем не схожие (а, на мой взгляд, и на разном уровне писанные) повести Михаила Кураева есть не что-нибудь, а трилогия. Параллельно работает другая тенденция (ей, как сказано выше, много лет отдавал дань Маканин) — отторжение «большой формы» как таковой. Социопсихологические корни этого культурного феномена многократно обследованы с подобающими идеологическими (антииталитарными-антироманными) оргвыводами. Большая вещь под подозрением — и трижды под подозрением, коли в ней ощутима установка на «полное» слово о современном мире⁴.

Внимательный читатель маканинского романа заметит, как часто мелькают в нем мотивы, сюжетные ситуации, социальные и психологические наблюдения, а то и просто приметные слова и словечки, хорошо знакомые по предшествующей прозе мастера. К примеру, линия непризнанного (опоздавшего) литератора брежневской эпохи памятна по «Отставшему», «Голосам», повести «Один и одна», несколько сложнее ее взаимодействие со старым (и помнящимся хуже) романом «Портрет и вокруг». Целительно-экстрасенсорные мо-

² Бывают, разумеется, и исключения. Наиболее значимое — в принципе чурающийся большой формы Тургенев, однако даже у него зримый проблемный, композиционный и стилистический антагонизм повести и романа все же поддержан «форматно» (чем далее, тем более отчетливо).

³ Я имею в виду не бликующую антитезу «роман/повесть», вполне покрываемую одним английским литературоведческим термином и, в сущности, не столь уж значимую (с этой точки зрения маканинский «Стол...» был награжден вполне корректно, хотя и не адекватно реальной литературной ситуации 1992 года). Речь идет о записках, мемуарах, эссе, сценариях и даже стихах, регулярно выдвигаемых на престижную награду, а иногда ее и достигающих. Можно, конечно, считать, что «роман умер», но тогда логично было бы предоставить мертвым хоронить своих мертвецов, то есть игнорировать «консервативную» премию. Но это, понятное дело, было бы совсем не по-нашенски.

⁴ Потому так важна «борьба за роман», которую на протяжении последних лет с переменным успехом (и неизбежными отступлениями, например в модную квазимемуаристику или на поле масскульта) вели относительно молодые прозаики; говоря обобщенно (жертвуя биографическими нюансами) — дебютанты конца 80-х — 90-х, относительно свободные от диктата общих (и обратных общих) мест. Я имею в виду очень несхожих Ирину Полянскую (впрочем, она-то была мастером и в ранние 80-е), Ольгу Славникову, Петра Алешковского, Олега Ермакова, Валерия Володина, Валерия Исакова, Олега Павлова, Алексея Слаповского, Сергея Солоуха.

тивы пришли на периферию «Андеграунда» из «Предтечи». «Стол, покрытый сукном...» возникает в сюжете о Лесе Дмитриевне. Связь «спроса» и принудительной психиатрии была вполне выявлена в той же повести. Безумцы и люди, навсегда испуганные жизнью, тоже Маканину не в новинку. Стареющий литератор на пирах чужого молодого племени перекочевал из рассказа «Там была пара». Не говорю уж о «подземельной» мифологии, столь пристально разрабатывавшейся в «Утрате» и «Лазе». Или об усталой и горькой маканинской мифо(культуро?)логии тихой катастрофы, что пропитала собой «Сюжет усреднения» и, на мой взгляд, отравила «Квази».

Все вроде бы уже сказано. А Маканин пишет роман. Не договаривая сказанное прежде, не эксплуатируя наработанное, не перетряхивая архив, короче — не барахтаясь в прошлом, но сводя в грандиозное и жестко структурированное построение то, что казалось отдельным и не предполагающим общего знаменателя. Пишет «здесь и сейчас», вероятно, для того и подсунув герою в момент его знакомства с читателем модное и приподдавшее (типичная маканинская ситуация) сочинение Хайдеггера.

Знаковая формула сумрачного германца — обобщенно-абстрактная проекция двойного названия маканинского романа. Семантическая нагруженность обстоятельств места и времени заявляется весьма настойчиво. Герой — тот, кто обретает себя «здесь и сейчас», в «нашем времени» и «подполье». (Таково исконно русское обличье якобы «нового», «западного», «пришлого» словца «андеграунд»; тени Достоевского и Лермонтова присутствуют в романе на равных правах.) А потому перед тем, как выносить суждение об этом самом герое, перед тем, как сопоставлять его с Печориным и подпольным парадоксалистом, не худо бы выяснить, что скрывается за многозначными и внутренне противоречивыми заглавными символами. Если мы хотим всерьез ответить на вопрос «кто?» (издевательски простой ответ предложен лермонтовским эпиграфом), нам надлежит — перевернув известный телерад — прежде разобраться с «когда» и «где», «временем» и «местом».

Первое чувство при столкновении с маканинским хроносом — недоумение. Время — вопреки авторскому указанию — явно не «наше». Роман завершен в 1997 году, а текст его пестрит подзабытыми реалиями: очереди, демократы первого призыва, ликующая демонстрация, потесненные с авансцены и покамест тихо готовящиеся к реваншу коммунаки, приватизация жилплощади, «смешные» цены (вроде мелкого штрафа в триста рублей). Конечно, без мелких анахронизмов никто не обходится, но здесь — иное. Перед нами не огрехи и оговорки, но система. Плывущая, зыбкая, бравирующая своей приближительностью картина эпохи явно и демонстративно не совпадает с днем сегодняшним. Маканин пишет «вчера» — изменения российской жизни, окрасившие последнее семилетие, слишком очевидны, чтобы быть упущенными случайно. Их можно лишь сознательно проигнорировать. То есть опять-таки сознательно «вчера» и «сегодня» отождествить. История — с ее неповторимым вкусом и ароматом — Маканина не интересует. Ну, исчезли в какой-то момент очереди, ну, объявились новые русские, ну, стало можно — при наличии должного количества дензнаков — девушек в гостиничный номер вызывать... Все это поверхностные черты, пусть яркие, пусть заставляющие с непривычки хмыкнуть, но в общем-то «маскировочные», не затрагивающие сути. Нет никакой истории. Или все же есть? Или Маканин (вкупе со своим героем-повествователем) только старается убедить нас (себя?) в фиктивности всех перемен, старательно пряча свое слишком горькое знание о происшедшем и происходящем?

Вопреки афишируемому антиисторизму (ему немало способствует отказ от линейного повествования) действие романа поддается довольно точному датированию. В первой главе мы узнаем о возрасте героя (заметим подчеркнутую «некруглость» цифры, она нам еще понадобится): «„Сколько ж тебе лет? Полста?“ — „Полста четыре“». В конце четвертой части (герой вышел из психушки) Петровичу уже пятьдесят пять лет — заметим, что это возрастное свиде-

тельство вмонтировано в ретроспективную главу «Другой», что строится на почти автобиографическом материале. (Многозначительный титул явно подарен герою автором, «другой» — едва ли не обязательное определение Маканина в самых разных критических работах, важнейшая составляющая маканинского мифа.) Простой расчет подсказывает: романное действие тянется меньше двух лет. Но больше года, о чем свидетельствуют указания на смены сезонов, к которым мы сейчас и приглядимся.

«Ночь летняя, теплая, четыре утра» — это глава «Коридоры...», шашни с фельдшерницей Татьяной Савельевой, жите в богатой квартире Соболевых, где мы и застаем впервые героя. Весенне-летняя атмосфера обволакивает почти полностью три части романа: летней лунной ночью происходит иллюзорно легкое убийство кавказца, жарко на попойке у бизнесмена Дулова, в пору тополиного пуха приходит в общагу Леся Дмитриевна. Время года сменяется перед вторым убийством и изгнанием из общаги; в скобках введена значимая ремарка: «Осень, читаю из Тютчева». Сезон — голодный («вдруг появился в магазинах адыгейский, недорогой» сыр), но, как явствует из истории бывшей андеграундной поэтессы Веронички, «демократы» уже у власти. Точнее, при власти. Они вошли в «структуры», но зовут с телеэкрана на оппозиционные митинги («надо же показать властям, что мы и хотим, и можем»). После августа 1991-го так уже не говорили. Демократические демонстрации в пору противостояния Ельцина и хасбулатовского Верховного Совета бывали весьма многочисленны, но ходили на них из чувства долга, «как на работу». Вероничка зовет (а герой отправляется) на совсем другую демонстрацию — на ту, что была праздником.

Так она Маканиным и описана. «Воздух был перенасыщен возбуждением. Кричали. В голове у меня звенело, словно я задаром, в гостях набрался, чашка за чашкой, высокосортного кофе. Самолюбивое „я“, даже оно посмирнело, умалилось, ушло, пребывая где-то в самых моих подошвах, в пятках, и шаркало по асфальту вместе с тысячью ног. *Приобщились*, вот уж прорыв духа! Нас всех захватило. Молния правит миром! — повторял я, совершенно в те минуты счастливый (как и вся бурлящая толпа)». Правда, следующая фраза: «Когда я оглянулся — кругом незнакомые лица». Правда, именно этот поток выносит героя в подворотню у пустующих «Российских вин», и сперва он рассказывает именно об этом зигзаге, обусловившем встречу с Лесей Дмитриевной, что оказалось важнее лихорадочного экстаза свободы. Правда, на демонстрацию пришли и эта гонимая «номенклатурщица», и стукач Чубисов. Более того — именно он выкрикивает заветное слово «Свобо-о-ода!..», с восторгом подхватываемое компанией, где все знают, кто Чубисов такой («Работа это работа, а свобода это свобода»). Все эти показательные (задним числом введенные) оговорки, равно как и композиционные ходы (разрыв в описании демонстрации, оттягивание «ликующего» момента к концу «летне-осеннего» повествования), не отменяют, но усиливают историческую точность. Речь идет о хмельной весне 1991 года.

И здесь нас ждет язвительная двусмысленность. Коли все так, коли роман Петровича с бывшей холеной красавицей, а ныне гонимой полустарухой Лесей (двадцать семь лет назад выпихнувшей героя из НИИ в андеграунд и/или литературу) приходится на то самое лето, то и инсульт (Маканин не забудет помянуть старое название недуга, столь значимое для всего романа, — *удар*) настиг Лесю не когда-нибудь, а в славные августовские дни. «Не помню час, уже стемнело — я услышал грохот и скрежет, по улице шли танки». Танки в столицу входили дважды — в августе 1991-го и ноябре 1993-го. «Утром врач не пришел, пришел только после обеда, когда стрельба на улицах, начавшаяся еще с ночи, закончилась. Врача больше беспокоила кровь на улицах. Он рассказал про раненых. Сравнительно с улицами кровь Л. Д. была мелочью. (Я так не думал.)» Не только эмоциональная атмосфера, но и фактура отсылают к ноябрю 1993-го (тогда была ночная и утренняя стрельба; тогда вовсю говори-

ли о жертвах — в 1991-м скорбели о трех погибших). А сюжетная хронология исподволь настаивает: август, Преображенская революция.

При этом автор словно бы не хочет, чтоб его поняли. Несколько раньше поворотные дни 1991 года упомянуты прямо. Михаил (еще один писатель андеграунда) слетал в Израиль и там рассказывал брату, «как он вместе с другими во время августовского путча строил заграждения у Белого дома и спешил защищать шаткую демократию». Этот очень важный эпизод (брат спрашивает Михаила: «Когда *вы* наконец оставите эту несчастную страну в покое?», а Петрович, раззадоренный рассказом Михаила, формулирует: «Мы — подсознание России») следует непосредственно за сценой, в которой художники (и стукач Чубисов) собираются на демонстрацию. Дальше же речь идет о встрече с вышедшим из андеграунда литератором Смоликовым, «одним из перелицованных секретарей перелицованного Союза писателей». Никаких перелицовок в СП до августа 1991 года не было, хотя превращение андеграунда в истеблишмент шло полным ходом. Мелкие оговорки размывают временной контур; место «истории» занимает аморфное смысловое пятно. Да так ли важно, когда именно на этом театре давалось то или иное представление? — кажется, Маканин и его герой-повествователь к такой позиции близки, но это только кажется. Спрятанные даты можно угадать, их символическая весомость еще не забыта. Специфическое, резко окрашенное историей время разом и фиктивно, и суще.

Главный герой и его многочисленные собеседники постоянно говорят о смене эпох. Отчетливее (и примитивнее) всех мысль эту проводит бизнесмен Ловянников, противопоставляя литературное поколение поколению политиков и бизнесменов. Но ловянниковская банальность (столько раз прокрученная нашей интеллектуальной журналистикой) подрывается изнутри. Молодые бизнесмены идут завоевывать столицу точно так же, как шли некогда молодые литераторы, так же верят в себя, так же размахивают руками. *Солдаты литературы, армия* — говорит о проигравшей генерации Ловянников, и его формулировку Петрович повторяет при рассказе о толпе старых гениев-графоманов, дежурящих в предбаннике НОВОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА. Но если в пух и прах расколочена армия первая, а вторая отличается от нее лишь экипировкой (в глазах молодых бизнесменов восторг, достойный литераторов), то и ее финал вполне предсказуем. Кто-то, конечно, прорвется (но ведь иные из некогда восторженных литераторов тоже снискали успех), кто-то ухнет в андеграунд бизнеса. Ловянников именуется «героем Вашего времени», и этот иронический ход не столько разводит «зоны» (так понимает дело сам Ловянников), сколько открывает в удачливом жулике очередного двойника героя подлинного. (Даром, что ли, углядела общага в Петровиче страшного приватизатора? Даром ли именно его ввел в свою квартирную игру Ловянников?)

Все нынешние проблемы героя коренятся в прошлом; его сегодняшние злоключения не только мотивированы судьбой брата, художника, попавшего в советскую психушку и одновременно превратившегося в легенду (гений без «материальных подтверждений», нет картин и рисунков, те, что есть, дубиальны, но оттого миф становится достоверней), но и — с понятными искажениями — их попросту повторяют. Все почти так же. Вопрос в том, где поставить ударение. А вот этого-то от Маканина и не добьешься. Признаешь тождественность эпох, поддашься логике «вечного возвращения» (в нашем случае это возвращение в мягкие начальственные кресла старой номенклатурной дряни, дружков Леси Дмитриевны) — а Маканин всучит тебе бесспорный контраргумент, тихое размышление Петровича о бывшем начальнике, что остался без спецдиеты и потому обречен сортирному мучению. «А я... подумал, что прощу, пожалуй, демократам их неталантливость во власти, их суетность, даже их милые и несколько неожиданные игры с недвижимостью — прощу не только за первый чистый глоток свободы, но еще и за то, что не дали так сразу облегчиться этому господину». Поверишь, что времена контрастны, что Пет-

рович — человек прошлого, что со Словом в России покончено, — упрешься в ловянниковскую пошлость.

Кольцевое построение романа, наглядно ориентированное на лермонтовский прообраз, вроде бы сомнению не подлежит. Бедствия (изгнание из общаги, психушка) в середине; в начале и конце повествования Петрович дома. Возвращение в казалье бы навсегда потерянную общагу происходит необычайно легко, словно во сне («Но вдруг... я лечу»). Пьяные приятели буквально вносят измочаленного недугом, абсолютно пассивного героя в заветную крепость: «Мы идем к сестрам — к Анастасии и Маше. В гости. А он (я) — он к себе домой! Не узнал, что ли, служивый?» Без денежки, конечно, не обошлось, но не из-за Петровича пришлось гостям раскошелиться, хруст невидимой купюры оркеструет другой мотив: «Не знаешь, к каким сестрам?.. Ну, ты, салага, даешь!» Общажники — включая злейших гонителей Петровича — забыли, как и за что вышвырнули его в свою пору на улицу. («Попался Акулов, кивнул мне на бегу. Замятов, он тоже кивнул... Люди и есть люди, они забывают»)⁵. Точно так же, хоть и по несколько иным причинам, в больнице, где из Петровича пытались вынуть душу, забыли, что он был пациентом, теперь он снова лишь брат тихого Вени. Правда, принимает теперь Петровича не взорливый Иван Емельянович, а севший на его место Холин-Волин: «И конфету к чаю мне дали в точности так же, как в давние визиты, одну, но дали. Возможно, инерция: мол, повелось еще при Иване — при прошлом царе, чай, беседа с писателем...», а когда Петрович пытается напомнить врачу о своем пребывании под его властью, тот не уходит от разговора (как поперву кажется герою), а просто не понимает о чем речь.

Сюжет (изгнание — психушка — освобождение, то есть прохождение инициации, временная смерть) для всех его участников (кроме Петровича, о чем ниже) не существует. На эту (обманывающую читателя) концепцию работает и симметрия нескольких обрамляющих основное происшествие эпизодов. Встреча в ЦДЛ с преуспевающим писателем Смоликовым отзывается в свидании с, кажется, еще более преуспевающим Зыковым; неудачный контакт с новорусским бизнесменом Дуловым — более изысканным, но оттого не менее проигрышным контактом с Ловянниковым. Первая пара эпизодов варьирует тему невозможности (для Петровича) выхода из андеграунда. «Поднявшиеся» собратья по подполью тщетно просят Петровича перейти в их стан, напечататься. Вторая — тему квартирного соблазна. «Новые русские» манят жильем, а затем отказываются выполнить свои «обещания»; при этом — в обоих случаях — оставшийся на бобах Петрович избегает возможной гибели (страж дуловской дачи, нанятый вместо героя и занявший вожделенную квартирку, через месяц был застрелен; в ловянниковской эпопее Петрович отделался дракой и печалью по собаке, отравленной врагами «банкира»). Все так же, только Зыков и Ловянников посерьезнее Смоликова и Дулова. И, вероятно, потому ближе истинному герою. О скрытом двойничестве Петровича и Ловяникова говорено выше. Глава о Зыкове называется «Двойник», что с избытком подтверждается ее содержанием: сходство писательских манер («Злые языки говорили, что мы с Зыковым как прозаики стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности признания и непризнания»); история писем Зыкова влиятельным литераторам («Я писал те его письма, и можно сказать, мы писали, потому что, руку на сердце, я тоже надеялся, что, хотя бы рикошетом, один из них ему (нам) ответит»); гэбэшную грязь, навсегда прилипшую к безвинному Зыкову, Петрович закрасил кровью стукача Чубисова.

«Неточная рифмовка» эпизодов может оформляться и несколько иначе. Так, глава «Квадрат Малевича» с ее темой отказа от будущего (и/или творчества), «грандиозного торможения», растворения в толпе и/или бытии (которое

⁵ Люди забыли, ибо «поуспокоились на теперь уже *своих* кв метрах». Все-таки, толкуя об извечной нашей теме жилплощади, никто не минует классической сентенции Воланда: «...люди как люди... квартирный вопрос только испортил их...»

герой сперва пытается разрушить «ударом», а после — за решеткой ментовки, когда новый «удар» оказался невозможным, — признает как высшую ценность⁶) становится вполне понятной лишь в финальной части, где Петрович вспоминает, как он с ныне умершим другом некогда ходил на выставку великого авангардиста. «Смотреть, как Михаил встает с постели, — комедия. Ворчит: ему, мол, не хочется вставать, ему надоело ставить чайник на огонь! Ему не хочется чистить зубы (всю жизнь чищу, сколько можно!), ему не хочется есть, пить, ему не хочется жить — ему хочется только посмотреть Малевича и опять упасть в постель». И хотя поход на выставку происходит (сколько можно понять) после главных событий, лишь «грандиозное торможение» почти мертвого (о его смерти сообщено страницей выше) Михаила расшифровывает откровение, наступившее Петровича в милицейском обезьяннике.

Проблема двойственности времени (фиктивность/реальность) и соответственно отношения к истории особенно остро встает в финале. С одной стороны, вновь работает закольцованность: в первой главе у Курнеевых справляют свадьбу дочери, в последней — новоселье: словно бы одна и та же гулянка, пьет-веселится та же публика, допущен к торжествам не слишком приятный хозяйке Петрович. Но есть и микроскопические сдвиги: в слове «новоселье» ясно слышится «новь», «за перемены» провозглашает тост Петрович, и — самое важное — он вообще говорит, говорит тем, кого в начале романа слушает. Его тост (ответ на бесчисленные исповеди) разрушает мнимую симметрию. Как разрушает ее и реализовавшаяся мечта: день, который пророчил перед походом на демонстрацию художник Василек Пятов (заметим, что это, видимо, самая ранняя, если не считать глубоких ретроспекций в 60 — 70-е годы, точка романа), «День художника», «День твоего брата Вени», день этот все-таки пришел — «Один день Венедикта Петровича». Удалось то, что не случилось в день демонстрации и в день, окончившийся убийством стукача. Припелся в общагу великий эксперт Уманский. Явились в немецком альбоме репродукции *полутора* Вениных картин («вторая не наверьняка принадлежала его кисти»). И сам гений был извлечен из психушки. И его триумф совпал с торжеством общаги — подгадал хитрый братец. Но тут-то и рушится оптимистическая концепция. Вениа получил все: братскую любовь, слияние с демосом, фильмы жизни, славу (чужие альбомы — тоже твои), женщину. И все (или почти все) было фикцией. (Недаром Петрович сравнивает себя с Котом в сапогах.) И кончается день возвращением в больницу, истерическим припадком, таблеткой, вызывающей дефекацию. Как в те времена, когда следователь пообещал, что будет улыбчивый студентиска «ронять говно», пообещал — и добился; как в те дни «палаты номер раз», когда работа нейролептика почти превратила старшего Вениного брата и двойника, нашего Петровича, в «бесформенную

⁶ «Я не раз думал об обаянии полотна. Черное пятно в раме — вовсе не бархатная и не тихо (тихонько) приоткрытая трезвому глазу беззвездная ночь. Нет там бархата. Нет мрака. Но зато есть тонкие невидимые паутинки-нити. Глянцевые прожилки. (Я бы сказал, *паутина света*, если бы нити на черном хоть чуть реально светились.) И несомненно, что где-то за кадром луна. В отсутствии луны (названной, то есть присутствующей. — А. Н.) весь эффект. В этом и сила, и страсть ночи, столь выпукло выпирающей к нам из квадратного черного полотна». Малевич, конечно, Малевичем, но у этого пассажа есть еще один источник, едва ли случайный в романе с лермонтовским названием. Источник, разумеется, трансформирован в двадцативечном духе — скрытая семантика становится явной, а «упаковочные» детали выбираются (присутствие отсутствующей луны). «Луна тихо смеяла на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее (скоро он исчезнет. — А. Н.), далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно *паутине* (курсив в данном случае мой; желающие могут найти в романе Маканина еще несколько упоминаний все той «паутины»). — А. Н.), неподвижно рисовались на бледной черте небосклона». Эта мимолетная отсылка к «Тамани» взаимодействует и с «кавказским следом» (в сцене убийства чечена чувствуются мотивы «Фаталиста»), и с «печоринской» мечтой Петровича о недостижимом безрефлективном бытии, и со стихами Вероники о «пузырях на лужах», читаемых под аккомпанемент закипающей в граненых стаканах воды (ср. лермонтовский «холодный кипяток нарзана»), и с заглавной двойственностью героя, и с композиционно-хронологическими играми. Как предстает, Лермонтов всегда был для Маканина особо значимым писателем. Некоторые соображения на сей счет высказаны мной в другом месте; см.: Немзер Андрей. Голос в горах. — В кн.: Маканин Владимир. Лаз. М., 1998, стр. 5 — 14.

амебную человеческую кашу». И даже выпрямившийся на входе в больницу Веня («дойду, я сам» — последние слова романа) повторяет себя молодого, впервые побитого (в машине) ретивыми гэбэшниками.

Значит, все-таки кольцо. Лабиринт без выхода (коридоры общаги Петровича и незаконные коридоры психушек). Венедикту Петровичу беспросветней, чем Ивану Денисовичу, — у того «дней» было отмеренное количество. Венедикт Петрович в положении своего тезки, чье путешествие в блаженные Петушки завершается московской гибелью, жизнью в пространстве смерти (словно и не выходил из подъезда близ Савеловского вокзала⁷).

А каково Венедикту Петровичу, таково и его старшему брату. Их-то тождество подсказано дважды. Сперва притчей Петровича о двух братьях, что один за другим (младший после гибели старшего) лезут вверх по этажам общаги: «Но, скорее всего, в той притче и не было двух братьев — и не невольное отражение нас с Веней, а выявилась обычная человеческая (не подозреваемая мной вполне) возрастная многошаговость. То есть я был и старшим братом, который погиб; был и младшим („в реальности” будучи старшим. — А. Н.), который начинал снова». Второй раз полное слияние братьев происходит (при энергичных протестах главного героя) в сознании Михаила, плененного рассказами Петровича о детстве:

«Ты каждый день переходил из Европы в Азию — и обратно... Я вижу метель. Снег летит. (Не тот ли, что засыпает всех мучеников андеграунда? Один из лейтмотивов романа. — А. Н.) Мост. Мост через Урал. И мальчишка торопится в школу...

— Двое мальчишек. С братом Веней.

— Я вижу одного. Не важно».

Еще как важно! Признать логику притчи, мифа, красивого видения, вне-временности, закольцованности — значит уничтожить Веню. А на это наш повествователь-герой никогда не согласится. Как не согласится счесть небылью свое изгнание и свою психушку — для Петровича, страстно желающего отторгнуть время, историю, современность (одного без другого нет и быть не может), они все равно сущи. Болезненно сущи. Настолько, что согласишься с Ловянниковым, «поэтом», которого в очередной раз далеко завела речь⁸, когда он провозглашает здравницу (словно предсказывая тост героя в последней главе): «За вас, Петрович, вы — само Время!» Не представитель поколения, но Время как таковое, «наше» и «не наше» разом, себе не равное, одновременно направленное (значимость хронологии) и циклическое (мотивные соответствия), открытое истории и сворачивающееся в миф, отрицающее в себе качественную новизну и тем самым ее утверждающее⁹.

Подобно вопросу «когда?», вопрос «где?» предполагает мерцающий (паутинки в темноте при спрятавшейся луне) ответ и в конечном итоге выводит к

⁷ Разумеется, Маканин сознательно дает затравленному системой художнику имя самого мифологического героя нашего литературного андеграунда. Здесь важны корреспонденция и с текстами Венедикта Ерофеева, и с неотрывной от них легендой (в частности, с популярным сюжетом об утраченном романе). Заметим, что роковые для Петровича события (стычка с врачами, повергающая его в «палату номер раз», что предполагает в дальнейшем происхождение до уровня залеченного брата) происходят в майские праздники. Это значимая отсылка к пьесе Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», кошмарные события которой происходят в том же месте (дурдом) и в то же, как явствует из названия, время года. Любопытно и то, что в крайне скудной московской топографии маканинского романа маркированы два ерофеевских локуса — Савеловский и Курский вокзалы.

⁸ Слой цветаевских реминисценций в романе заслуживает отдельного подробного разговора. Кроме того, что ткачихи, у которых прощается с Россией развеселый костромской отъезжант, зовутся Анастасией и Машей (фирменно маканинское «почти как»), стоит упомянуть соседство Натинной флейты и крыс в бомжатнике близ Савеловского вокзала.

⁹ В этом отношении поэтика маканинского романа теснейшим образом связана с общим литературным (и, как кажется, социокультурным) контекстом 90-х годов. То же относится и к образу маканинской Москвы — города зловещего и влекущего, враждебного остальной России и ее воплощающего, символически величественного и утратившего собственно московские черты, московское обаяние. Об этих сюжетах я недавно высказался достаточно подробно; см.: Немзер Андрей. В каком году — рассчитывай... (Заметки к веч-

сакраментальному «кто?». Только путь здесь короче: не инквизиторская изощренность композиционных соответствий и/или противоречий, а предсказуемый разбег поэтических ассоциаций. Андеграунд (подполье) — это не только литераторско-художническая квазиобщность, но и общага, куда уходит из правильного мира Петрович (мифология сторожей и истопников, столь важная для всего подсоветского неофициального искусства), и метро (подземка; здесь только чувствует себя уверенно Петрович, здесь он еще сохраняет способность читать чужую прозу)¹⁰, и Москва как город метро и общаг, город свой, ибо чужой (подчеркнута провинциальность большинства персонажей), и подсознание. Из этого пункта, в свою очередь, можно двигаться в разные стороны: истинное искусство как подсознание общества; Москва как подсознание России, — впрочем, текст романа позволяет выдвинуть и прямо противоположную трактовку; Россия как страна подсознания — этот мотив связан по преимуществу с желающим непременно умереть в России евреем Михаилом (негатив его — русский провинциал, делающий обрезание, отбывающий в Израиль и напоследок тешащий себя русско-московской экзотикой).

Антитезы здесь условны: чем выше подымается герой по этажам общаги, тем глубже он опускается в подземелье. «Московскость» предполагает ощущение общероссийской бескрайности. Отрыв от «корней» (мотив этот в маканинской прозе присутствует постоянно и рассмотрен при помощи всех критических микро- и телескопов) никогда не может стать окончательным. Личностное чревато коллективным, неприязнь — повязанностью (тут писатель Петрович равен бизнесмену Ловянникову, и если исполненный общагого духа банкир все же обманул «чужой родной дом», то это лишь дело случая), изгнание — возвращением, анафема — осанной. Наградой за все мытарства (спасение своего бесценного «я») становится очередная общажная бабища, каковых, впрочем, можно обрести и в других пространствах. Ненавистная, вроде бы решительно отделенная от «подполья» сфера «верхов» (столов с графинами, месткомов, редакций) на поверку оказывается той же общагой: изгнание Петровича творится ничьей и общей волей — так же его изгоняли когда-то из НИИ; здесь улыбались бывшие и будущие партнерши по постели, там — не менее габаритная Леся Дмитриевна, которой тоже в свой час придется пройти сквозь унижение-спасение общажной грязью (Петровичем). Чужие (свои) те и другие. И все же разница есть.

Всякую умершую собаку жалко — но издыхающая у выхода из метро брошенная псина трогает больше, чем пусть безвинно погибший, пусть герою со щенячьих недель знакомый, но холеный породистый Марс. Леся Дмитриевна — персонаж в жизни героя временный. Швея Зинаида — постоянный. Отождествившись с властью Петрович не сможет никогда. На этом и строится основной сюжет: не отдать свое, пусть преступное, «я» наследнику палача — психиатру. Отождествившись с общагой, то есть со стоящими за общагой полчищами и поколениями мужиков, усталых, изможденных, одинаково «без желания жизни» тянущихся что к троллейбусной остановке, что к Тихому океану, тех, из кого выпили всю кровь и всю душу русский простор и русская история, Петрович вроде бы тоже не желает. «Меня не втиснуть в тот утренний троллейбус. И уже не вызвать сострадательного желания раствориться навсегда, навеки в тех, стоящих на остановке троллейбуса и курящих одна за одной, — в тех, кто лезет в потрескивающие троллейбусные двери и никак, с натугой, не может влезть».

ному сюжету «Литература и современность»). — «Знамя», 1998, № 5, стр. 200 — 211; Немзер Андрей. Московская статья. — «Волга», 1998, № 1, стр. 157 — 166.

¹⁰ В «метрошной» огласовке заглавного мотива, кроме прочего, слышится отсылка к громокопящему альманаху с полисемичным названием (метро-столица-литературное подполье). Заметим, что именно этот разгромленный и прославленный сборник был нацелен на будущее превращение андеграунда в истеблишмент, с успехом свершившееся в перестройку-постперестройку (не только в романе) и абсолютно неприемлемое для маканинского героя.

Вот и Горький¹¹. Даром, что ли, маканинский персонаж реминисцентно растягивает фамилию г-на Дулова? Цитированный фрагмент — из «его» главы, а называется она «Дулычов и другие». Расслышать зачин «Матери» легко, легко и в Петровиче распознать Сатина (вполне законного потомка Печорина). Общажники-то на работу тянутся. Запомнила Петровича в этой позиции одна из его будущих пассий: «А раз вижу: все бегут к троллейбусу, торопятся. А ты сидишь на скамейке. Смотришь куда-то в сторону булочной — и куришь, куришь!» Да, в троллейбус Петрович не лезет, но курит-то так же, как те, кому «работать трудно; жить трудно; курить трудно». Отталкиваться можно сколько угодно, но герой знает, что он плоть от плоти клятой общаги. Общага и андеграунд — проекции одного и того же невыговариваемого смыслового комплекса, того, что остается после всех трудов большого пространства и большого времени, того, что некогда сделал Петровича писателем.

Литераторский статус главного героя несколько раз ставится под сомнение. Общажники (свой-чужой социум) и врачи-психиатры (власть) временами (только временами! только ситуационно! то есть не веря собственным заклинаниям, демонстрируя не «знание», но озлобление) не хотят видеть в Петровиче писателя, утверждают, что он — всего лишь старый бомж. Тем самым как раз доказывая обратное, ибо для Петровича (и почтенной традиции, в которую он включен) только «бомж» (разбойник, изгой, преступник) и может быть писателем. Однако и сам Петрович постоянно твердит, что он не писатель: отвергнутые повести погребены в редакциях, искус публикаций преодолено навсегда, сочинительство не только оставлено (кстати, именно в этот момент Петрович для общаги становится «писателем») — автор его перерос. Даже дважды. Сначала — в старые еще времена, когда впервые радикально не поверил редакторскому вранью: «Не стоило и носить рукописи — ни эту, ни другие. К каждому человеку однажды приходит понимание бессмысленности тех или иных оценок как формы признания. Мир оценок прекратил свое существование. Как просветление. Как час ликования. Душа вдруг запела... Следовало знать и верить, что жизнь моя не неудачна. Следовало *поверить*, что для каких-то особых целей и высшего замысла необходимо, чтобы сейчас (в это время и в этой России) жили такие, как я, вне признания, вне имени и с умением творить тексты. Андеграунд. Попробовать жить без Слова, живут же другие, риск или не риск жить молчащим, вот в чем вопрос, и я — один из первых. Я увидел свое непризнание не как поражение, не как даже ничью — как победу. Как факт, что мое „я“ переросло тексты. Я шагнул дальше». Хотя говорится здесь только об отказе от печатанья, в нем уже спрятан отказ от творчества. «Я» переросло тексты. Окончательно оно их перерастает в ментовке при созерцании «черного квадрата» (ох, не зря снимает Петрович «паутинки» с заветной папки, таящей никому в редакции не нужную повесть, — «паутинки» те самые, лермонтовско-малевичевские): «Святая минута. Ночь, жесткий настил и камера в клетку уже ничего не значили — значила бытийность... Мое „я“ совпало с я. Это я в ту минуту лежал среди камеры, на боку, навалившись на свою левую руку. Лежал, помалу засыпая — с тем счастливейшим ощущением, когда знаешь, что живешь заново и что повторная твоя жизнь на этот раз бесконечна. Как бы вчера отошли в прошлое мои повести и рассказы. Двадцать с лишним лет я писал тексты, и в двадцать минут засыпания я вновь перерос их, как перерастают детское агу-агу. (Они свое сделали. Я их не похерил. Они во мне. Я просто шагнул дальше.)» Этот фрагмент зарифмован не только с уходом из редакции, но и с финальным распрямлением «русского гения» Вени. Особенно если присовокупить к цитированному выше (предварительному) описанию откровения в ментовке описание окончательное, появляющееся через десять страниц: «Я спал. Сама бытийность, спеленутая с угова-

¹¹ То, что роман должен быть не только энциклопедией русской жизни, но и литературной энциклопедией, Маканин знает твердо. И он прав. Потому и в герои берет писателя.

ривающим сладким звуком, покачивала меня. Спал... На миг проснувшись, я разглядел во тьме пьяндыгу, что обмочился со страху и теперь каким-то сложным образом „менял” белье — зябкий несчастный вид человека, пританцовывающего на одной ноге, а другой целящегося в брючину... Тьма, царила великолепная густая тьма. Засыпая, я продолжал чувствовать черный квадрат окна. И луну: ее не было. Но и невидная, она величаво висела в небе, где-то над крышей — высоко над зданием». Да, чужой «пьяндыга» не равен «я» (героя или его брата), да, «мочеиспускание» не равно «дефекации», да, выход в бытийность («черный квадрат») — это совсем не превращение в аморфную безвольную массу. И с «ударом» дело обстоит совсем не просто. Слово это клубится многочисленными ассоциациями. Так, выражение «удар — это наше все!», перефразирующее общеизвестный афоризм Аполлона Григорьева, соотносится с выстрелом смертельно раненного Пушкина (и важной для романа и всей российской словесности темой невозможности совпасть с Пушкиным); удар — Гераклитова молния, правящая миром, — вспыхивает в описании «глотка свободы» на демонстрации; удар, который Петрович наносит Лесе Дмитриевне, отзывается ее инсультами и кровью на улицах (см. выше); наконец, «удар» как открытие («Когда прозревает последний — самый распоследний и пришибленный») отрицает удар-действие (на это и намекает безумный прозорливец Веня своей — задевающей брата — остротой: «Господин-удар»; «Недоговорил, а ведь, по сути, он сказал еще жестче: *рукосуй*. О моей жизни»).

Все так, но поэтические связи берут верх над логическими. Растворение в черноте оборачивается высшей защитой «я»; отказ от «рукосуйства» готовит неметафорический удар ножом (защита своего эго и тех текстов, что якобы навсегда сгнули, что несоизмеримо меньше якобы переросшего их автора), а постоянно повторяемые Петровичем заверения о его «неписательстве» чем дальше, тем больше кажутся сомнительными.

Ладно, стукача Петрович резал «по старой памяти», по сентиментальной привязанности к где-то пылящимся текстам. Все «оценки» перерос, а суд потомства, стало быть, ценит: вдруг увидят в нем очередного «Зыкова». Странно, не вяжется с обдуманностью преступления и его жуткими последствиями¹², но поверим. И за машинкой к вьетнамцам побежал тоже «по старой памяти». И «писателем» себя именует из той же сентиментальности. Ерунда какая-то. Уж больно доверчивы мы стали. Кто нам сообщил, что Петрович ничего не пишет? Как же, сам и сказал. А каким, извините, образом? Что мы с вами читаем?

Мы читаем написанный от первого лица текст, постоянно сигнализирующий о своей литературной природе (разбиение на части и главы, головокругительная композиция, россыпь аллюзий и реминисценций). Это письменное сочинение, а не подслушанный внутренний монолог (сравните

¹² Сноска, вероятно, лишняя, ибо далее последуют трюизмы, коим не место по крайней мере в основном тексте. Но что поделаешь, если доводилось уже слышать то ли удивленные, то ли возмущенные сентенции о том, что, во-первых, Петрович убивает и не кается, а во-вторых, что убийства проходят для него бесследно, читатель, дескать, к финалу о двух трупах забывает. По первому пункту замечу, что не один Раскольников в русской словесности грех на душу взял; Печорин тоже с Грушницким обошелся круто. Если «герой нашего времени» не может каяться перед теми, кто сделал его убийцей (тождество психиатров и чекистов, намеченное в «Столе», растолковано в новом романе более чем подробно), если ему не дано выговориться перед современной Сонечкой (Натой; кстати, исповедавшись Сонечке, Раскольников от своего преступления не освободился, не исцелила его, заметим, и явка с повинной), если его покаяние осуществляется по-другому (о чем ниже), то тут не писателя виноватить должно. Что же касается до читательской забывчивости, то вольно попадать в маканинскую ловушку. Именно убийства (страстное не-желание убивать) бросили Петровича в психушку, а освобождение оттуда было следствием пробуждения в раздавленном «организме» способности к состраданию боли другого человека. Подано оно иронически, нарочито занижено, как «своекорыстное» деяние, но факт сочувствия остается фактом. Как и последовавшая за сочувствием чудесная награда — избивение, травмы, перевод в другую больницу, выход из цепкого психиатро-государственного поля.

с «Кроткой»). Правда, Маканин не подсунил нам романтическую наводку: случайно найденная на чердаке рукопись неуместна в книге, где все стоящие тексты исчезают (пропавшая сумка сбитого машиной Вик Викыча; исчезнувшие бумаги Оболкина). Петрович может сколько угодно повторять свое «ни дня со строчкой», но исповедь его мы слышим. Мы, а не Ната, психиатр Иван, милиция. Исчезнувшее Слово (отмененное тем, что напрасно мнит себя временем) оказалось произнесенным. Как луна, которая есть, потому что ее нет.

И здесь, поймав Петровича на вранье, без которого не бывает литературы, мы должны задаться вопросом, а правда ли все, что наш бомж-гений (помните, как еще живые Вик Викыч с Михаилом скандировали: «Пушкин и Петрович — гении-братья...») о себе рассказывает? Зададимся вопросом — и тут же его снимем. Все правда. Не потому, что реальность стала в современной литературе иллюзией, а потому что помыслы, мечты, фантазии всегда упираются в реальность. Для маканинского персонажа (и маканинского текста) нет границы между желанием убить и убийством — платит Петрович по полному счету. Для маканинского персонажа (и текста) нет границы между своим и чужим ощущением, состоянием, поступком — платит Петрович за всех. То, что кажется словесной игрой (слияние Петровича с сожителем фельдшерницы), наливается свинцовой тяжестью: «Поутру у меня болят руки от его тяжелой автомобильной баранки. (Никакого переносного смысла — по-настоящему ломит руки, тянет.) Ночью снилась полусвященная ночная дорога». И не в том дело, что Петрович спит с фельдшерницей, — в его мире Слова скорее справедлива обратная зависимость: отождествившись с шофером, он обречен наслаждаться его бабищей, наслушавшись его историй о разборках с сынами юга, обречен увидеть из шоферова окна труп застреленного кавказца, а потом и убить на «дуэли» своего чечена. Впрочем, тут были и другие составляющие — опыт испуганного инженера Гурьева, опыт «маленького человека Тетелина», давящие на Петровича и одолеваемые им изнутри. Все вокруг двойники главного героя не потому, что он только себя видит, а потому, что втягивает чужие судьбы, настроения, души. Не может не втягивать. Не может не превращать в текст, написанный от первого лица. В старой замечательной повести «Где сходилось небо с холмами» композитор выпивал (и выпевал) скудеющий оттого народный мелос. Так, Петрович, бесконечно слушающий общажные исповеди, превращает их в свое повествование, в свою жизнь, в себя («Ты теперь и есть текст»; тот самый миг «удара-откровения», «черного квадрата»).

Потому не притворство или игра звучит в восхитившем общажную публику тосте, где равно славятся гений без текстов (Веня) и толпа без языка, где — вопреки «очевидности» — им даровано счастье единения, неотделимое от надежды на будущее. «Никто нам лучше не сказал, Петрович! (Как мало вам говорили)... Однако меня уже раздражали мои же слова. И, как бывает ближе к вечеру, на спаде, неприятно кольнуло, а ну как и впрямь это лучшее, что я за свою долгую жизнь им, то бишь *нам*, сказал».

Так и есть. Только в «сказал», в «Слово» помещаются и все оговорки, включая приведенную только что, которыми уснастил свою (и общую) исповедь герой, чей портрет составлен «из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии», человек, вопреки собственным заверениям сохранивший Слово, ставший текстом и утративший имя.

Имя, кстати, угадать можно. «Старая, я почти с удовольствием утратил, а затем и подзабыл свое имя. (Напрасно! Самый раз для поэта-декадента! — смеялась Вероничка)». Вспомним поэта-декадента, чье имя навсегда слиплось с двусмысленным (ироничным и торжествующим — на устах самого поэта и его поклонников, безусловно саркастичным — на устах его недругов) приложением «гений». Вспомним о побратимстве в гениальности Петровича и Пушкина, об активности высокого слова в андеграундном лексиконе. Вспомним, наконец, как зовется герой многочисленных сочинений Маканина, писатель (семейный, не из андеграунда, в 1991 году — смотри «Сюжет усреднения» — обитавший отнюдь не в общаге), тихий alter ego своего творца. Все сходится —

Игорь Петрович. Он-то роман и написал. О том, что было бы, если бы он пошел по другой дороге.

Но ведь Игорь Петрович такая же фикция, как Петрович-без-имени. И кто написал ныне опубликованный (долго нами жданный) роман, мы тоже знаем. Посылая нас по следу Игоря Петровича, Маканин ведет тонкую (но подлежащую разгадке) игру. Лишняя маска не мешает, но помогает распознать лицо. Для недогадливых по тексту рассыпаны опознавательные приметы: настойчиво поминаются седые усы и высокий рост, значимо введен «некруглый» возраст героя (Маканину в 1991 году было аккурат «полста четыре»), автобиографизм главы «Другой» виден невооруженным глазом, автореминисценций не меньше, чем отсылок к русской классике. Маканин говорит: «Петрович — это я!», но не как Флобер об Эмме Бовари, а как Лермонтов о Печорине. Я то есть не я. Я то есть все мы. Только потеряв имя, становишься текстом. Только растворившись в «толпе» (где все равно никогда до конца «своим» не станешь; до конца «чужим», впрочем, тоже), сохранишь свой голос. Вбирающий в себя голоса, судьбы, надежды и, увы, пороки и преступления всей нашей российской общаги. Маканин спустился под землю, дабы сказать за всех, выговорить наше «здесь и сейчас». Тяжелое путешествие с горчайшим конечным пунктом. Но тут, с одной стороны, неча на зеркало пенять... С другой же: «распрявился, гордый, на один этот миг — российский гений, забит, унижен, затолкан, в говне, а вот ведь не толкайте, дойду, *Я сам*». Это ведь тоже сказано — и не только про Венедикта Петровича.

АЛЕНА ЗЛОБИНА



ЗАКОН ПРАВДЫ

I

Я не хочу того, что кажется.

Шекспир, «Гамлет».

Существуют темы, обращаться к которым — на мой взгляд — стоит лишь в случае крайней внутренней необходимости; одна из таких — творчество Уильяма Шекспира: про него написано уже столько, что возможность сказать что-то новое исчезающе мала. Я, впрочем, не претендую на какие-то новые прочтения или хоть нюансы прочтений — моя задача скромней и проще: соотнести творения и творца. Но сначала придется объяснить, почему это вдруг оказалось необходимо.

Дело в том, что полуторавековые усилия антистратфордianцев привели таки к определенному результату: «шекспировский вопрос» для многих стал действительно вопросом. И если одни попросту решили его в пользу какого-то конкретного кандидата¹, то другие говорят: что спорить? сейчас ведь уже невозможно установить истину. Да и вообще, какая разница, кто написал эти пьесы? Главное, что они есть... Я до недавних пор тоже не слишком интересовалась личностью автора — хотя по другой причине: меня всегда раздражали привязки творчества к житейскому багажу. А соответственно скудость сведений о жизни Шекспира не огорчала, но даже радовала — словно само Провидение позаботилось не нагружать на него груды «слишком человеческого» мусора, чтобы таким образом представить нам единственно подобающий гению способ существования: лишь «в заветной лире», а не в дневниках, письмах и воспоминаниях современников, черным ходом пробирающихся в вечность.

Правда, сомнений в шекспировском авторстве у меня никогда не возникало — напротив, возникали те самые недоумения, которые выразил Борис Пастернак в «Замечаниях к переводам из Шекспира»: «...зачем понадобилось простоту и правдоподобие Шекспировой биографии заменять пуганицей выдуманных тайн, подтасовок и их мнимых раскрытий... Какую заднюю мысль или хитрость можно предположить в том верхе опрометчивости, какую представляет этот... человек?»

¹ Как, например, поклонники книги И. Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса». Восторги дошли уже до того, что некая «Шекспировская конференция» (?) заявила о своем намерении выдвинуть автора на Нобелевскую премию, по каковому поводу «Известия» (1998, № 97) поместили обширную приветственную статью А. Липкова (кстати, написавшего и предисловие к книге). В финале он, правда, высказывает сомнения в способности Нобелевского комитета оценить труд Гилилова; но это «мало что меняет... Толстого Льва Николаевича Нобелевский комитет не заметил, отчего тот меньше не стал. Тоже был еретик, хотя мало кто, как он, послужил Христу...» Уподобление, конечно, дикое — где Христос, а где Шекспир? — но притом знаменательное: своего рода проговорка по Фрейд. Потому что Шекспир занимает в европейской культуре особое положение — как писал Гейне, «главное только Бог», — а соответственно, и поиски «настоящего» Шекспира оказываются сродни богоборчеству и богоискательству. То есть логика отрицания совершенно та же: как может Бог допустить то и это? Как божественный Бард мог быть перчаточником?... Отсюда, естественно, вытекает следующее действие — построение схемы, больше удовлетворяющей тех, кто строит. И результат соответствующий...

Речь здесь, разумеется, идет о человеке-творце, о творческой личности, свойства которой Пастернак выводил именно из творчества, освоенного на личной творческой практике. Переводчик «день за днем воспроизводит движения, однажды проделанные великим прообразом», — и «с осязательностью, которая не дана исследователю и биографу», ему «открывается определенность того, что жило в истории лицо, которое называлось Шекспиром и было гением»... Антистратфордианцы исходят из биографических частностей, из человеческих будней и хлопот — и эти несимпатичные подчас подробности представляются им несовместимыми с гением. Но ведь образ великого Барда — упорного и последовательного обманщика, который скрывался под маской всю жизнь, а затем и потомков постарался провести, — являет собою куда худшее несоответствие. Потому что все известные недостатки Шекспира из Стратфорда относятся к чисто человеческой части его «состава» и полностью покрываются пушкинской формулой: «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен». А сюжет с тайным Шекспиром ведет к подмене творческой личности, к смешению (или смещению) двух начал, ибо ответственность за обман падает не только на человека, но и на поэта, который именно поэзию свою — суть и душу! — предал: передал во владение и наследование маске, приучив к расчетливой скрытности, осквернив беспросветным лицемерием. И — коль скоро речь идет о неизменном художническом поведении — эти свойства действительно должны были бы отпечататься в текстах наравне с другими определяющими художника чертами вроде психического здоровья или девиантности, страстности или сдержанности, жизнерадостности или меланхоличности... Не отпечатались. Наоборот — отпечатались «верх опрометчивости». Отпечатались небрежная стремительность, порывистость, непредсказуемость. Небывалая свобода и поистине безмерный творческий темперамент. Бурное кипение неукротимых сил. Словом, все то, что заставляло и почитателей, и критиков веками твердить о стихийности Шекспира, воспринимая ее в одном случае как голос самой жизни, а в другом — как бесформенность, хаотичность, «недостаток искусства»... Но суть даже не в этом.

Главное: бессмысленный и недостойный маскарад слишком хорошо соответствует сегодняшнему отношению к искусству: как к лукавой забаве, не имеющей ни эстетических, ни тем более этических правил. И вот это — уже сущностная подмена². И она мне не нравится — до крайности: той самой, что превращает шекспировский вопрос в вопрос принципа и рождает настойчивую потребность высказаться. Потому что пошлое желание «улучшить» гения оборачивается худшим из постмодернистских издевательств: серьезнейшее, трагическое творчество Шекспира, обращенное к основным вопросам бытия и глубоко нравственное по своей природе, получает статус «игры по жизни» — и таким образом создается авторитетный прецедент, позволяющий оправдывать любые сомнительные игры. А особенно мерзок мне гилиловский сюжет, в котором «величайший мастер мистификаций» граф Рэтленд ворит по принципу «все дозволено»: пользуясь своим высоким положением, прибегает к запугиваниям и поджогам, отправляет в тюрьму людей, так или иначе посвященных в тайну, — единственно для того, чтоб скрыть от веков свою гениальность!.. Спорить с автором и его поклонниками, согласными признать эти патологические прятки «самым блестящим созданием... драматурга», — занятие бес-

² Ко всему прочему, откровенно антиисторичная: ведь даже самые «карнавальные», «смеховые» ренессансные тексты (роман Рабле, например) имели вполне нешуточные цели, которым, собственно, и служил смех, дающий возможность поучать, воспитывать — развлекающая; не забудем и о том, что Ренессанс вознес на вершину земной иерархии человека-творца, стремящегося заслужить бессмертие: «Пусть будет слава, наша цель при жизни, / В надгробьях наших жить, давая нам / Благообразье в безобразье смерти. / У времени прожорливого можно / Купить ценой усилий долгих честь, / Которая кошу его притупит / И даст нам вечность целую в удел» (Шекспир, «Бесплодные усилия любви»). А иронические мистификаторские забавы принадлежат куда более поздней эпохе — романтической; не случайно же шекспировский вопрос возник на ее излете.

смысленное. Однако стоит отметить характерную деталь, упущенную в моей рецензии³.

Как и антистратфордианский Шекспир, господин Гилилов явно склонен к нечестности: он утаивает целый ряд противоречащих его «концепции» документов — и не только утаивает, но твердит об их категорическом отсутствии. Так, по его словам, не осталось ни одного свидетельства современников, где говорилось бы, что актер Шекспир и драматург Шекспир — одно лицо. На самом же деле это со всей четкостью сказано в предисловии к фолио, написанном пайщиками «Глобуса» Джоном Хемингом и Генри Конделом, и в нескольких стихах поэта Джона Дэвиса; имеется также и серия мелких, фрагментарных свидетельств. А наиболее развернутый отзыв дал Бен Джонсон — в своих «Записных книжках», — и не знать о том Гилилов не может, ибо читал и даже использовал в собственных целях работу американского ученого С. Шенбаума «Шекспир. Краткая документальная биография» (М., 1985), где приведена цитата: «Помню, актеры часто упоминали как о чем-то делающем честь Шекспиру, что в своих писаниях... он никогда не вымарал ни строчки. На это я ответил, что лучше бы он вымарал тысячу строк; они сочли мои слова недоброжелательными. Я бы не стал сообщать об этом потомству, если б не невежество тех, кто избрал для похвал своему другу то, что является его наибольшим недостатком; в оправдание своего осуждения скажу, что я любил этого человека и чту его память... Он действительно был по природе честным, откровенным и независимым; он обладал превосходным воображением, прекрасными понятиями и благородством выражений, которые изливал с такой легкостью, что порой его необходимо было останавливать... Много раз он неизбежно попадал в смешные положения, как в том случае, когда к нему, исполнявшему роль Цезаря, один персонаж обратился со словами: „Цезарь, ты несправедлив ко мне“, а тот ответил: „Цезарь бывает несправедлив, лишь имея к тому справедливую причину“⁴... Но его добродетели искупают его пороки».

...Да, странная все-таки вещь — предвзятость: она верит лишь самой себе и не признает фактов. К текстам она тем более не прислушивается — хотя Шекспир и говорил, что почти каждое слово в стихах называет его имя: «...every word doth almost tell my name» (сонет 76). И действительно, слова прямо указывают на того, кто их написал. И достоверно свидетельствуют, что автор был человеком «по природе честным, откровенным и независимым»; самоучкой, не имевшим систематического образования, но нахватавшимся всего отовсюду; профессионалом театра, постоянно демонстрировавшим свои актерские навыки и актерскую суть — как на уровне поэтических образов, так и на уровне композиции... Все это чувствуется в шекспировских произведениях вот именно что «с осязательностью» — и легко переводится на язык доказательств.

II

Наука... лишь набор
Заемных истин и цитат случайных.

«Бесплодные усилия любви».

Какое образование получил Шекспир — вопрос, естественно, волнующий биографов. Антистратфордианцы уверяют, что Бард изучил все, причем едва ли не в совершенстве, — а вот современники считали его не слишком ученым. Бен Джонсон отмечал с неодобрением, что он знал «немного латыни и еще меньше греческого»; Бомонт, отвечая Джонсону, соглашался с фактом, но не с оценкой — поскольку строки «неученого» Шекспира «учителя будут приво-

³ «Новый мир», 1998, № 6.

⁴ Известная нам реплика звучит иначе: «Знай, Цезарь справедлив и без причины / Решенья не изменит». Вероятно, автор или актеры — редакторы фолио учли замечания Джонсона и «убрали из текста то, что может показаться иным не нелепостью, а раскрывающим смысл парадоксом» (С. Шенбаум).

дальше нашим потомкам в качестве примера, что иногда смертный может найти дорогу при туманном свете Природы». Можно вспомнить и слова Мильтона о «сладчайшем Шекспире, сыне фантазии, распевавшем дарованные ему природой дикие лесные песни», — диковатая на наш слух характеристика... Как бы то ни было, столетиями необразованность драматурга у людей образованных сомнения не вызывала; потом оказалось, что он значительно лучше нас разобрался в античной мифологии и литературе — но причиной тому не скрытый университетский диплом, а изменившееся содержание начального образования: в грамматических школах проходили и Овидия, и Вергилия, и Цезаря; и, кстати, признанный эрудит и знаток древности Бен Джонсон тоже имел только школьный «аттестат»... Но окончил ли Шекспир школу? Биографы полагают, что он учился до тех пор, пока его отец занимал высокие посты в муниципалитете и стремился подняться выше (хлопотал о присвоении дворянства); когда же Джон Шекспир влез в долги и покатился вниз (в конце 1570-х), сыну пришлось оставить учебу и начать работать в отцовской перчаточной мастерской. Знакомство драматурга с кожевенным делом легко доказуемо — желающие могут найти обширную коллекцию цитат в той же книге Шенбаума. А меня интересует другое: ранние (1590 — 1594 годов) вещи отчетливо свидетельствуют о стремительном и беспорядочном накоплении знаний.

Комментаторы в связи с этим употребляют очень подходящую формулу: влечение к «школьной эрудиции». Тут и «школьная» (вот именно) латынь; и большой набор простеньких иноязычных выражений, взятых иногда прямо из учебных пособий (так, двустипшие «Venegia, Venegia, / Chi non te vede, non te regia» приведено в учебнике итальянского языка Флорио, вышедшем в Лондоне в 1591 году); и бесконечные цитаты, парафразы, отсылки к авторитетным именам; и масса «ученой» терминологии; и всякие начальные сведения из логики, риторики, версификации; и активное применение «правильных» поэтических фигур; и переизбыток мифологических образов, и обращение к античным образцам... А в общем создается впечатление, что начинающий автор слегка тщеславится своими свежими знаниями — и потому демонстрирует их к месту и не к месту.

Эта картина неплохо соотносится с первым (1592 года) печатным отзывом о Шекспире — памфлетом драматурга Роберта Грина, который, обращаясь к университетским собратьям, советует им сторониться актеров, этих «кукол, что говорят нашими словами», и особенно одного из них: «выскачку-ворону, украшенную нашим опереньем, кто „с сердцем тигра в шкуре лицедея” считает, что способен помпезно изрекать белый стих, как лучшие из вас, и... полагает себя единственным потрясателем сцены в стране» (фамилия не названа, но цитата из «Генри VI» и словосочетание «shake-scene» не оставляют сомнений — это Shake-speare). Раздражение дипломированного писателя, пожалуй, понятно — тем более что «выскачка», щеголяя незаконной эрудицией, в то же время позволял себе потешаться над ней, отдавая излишки в пользование шутам. Да и вообще отношение Шекспира к регулярному образованию было отнюдь не энтузиастическим. Школа у него неизменно ассоциируется со скукой и неволей — можно вспомнить, например, знаменитый монолог Жака-меланхолика, где встречается «школьник... нехотя, улиткой, ползущий в школу», или слова Ромео: «Как школьники от книг, спешим мы к милой, / Как в школу, от нее бредем уныло...» Что же касается «высшей ступени», то — как показывают сюжетные ситуации ранних пьес — стремление героев подняться на нее воспринимается драматургом явно иронически. В «Укрощении строптивой» Люченцо со всем пылом заявляет о своем намерении изучать «ту часть философии, в которой / Трактуются о счастье, достижимом / Лишь строгой добродетелью науки»⁵. Но едва он заканчивает монолог, как на сцену выходит

⁵ Вежливость — или точность — требует каждый раз называть переводчика. Но обилие цитат вынуждает обойтись простым перечнем фамилий: Б. Пастернак, М. Лозинский, Т. Щепкина-Куперник, Ю. Корнеев, А. Курошева, И. Мандельштам, А. Дружинин, М. Дон-

Бьянка, и герой, забыв про университет, поступает учителем в ее дом — а взамен учебников подсовывает девушке книги, где говорится «все о любви, и только о любви». В «Бесплодных усилиях любви» ситуация еще забавней: король и трое придворных, затеяв «академию», торжественно клянутся три года провести в ученых трудах, а к женщинам не обращать ни взгляда, ни слова — но в тот же день нарушают обет и принимаются строчить любовные сонеты...

Естественно, что при таком подходе к образованию у драматурга осталось множество пробелов — так что он нередко ошибался в географии и хронологии, открывал в древних Афинах монастырь или путал иудейскую субботу с Саваофом; в оправдание последнего обстоятельства заметим, что по-английски два этих слова звучат сходно, и если писать со слуха... А слухом Шекспир определенно пользовался — не вникая притом в детали. Так, сочиняя «французскую» комедию, он, похоже, ухватил имена из политической актуальности — поддерживая Генриха Наваррского, Англия с интересом наблюдала за ходом гражданской войны во Франции, — а в результате сторонники Генриха Бирон и Лонгвиль и его злейший враг Дюмен оказались сведены в одну дружескую «академию»... Такое равнодушие к мелочной точности весьма раздражало обстоятельного Бена Джонсона, не упускавшего поставить на вид: нету, дескать, в Богемии моря! Вот и в Падуе его нет — а герой «Укрощения строптивой» без проблем «сходит на берег»⁶; данная подробность выглядит особенно пикантно, если вспомнить, что главный на сегодня кандидат в Шекспиры, граф Рэтленд, учился в Падуанском университете...

Но это бы ладно; существенней, что рэтлендианцы ломают шекспировскую хронологию, сдвигая начало на три года⁷ — дальше не выходит, поскольку в 1593 году имя Шекспира появилось в печати. А в результате такого лихого временного перескока мы имеем неразрешимый вопрос: в какое место засунуть полдюжины пьес, традиционно датируемых 1590 — 1593 годами? И как поступить с их отчетливыми художественными признаками, называемыми «первой манерой» Шекспира?.. Впрочем, даже если принять предлагаемую точку отсчета, картина не сложится: семнадцатилетний юноша мог, положим, писать любовные комедии — но хроники, исследующие историю страны, требуют зрелости⁸. И ссылки на великий дар не помогут: развитие гения тоже совершается по определенным законам. Пушкин хоть и начал очень рано, а к исторической проблематике обратился в двадцать шесть лет — и написал тра-

ской, С. Маршак и А. Финкель (сонеты)... При наличии нескольких переводов я старалась выбирать тот, что ближе к оригиналу.

⁶ И вообще шекспировская Италия судоходна насквозь: корабли доплывают и до Вероны, и до Милана; Бергамо имеет своего парусного мастера, и т. д. Гирилов утверждает, что на старых картах обозначено несколько ныне отсутствующих каналов; но, думается, если б Пизу (откуда приехал Люченцо) и Падую соединял в XVI веке водный путь — сквозь горы, почти через весь Апеннинский полуостров! — мы бы знали об этом инженерном достижении не только из «Игры об Уильяме Шекспире».

⁷ Ибо родившийся в 1576 году граф не мог приступить к театральной деятельности в 1590-м. Кстати, хронология — одно из наиболее слабых мест антистратфордианцев. Так, самый популярный в Англии кандидат в Шекспиры, граф Оксфорд, умер в 1604 году. А барон Хансдон, предложенный Н. Кастрикиным («Литературная газета», 1995, № 29 и 1998, № 20), скончался вовсе в 1596-м, перед смертью передав Шекспиру пачку рукописей...

⁸ Впрочем, с комедиями тоже выходит забавная история. Рэтлендианцы с удовлетворением отмечают, что их подопечному не понаслышке знакомы города, в которых происходит действие, — Верона, Падуя, Венеция; Францию он тоже посетил. Но проблема в том, что тексты — комедий «Бесплодные усилия любви», «Два веронца», «Укрощение строптивой», «Венецианский купец» и трагедии «Ромео и Джульетта» — принято датировать 1592 — 1596 годами, тогда как граф отправился в путешествие осенью 1595-го, возвратился же в самом конце 1597-го. А уже в 1598-м появилась «Сокровищница ума» Фрэнсиса Мереза, где имеются восторги по адресу Шекспира, а главное, перечислены двенадцать пьес, включая и вышеозначенные, — быстро же они вышли в свет! Допустим, часть их была отправлена домой с нарочным, но тут возникает вопрос, так сказать, производственного характера: может ли театр рассчитывать на заморского автора? — премьеры ведь надо регулярно выпускать, а корабли нерегулярно ходят да, случается, в бури попадают... И еще вопрос: за счет чего же актер Шекспир так преуспел, что в 1596-м смог возобновить отцовское ходатайство о присвоении дворянства, а в 1597-м — купить большой дом?

гедию «по системе отца нашего Шекспира»; Уильяму Шекспиру в 1590-м было как раз столько же. Но поскольку он начал позже, то учился «в процессе», и мощный ритм его художественного роста отпечатался в цикле хроник, сообщив абсолютную неопровержимость привычным датировкам.

В трилогии «Генри VI» (1590 — 1592) персонажи заданны, статичны и однозначны, а стиль архаичен; присутствуют и явные композиционные проколы; В «Ричарде III» (1593) на сцену выходит сложноразработанный герой; в «Короле Джоне» (1595) возникает персонаж, одновременно действующий и осмысляющий историческое действие, в «Ричарде II» (1596) — персонаж развивающийся, меняющийся с ходом действия; в дилогии «Генри IV» (1597 — 1598) вдобавок происходит активное вмешательство частного, бытового начала в эпическое движение истории... Но растущее мастерство не мешает смысловому единству хроник — напротив, оно столь очевидно, что многие исследователи убеждены: в начале цикла стоял общий замысел. Его суть — взаимоотношения властителя и времени. Генри VI — «добрый», но слабый король — лишается трона и жизни, ибо не способен противостоять времени гражданских войн; «до времени рожденный» Ричард III стремится «оседлать» время; Ричард II верит в свою царственную власть над временем — и время мстит ему, доводя до низложения и гибели; Генри IV вступает в непрочное согласие с временем; наконец, Генри V становится исполнителем его воли и потому — идеальным монархом... Можно ли предположить, чтобы школьник задумал и последовательно воплотил такую масштабную картину?

Однако мы увлеклись полемикой и обогнали движение сюжета; вернемся к становлению Шекспира. А для сравнения снова привлечем Пушкина и еще Моцарта, третьего обладателя столь же универсального и безмерного дара — ибо способ их развития очень сходен. При начале они демонстрируют исключительную творческую «всеядность»: стремительное освоение (присвоение) всех имеющихся стилей, манер, направлений, приемов письма; это — своеобразный «разгон» гения, покамест не выработавшего собственный язык и как бы примеряющего, пробуя чужие образцы, чтобы, взяв от них все пригодное, отбросить, словно выжатый лимон... И вот в этой учебе Шекспир был очень усерден. Он практиковался в грубом фарсе и в изысканном эвфуизме на манер Лили; подражал античной комедии и «кровавой трагедии» Кида; заимствовал взвинченную риторику Марло и буколическую поэтику Спенсера; упражнялся в строгой сонетной форме, в изящной эротике и в псевдоэпической патетике...

Здесь надо остановиться: две поэмы — «Венера и Адонис» (1593) и «Обещанная Лукреция» (1594) — заслуживают нескольких отдельных слов. Нет сомнений, что Шекспир сам отдал их в печать — и делал на них ставку: посвящения графу Саутгемпτονу составлены продуманно и тщательно, опечаток и типографских погрешностей почти нет⁹... Пьесы поначалу печатались анонимно и, как свидетельствует изуродованный текст, без ведома автора. Но с годами его известность росла, а соответственно «именные» издания постепенно вытеснили анонимные; больше того: в 1600-х недобросовестные издатели начали маркировать популярной фамилией (или инициалами W. S.) продукцию самых разнообразных драмоделов. Можно, конечно, увидеть сложносочиненную игру и в такой истории публикаций. Но по мне, эта стихийно сложившаяся последовательность просто и внятно рассказывает о писателе, который имел успех, но отнюдь не влияние, позволившее бы защитить свои авторские права от «пиратов»; единственное, что он мог сделать, — выпустить «исправленный» (как значилось на «хороших» кварто) текст... Что же касается поэм, то они переиздавались чаще, чем любые другие произведения Шекспира — и чем сходные вещи его современников. Но он к этому жанру больше не возвращался — ибо прочно встал на свой путь.

⁹ Отметим, кстати, и то, что издатель, Ричард Филд, был земляком и ровесником поэта.

III

И ремесла отмечен я печатью...

Сонет 111.

Театральность — определяющее свойство шекспировской драматургии; недаром же ее ставят постоянно, снова и снова. Единственный из драматических писателей прошлого, способный тягаться с Шекспиром в популярности, — Мольер, тоже работавший в театре и бывший актером; остальные Гольдони, Гоцци, Лопе де Веги, Кальдероны, Корнели и Расины плетутся далеко позади. Конечно, можно объяснить дело просто: тем, что эти двое — самые лучшие; но не потому ли они и стали лучшими именно для сцены, что на собственной практике, «осозательно» изучили ее законы и требования?

Эта практика, кстати сказать, объясняет и практицизм Шекспира: театральным предпринимателем обязан иметь деловую хватку — иначе театр прогорит... Попрекая драматурга его домами и землями, антистратфордианцы словно забывают, что он занимался также строительством «Глобуса»¹⁰; впрочем, сцена требует и творческого практицизма. Фраза «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» к театру, увы, неприменима: там вдохновение как раз продается, поскольку актеру приходится творить в назначенный день и час, согласно купленным билетам; к актеру-драматургу это относится, может быть, не так непосредственно — но все же относится. И Шекспир это ощущал — и, случалось, проклинал судьбу, сделавшую его «площадным шутом» (сонет 110) и «осудившую... зависеть от публичных подаяний» (сонет 111); тем не менее он всегда оставался безупречным профессионалом, умевшим писать и для придворной, и для демократической аудитории, и для обеих вместе. Можно было бы отметить и способность кстати польстить монархам — вернуть изящный комплимент «весталке» Елизавете, специально для шотландца Якова написать «шотландскую» трагедию, где фигурировали бы и его любимые ведьмы, и его предок Банко, — но, боюсь, по части лести лорды были способнее; впрочем, умение поставить «нужную» тему на службу собственным идеям, да притом настолько растворить в них практическую задачу, что если не знаешь, то никогда не догадаешься о ее наличии, — это, конечно, верх профессионализма.

Требования актерской психофизики он выполнял столь же мастерски. Современные артисты свидетельствуют: драматург дает им отдохнуть между сценами, в которых необходимо «выкладываться». Особенно много таких передышек между кульминационным третьим и финальным пятым актом трагедий — в четвертых актах герой в половине эпизодов вообще не выходит на площадку. Какому графу пришло бы в голову так заботиться о самочувствии исполнителей?.. Можно привести также массу маленьких доказательств того, что Шекспир писал не просто для театра, но именно для «Глобуса»: скажем, «проходные» реплики в «Юлии Цезаре» занимают ровно столько времени, сколько требовалось актеру, чтоб подняться с нижней сцены на верхнюю... Однако не будем мелочиться: поговорим о вещах более значимых.

Знаменитая фраза «Весь мир — театр» придумана, разумеется, не Шекспиром: она была топосом Ренессанса, его расхожей формулой. Но ни один автор не извлекал из нее столько разнообразнейших смыслов. Куда ни ткнишь, всюду рассыпаны «актерские» и «сценические» сравнения, уподобления, образы, метафоры, причем с годами их число увеличивается: лицедейство, власть которого Шекспир ощущал явственно и конкретно — «ремесла отмечен я печатью, / Как краскою красильщика рука» (сонет 111), — вьедалось в плоть и кровь, заставляя все переводить на язык театральности. «Мой ум не сочинил еще Пролога, / Как приступил к игре» («Гамлет»); «Как тот актер, который,

¹⁰ В документах, относящихся к аренде земли, сказано, что здание возведено «Уильямом Шекспиром и другими».

оробев, / Теряет нить давно знакомой роли... Так я молчу» (сонет 23); «Ну, разыграй чувствительную сцену... Неплохо! Но могло бы выйти лучше» («Антоний и Клеопатра»); «Была бы дракой роль моя, / Сыграл бы без суфлера я» («Отелло»); «Пусть не сквозит наш умысел во взглядах; / Носить его, как римские актеры, должны мы твердо» («Юлий Цезарь»); «Сидит на троне Смерть, шутиха злая... Она потешиться нам позволяет, / Сыграть роль короля» («Ричард II»); «Я выйду / На рыночную площадь и любовь, / Как шут кривляясь, выклянчу» («Кориолан»); «Любовь не шут Времени» (сонет 116, дословный перевод); «Я — шут судьбы» («Ромео и Джульетта»); «Мы, шуты природы» («Гамлет»); «Я не более как прирожденный шут судьбы» («Король Лир»); «Жизнь — только тень, она — актер на сцене. / Сыграл свой час, побегал, пошумел — / И был таков» («Макбет»)... Примеры можно множить и множить.

Театральность пропитывает не только язык, но всю сценическую систему Шекспира. Самое острое ее выражение — «театр в театре», один из любимых приемов драматурга, используемый постоянно и разнообразно. Ему находится место как в комедии (уморительная пародия в «Сне в летнюю ночь»), так и в трагедии (знаменитая Гамлетова «Мышеловка»); он может быть представлен и в неявной, зато более тонкой форме. Комедийные персонажи в свое удовольствие «театрализуют» жизнь, устраивая бесконечные розыгрыши; Волумния «репетирует» с Кориоланом его выход к народу («Мой сын, / Прошу, иди к ним, шапку сняв. Держи / Ее в руке — вот так, отставив локоть» и т. д.); Яго инсценирует собственную пьесу об измене, превращая других персонажей в своих марионеток; Брут и Кассий после убийства Цезаря обмениваются репликами, открыто соединяющими древнюю историю с сиюминутным театральным эпизодом: «Сквозь века / К неведомым народам и наречьям / Театры эту сцену донесут! — / И сколько раз умрет на сцене Цезарь... Столько ж раз / Потомки назовут нас братством граждан, / Освободивших родину свою», — и голоса гордых римлян как бы сливаются с голосами актеров, только что сыгравших ту самую сцену, о которой идет речь¹¹...

Не мешает отметить, что текст сопровождается ярким действием: тираноубийцы омывают руки кровью убитого — Шекспир никогда не забывает про «зрительный ряд». Причем зрелищность у него не картинна (как у классицистов), а именно действенна. Он сообщает остросценическую форму поворотам истории — как в том же «Юлии Цезаре», где Брут с Антонием ведут спор над еще не остывшим телом Цезаря, а народ-публика своим выбором оценивает игру «актеров времени». Он умеет разом ввести зрителя в суть дела — вспомним красочную драку в «Ромео и Джульетте», магнетическую пляску ведьм в «Макбете» — и эти игровые экспозиции разительно отличаются от привычного «разговорного» включения в ситуацию. Он прибегает к эффектным театральным жестам даже в самые неподходящие, казалось, моменты — как в сцене самоубийства Отелло, совершаемого в форме показа: «Я подошел, / За горло взял обрезанца-собаку / И заколол. Вот так». И даже его промахи, заметные при чтении, оправдываются природой театра: так, критики недоумевают, почему пропал Шут в «Короле Лире», — а драматург знает, что публика, захваченная представлением, легко забывает об актере, когда он, «окончив роль, подмостки покидает, / На сцене ж появляется другой»...

Но. Одно дело — театральность Шекспирова театра и совсем другое — его отношение к «игре по жизни». Чтобы уяснить эту разницу, надо снова привлечь ренессансный топос — на сей раз имея в виду его мировоззренческий смысл.

¹¹ Автор — вспомним свидетельство Бена Джонсона — тоже участвовал в ней: играл Цезаря. Можно предположить, что он исполнял и других властителей: на это вроде бы указывают слова поэта Джона Дэвиса насчет «царственных ролей» («Нашему английскому Теренцию, мистру Уиллу Шекспиру», 1610). Кстати, сам драматург в этом комплиментарном стихотворении назван «королем среди тех, кто ниже королей». Иные исследователи недоумевают: что бы значило такое определение? — а по мне, оно вполне ясно: речь идет о Короле театра.

IV

Truth need no colour, with his colour fix'd¹².

Сонет 101.

Пришедшая из античности формула «Mundus universus exercet histrioniam» («Весь мир лицедействует»), разумеется, включала в себя элемент лицемерия. Но Ренессансу главным казалось другое: то, что человек — если он хочет быть воистину достойным «звания человека» — обязан в любой момент вести себя так, словно за ним пристально и прицельно наблюдают глаза бесчисленных зрителей. Современников, потомков и, конечно, того главного зрителя, который всегда видит все, — Господа Бога; впрочем, просто радость творческой игры тоже ценилась и прославлялась... И Шекспир выразил это опять же как никто другой. Основной герой его ренессансных пьес есть homo ludens, человек играющий. Ликующая игровая стихия бурлит в комедиях с их мистификациями, переодеваниями и путаницами; ей подчинены — или ею владеют — не только комедийные персонажи, но и наиболее яркие, наиболее обаятельные лица всего драматургического универсума: и захваченный трагедией Меркуцио, и принц Гарри с Фальстафом, разбавляющие своими жизнерадостными дурачествами патетический мир хроник.

Вообще же в историческом цикле представлен кардинально другой тип игры — политической, к которой автор относится неоднозначно. Первый со знательный актер хроник — Ричард III, с самого начала заявляющий, что «пошлет самого злодея Макьявелля в школу» (и явно не подозревающий, что Макиавелли еще не родился; столь же очевидно, что Шекспир имеет очень смутное представление о Макиавеллевой доктрине). Следом на сцену выходит Генри IV — тоже узурпатор и тоже «макьявель»; однако его действия отчасти оправданы интересами государства. Последним появляется Генри V — бывший принц Гарри, который еще в первом акте «Генри IV» уведомлял зрителя, что, когда придет пора, он отбросит свое беспутство, как маску; теперь ему дана роль идеального монарха. И в этой роли он меняет новые маски («законника», «героя», «отца народа», «честного солдата») с такой же легкостью, с какой «отменил» прежнюю, — то есть предстает изощреннейшим из «макьявеллей».

И это очень значимо. Похоже, что Шекспира смущал глубинный разрыв между двумя принципами игры. И, желая сообщить «игровой» идеологии Ренессанса бóльшую целостность и более высокую нравственную цену, он попытался создать образ положительного политического актера — причем играющая стихия, в которой вырос блистательный homo ludens Гарри, должна была послужить как бы основой, фундаментом сознательного и общепользального королевского лицедейства... Как известно, попытка не удалась: пьеса вышла слабой и фальшивой. Наверное, драматург и сам понимал это — но хотел завершить замысел, достроить здание истории, столь долго стремившееся к идеальной высоте. И, может быть, творческий провал явился для него своеобразным доказательством того, что идеал невозможен. И, таким образом, стал катализатором вызревавшего кризиса.

Первое его проявление — трагедия «Юлий Цезарь» (1599), где прежний отчетливый порядок оказался нарушен. Время — непреложный авторитет хроник — приняло сторону циничного триумвирата. И что существенно: честный Брут проигрывает, быть может, именно потому, что отказывается от политической игры, противной его натуре, — тогда как бесчестный Антоний отлично чувствует себя в стихии лицедейства. В «Гамлете» тема «вывиха времени» и разрушения правильного миропорядка выходит на передний план — а с тем вместе усиливается конфликт правды и игры, «быть» и «казаться». В первой же развернутой реплике герой заявляет: «Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу /

¹² Правда не нуждается в расцвечивании, ибо ее цвет неизменен.

Того, что кажется. Ни плащ мой темный / ...Ни горем удрученные черты / И все обличья, виды, знаки скорби / Не выразят меня; в них только то, / Что кажется и может быть игрою; / То, что во мне, правдивей, чем игра; / А это все — наряд и мишура». Горечь слов понятна: ведь мать уже сбросила «наряд» верности, обнаружив свою подлинную — то есть фальшивую — природу; затем приходит очередь возлюбленной, затянутой в интриги, и друзей, помогающих «загнать» Гамлета «в сети». Про короля-убийцу и говорить нечего — это он заставил принца сделать разрушительное открытие: «Можно жить с улыбкой — и с улыбкой / Быть подлецом». Закономерный вывод из череды обманов — разочарование в человеке; его суть сформулирована в знаменитом монологе: «Какое чудо природы человек! Как благороден разумом! С какими безграничными способностями!.. В поступках как близок к ангелу! В воззрениях как близок к Богу! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинт-эссенция праха?» Собственно, здесь выражен кризис ренессансного гуманизма — и нет сомнений, что Шекспир рухнул в него вместе с героем.

Однако в «Гамлете» протагонист еще надевает на себя — полувынужденно — обманную личину; он еще выступает в той роли, которую в дальнейшем будет исполнять только злодей: строит ловушку. А материалом для нее оказываются актеры. Труппа «Глобуса» тоже однажды была использована сходным образом — известная история: сторонники Эссекса заказали ей сыграть «Ричарда II», надеясь, что спектакль о низложении короля поднимет народ на мятеж... У «рэтлендианцев» выходит, будто сии наивные упования разделял и конспиративный Шекспир, активно участвовавший в заговоре, — смешно! Опытный драматург, изучивший механизмы сценического воздействия, не мог не понимать: публика просто не догадается, зачем ей показывают эту старую пьесу; кстати, и сам бунт был отмененно бездарным спектаклем. Случился он 8 февраля 1601-го, но до или после премьеры «Гамлета» (вышедшего в сезоне 1600/01), неизвестно. Возможно, театральная затея заговорщиков была спровоцирована драматургическим сюжетом, а возможно, наоборот: Шекспир ввел в пьесу актеров — причем именно свой театр, название которого легко читается в словах о «Геркулесе с его ношей», — после того, как пережил схожую ситуацию в реальности.

Как бы то ни было, представление «Мышеловки» — адресованное, заметим, только одному «знающему» зрителю! — привело к желаемому результату. Но когда торжествующий Гамлет спрашивает Горацио: «Неужто с этим, сударь мой, и с лесом перьев, — если в остальном судьба обошлась бы со мною, как турок... я не получил бы места в труппе актеров?» — то слышит в ответ: «С половинным паем». Почему? Причин может быть несколько. Первая та, что Шекспиру — как мне кажется — очень важно было дистанцироваться от героя, в которого он вложил слишком много себя. И потому Гамлет не получил не только полного пая, но и поэтического таланта, что подчеркнуто его откровенно слабым стихом к Офелии, а затем и признанием: «Не даются мне эти размеры». Во-вторых, принц использовал театр не по назначению: «держат зеркало перед природой» — совсем не то, что применять его в своих личных целях. И наконец, внетеатральное воздействие «Мышеловки» было резко усилено издевательскими сопроводительными репликами, разрушающими сценическую иллюзию и откровенно показывающими королю, что тут идет игра по жизни, — а драматург уже явно отвергает такую игру: недаром именно после нее начинается отсчет трупов, и первыми гибнут пусть жалкие, но не заслужившие смерти Полоний и Офелия... И по всему по этому Шекспир — гениальный поэт, актер и владелец полного пая — ставит принца на место.

И с этого момента конфликт правды и лжи, бесхитростности и коварной игры становится магистральной темой его трагедий — причем кажущееся, обманное, лживое неизменно оказывается причиной либо трагической завязки, либо трагического развития, а организаторами злодейства выступают персонажи, до поры скрывающие свою суть под лицедейской маской. В «Отелло» кле-

вета на чистую Дездемону срабатывает прежде всего потому, что клеветник предварительно добился прозвания «честный Яго». В «Лире» протагонист сам загоняет себя в ловушку, ибо верит обманным словам. В «Макбете» ведьмы соблазняют героя двусмысленной правдой-ложью, а сам герой, став убийцей, в тот же момент становится однозначным лжецом. В «Кориолане» трагедия происходит оттого, что честный римлянин в угоду близким надевает маску — но срывается. В «Тимоне Афинском» лицемерит все общество — и, обнаружив это катастрофическим для себя образом, герой-филантроп превращается в мизантропа... А в общем, можно сказать, что постренессансный Шекспир глубоко убежден: ложь всегда стоит при начале зла и преступления, а вернее, ложь есть основа зла. Другими словами: он исповедует культ правды.

Это утверждается и на уровне языка: риторика, которая «может быть игрой», становится только игрой, только способом скрыть подлинные мысли — и передается в пользование подлецам. А честные герои оказываются лишены способности — или желания — «в уста вложить сердце». И это тоже новый для Шекспира подход: раньше он, в соответствии с ренессансными представлениями, считал, что человек в любых обстоятельствах должен выражать свои чувства красиво — как в театре. В «Ромео и Джульетте» все речи влюбленных повышенно риторичны — что не мешает им быть прекраснейшей на свете лирикой. А в «Отелло» приемами красноречия владеет один Яго, тогда как вершинная трагическая сцена Дездемоны — та, где она поет знаменитую «Ивушку», — сбивчива, подчеркнута антириторична и потрясающе естественна. Это же происходит в «Макбете» — убийца красноречиво скорбит об убитом, тогда как Макдуф, узнав о гибели семьи, лишь потрясенно переспрашивает: «Ты говоришь, и дети?.. Жена убита тоже?.. Всех бедненьких моих? До одного?.. Всех, ты сказал?» А в «Лире» отказ от риторики доходит до демонстративного отказа говорить вообще: « — Ты ж, наша радость... Что скажешь? — Ничего, государь. — Ничего? — Ничего»... Впрочем, она могла бы сказать о себе словами лирического героя сонетов: «Я не хочу хвалить любовь мою — / Я никому ее не продаю»¹³.

Однако сонеты — опять же отдельная тема, требующая новой главки. А эту закончим не лирикой, но документами. Джон Дэвис восклицал в своем «Микрокосме», обращаясь к драматургу и актеру W. S.: «Ты благороден сердцем и умом»; драматург Генри Четл, выпустивший памфлет Грина, а вскоре познакомившийся с адресатом, счел нужным печатно выразить свои сожаления, поскольку «убедился, что его личность столь же безупречна, сколь отлично проявляет он себя в избранном деле; кроме того, различные достойные лица удостоверяют его прямоту в делах, что свидетельствует о его честности»; слова Бена Джонсона о честности и откровенности Шекспира мы уже приводили. Конечно, эти отрывки не складываются в развернутое описание личности. Но все же достойно внимания, что немногие сохранившиеся свидетельства совпадают с образом, который отпечатался в драматургии.

V

My name is Will.

Сонет 136.

В сонетах он выглядит сходно. Как и в трагедиях, одна из главных тем здесь — противопоставление искренности и фальши, честности и обмана; но если в трагедийных сюжетах культ правды выявлялся частично «от противного», через отрицание лживого действия-злодейства, то в стихах он исповедуется в открытую... Впрочем, некоторые антистратфордианцы утверждают, что в

¹³ В оригинале, разумеется, лучше: «I will not praise that purpose not sell» — «не хочу оценивать» (или «набивать цену»).

стихах нам предъявлена опять же маска, или, выражаясь корректней, еще один персонаж, созданный драматургом; так им ничего другого не остается. Надо же объяснить, почему граф говорит о себе как о человеке низкого звания и актере, а вдобавок прямо называет свое имя — Уилл, пользуясь тем, что смысл слова «will» (желание, воля) отлично рифмуется с образом лирического героя-любownika. В нескольких стихотворениях назывной каламбур дан мельком; сонеты 135 — 136 целиком построены на этой игре:

Недаром имя, данное мне, значит
«Желание». Желанием томим,
Молю тебя: возьми меня в придачу
Ко всем другим желаниям твоим.

...Ты полюби сперва мое прозвание,
Тогда меня полюбишь. Я — желанье!¹⁴

(Перевод С. Маршака.)

Этот пылкий Уилл особенно не подходит Гилилову, поскольку его герой, Роджер Мэннерс, граф Рэтленд, изображен то ли убежденным платоником, то ли импотентом — и с чего б ему, бедняге, говорить о страсти, тайных свиданиях, изменах, ревности; о «сладострастье в действии. Оно / Безжалостно, коварно, бесновато» (сонет 129) и тем более о «плоти», что «встает, как раб перед своей царицей» (сонет 151)? Может, стихи выполняют компенсаторную функцию? Не знаю: мой любимый враг объяснениями не затрудняется; зато он объясняет скрытое значение слова «manners» («манеры») в первой строке сонета 85 — это, дескать, указание на фамилию автора. А еще у Гилилова есть дивная заморочка: поделив Шекспира на троих — Рэтленда, его жену Елизавету и тетушку жены, — он оказывается вынужден делить и тексты. Вот и делит: «Рука Елизаветы заметна в некоторых сонетах». Хоть бы сказал, в каких...

Впрочем, гилиловский сюжет годится лишь для читательского развлечения. Концепция «образа» нуждается в более серьезном рассмотрении — поскольку и некоторые сторонники Шекспира полагают, что драматург, умевший говорить голосами самых разных «я», мог и лирическое «я» построить по законам драматургии. По мне, так нет; я полностью согласна с теми, кто считает, что в сонетах Шекспир «отомкнул свое сердце» (Вордсворт). Первое (пусть не прямое) доказательство: публикация сборника была пиратской — в этом уверены все исследователи. А ведь другие поэтические произведения автор сам отдавал в печать, рассчитывая, что они принесут ему славу. Сонеты могли послужить этой цели еще лучше; но что, если он не хотел (при жизни?) предавать публичности тексты, в которых действительно «отомкнул свое сердце»?.. Косвенным подтверждением являются слова Ф. Мереза, который в «Сокровищнице ума» воздает хвалу «сладчайшим сонетам» Уильяма Шекспира — не забывая уточнить: «распространенным среди его близких друзей»; книга Мереза вышла в 1598 году, книга сонетов — в 1609-м. Другие доказательства принадлежат сфере самой поэзии.

Стилевые и тематические различия показывают, что стихи писались не один год — хотя не соответствующая реальной последовательности нумерация мешает увидеть это сразу. Назвать конкретные даты — задача едва ли выполнимая. Однако некоторые шекспироведы полагают, что сонет 145 обращен к

¹⁴ «My name is Will». Кстати сказать, в оригинале присутствуют два Уилла: второй — соперник автора; но перевести эту двойную игру слов на русский в принципе невозможно. Да и вообще перевод сонетов — дело в высшей степени сложное: русский текст, разумеется, не может дословно следовать английскому (и тем более — передать его звук). Но если в драмах текстовые неточности не мешают сохранять верность сюжету, то здесь словесные подмены ведут и к смысловым изменениям. Поэтому иногда придется пользоваться «пересказом» или подстрочником.

невесте: слова «hate away» в завершительном двустиишии, возможно, обыгрывают ее фамилию — Хетеуей; гипотеза исходит, разумеется, не только из этого каламбура, но из свойств текста: неумелый и наивный, словно песенка пастушка, он не выдерживает сравнения даже с самыми первыми пьесами... А сонет 66 («Зову я смерть...»), как давно замечено, очень близок Гамлетову монологу «Быть или не быть» — и едва ли может принадлежать более раннему периоду. Очень хотелось бы поместить рядом с поздними трагедиями несколько «осенних», мрачных, пронизанных ожиданием смерти стихов — но обойдемся без рискованных привязок, на которые серьезные исследователи не отваживаются: ведь в любом случае у нас в распоряжении есть как минимум десятилетие. Трудно представить, чтобы стремительный Шекспир работал над «образом» так долго; резоннее предположить, что перед нами лирический дневник, служащий той самой цели, которую всегда имеет лирика: выразить мысли и переживания поэта.

Смена поэтического мировоззрения в нем, естественно, отпечаталась тоже — и не просто смена, но откровенный спор со своими прежними взглядами. Его можно увидеть и в пьесах: в «Венецианском купце» друзья со всех ног бросались на помощь разоренному Антонио — а в «Тимоне Афинском» герой, потеряв состояние, разом теряет и друзей; в «Отелло», как и в «Много шума из ничего», злодей инсценирует измену — с ровно противоположным результатом; «Антоний и Клеопатра», подобно «Ромео и Джульетте», рассказывает о любви, вступившей в конфликт с миром и оканчивающейся двойным самоубийством, — но какая между ними колоссальная разница!.. В стихах спор происходит прежде всего на уровне слова. В сонете 28 поэт «смуглой ночи посылал привет, / Сказав, что звезды на тебя похожи» (а кстати, и Ромео уподоблял глаза Джульетты звездам), — в 21-м он отказывается «украшать» свои строки «звездами неба»; 99-й наполнен расхожими цветочными сравнениями: «У белой розы — цвет твоей щеки, / У красной розы — твой огонь румяный» — в 130-м все наоборот: «С дамасской розой, алой или белой, / Нельзя сравнить оттенок этих щек»...

Но любовь остается любовью. Она становится даже сильнее — и чем сильнее, тем скромнее: «Люблю — но реже говорю об этом, / Люблю нежней, — но не для многих глаз¹⁵. / Торгует чувством тот, кто перед светом / Всю душу выставляет напоказ» (сонет 102). Отсюда, естественно, возникает спор с теми, кто «торгует» или ждет продажных излиятий. С другом: «Я полагал: у красоты твоей / В поддельных красках надобности нет» (сонет 83); с соперниками в поэзии, подменяющими простоту и правду чувства «натянутой риторикой» (сонет 82)... И пусть даже адресат предпочтет «искренним незамысловатым словам правдиво говорящего друга»¹⁶ фальшивые «драгоценные фразы», начертанные «золотым пером», — поэт не станет ему в угоду искать «приемов новых, сочетаний странных» (сонет 76). Он скорее согласится выглядеть «малограмотным дьячком», способным «только возглашать „аминь!“» (сонет 85), или вовсе умолкнет — но не прибегнет к славословиям, которые на деле являются «проклятиями» (сонет 84). Ибо он одинаково правдив (верен) и в любви, и в слове (сонет 21)¹⁷.

Той же правдивости он требует от любимых — и не только в словах, но, главное, в делах. Разумеется, можно сказать, что требование порождено сюжетной ситуацией: изменой. Однако у Шекспира традиционный сюжет оказывается парадоксальным образом освобожден от привычного аккомпанемента

¹⁵ «I love not less, though less the show appear» — «Люблю не меньше, хотя меньше показываю спектаклей».

¹⁶ «true-telling» — «правду-говорящий»: написание через дефис как бы подчеркивает нераздельность «правды» и «говорящего».

¹⁷ «...true in love, but truly write» — «верный в любви, пишу только правдиво».

та — ненависти к сопернику, ревнивого исступления, жажды мести (вспомним «Крови, Яго, крови!»). И остается одно: собственно обман — в сопровождении сложно варьирующихся эмоций. Тут и признание своей слабости, постыдно умоляющей: «Обмани / Меня поддельной, мнимую любовью»; и упреки обманщице, которая и обманутого сделала лжецом: «я ослеплял зрачки пристрастных глаз»; и просьба перестать хитрить наконец. Положим, это все обычные мотивы — но есть и другие, неожиданные. Например, презрение к плоти, которая обманывается пустым звуком и вовлекает в измену: «При имени твоём восстав надменно, / Она свою осуществляет власть». Или — язвительная насмешка над собою: «Я верю, хоть и вижу, как ты лжешь, / Вообразив меня слепым юнцом. / Польщенный тем, что я еще могу / Казаться юным правде вопреки, / Я сам себе в своем тщеславье лгу»... А главное — ни с чем не сравнимо то страстное отвращение к обману, которым пропитано все, от первых строк до мучительно повторяющегося вывода: «Я клялся: ты правдива и чиста, — / И черной ложью осквернил уста», «Правдивый свет мне заменила тьма, / И ложь меня объяла, как чума».

...Однако существует один «вид» обмана, который Шекспир не только не осуждает, но провозглашает как задачу, — дело идет о том, чтобы обмануть «прожорливое время», перед которым не могут устоять даже «медь, гранит, земля и море», а тем более «краса твоя — беспомощный цветок». «Осада тяжкая времен» и настойчивая борьба с нею — посредством слова, единственно способного победить эту всесокрушающую силу, — одна из главных тем сонетов. И она также связана с темой правды. Иногда — оппозиционно, поскольку поэт не надеется, что будущее поверит его правдивому слову. Но чаще выстраивается прямая связь: ибо «прекрасное прекрасней во сто крат, / Увенчанное правдой драгоценной», и только правда достойна жить в веках.

Посмертная судьба творений Шекспира показала, что он был прав: веками потомки ценили в нем прежде всего «верность природе», то есть правду. И именно стремясь к этой постоянной цели, он находил «новые приемы» и «странные сочетания». В драмах решительный отказ от «риторических потуг» рождал небывалую естественность, удивившуюся в литературе лишь в XIX столетии; в сонетах декларативное стремление к честности и простоте оборачивалось необычными, неожиданнейшими поворотами и мысли, и слова. Как в 72-м, где поэт уговаривает любимую забыть о нем сразу после его смерти: ведь иначе ей придется украшать воспоминания «ласковой ложью», а ему — стыдиться своего ничтожества, которое заставило ее лгать... Или как в 143-м:

Нередко для того, чтобы поймать
Шальную курицу иль петуха,
Ребенка наземь опускает мать,
К его мольбам и жалобам глуха,

И тщетно гонится за беглецом,
Который, шею вытянув вперед
И трепеща перед ее лицом,
Передохнуть хозяйке не даст.

Так ты меня оставила, мой друг,
Гонясь за тем, что убегает прочь...

(Перевод С. Маршака.)

Не шибко аристократическое, заметим, сравнение — хотя это, конечно, пустяк. А вот прорыв в будущее для нас очень значим. Ибо такие непредсказуемые и неизмеримые рывки умели делать, кажется, только еще двое: Моцарт и Пушкин. Недаром и начало их пути сходно с шекспировским; недаром они и дальше шли такой же прямой и правильной дорогой. Но тут, однако, надо уточнить смысл слова «правильный».

VI

Вернись, свободный,
К стихиям — и прости!

«Буря».

Любое развитие, идет ли речь о человеческой личности, человеческих сообществах, истории, науке, искусстве, должно подчиняться диалектической триаде «тезис — антитезис — синтез», где тезис есть принятие и утверждение неких уже существующих ценностей, антитезис — резкое их отрицание, а синтез — выработка новых базисов, включающих в себя и старые принципы, поднятые на новый уровень понимания. Однако ж эта идеальная схема в реальности воплощается очень редко; а чем точнее реальный сюжет вписывается в триаду, тем он правильной — и тем отчетливей виден в нем замысел Господень. Так вот, развитие Шекспира — при всей свойственной ему «стихийности» — отличает эта правильность и совершенная завершенность... Даже школьные учебники отмечают четкое деление его творчества на три периода: первый — итог и высшее выражение Ренессанса; второй — кризис гуманизма; третий — открытие новой культурной эпохи, тихо и примиренно сказавшей: «Жизнь есть сон»; ибо только жизнь вечная есть пробуждение. Отсюда — особая значимость темы милости, милосердия: «Прощенье — всем», — сказано в «Цимбелине»...

В «Буре» эта тема звучит тоже — контрастно соотношенная с темой мести, от которой Просперо отказывается, предпочитая вернуть добру души своих гонителей. Конечно, его «воспитательные методы» заведомо нереалистичны — как и вся эта чудесная мистерия, сама словно бы сотканная «из вещества того же, что наши сны»; именно такую художественную ткань и ценила эпоха барокко. А мне в настоящий момент ценно другое: отчетливо завершающий характер пьесы... У Моцарта и у Пушкина тоже есть финальные произведения: «Реквием» и «Памятник» — гении такой величины получают право поставить твердую и уверенную точку в конце пути. Но шекспировский финал — это не предсмертная молитва и не подведение земных итогов, а прощание с творчеством... «Почему он перестал писать?» — риторически вопрошают рэтлендианцы¹⁸. В ответ можно напомнить, что «Буре» предшествовали отчаянные провалы, свидетельствующие об угасании этого безмерного — казалось — дара; впрочем, Шекспир все объяснил сам.

...Отношения Просперо с Ариэлем исполнены драматизма. Ариэль не хочет служить: «Опять за труд? Опять даешь работу?» — и рвется на волю; Просперо удерживает его, но обещает: если последняя служба будет выполнена хорошо, он получит свободу «до срока». И вдохновленный дух — «исполнитель мыслей» — легко, стремительно, играючи плетет волшебные сети иллюзии. И только спрашивает: «Что, хорошо все вышло?.. «Как скучно будет / Мне без тебя», — вздыхает Просперо; а Ариэль напевает веселую песенку. Впрочем, этот быстролетный гений, порожденный стихией воздуха, по природе своей не способен ни на привязанность, ни на жалость. «Я б пожалел, будь человеком я», — вот максимум его «человеческой» (человечной) реакции... Может быть, Шекспир имел в виду некое «портретное» сходство? Ведь его гений почти безжалостно объективен: драматург работает действительно как «орган Природы», озвучивая бесконечно разнообразные голоса жизни, — и ни в одном из них мы не можем узнать голос автора. Только Гамлету он, как кажется, передоверил свои собственные терзания — но зато и провел резкую границу между собой и героем.

От Просперо он, похоже, не отделяется — не потому ли, что отделился гений?.. Отметим интересную деталь: магу даны горделивые воспоминанья («...затмил я солнце, / ...И разбудил грохочущие громаы. / ...По моему велению

¹⁸ Которым данное обстоятельство как раз выгодно: Рэтленд умер в 1612 году.

могилы / Послушно возвратили мертвецов. / Все это я свершил своим искусством»), которые скорее подходят самому Шекспиру — во всяком случае, пьеса не подразумевает никаких «возвращенных мертвецов». А при желании в тексте можно обнаружить даже намек на «периодизацию творчества»: Ариэль служит Просперо двенадцать лет — до того в его подчинении были лишь мелкие духи типа эльфов; но, возможно, это простое совпадение. Зато намерения героя не просто совпадают, но отчетливо соответствуют намерениям автора: как и Просперо, Шекспир покидает свой остров иллюзий, театр, и возвращается домой. Но перед тем — навсегда прощается с гением: «Вернись, свободный, / К стихиям — и прости!» Ариэль улетает не прощаясь... А бывший маг прямо обращается к зрителям:

...приложите ваши руки
И в путь направьте парус мой,
Чтоб цели я достиг прямой —
Вам угодить. Исчез мой дар
Влиять на духов силой чар,
И, верно б, гибель мне грозила,
Когда бы не молитвы сила:
Она, вонзаясь, как стрела,
Сметает грешные дела.
Как нужно вам грехов прощенье,
Так мне даруйте отпущенье¹⁹.

...Моцарт и Пушкин в финале тоже уповали на силу молитвы. Но у них обращения к Богу не связывались с обращением к публике. А шекспировский финал — откровенно публичный, театральный: реплика «на уход» должна быть повышено эффектно. Да и вообще в последней пьесе — подчеркнуто, концентрированно зрелищной — чудится вдобавок чисто актерский творческий посыл: чувствуя, что дар его покидает, Шекспир собрал оставшиеся силы для прощального слова — чтобы уйти торжественно и красиво, под шумные аплодисменты...

Впрочем, это только догадки. Но есть факт — на первый взгляд вроде бы противоречащий вышесказанному: вскоре после «Бури» драматург снова взялся за перо. Какова была доля его участия в хронике «Генри VIII» — сейчас не определишь: одни исследователи считают, что Шекспир начал пьесу, а заканчивать отдал Флетчеру, другие, наоборот, полагают, что он правил готовый текст. И ответы на вопрос — почему, уже простившись, он решился на еще одну попытку — остаются предположительными: может быть, уговорили актеры, не желавшие верить в окончательность финала, а может, объяснение заключено в словах Просперо: «Как скучно будет мне без тебя»? Пьеса вышла не то чтобы плохой — вполне на уровне тогдашней драматургии. Но других попыток Шекспир не предпринимал — хотя, уж наверное, мог бы и дальше писать не хуже Флетчера, сложенного с Бомонтом... И пусть «Генри VIII» включен в полное собрание сочинений — публика уверенно считает «Бурю» последней пьесой.

О стратфордском «финале» мы знаем мало — деловые мелочи, — но можем утверждать, что в городе Шекспира уважали: он ведь вернулся не только состоятельным человеком, но и дворянином. Бен Джонсон, не упуская случая поддеть более успешного коллегу²⁰, насмеялся и над Шекспировым

¹⁹ Перевод (Шепкиной-Куперник), к сожалению, очень неточен. В оригинале Просперо просит оказать ему помощь рукоплесканиями («the help of your good hands»); «spirits to enforge» предполагают подчинение не только духов, но также душ; присутствующие в русском тексте «чары» у Шекспира не связаны с чародейством: слова «art to enchant» имеют в виду чары искусства; о грозящей гибели (которая в сочетании с молитвой воспринимается как вечная гибель) речи вообще нет. Просперо говорит, что его концом было бы отчаяние, безнадежность («my ending is despair»)...

²⁰ В оправдание ему заметим, что, когда дошло до издания фолио, он отбросил свою завистливую недоброежелательность и написал восторженное предисловие — но, впрочем, и тут не удержался от выпада насчет плохой латыни.

гербом, и над девизом «Не без права»: в пьесе «Всяк в своем праве» персонаж-выскочка шеголяет девизом «Не без горчицы», в «Рифмоплете» есть пассаж об актерах, которые «забыли, что в глазах закона они — чернь», и «выставляют напоказ свои гербы». Возражения высказывали и некоторые представители «закона»: архивы сохранили официальный протест йоркского герольда и его надпись на черновом наброске герба: «Шекспир — актер». А романтики с середины прошлого века и по сей день сожалеют о Шекспировой мелкой суетности: ему ли украшаться дворянскими регалиями?.. По мне, желание заменить унижительный общественный статус на почетный никак не компрометирует «царя поэтов»; но его дворянство имеет и более глубокий смысл. Первый актер и драматург, ставший («не без права») джентльменом, Шекспир возвысил профессию — не только в глазах поклонников искусства, но и в глазах разнообразной «черни», для которой благородство «сердца и ума» всегда значило меньше официального патента на благородство. Да стоило ли хлопотать об ней? — возразят все те же романтики; в ответ напомним, что пайщик и один из руководителей театра «Глобус» всегда учитывал вкусы публики. Но дело даже не в этом. Главное, строгий гербовый щит, наискось пересеченный копьем — тем самым, что дает гордый звук фамилии Shake-speare: «потрясающий копьем» — положил начало новому отношению к театру. Конечно, оно утвердилось далеко не сразу; и все же сегодняшние английские актеры, ставшие сэрами и лордами, могут поблагодарить джентльмена из Стратфорда не только за роли, принесшие им титул, но и за заработанное право числиться благородными. Впрочем, это уже другая история. А теперешний наш рассказ окончен — осталось лишь процитировать под занавес анонимное стихотворение, предпосланное второму (1632 года) фолио:

Плебей сын создал, взойдя на трон,
 Мир целый, им и правит; знает он
 Пружины тайные людского рода, —
 Как тронуть жалостью сердца народа,
 Как вызвать радость или гнев в душе;
 Умеет он в божественном огне
 Нас сделать заново из нас самих...



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ. Маленькая Грозная. — «Знамя», 1998, № 2.

Людмила Петрушевская, пройдя через «сказочный» период своего углекислотного творчества, вновь обратилась к реалистическому способу письма и к излюбленной теме материнства. Тему, принципиально святую для русской (да и для мировой) литературы, защищенную от грубых касаний множеством этических и эстетических табу, Петрушевская давно распотрошила до пуха и пера. Последовательно «кошунствуя», нисколько не щадя «нормальных» читательских чувств, она показала конфликт поколений не в традиционном идеологическом плане «отцов и детей», но в плане бытийном. Женщина, рожая детей, останавливается в социальном и творческом развитии, перестает иметь значение как личность; вырастив потомство до половозрелого возраста, она обязана уступить материнскую роль и место под солнцем своим некрасивым и несчастным дочерям. Число несчастий, болезней, увечий и катастроф на авторский лист в произведениях Петрушевской едва ли не превышает количество трупов на ту же единицу текста в самых кровавых сегодняшних триллерах. При этом сама смерть как событие, как переход «отсюда — туда» воспринимается как благо. «Реквиемы» Петрушевской светлы. Темны, углекислы, душни те произведения, где черно от народу. Мать, все еще живая после того, как дочь уже сама нарожала ребятишек, становится ходячим мертвецом с неизбежными вампирскими наклонностями: она питается, занимает квадратные метры жилплощади, шантажирует детей своими болезнями и оскорбленными чувствами. Накопление мертвого по эту сторону смерти — вот глобальное художественное открытие, сделанное Петрушевской. До сих пор ее героини, хоть и пытались плыть (да еще и «стилем») против течения жизни, относящего к смерти, неизбежно попадали в предсмертный «накопитель» и пребывали

там побежденные, в ненормально долгом ожидании «посадки».

Повесть «Маленькая Грозная» впервые показывает нам женщину-победительницу, сумевшую остаться живой и даже сохранить домашний очаг, то есть квартиру в сто пятьдесят квадратных метров, совершенно целой и свободной от посягательств хаотической родни. Маленькая Грозная — жена высокопоставленного мужа, суровая спутница сурового партийца сталинской закалки. Пара, характерная для своего исторического времени: оба, что важно, пришедшие в столицу, происходят из какой-то кавказской деревни, оба смешанной, мутноватой национальности — интернационал в крови, но при этом ни капли еврейства. Партийная аскеза выражается первым делом в отказе от всего красивого: высшая роскошь — чистота уродливых вещей, оголенных этой чистотой до полной явленности своего безобразия. Такова и Грозная: явленность ее настолько резка, что родственники серьезно верят в ее физическое бессмертие. Если по отношению к мужу Грозному общая фамилия звучит иронически (слабоватый и трусоватый, он все-таки ищет красивенькое и тепленькое в номенклатурно-санаторных кушачах), то супруге она подходит вполне. Суровая, честная, чистая (ни пятнышка грязи или украшения), она бы потянула и на маленькую Сталину, если бы религиозно-партийная этика не отделяла непогрешимого вождя от самых ближних к нему воплощений партийности неодолимой стеной. Героиня религиозна; она отвергает собственность и читит только место собственной жизни, которое неизбежно становится храмом. Роль храма передается той самой квартире номенклатурного метража, которую Грозная хранит от варварских набегов родни, желающей поселиться и жить. И это тоже форма аскезы: героиня отказывается от родных для нее кавказских законов гостеприимства, то есть отказывается от себя живой, когда-то бывшей ребенком, имеющей корни в реальной и теплой земле.

Если какая-то земля и существует для этой суровой женщины, то это земля могильная. Могила младшего сына — своего рода садовый участок, не в смысле «собственность», но в смысле «подведомственная территория»: «Она царила и на том простоватом, заштатном кладбищенском участке, куда ездила каждую неделю в любую погоду и где все, что сажали жена и дети ее покойного сына, — все, что сеялось не по ее тычку, — выпалывалось как сорная трава, едва взойдя: она и не проверяла, какой цветок вырастет из этих хилых росточков, выщипывала методически». Грозная и свою будущую могилу заранее вымеряет шагами: уляжется ли тело рядом с мужем, не помещает ли некстати растущее дерево. Такая бесстрашная хозяйственность для Грозной вполне натуральна: она всего лишь готовит место, земляную жилплощадь, хотя предпочла бы, наверное, навсегда остаться под полом квартиры (то есть под плитами храма). Квадратные метры могилы — как бы заранее занятая комната, смерть — род прописки. После смерти все должно остаться как при жизни: сыну обустроивается каморка на пролетарском Люблинском кладбище, родители, как им положено, живут на престижном Ново-Архангельском. Именно живут — потому что смерть, как явление сущностное, как событие, после которого все по-другому, не укладывается у Грозной в голове. «Начала и концы там жизнь от взора прячет. Покойник там незрим, как тот, кто только зачат», — писал Иосиф Бродский об Империи. Маленькая Грозная, жрица имперской религии, совершенно слепа перед зачатием и смертью. Именно поэтому она не страшится ни рожать, ни убивать.

В небольшой, но очень емкой повести Людмила Петрушевская показала не столько новый для себя тип героини, сколько новый тип не-жизни: первое произошло, скорее всего, благодаря второму. Маленькая Грозная неуязвима, потому что у нее отсутствуют обменные процессы со средой. Внешне это выражается в том, что героиня никогда не ест чужого и не оправляется в чужих туалетах. Замечательная ирония Петрушевской явила нам, можно сказать, квинтэссенция имперской религии, которая строилась целиком на извращении христианства. Грозная поступает с ближними так, как хочет, чтобы

они поступали с ней: стойко подавляя в гостях позывы естества, она хранит в сакральной чистоте собственный блистающий унитаз.

Главное же заключается в том, что обмен со средой отсутствует на эмоциональном уровне. Грозная принципиально никому не со-страдает, не вживается в чужую боль, поэтому все, что она делает для родных («держит диету» для мужа, ухаживает за сыном-калекой), приобретает характер героический. Многочисленные злодеяния, совершаемые ею во имя защиты храма от жильцов, тоже засчитываются ей за подвиги. В какой-то мере это религиозное самопожертвование. Грозной не страшны ни роды невесток, ни болезни внуков, ни унижения сыновей, вынужденных ютиться при женах в чужих одиннадцатиметровках. Грозная бестрепетна. Почти библейские сцены изгнания из квартиры детей и их семейств есть сплошные вызовы судьбе, потрясения в виду небес сухим старушечьим кулачишком. Из битвы поколений она выходит победительницей, потому что убивает своих детей прежде, чем они начнут убивать ее. «Человек страшней, чем его скелет», — эта цитата из Бродского может, пожалуй, служить эпиграфом ко всему творчеству Людмилы Петрушевской. Оба эти художника, каждый по-своему, сделали серьезные попытки запечатлеть словами суть и дух Империи. Оба, пожалуй, обнаружили, что на этой земляной территории от человека остается только часть — часть речи, как уточнил поэт. Маленькая Грозная и есть гневный маленький глагол при огромном, смутном, несуществующем существительном — потому что имперская религия работает как завод, без божества и без присутствия его в человеческой душе.

Не понимаю, для чего понадобились Петрушевской дополнительные навороты в виде пары второстепенных призраков, преследующих героиню незадолго до смерти и создающих обманчивое впечатление (поскольку с них начинается повесть), что дальше речь пойдет о преследовании Грозной со стороны КГБ. Самая смерть героини, все-таки пришедшая за ней и по-матерински взявшая ее на руки из больничной койки, есть потрясающий итог этой кошмарной судьбы. Так или иначе, эта повесть

писательницы явила читателю нечто новое: героиня вышла победительницей и сохранила семейный дом — но только сделав его совершенно пустым.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.

*

I. АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ.
Песня скорбных душ. М., «Книжный сад», 1998, 208 стр.

«Один сумасшедший — напишет, / Другой сумасшедший — прочтет» — строки из стихотворения, вынесенного в эпиграф и напечатанного еще раз внутри книги. Строки, повторяющиеся в каждой строфе, вдальбливаемые как припев, пригодный для всех времен и народов. Уточняют время и место две строки под занавес: «И сразу окажется лишним — / Овации, слава, почет...» Все это стало лишним (невозможным) только в нашей, сегодняшней литературной ситуации, когда общественно ориентированное, хотя бы по устремлениям, занятие литературой — престижное, государственное — превратилось в личное дело. И в качестве такового незамедлительно деградировало до невротического самовыражения. Формула Фрейда («поэт — самоизлечивающийся невротик») стала работать с полной нагрузкой именно на вторую ее часть. Тем самым совершилась внешне невинная, но существенная подмена: невротик — поэт. Следующий шаг из круга малой психиатрии в большую оказался вполне естественным: сумасшедший — поэт.

Сегодняшняя литература, особенно стихотворная ее часть, удручает обилием юридивых, убогих духом — на любой вкус. Им не нужна широкая публика со своей славой и почетом — она их пугает (испуг прячется за презрением к читателю, часто декларируемым). В результате даже талантливый невротик движется не в сторону самоизлечения и общественного признания, а все глубже в раковину самого себя. Тут уж и речи быть не может ни о какой «утверждающей мысли о новых ценностях». Любопытно, что в послесловии Ю. Кувалдина сочетается романтическая апология вечного движения с тоской по утверждающим мыслям. Это косвенное

свидетельство, что дух разрушения и отрицания уже несколько притомился.

Ю. Кувалдин представляет Тимофеевского как одного из сумасшедших поэтов, которые сами знают, что они сумасшедшие. Название книги также призвано подтвердить этот тезис. Хотя, как мне кажется, в случае с Тимофеевским говорить о некоей «органической» скорбности не совсем точно. Это подтверждают многие ясные и чистые строки, от которых веет свежестью и здоровьем. Ну и к тому же он автор — пусть в этом качестве и неизвестный для большинства — «Песенки Крокодила Гены», безусловно адаптирующей к реальности. Быть веселым в день непогожий, противостоять, настаивать на своем — это вечный путь жизни. Не зря песенка из детского мультфильма в памяти у всех у нас.

Даже в предельно «скорбных» стихотворениях энергия самого стиха создает в итоге противоположное настроение. Можно сказать, что печаль поэта бодра, а радость меланхолична и в этой эмоциональной двойственности заключен секрет его обаяния. Возможно, было бы точнее назвать книгу — «Песня гневных душ». Песня непрестанно, пусть и без видимого успеха, долбящих стену. В конце концов стена рухнула и погребла их под обломками. Ситуация шестидесятников очерчена достаточно точно (стихотворение «Письмо шестое», помеченное 1992 годом). Но корпус книги составляют стихи, написанные в советскую эпоху. У поэта нет сомнений в своей исторической правоте.

Я разминулся со временем,
 Такой анекдот, господа, —
 Я в правильном шел направлении,
 А время пошло не туда!

Поэт, как стрелка компаса, всегда показывает подлинное направление. Но гнев его — от торопливости, от невозможности сразу подчинить объективное субъективному, навязать миру свою волю. Образчики «интенсивного монтажа» (по формуле самого поэта) — схватить как можно больше разного и во что бы то ни стало удержать — пример волюнтаризма чистейшей воды: творческое преображение мира подменяется механическим сочетанием его фрагментов. Подлинные удачи — стихи философски-отрешенные, психологически точные, лаконичные. Одно из луч-

ших — «На проспектах твоих запыленных». На нем построил свои размышления и Ю. Кувалдин. Когда он утверждает, что Тимофеевский — поэт нового времени прежде всего потому, что не печатался, это звучит неубедительно. А. Тимофеевский — поэт своего времени, отношения с которым в силу остроты взгляда и максималистской нетерпимости сложились только так, как могли сложиться.

Ибо кризис советской системы — это прежде всего кризис романтизма, тьма низких истин в итоге развенчивает нас возвышавший обман. Впрочем, это не влияет на закладку фундамента нового обмана. Сумма свободы, как уже давно замечено, практически постоянна во всех обществах. Достаточно вспомнить об афинской демократии, окруженной плотным кольцом рабов. Нам дарован лишь призрак свободы — как постоянный импульс движения от старого рабства к новому, еще более изощренному, периодически выпрягающего одних и впрягающего других в перегруженный воз человеческого существования. Мы тянемся к новизне содержания, но обретаем лишь новизну формы. Постоянство мира неисчерпаемо разнообразно.

II. ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН. Вниз по реке. Стихи. М., ООО ПО «НЕЙРОКОМ-ЭЛЕКТРОНТРАНС», 1998, 258 стр.

Ростовский поэт Леонид Григорьян — автор десяти поэтических книг, переводчик Габриэля Шевалье, Альбера Камю, Жана Поля Сартра, стихотворений современных армянских и франкоязычных поэтов. «Вниз по реке» — избранное, представляющее примерно четверть написанного за тридцать лет литературной работы. Это позволяет говорить о Григорьяне как о поэте-профессионале, хотя сам себя он таковым не считает («Стихи мои — более или менее квалифицированный дилетантизм»). Впрочем, понятие «профессиональный поэт» скрывает одно из самых странных и противоречивых явлений советской действительности, где луга поэзии безжалостно вытаптывались табунами поэтов. Человек, получавший регулярное и достаточное вознаграждение за то, что пишет и печатает стихи — обычно среднего, проходного уровня, — изо дня в день, из года в год,

десятилетиями, превращался, как правило, в нечто монструозное. Да, Григорьян — поэт непрофессиональный, дилетант, и вовсе не потому, что он преподаватель латыни, а прежде всего потому, что он человек, любящий то, чем занимается, — литературу, поэзию, а не себя в них. От этого и трезвая самооценка собственного творчества.

В сущности, основной порок советской поэзии — недостаток вольного и благородного дилетантизма, заставляющего совершенствоваться и расти в любимом деле. Начиная с добросовестного сочинительства на заданные темы («Остановись, мгновенье!»), Григорьян постепенно приобретает раскованность и беглость поэтического письма. В то же время специфика и ограниченность дилетантизма в том, что он фиксирует определенную ступень в развитии литературы, один из стилей, одну из школ.

Круг поэтических симпатий Григорьяна очерчен достаточно четко: Тарковский, Самойлов, Кушнер, Чухонцев, Левитанский, Соколов, Липкин, Лисянская. Это прежде всего интеллигентные поэты, существующие в русле культуры и в свою очередь поддерживающие ее, как родники и ручьи. Именно культурный поэт остро осознает опасность литературности, умения слишком хорошо писать стихи, которое тем выше, чем свободнее от реальности, от обычной жизни, одухотворяя которую и призвано искусство. Григорьян знает об этом («Привычный мир, войди в мои стихи!»). Если в ранних стихах это существует как сознательная установка, трактуемая несколько поверхностно и приводящая лишь к дублированию мира, тягостному удвоению («вот стадион, вот пиво, вот байдарка»), то в поздних, зрелых стихотворениях привычный мир окружает автора достаточно плотно и ни в каких призывах не нуждается. «В телевизоре мутная дрянь, / А в троллейбусе дикая давка. / Остряки нагадали — и впрямь / Нашей жизнью становится Кафка». Но при всем знании окружающего и последовательно реализованных установках заметно тяготение к несколько идеализирующей, романтической по духу традиции, идущей еще от XIX века. Зависимость «от мутной жизни» ощущается все-таки как «стыдная», приводящая к тому, что «изустность наша да и письменность легко в помой-

ки забредает». Мне кажется, что Григорьян совершает насилие над собой, заставляя себя погружаться в чуждую ему — романтику-книжнику — стихию обыденности. Это превращает очень часто его стихи в рифмованную прозу, в обстоятельно-дневниковый «физиологический очерк».

Да, все узнаваемо, судьба интеллигент-шестидесятника достаточно типична. Тем самым стихи приобретают новое качество и особую ценность — исторического документа. И тем же отчасти компенсируется слабость стиля, идущая, как мне кажется, прежде всего от неуверенности в самом себе, неуверенности — от многознания, от культуры, от постоянного взгляда снизу вверх на любимых поэтов-современников. «Не взбираюсь на высоту, / Не решаюсь на глубину, / Ибо знаю, что упаду, / Понимаю, что утону». Внутренняя цензура оказывается самым мощным барьером. Боязнь упасть и утонуть держит на берегу или на мелководье, в кругу освоенного и безопасного. Возникает парадоксальная ситуация: автор хороших стихотворений выпускает их в свет без личного клейма, считая достаточной явную принадлежность определенной школе. Возможно, это идет от общекультурной тенденции к сглаживанию крайностей, к созданию некоторого компромиссного варианта творчества и существования. Стоит вспомнить и о первой профессии — «максимально удаленной от тошнотворной государственной идеологии». Увы, нельзя быть пассивно свободным ни от какой государственной идеологии. Свобода в противостоянии. И поэзия — там же. Любопытно в этом отношении стихотворение «Признание в любви» — Кушнеру и Чухонцеву. «Один поет: о, ласточки! о, тучки! / Другой хрипит: о, воронье! о, тьма! / Они мне оба на душу ложатся, / И я люблю их, что ни сотворят. / А по-над крышей вороны кружатся. / Но чуть повыше — ласточки парят». Подсознательно претендуя на объективно-всеобщую картину мира, которую требует культура, поэт лишен той творческой дерзости, которая позволяет ее утвердить. «Уменья выжить» нет «у неумех Сервантеса, Вийона или Данта». Поэт же числит себя среди

стремящихся выжить — но с тем, чтобы услышать «их пророческую весть».

Быть может, в этом наш талант и есть.
Он так велик, что и других не надо.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

ВЛ. НОВИКОВ. Заскок. Эссе, пародии, размышления критика. М., «Книжный сад», 1997, 415 стр.

«Уметь писать — значит уметь писать все». Вл. Новиков не голословен: он умеет-таки писать все — или почти все. Рецензию, фельетон, пародию (и в прозе, и в стихах), трактат, сжатый, если надо, до тезисов и афоризмов, манифест в духе литературных мечтаний, очерк нравов... Перечисляю, наверное, не все уменья — только те, что вместились в книжку, с ее ладным разноязычием. Призывая «попытаться развязать язык» и работать «для читателя», Новиков первый же подает пример того и другого. Притом, как с ходом времени язык «развязывался», видно и в пределах собранного в «Заскоке». Если в 1987 году в письме критика могли иметь место слишком знакомые оговорки вроде: «Здесь, однако, возможен упрек в объективизме, в отсутствии четкой авторской позиции...», то несколько лет спустя в малых жанрах, в циклах «Алексия» и «Русофония», предназначавшихся не для толстых, а для «стройных» изданий — «Независимой газеты» и парижского «Синтаксиса», он демонстрирует блистательную непринужденность и возбуждает в читателе чувство ничем не омраченного удовольствия. Большая часть «Заскока» — «гедонистическое чтение», такое, без которого, по сквозной и абсолютно справедливой мысли автора, жизнь литературы обращается в призрак, в диссертационный муляж. Для этих муляжей, перед коими обычно пасуют ученые аналитики и особенно зарубежные слависты, Новиков изобрел определение, точностью равное целому открытию: «очень защищенное письмо», «проза с высокой степенью защищенности». Критическая проза самого Новикова рвется вперед, не заботясь о тылах, она откровенно (иногда — симулятивно) дерзка, и о ее смысле можно судить да

рядить, не отвлекаясь на защитные маневры автора, которых, в принципе, нет.

Но прежде — не о принципах, а о вкусах, будто бы не подлежащих спору, на самом же деле — содержательно дискуссионных, как практическая проверка принципов. «Взгляд на нагое тело текста» — а к нему зовет «стойкий тыняновец» Новиков, — он-то во множестве частных и персональных случаев меня смущает и даже коробит. Коробит неожиданной в трезвых (обещавших гамбургский счет) устах медоточивостью похвал: «Вознесенский в пору своего высшего взлета...» (уж так и взорлил!), «гениальная поэзия Окуджавы» (многовато даже для меня, не склонной к отступничеству от окуджавских песен), «пафос активно творимой гармонии» (к лицу ли он Юнне Мориц?) — это о почитительно признанных. А вот о направленно-близких: «виртуозный стих Еременки», «могучий Геннадий Айги» (хотелось бы знать рецепт извлечения кофеина из этого морковного кофе), «улышаться в житейском шуме шепот вечности» (о Валерии Нарбиковой, совсем уж не в новиковском стилевом регистре). Иногда щедрые пятерки с плюсом подкрепляются прямо-таки нищенскими цитатами: отрекомендованный сверхдерзостным новатором В. Соснора смахивает на Вознесенского поры то ли взлета, то ли излета, а заодно и на Евтушенко («Кто мало-мальски, но маляр, читал художнику мораль» — «Он знал, что вертится земля, но у него была семья»); решить же, чем лучше хвалимый пассаж из Нарбиковой («А люди величественны, и человек — это величина, но разве человек — постоянная величина...» и проч.), чем лучше он фразы из Н. Кононова, приведенной в виде отрицательного примера, предоставляю читателям, которые не поленятся заглянуть на 10-ю и 282-ю страницы «Заскока».

Коробят и наиболее безоглядные, казалось бы, проникновения («Три стакана терцовки»), а на деле — обдуманые выходы из «нагого» внутритекстового пространства к литературной политике и тактике. Органически даровитый Рубцов объявлен «Смердяковым русской поэзии», думаю, исключительно потому, что известная литературно-идеологическая группировка назначила его, «беспартийного нееврея», правопреемником Есенина. Ну а если наплевать на

«наружный шум» и довериться внутреннему слуху, то рубцовское «В горнице моей светло», честное слово, не потускнеет рядом с «Горными вершинами» Гёте — Лермонтова, и одного этого достаточно, чтобы Рубцову в смердяковых не ходить. Кстати: «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны» — разве конъюнктурная строчка, а не позиция всех крестьянских поэтов, начиная с Клюева (могучейшего модерниста, ни разу не упомянутого в книге, утверждающей права русского модернизма)? Точно так же уникала Бродского можно считать поэтом «нормальным» (дескать, недурен, но не красавец) лишь в пику «ленинградской школе», радевшей за своего. Согласна, что каждым «стаканом терцовки» отмечен некий «зазор между реальностью и репутацией» (еще одна отличная формула, которой так и тянет воспользоваться), будь то репутация Венедикта Ерофеева, Бродского или Рубцова, но неизмеримо шире — не правда ли? — такой зазор в случае Ерофеева Виктора («гениального организатора своего авторского успеха») или Айги.

Еще смущает, как составлены обоймы имен — неизбежные, видимо, в любой литературно-критической книжке. Ладно уж, что имя Татьяны Толстой сияет посреди навязанного ей «неоавангардистского» окружения, как звезда небесная среди астероидов. Ладно уж, что В. Соколов, О. Чухонцев и В. Корнилов — поэты с совершенно разным летательным аппаратом и пилотажем — скопом причислены к тем, кто «летает поближе к земле». Но когда читаешь, не важно о ком: «...традиционные корни тянутся не далее Рыленкова или Смелякова» — то уж простите. Курсив тут мой, насчет таланта Смелякова я отнюдь не преувеличенного мнения, но все же, все же! Сдается, что Вл. Новиков, ослепленный «ультрафиолетовым излучением авангарда» (см. статью-декларацию «Урезанная радуга»), дальтонически не различает цвета в середине спектра. И то сказать, срединное для него значит посредственное, мечта его — «соединить элитарное с элементарным», минуя пространство между ними. («Утрата середины» — такой диагноз поставил господствующему ныне эстетическому мышлению один из ярких культурфилософов XX века.)

И тут пора перейти к иному масштабу разговора и сформулировать основной «заскок» этой увлекательной книги — противоречие, которое я, воспользовавшись словом из лексикона опоязовских патронов Новикова, охотно признаю «динамическим», то есть ищущим разрешения. Новиков, защитник коренных читательских интересов, жалующийся на мучительные приступы алексии, на несварение от нечитабельных («высокозащищенных») текстов, ироничный ниспровергатель генераторов литературной скуки, находится в очень непрочном перемирии с другим Новиковым — организатором нашумевшей конференции «Постмодернизм и мы», изобретателем историко-литературной пропорции, в которой его собственные отношения с авангардом последнего призыва соответствовали бы отношениям Тынянова с тогдашним левым искусством. Но нельзя дважды — в одну и ту же реку... Права Новикова на тыняновское наследство я не оспариваю, но с другой половиной пропорции дело обстоит хуже. Сколько бы ни уверял нас автор «Заскока», что новейший авангард подхватил знамя авангарда 20-х годов, миростроительные утопии последнего, хороши они или плохи, давно сменились мультикультурным паразитизмом, вполне оправдывающим скромную приставку «пост». Поэтому, когда Новиков 1-й ехидничает и злится (правда, почти не называя имен): «всюду шеголяние стилем...», «наши юные литературные кривляки, претендующие на причастность к „полистиликтике“», «нынешние стихотворцы, которые превратили верлибр не то в знамя, не то в товарный знак», «те, кто пишет нечитабельные тексты со стилистическими выкрутасами», и прочая, и прочая, — Новикову 2-му куда как нелегко вклиниться в эти пени со своей сольной партией. Не связанный цеховыми обязательствами читатель легко отнесет все шпильки 1-го к любимцам 2-го. И не помогут тут даже вылазки за границы «имманентно-эстетического подхода», каковые последователь ОПОЯЗа не рекомендует другим (скажем, Марку Липовецкому), но само не удерживается: серийные трупники в «Романе» В. Сорокина соотносит с перечнем убиенных в Буденновске, а ухватки «метаметафористов» — с «самым главным и самым страшным», с

«угрозой уничтожения мира». Старый энтузиастический авангард действительно замахивался на подобные свершения — аранжировать мировой пожар или внутриатомный распад, но среди постмодернистов не может быть председателей земшара по определению. И теоретическое обеспечение им сподручней получать от Б. Кузьминского и В. Курицына, чем от Вл. Новикова с его ответственным профессиональным идеализмом. «Динамическое противоречие», видимо, обретает исход в том, что разлучаемый со своей армией теоретик и критик укрепляется в означенной им самим роли «эстета» и «индивидуала», что вызывает во мне величайшее сочувствие.

Но, верный себе, — остается воодушевленным проектантом нашего литературного будущего. Всем коллегам рекомендовала бы обдумать абрис идеального журнала, намеченный в статье «Промежуточный финиш». А в остромном эссе «Русская литература в 2017 году» читателям будущего обещано возрождение — на новой технооснове — высоких художественных стандартов. Мы еще обогатим европейскую культуру изображенными латиницей русскими словами «душа», «любовь» и «смех», подобно тому как вошли в нее без перевода *perestroika* и *glasnost*, а того ранее *sputnik* и *rogom*.

Почему бы не поверить прогнозу европейски мыслящего и свободного от шор профессионала?

Ирина РОДНЯНСКАЯ.

*

В. И. СЛАВЕЦКИЙ. Русская поэзия 80 — 90-х годов XX века: тенденции развития, поэтика. М., Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 1998, 184 стр.

Какие это принципиально разные в нашем бытии десятилетия — 80-е и 90-е годы уходящего века. Они отличаются друг от друга почти как XIX век от XX. Но в отличие от бытия поэзия формирует свое время и свое пространство куда более прихотливо. «„История принадлежит поэту“ (Пушкин) не фактами, а метафорой», — заметил критик и литературовед Владимир Славецкий в сво-

ей новой (четвертой по счету) книге статей. Подобные улавливающие объем истории метафоры он обнаружил у иркутского поэта Григория Вихрова:

Разбитые станы, разбитые храмы.
Там белые гады...
там красные хамы.

Эта цитата приведена автором в статье «Метафоры истории». А в другой статье («„Среди пламени“. Мифологема „небесная Россия“ в поэзии наших дней»), сопоставляя творчество Юрия Кузнецова и Игоря Тюленева, Славецкий отдает предпочтение «живым пластическим деталям» вроде «зеркала у рта», у последнего: «Сместилась линия весов, / Отпали стрелки у часов, / Секундная и часовая... / Одна минута до утра, / А дальше зеркало у рта / Вздохнет, как бездна мировая».

В поисках следов дыхания живого поэтического слова Славецкий использует свое итогово-диагностическое «зеркало» («Между надписью и поэмой. Жанры 90-х»). «В 60-е годы поэзия „в последний раз“ выразила очарование („В горнице моей светло“, Н. Рубцов) и „лирическое наступление“ (А. Вознесенский), а в 70 — 80-е — несогласие, разочарование и безочарование. В начале 90-х годов в стихах стояли стон и плач, продолжают они и до сих пор, но уже по инерции. В общем-то резонно заявление Ю. Кузнецова, что *все это он уже написал* (причем, добавлю, еще в 70 — 80-е). Со смертью Р. Рождественского закончились соцреализм, собственно советская поэзия, с смертью И. Бродского — специфическое новейшее барокко. Осиротели и растерялись те, кто усвоил длинный стих, многочисленные анжамбеманы (переносы), перифразы и перечислительность. Со смертью А. Иванова кончилась эпоха прямолинейной советской пародии. После кончины Б. Окуджавы иссякла бардовская традиция. А неожиданная смерть Вл. Соколова словно завершила целую эпоху традиционного русского лиризма».

Констатируя в современной литературе «отсутствие новых художественных идей», Славецкий все же пытается на материале этой литературы оформить основные бытийные антиномии означенного времени, что отразилось в названии еще одной статьи — «„Пластмассовая эпоха“ и живая цельность

стиха (Экстенсивное и интенсивное в поэтическом стиле)». Наблюдая, как Иван Жданов, желающий «быть неуловимым для пустоты», осваивает «полость мира», Славецкий обнаруживает владеющий поэтом алгоритм: разбавление задаваемой интенсивной «эссенции» образа или мысли экстенсивным захватом «лишнего». И искренне сожалеет, обнаруживая, как экстенсивное фотографическое начало в поэзии А. Паршикова пытается — сугубо волевым усилием — «сомкнуть» «собой предметы».

Не лишены изящества проделанные критиком наложения поэтологической терминологии не только на социальные, но и на экзистенциальные и даже на простые житейские явления, как, скажем, в статье «„Семейный сонет“ и „холостяцкий верлибр“». (Возвращение семейной темы в поэзию)», формула которой была задана строками Евгения Блажеевского:

...Что с рождением ребенка теряется право
на выбор,
И душе тяжело состоять при раскладе
таким,
Где семейный сонет исключил холостяцкий
верлибр
И нельзя разлюбить, и противно
влюбляться тайком.

Раздел книги «Только стих. Доказательств больше нет никаких» составили монографии о Владимире Соколове, Василии Казанцеве, Евгении Курдакове, Геннадии Русакове, Ольге Седаковой, Илье Кутике, Вечеславе Казакевиче, Андрее Новикове.

Рассеянные по книге порою весьма противоречивые суждения критика на хроническое безвременье (двусмысленный, между прочим, термин, говорящий, с одной стороны, о парализующем отсутствии названия для текущего момента, а с другой, наоборот, — о нехватке времени даже для подыскивания имени) сопровождаются «пространственными» сожалениями — что «Россия осталась без Руси», «за холмом». Я бы не счел слишком изящным и каламбур Славецкого: «...а откуда же взяться романному хронотопу, когда неясно, куда хронотопаем?» Кто бы мог подумать, что в нынешней солженицынской системе ценностей лучшим литератором современности окажется отнюдь не «хронотопистый» геополитик, а почти

не покидающий свой рабочий кабинет, работающий в сугубо академическом контексте филолог!

Впрочем, «ностальгия» только подчеркивает искреннюю любовь критика к поэтическому слову, вооруженную серьезной и ненавязчивой стиховедческой культурой.

Александр ЛЮСЬИ.

*

ВЯЧЕСЛАВ КУРИЦЫН. Журналистика 1993 — 1997. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1998, 199 стр.

Новую книгу Курицына составили тексты, опубликованные им в газетах «Сегодня», «Независимая газета» и журналах «НЛО», «Октябрь», «Матадор», «Гала-спорт», «ОМ», «Художественный журнал».

Некоторое недоумение (веселое, ироничное, раздраженное и т. д.), с которым воспринимались многими из нас газетные тексты Курицына, возможно, разрешится чтением этой книги. Поменялся контекст, поменялся объем, и разительно (для меня, например) изменилось восприятие знакомых текстов. Теперь можно сказать, что Курицын писал свою книгу, печатая ее кусочками в газетах, а не наоборот. И даже вызывает уважение неуступчивость автора, сумевшего оградить стилистику будущей книги от агрессивности газетного контекста.

Определить жанр, в котором работает автор, трудно — репортаж, фельетон, эссе, «юмор и сатира», статья, рецензия, очерк, прижизненный мемуар, «записки литературного человека»? Все так, но перечисленные определения — по касательной. Скажем, претензии к нему как литературному критику кажутся теперь нелепыми — при чем тут литературная критика? «...полагать, что критики читают романы и повести, тоже было бы очень наивно. Есть, конечно, которые читают, но большинство из них почему-то плохо пишут...» Курицын пишет хорошо — легко, остроумно, экономно, может произвести впечатление очень эрудированного и умного, но не слишком усердствует в этом, точнее, усердствует, но по-другому, — зошенковская формула: писатель должен сначала сочинить писателя, от

имени которого он будет писать, а уж потом сочинять остальное. Курицын придумал себе автора или, пользуясь его лексикой, написал «свой дискурс». Для «курицынского дискурса» вполне органична в качестве опорной идея полной свободы искусства от служения чему бы то ни было, кроме себя самого. Сказанное, на мой взгляд, нисколько не противоречит утверждениям автора, что сочинение рекламных слоганов — занятие, может быть, более близкое сегодня к искусству, чем сочинение романов. Дело не в том, что жизнь делает искусство функциональным приложением к себе. А наоборот, жизнь является поводом для искусства. Ибо искусство и главнее и важнее. Это, повторяю, опорная идея, все остальные эстетические заморочки развешиваются на веточках этой идеи, как на елке. Благо постмодернизм — штука безразмерная уже по определению.

У этой книги много сюжетов. Я упомяну только один из них. Сюжет, делающий для меня эту книгу трогательно-простодушной. Ностальгической. Курицын вспоминает, как подростком, занимаясь археологией и живя в городе Свердловске, мечтал о журналистике, точнее, о редакционной жизни: «...кофе, верстка, сигарета, срочно в номер, совещание у главного...», «Плюс запах свежотпечатанной газеты, о котором твердили все авторы без исключения». Это счастливо осуществилось: через несколько лет Слава сидел в центре Свердловска в многоэтажном здании, набитом редакциями, в своем кабинете, писал свои тексты, пил с друзьями пиво и т. д. И при этом где-то в уютном удалении был ЦЕНТР (Москва, Питер, Париж), битком набитый постмодернистами, Сорокиными и Приговыми, Бодрийарами и Делёзами. Где жизнь насыщена, ярка, карнавальна. Элитна. И вот свершилось — Слава переехал в Москву, сам стал элитой, получил колонки в самых «продвинутых» газетах и журналах. При этом ЦЕНТР, естественно, куда-то переместился. Уже не географически, а иначе как-то. И Слава пытается заместить его собой, заместить литературную и прочую реальность своей творческой (или своеволием, он тут как художник в своем праве): «У ларька тусуются с пивом Зиник, Айзенберг, Файбисович и Рубинштейн.

Спросили, не видели ли мы Машу Гессен»; он сочиняет своего Битова, своего Чернышевского так, чтобы ряд тусующихся у пивного ларька не прерывался.

Немного грустно, что времена Курехина и Сергея Шолохова миновали, это были и времена Курицына, захваченные им на излете (времен, а не Курицына). Запас энергетической прочности самого Курицына, демонстрируемый последними текстами, внушают оптимизм — он пишет со вкусом, азартно. Мир, слагаемый из приключений литературной мысли, литературной жизни и Курицына в ней, обустроен в книге любовно и крепко. Концептуально: «Оказывается, жить в буржуазном напряжении можно весело и интересно. Оказывается, писатель, которого согнали с дивана, способен... порождать какие-то новые тексты: хотя бы про „циркуль” в „Неделе” (имеются в виду рекомендации В. Потапова, как поймать мышь с помощью циркуля и транспорта. — С. К.). Или глянцевые боевики, которые начинают писать для того, чтобы заработать пару-тройку тысяч долларов, а потом... понимают, что писать боевики — дело очень интересное. Не менее художественное и возвышенное, чем писать стихи». У них, у писателей, появляется надежда понять, что «сегодня литература — это женский роман, текст для рекламного ролика или заметочка в глянцевом журнале, а то, что публикуют толстые журналы, — это как раз постепенно становится паралитературой...».

Это автор видит в литературе.

А в жизни — потребность «современного нам с вами российского общества в морали и нравственности. Старые большевики и новые русские всласть наворовались, всласть постреляли друг друга, заложили фундамент капиталистической экономики, и новые поколения, глядя на их испитые ряхи и изуродованные трупы, выбирают новые модели поведения. Выбирают радушие, терпимость, приветливость, легитимность и любовь... мораль и нравственность как таковые, как модус вивенди, — все это легко находит отклик в моем и ваших чистых сердцах».

Литературу в книге представляют (кроме тех, что у ларька): Иосиф Бродский, Евгений Добренко, Олег Кулик, Александр Еременко, Герман Гессе, «Митин журнал», Марина Новикова и

Андрей Немзер, А. Шаров, А. Верников, П. Басинский, Д. А. Пригов и другие; жизнь — магнитные жетоны в метро, Жанна Агузарова, миф о Лужкове, редакции «Матадора», «Литгазеты», Российский гуманитарный университет, уринотерапия и проч.

Мир вокруг Курицына и в нем самом кажется обустроенным настолько логично и, соответственно, стилистически («Стилистика вообще — только материализация логики. Кто умеет логику хорошо (например, Набоков), способен на стилистические шедевры»), что обустроенность, завершенность «курицыновского дискурса» внушает тревогу. Ибо здания, выстроенные с такой любовью и таким тщанием, даже при крайней необходимости перестраиваются их создателями очень неохотно. Ну а как Славе Курицыну вдруг станет тесно и душно в сооруженном им теремке?

Сергей КОСТЫРКО.

*

Е. И. КИРИЧЕНКО, Е. Г. ЩЕБОЛЕВА. Русская провинция. М., «Наш дом — L'Age d'Homme», 1997, 189 стр.

Издание вполне убедительно вписывается в контекст нашего времени не только потому, что выпущено на спонсорские деньги, проникнуто духом ностальгии (репрезентируется дореволюционная провинция) и оформлено в новом русском стиле с как бы плюшевыми переплетом и коробкой, тиснением на распашном титуле и быстроистирающимися золотыми буквами на корешке. Сегодняшний процесс федерализации унитарного на протяжении нескольких столетий государства, то есть процесс преодоления провинциального сознания и образа жизни, актуализирует любой разговор на предложенную тему. Стимулирует не только познавательный, но и конструктивный интерес.

Книга богато и разнообразно иллюстрирована: акварели, гравюры, открытки, фотографии; планы, интерьеры, фасады, общие виды, панорамы. При этом следует отметить, что полиграфическое качество визуальных материалов и их познавательный интерес сопереживают на весьма высоком уровне. Так, в обоих смыслах впечатляют графические пано-

рамы Нижегородской ярмарки, говорящие о масштабе и роли этого явления больше любых слов. Запоминается изысканная литография Ново-Архангельска — столицы Русской Америки, роскошная фотография набережной Рыбинска и многое другое.

Развернутая вербальная картина впечатляет не меньше, если судить о ней по названиям глав: «Город и Храм», «Город и крепость», «Промышленный переворот и провинция», «Провинция и отдых. Курорты и дачи» и т. д. Правда, чтение столь завлекательно названных глав слегка разочаровывает. Рассказ и показ почти исключительно «через историю архитектурно-градостроительного наследия» путем разбора конкретных примеров часто носит реферативный характер, и перебор тем множит информацию, не прибавляя понимания, не создавая целостного изображения. Остается ощущение изрядно недособранного паззла. Быть может, называясь книга «Архитектура и градостроительство русской провинции», большая часть претензий к тексту отпала бы, а так образовался разочаровывающий зазор между заявкой и предъявленным. Дело даже не во фрагментарности и в том, что какие-то существенные темы, скажем, литература, театр, да и собственно провинциальный быт, нравы остались за пределами исследования. Просто не касаясь феномена провинциального сознания, психологии, в общем, ментальности, как теперь говорят, думается, невозможно завязать актуальный и продуктивный разговор о российской провинции.

Справедливости ради следует сказать, что попытки такого рода присутствуют во введении и в заключении. Так, во введении авторы утверждают (и повторяют это утверждение в заключении), что «понятие „провинциальности“ качественное и не зависит от географического местоположения территории. В провинциальных городах, губернском и уездном, существовали свои столичные территории — по преимуществу это центр города или выдающиеся по значению ансамбли». Возможно, этот тезис способен вызвать сочувствие, хотя на-

прашивается антитезис: именно стремление обзавестись «своими столичными территориями», то есть навязчивое желание быть хоть чуть-чуть как столица, и есть коренное, архетипическое свойство «провинциальности».

Только в заключении авторы уделяют немного места «низкому жанру» — провинциальному фольклору в контексте массовой изопродукции: лубка, открытки, рекламы, фотографии; заводят речь о характерном для провинции «благодарном принятии жизни и самых простых, вечных, бесспорных и потому общечеловеческих ценностей», то есть предпринимают усилия по реабилитации навсегда обруганных нашим словоупотреблением мещанства и обывательства, которые сегодня переименованы в буржуазность и средоточием которых всегда была русская провинция.

А в самом последнем абзаце книги эксплуатируется рефрен «хотелось показать»: «Нам хотелось показать огромность и многоликость русской провинции, вызванные множеством обстоятельств. Хотелось показать длительный исторический путь, пройденный Россией, вступившей во второе тысячелетие своей исторически документированной жизни, ознаменованной двумя поворотными событиями. Одним — полупрозрачным, связанным с созданием государства Российского, с призванием варягов; вторым — принятием христианства, определившим направление ее культурно-исторического развития. Хотелось показать длительность и насыщенность этого пути вплоть до последних предреволюционных лет и еще одного поворотного года российской истории — 1917 г.»

Сей пассаж воспринимается декларацией о намерениях, написанной почему-то в прошедшем времени и помещенной в конец, а не в начало книги. Из-за такой перестановки сквозь пафос начинает отчетливо просвечивать неуверенность авторов в том, что «хотеть — значит мочь». Это в значительной мере примиряет с изъянами работы: рефлексия — весьма располагающее качество.

С. ФАЙБИСОВИЧ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О «ВКУСЕ К ПОДЛИННОСТИ» И «РЕСТАВРАЦИИ» МИХАЙЛОВСКОГО

Интересно, есть ли отклики на статью доктора искусствоведения, директора Государственного института искусствознания А. Комеча «„Реконструкция” Москвы продолжается»?¹

Нам, сотрудникам Пушкинского заповедника в Псковской области, проблемы так называемой «реставрации» не просто понятны — это наши проблемы, боль и болезнь. «На наших глазах, при нашем попустительстве изо дня в день совершается грандиозное культурное преступление», «эстетическое невежество», «дикая ситуация» — как бы ни были эти слова искусствоведа резки, все равно еще мягко сказано. За последние годы на своей шкуре мы убедились в правоте Ю. М. Лотмана: «В истории культуры именно реставрации неоднократно являлись формой уничтожения культурных ценностей»².

Список срочно «отреставрированных» ценностей неумолимо растет. И трудно понять: почему именно сейчас, когда учителя и врачи получают зарплату раз в полгода, шахтеры — раз в год после голодовки, — почему именно сейчас нужно за десятки миллиардов рублей (!) реставрировать то, что нуждается не в реставрации, а в консервации, ремонте или просто — в уходе?! Что за скрытый двигатель у этого процесса? И куда этот процесс приведет? Хотя какая разница *куда*, когда, как пишет Комеч, уже катастрофически «потерян вкус к подлинности»?

...В 80-е годы произошла реставрация Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, 12. Была ли необходимость в такого рода работах? Вряд ли те, кто поддерживали ту «реставрацию», думали, что в результате ее 70 процентов старых стен будут заменены бетоном. Попраны основы теории реставрации памятников архитектуры, исторических памятников, попораны законы профессиональной и человеческой этики...

Очередной юбилей — очередной реставрационный шабаш. А как еще можно назвать происходящее, когда авральными темпами и методами разворачиваются «реставрационные» работы на уже давно отреставрированных объектах? Пушкинский заповедник — тоже любимый народом памятник, часть «народной тропы». И несмотря на то что он находится под охраной государства как памятник культуры, особо ценный памятник, он беззащитен. На нем могут проводиться какие угодно работы без элементарной общей оценки, даже без самой примитивной характеристики — какое там понимание исторического и художественного значения! Это дело реставраторов-теоретиков — значение *определять*, а дело реставраторов-практиков — «дело» *делать*.

По «теории», первый шаг при любом комплексе работ — «охарактеризовать, что, по данным исследования, представляет собой памятник в данный момент», затем уже — «принципиальное обоснование принимаемого решения, исходящее из оценки памятника и его существующего состояния»³.

Почему же на таких объектах, как музей Пушкина на Мойке и Пушкинский заповедник, работы могут вестись безо всякого обоснования? Потому, что конкретные люди не видят в них необходимости? Но тогда куда смотрят те, кто за этим призван следить, — реставрационные советы?

¹ «Новый мир», 1997, № 1.

² Лотман Ю. М. Текст как система. — В кн.: «Ю. М. Лотман о поэтах и поэзии». СПб., 1996, стр. 123.

³ «Реставрация памятников архитектуры». Под общей редакцией С. С. Подъяпольского. М., 1988, стр. 138, 140.

Увы, не усмотришь. Если у человека нет «вкуса к подлинности» — то все позволено. Ему уже ничего не жалко, надо — пойдет по трупам.

По трупам деревьев — запросто. Мы поняли это на примере Пушкинского заповедника, когда познакомились с методами работы В. А. Агальцовой (Центрлеспроект). До этого не понимали, как это: если «содержимое» аллеи сохранилось на 40 — 50 процентов, ей оставляем жизнь; если менее 15 — 20 процентов — «содержимое» полностью заменяем⁴. Если аллея задумывалась как не стриженная — оставляем, если как стриженная — вырубам. «Аллея Керн» задумывалась как крытая. Но сохранилась на 40 — 50 процентов. Значит, подождем отпада — до 15 — 20 процентов. И уж тогда — под топор и насадим новую, «настоящую» — крытую. А отпад стремительно начался после применения нового способа лечения. Раньше дупла пломбировали, теперь от этой практики отказались: дупла должны «дышать». В самый Пушкинский праздник поэзии (sic!) на аллее Керн упала первая «оздоровленная» липа. Надо думать, остальные последуют за ней. В уже «оздоровленном» по проекту Агальцовой Тригорском отпад старых деревьев принял массовый характер. За одиннадцать месяцев, последовавших за «санитарными» порубками и «оздоровительными» мероприятиями, безо всякого урагана упали тридцать шесть деревьев разных пород и разных возрастов: от семидесяти до двухсот десяти лет. До «оздоровления» парка такого падежа не было: не всякий год умирало дерево.

Для музейщика старое дерево ценно, даже если оно одно — безо всяких процентов и аллей. И не только для музейщиков — посетителю важно *пушкинское* дерево, а не принцип, по которому оно было посажено.

Но судьбу деревьев решают не музейщики, а «специалисты», то есть те, для кого число процентов важнее живого дерева. По их мнению, подлинно не то, что существует — живет и развивается, а гипотетическая планировка на определенный период. Мол, кроме ландшафтной выразительности, никаких достоинств у мемориальных парков нет, а ландшафтная выразительность — вся в планировке. Ради нее можно снести сколько угодно четырехсотлетних дубов (в Архангельском), раз они разрослись, «погубили» форму «конвертика», в который они были в свое время высажены. Представляете — «конвертика» не видно? Им жалко «конвертик»; нам — дубы, живые деревья.

...Наступила очередь Михайловского «реставрироваться»: И если по Тригорскому сотрудникам заповедника допускали хотя бы до обсуждения проектов туалетов на стоянках, то по Михайловскому проектная документация засекречена напроць. Вот уже музей закрыт, вот уже работы начались, вот уже бульдозеры с экскаваторами готовы бороздить лед ганнибаловского пруда, а коллектив в полном неведении, по каким проектам все это будет происходить и к чему приведет, то есть облик Михайловского ни сквозь какой магический кристалл не просматривается. (И что к моменту публикации данного письма от него останется?)

Стучите — и вам откроют, просите — и дано будет. Только нет тех дверей, за которыми бы сказали нет — разнузданной реставрации (псевдореставрации).

Могут возразить: а разве «гейченковские» постройки Пушкинского заповедника не чистая бутафория? Однако, в отличие от подлинных исторических построек, до неузнаваемости «зареставрированных» на месте или лишенных своей естественной среды обитания, постройки заповедника — задуманные как макеты, как доминанта места — прижились к месту, *втисались*. Еще и потому, что для их отстройки не уничтожали старые деревья — сохраняли. Лучше фундамент на метр сдвинуть, чем столетнее дерево убрать. И все, что было, и что вновь возникло — слилось, «срифмовалось». Ради пушкинской природы и постройки возводились. За такое отношение и гуманность природа и «принимала» макеты. Вот эта гуманность на чисто не присуща реставраторам «новой волны», догматикам «научной» лесопарковой планировки, готовым пожертвовать старым деревом для своего новододела.

В. ЕЛИСЕЕВА,
старший научный сотрудник музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское».

⁴ Агальцова В. А. Сохранение мемориальных лесопарков. М., 1980.

«...ПРИЮТ ЗАДУМЧИВЫХ ДРИАД...»

Этой метафорой Пушкин обозначил парк как героя своей поэтической действительности. Напомню, что дриадами в греческой мифологии назывались нимфы, покровительницы деревьев, первоначально обитательницы священных дубовых рощ. «Дриад, рождающихся вместе с деревом и гибнущих с ним, называли гамдриадами. Считалось, что сажающие деревья и ухаживающие за ними пользуются особым покровительством дриад» («Мифы народов мира». Т. 1. М., «Советская энциклопедия», 1980, стр. 407 — 408).

У каждого дерева — в том числе и у мемориального — есть пора расцвета и пора гибели. Мемориальные парки, будучи творением рук человеческих, требуют постоянного, ежедневного и ежегодного ухода. Но даже самый тщательный уход не может предотвратить смены поколений парковых деревьев. Это явление может стать фактом научного исследования и предметом кропотливой работы, а может стать предметом скандала.

В истории человечества подобные факты не редки. Легко представить себе племя солнцепоклонников в пору солнечного затмения. Дикий испуг, растерзанное тело человека, который сумел в силу своей любви к истине предсказать события и за это был предан смерти соплеменниками, ведомыми шаманом. Истеричные крики наполняют воздух утверждениями, что погибший своими колдовскими словами погубил дневное светило. Сегодня мы посмеемся над невежеством этой древней толпы. Но не в наше ли время в вопросе о гибнущих парках Пушкинско-го заповедника звучит все та же нота истеричного испуга, все та же жажда мести и крови.

Судите сами. Из парка усадьбы Тригорское вывезено при санитарной его очистке более 175 куб. метров гнилой древесины, смертельно опасной для жизни старых деревьев. Со склона тригорского холма удалено два грузовика бытовых отходов — банок, тряпок, бутылок, уютно спрятавшихся в непроходимых зарослях ольховника и кустарников, прямо напротив тригорского дома-музея. Кстати, когда мелкий сорный подрост был удален, с крыльца музея открылись удивительные по красоте виды на поймы реки Сороти. Во избежание спекуляций «святынями» отметим, что холм после расчистки укреплен по той же технологии, которую использовали еще при разбивке парка.

Если вернуться к образу, предложенному А. С. Пушкиным, нельзя не отметить, что дриады действительно помогали и помогают паркостроителям. За три сезона в сложнейших погодных, финансовых и психологических условиях ученые проделали работу, которая позволит сохранить знаменитый тригорский парк для нынешнего и грядущих поколений. Не беда и не вина специалистов, что этот парк оказался интереснейшим и богатейшим представителем до сих пор чудом сохранившихся провинциальных усадебных парков. Настолько прекрасным образцом, что одна из участниц нашей усадебной конференции в октябре минувшего года с восхищением заметила его родство с дворцовыми парками под Петербургом. Что ж, ученые лишь помогли совершиться чуду, переодели Золушку в достойное платье.

Мемориальный парк — произведение искусства. В то же время — это живое существо, вернее, симбиоз живых существ, пренебрегать закономерностями жизни которых мы не имеем права. Нет такой идеи, во имя которой могут тяжело и уродливо умирать десятки «современников» Пушкина, деревьев, которые знали прикосновение его взгляда и рук. А значит, нам не дано оправдывать свое незнание и нежелание учиться элементарным азам ухода за живой природой ни особенностями нашего образования, ни нашей ленью.

Одновременно с исследованиями парколесоустроительной экспедиции, в значительной мере по рекомендациям специалистов-парковиков, в мемориальных парках проводится лечение старовозрастных деревьев. Прежде всего — борьба с корневой губкой, древесным опенком и дуплами.

Двадцать лет тому назад повсеместно способом лечения дупел было цементирование и укрытие их жестяными экранами или кусками коры. Опыт показал, что существуют иные, лучшие, способы. Их сегодня и применяют. Очищенные от гни-

ли дупла деревьев изнутри покрывают специальным варом, в основе которого воск и другие природные антисептики. Такое дерево не требует экранов и позволяет не вгонять в плоть дерева гвозди.

Будучи живым существом, парк требует подпитки и благоприятной среды произрастания. Особенно если это старый парк. Именно поэтому парколесоустроителями были даны рекомендации о санитарных рубках молодых, двадцатилетних деревьев, затенявших и увлажнявших парковую почву и мешавших проветриванию парка. Как необходимое мероприятие была проведена работа по воссозданию существовавшей некогда системы паркового дренажа. Впервые многие музейные работники увидели ранее недоступные их взгляду аллеи и узнали, что, оказывается, деревья нужно подкармливать. А ведь и то и другое было хорошо известно еще в пушкинскую пору. Но, очевидно, «Пушкину это уже больше не нужно». Поэтому столь горячо и столь беспелляционно звучат возражения против работ, проводимых ради сохранения живого парка.

Завершая эту, «парковую», часть наших рассуждений, отметим два существенных важных момента. Во-первых, прежде чем приступить к проводимым работам в Тригорском и Михайловском, все те же специалисты парколесоустроительной экспедиции, да и другие специалисты-парковики наблюдали в течение тридцати лет за состоянием меморий и не единожды давали свои рекомендации по уходу. Прислушайся к ним в свое время музейные работники Заповедника, может быть, большая часть старых деревьев была бы сегодня сохранена. Но специалисты долгое время не имели права голоса. Второе: принимаемые решения выносились и выносятся на обсуждение коллектива, но рождают у многих лишь глухое раздражение от необходимости узнавать новое, давать пищу уму и сердцу. И никакая Венецианская хартия эти лень и нелюбопытство не оправдает и не защитит.

На вопрос, какими должны быть мемориальные усадьбы, разные поколения музейных работников Пушкинского заповедника отвечали неоднократно и по-разному. Только в Михайловском на протяжении жизни усадьбы как мемориального объекта было предпринято три попытки передать пушкинскую атмосферу усадьбы. Легко можно было бы обвинить в злонамеренности каждого из авторов этих реконструкций, а именно реконструкциями были воссоздание усадебных построек в историко-культурном пушкинском ландшафте. Наш музей — это не только копилка древностей, не только сокровищница навсегда ушедшего времени, не только и не столько кунсткамера, скорее — место диалога поколений, место сбережения и усвоения значимого для самосохранения народа опыта. Значит, неизбежно, по мере накопления знаний о прошлом, об обстоятельствах жизни Пушкина в Михайловском, внесение корректив в привычный образ хранимого нами места. Так было в начале века, так было и в предвоенные и послевоенные годы, так еще не единожды будет.

Сознавая объективную неизбежность перемен, очень важно фиксировать все, что сделано до нас. Сегодня много говорится об авторском музее Семена Степановича Гейченко. На протяжении его жизни им самим, в стремлении передать живость пушкинского наследия, экспозиция мемориальных усадеб и сам их облик менялись неоднократно. И это вполне естественно, так как хранитель в попытках достигнуть поставленной цели использовал доступный ему материал — факты, вещи, обстоятельства, архитектуру, — как материал своего творчества.

После его ухода от дел в музее, по существу, должен был начаться новый этап сохранения и продолжения авторского музея, но уже без автора. К сожалению, все произошло иначе.

В 1992 — 1993 годы в Тригорском и Михайловском были проведены частичные реэкспозиции без предварительной фиксации тех, что ранее существовали (их автор уже не мог повлиять в силу своей болезни на ход этих изменений). Ошибочность принятых решений сказалась очень скоро. Однако это не подвигло коллектив ни на анализ совершенного деяния, ни на создание продуманной концепции всех экспозиций в целом. По меткому замечанию одной из экскурсоводов, в значительной части сотрудников тогда «жило сознание крепостных девиц». Не хотелось думать, а тем более что-то менять в устоявшемся спокойном околонуном бытовании.

Параллельно с проблемами экспозиционного характера — что отрицательно сказывалось на экскурсионной работе — нарастали проблемы сохранения и эксплуатации музея. Одна из первых проявившихся еще в 70-е годы проблем — сохранение пушкинского ландшафта. И тогда и сегодня он является несущей основой и одновременно самой значительной частью музейной коллекции. Застройка села Петровского дачными домиками, отсутствие механизма сохранения исторического ландшафта от хозяйственных и архитектурных искажений, смена строя жизни и внешних условий существования музея привели к противоречию. Музейная работа, опирающаяся на систему образов и впечатлений, в значительной мере навеваемых ландшафтом, споткнулась о реальную угрозу утраты самого пушкинского ландшафта. Именно поэтому в ответ на обращение администрации музея-заповедника в Министерство культуры и Правительство было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1995 года за № 165 «О мерах по сохранению и дальнейшему развитию Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина в селе Михайловском Пушкиногорского района Псковской области». Согласно ему, в целях сохранения пушкинского ландшафта территория музея увеличивалась с 666 до 9713 гектаров. Подчеркивая особый статус историко-архитектурных и ландшафтных элементов музея, правительство приняло решение о переименовании Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Этим же Постановлением Министерству культуры, Министерству финансов, Министерству экономики и Администрации Псковской области было дано распоряжение подготовить предложения по развитию музея-заповедника и представить их в Правительство Российской Федерации.

Для музейных работников открылась возможность сформулировать и отстаивать основные принципы будущего существования заповедника. К сожалению, эта возможность стала не предметом совместной и слаженной работы всего коллектива, а предметом споров и сомнений в необходимости исполнять Постановление. Отмечаем это с сожалением, неконструктивный спор, начавшийся тогда, до сих пор является «основной научной работой» для части наших сотрудников.

Тем не менее усилиями большинства коллектива Постановление Правительства в части подготовки программы развития было выполнено. Материалы программы прошли экспертизу в вышеназванных ведомствах и были утверждены в виде Концепции развития мемориала на специальной Коллегии Министерства культуры, посвященной будущему музея-заповедника. Она состоялась 28 февраля 1997 года. Проводимые сегодня работы, по существу, — исполнение этой программы.

Остановимся на ходе ремонтных и реставрационных работ. К числу причин, определивших состав и объем работ, можно назвать следующие: ветхость и в ряде случаев историческая недостоверность как отдельных построек, так и исторических ансамблей в целом. Во-вторых, устарелость или полное отсутствие системы инженерного обеспечения работы музея (отсутствие отопления, канализации, ветхость сетей связи, недейственность систем противопожарной и охранной сигнализации). В-третьих, приводящие к гибели экспонатов климатические и технические условия их хранения в домах-музеях и фондохранилищах. В-четвертых, заболевания сотрудников музея вследствие полной непригодности их рабочих мест. В зимнее время низкая температура в неотапливаемых домах-музеях и повышенная влажность приводили к появлению хронических заболеваний у сотрудников. В-пятых, не созданы элементарные условия для проведения работ по уходу и обслуживанию музейных объектов и территории (отсутствует оборудованный хозяйственный двор, а также необходимые машины и механизмы, санитарные площадки для утилизации больной древесины и т. д.). В-шестых, катастрофическое состояние парков вследствие накопившихся в них завалов гниющей древесины, распространение вредителей и болезней, вырождение мемориальных парков в лесопарковые насаждения. В-седьмых, отсутствие элементарных условий для приема и обслуживания туристов (на территории музеев и туристических маршрутах протяженностью до 25 километров не предусмотрены элементарные пункты питания, санитарно-гигиенические объекты, оборудованные автостоянки). Все вышеперечисленные факторы поставили под вопрос не только возможность нормальной эксплуатации музея,

но и само его сохранение. Очевидно, что решить накопившиеся за многие годы проблемы путем чисто косметической реставрации было невозможно.

В ходе подготовки реставрационной документации специалисты тщательно исследовали все материалы, представленные им сотрудниками музея. Отметим, что реставрационные работы Министерство культуры поручило Гендирекции «Псков-реконструкции», которая имеет опыт сложных решений на объектах «Усадьба М. П. Мусоргского в Карево-Наумово», «Усадьба Римского-Корсакова в Вечашах». В исторических архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук реставраторы нашли значительный по объему материал, прежде неизвестный сотрудникам нашего музея. После тщательного анализа и неоднократных обсуждений с коллективом Пушкинского заповедника подходов к проведению реставрационных работ специалисты вынесли подготовленную документацию на рассмотрение, в соответствии с законом независимой вневедомственной госэкспертизы. Лишь после этого окончательное решение о производстве работ было принято.

Главная цель осуществляемой в музее реставрации — создание необходимых условий для работы сотрудников музея с посетителями. В ряде случаев проводится уточнение внешнего вида и внутреннего содержания историко-культурных памятников, что позволяет уйти от недомолвок и откровенной лжи в беседах с экскурсантами. Перемены, привносимые в музей в процессе ремонта, ни в коей мере не отрицают и не отменяют необходимости высокопрофессионального творчества сотрудников всех научных отделов.

Первой пробой на состоятельность можно считать проводимую реэкспозицию, вернее, работы по уточнению существующей в доме-музее Тригорского экспозиции. Сегодня все более ясной становится главная опасность, которая действительно может привести к утрате ценностей нашего музея, — боязнь брать на себя профессиональную ответственность и, переходя от слов к делу, создавать экспозиции, достойные нашего общего учителя С. С. Гейченко. Развитие его авторской традиции — неизбежная необходимость в диалоге музея со своим главным ценителем и критиком — посетителем.

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что специалисты Министерства культуры, специалисты-реставраторы и администрация музея отдают себе отчет в величайшей ценности хранимого музеем-заповедником достояния. Сегодня к делу его реставрации привлечены лучшие специалисты России.

Реставрационные и инженерные работы, как уже говорилось выше, осуществляются Генеральной дирекцией «Псковреконструкции» и привлекаемыми ею субподрядчиками, которых выбирают на конкурсной основе. Возглавляет их директор организации А. Т. Васильев, за плечами которого огромный профессиональный опыт. Общемузейные вопросы обсуждаются с учеными Института русской литературы (Пушкинского дома АН), специалистами из Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге и Государственного музея А. С. Пушкина в Москве. В реэкспозиции участвует ведущая мастерская — «Государственный музейный центр ГИМ» под руководством О. А. Соколовой. Работы по укреплению холма Святогорского монастыря с некрополем Ганнибалов — Пушкиных курировал ведущий специалист Института оснований и фундаментов им. Герсеванова П. А. Коновалов. И наконец, самые сложные проблемы обсуждает созданный в 1995 году Ученый совет музея-заповедника.

Уйдя от эталона советского музея, в котором идеология преобладала над истинной, мы неизбежно движемся к новому типу мемориала. Его существование отличает союз представителей разных профессий, объединившихся ради сохранения подлинных ценностей. На этом пути есть место спору, но он должен быть спором ради дела, а не ради амбиций, сколь бы красиво и внешне правдоподобно они ни выглядели. Жизнь не стоит на месте. В музей приходят новые поколения. Наша задача — пробудить их интерес к сохранению памяти Пушкина.

Георгий ВАСИЛЕВИЧ,
директор Государственного музея-заповедника
А. С. Пушкина «Михайловское».

АНКЕТА

«БУРЖУАЗНОСТЬ» — ЧТО ТАКОЕ?

«Буржуй», «буржуа», «буржуазность», «буржуазный»... Эти некогда расхожие выражения в последние годы как-то выветрились со страниц большинства печатных изданий. Но вот почему? Потому ли, что эти сами по себе необходимые термины безнадежно скомпрометированы неумеренным и принудительным тиражированием в советскую эпоху? Или потому, что в современном мире за этими словами действительно реального уже не стоит? Редакция журнала «Новый мир» обратилась к ряду литераторов с некоторыми, на наш взгляд, небезынтересными вопросами.

1) Как Вы думаете: что означает слово «буржуазность» сегодня? 2) Как именно «буржуазность» проявляется в современной российской действительности, психологии людей, образе жизни и проч.? 3) Каким образом «буржуазность» отображается в современном российском искусстве? 4) В какой степени и как именно «буржуазность» влияет на культуру современной России, ее место в обществе, способы потребления, престижность? 5) До какой степени «буржуазны» Ваша собственная психология, образ жизни, творчество?

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА

1) Нет, кажется, слова, которое отзывалось бы в душе такой безысходной тоской, как «буржуазность». «Отойди от меня, сатана, отойди от меня буржуа...» — кто не поймет поэта?!

Потому что по сути своей «буржуазность» — это сознание без трансценденции, устройство на земле без высшего, психология самодовольства, не знающего сомнений.

Но из какого же сора выросло такое отталкивающее понятие, неужели проросло на скромной сословной почве? Вроде бы бюргер, от которого все пошло, — это горожанин, правда и лавочник, но и ремесленник, человек труда... В эпоху Французской революции, его революции, до сих пор празднуемой в стране, он даже обрел героический ореол, перестав быть обывателем; а победив, ощутил себя не простым мещанином, а чувствительным субъектом с остаточным комплексом культурной неполноценности и тоской по дворянской обходительности. Главное же, не только культурно, но и религиозно и морально он сохранял вертикаль. Более того, сама Революция началась под моральными знаменами аббата Сийеса, выдвинувшего добродетель «хижин» против развращенности «дворцов». Высокий нравственный кодекс тогдашних «лавочников» — добродетельная жизнь, пристойность, любовь к незапятнанной репутации, отвращение к распущенным нравам знати — запечатлел на все времена Шиллер в «Кварцове и любви». Нет, такого бюргера мы никак не могли бы назвать стяжателем «без шестых чувств», служителем Ваала, денежного мешка.

Бескрылая метафизическая суть «буржуазности» стала конденсироваться и проявляться по мере идущей в пореволюционном обществе секуляризации, или, по выражению Ю. Каграманова, вследствие «расстройства религиозных тылов» — а не самой по себе хозяйственной деятельности, — когда из сознания самого «третьего сословия» постепенно улетучивались традиционные христианские убеждения. Но и секуляризуясь, и все более приземляясь, и даже переставая принимать всерьез свои убеждения, буржуа в классическом понимании этого слова не переставал всерьез принимать их форму. Это было его родимым пятном, меткой, оставшейся от «травмы рождения».

В эпоху невиданного промышленного подъема в XIX веке облик торжествующего приобретателя, каковым стал вчерашний торговец, духовно чуткими и артистическими натурами был воспринят как вызов человеческому лику. И так легко разделить их пафос в этой, как бы сейчас сказали, борьбе с «бездуховностью». Но... оглядывая поле боя вчерашнего и позавчерашнего дня с высоты своего времени, невольно кой над чем призадуматься.

Вот несколько примеров, которые у всех на памяти. Прежде всего, конечно, Достоевский, развернувший в «Зимних заметках о летних впечатлениях», этом религиозно-философском памфлете на буржуазный строй жизни, «воочию свершающуюся» апокалиптическую библейскую картину («что-то о Вавилоне»), которую он увидел в промышленной горячке на Западе. Его ужаснуло появление «нового стада», вооруженного катехизисом «иметь как можно больше вещей» и одержимого антизаветной жадой соорудить «совершенное земное царство». Реакция писателя — это реакция христианина. Однако не менее, чем материалистическим идеалом, он был отвращен постоянной апелляцией буржуа к морали, его лицемерной потребностью в добродетели; все блещит добродетелями, язвительно замечает Достоевский, наблюдая моральный фасад жизни парижан среднего класса. Другой известный ненавистник новоевропейской цивилизации, К. Леонтьев, вооружает нас эстетической критикой всевропейского мещанства. «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, — задает он свой знаменитый вечно резонирующий в нас вопрос, — что Моисей всходил на Синай...» и т. д., «чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушеествовал „индивидуально” и „коллективно” на развалинах всего этого прошлого величия?..». Напомню также, что этот мыслитель оставил нам в наследство ключевую для понимания современной эпохи дефиницию — «смесительное упрощение», которое погубило сложное цветение аристократической культуры иерархического общества. Но чтобы положить предел разложению былого величия и красоты, этот «турецкий игумен» не останавливается перед исключительно «силовым решением», рекомендуя принудительное подмораживание России и изоляцию ее от Европы. Цветаева изобличает ненавистный ей дух буржуазности в сардонической поэме «Крысолов», где в образе бюргерского полуса Гаммельна предстает самоцельная буржуазная вселенная с ее затхлостью, сытостью, счетом и расчетом. Конечно, поэтесса тоже зрит в корень и видит, что в Гаммельне важна «не сущность вещей», а «существенность вещи». Но прежде всего ее не столько волнует истощение христианского духа в европейском человечестве (Достоевский) и не утрата им величия (Леонтьев), сколько потребность в духе свободы. Акценты Цветаевой анархические и ответ ее иной, чем у предшественников, — бунт! «Кто не прокис — окрысься!», «Ветер в полы! Мимо школы!» — разве не годится это для стен Сорбонны весны 68-го? И конечно же музыка, музыка... А. Блок выражает эмоциональную, если не сказать биологическую, реакцию на тип буржуа как «плотоядного двуногого», которую он сам окрестил «патологическим и истерическим омерзением». Поэт готов винить в этой нутряной ненависти себя, но ничего поделать с собой не может. Его выход уже не просто в музыке, а в музыке Революции.

Для Бердяева, идеолога свободы и творческих дерзаний, аристократического ценителя культурных достижений человечества, а также духовного бунтаря, но и — христианского пневматолога (и тут он наследует Достоевскому), буржуазность отвратительна, с какой стороны ни посмотри. Как всегда, он обнажает главный нерв явления, описывая буржуазный мир как перевернутую пирамиду ценностей, превращение великого в малое, мировой трагедии — в мещанскую драму и в конце концов в пошлый фарс, ибо буржуа возлюбил быт человеческий больше всего сверхчеловеческого. Однако Бердяеву — как неоромантику — так претит проза обыденной жизни, что все повседневное он отождествляет с буржуазностью и мещанством и отказывается подчас ото всей земной посясторонности вообще. «Тоска исходит от жизни, и без творческого подъема нельзя было бы вынести царства мещанства, в которое погружен мир». Уже весь мир для него — тюрьма: «Дух человеческий в плену, плен этот я называю миром, мировой данностью, необходимостью». И те средства, которые он вначале предполагал в качестве противодействия духу буржуазности — а именно религию и красоту, — сменяются решительным отказом от всех «буржуазных табу».

У критиков так много правды! Но живи они сейчас, они, быть может, с ностальгией помянули бы скромное обаяние буржуазии прошлого. Тогда из жизни исчезала тяга к высшему, героика и красота, но оставались еще правила жизни, «предрассудки», теплота домашнего очага, уют семейной жизни. Не говоря уже о Цветаевой, изобличавшей в городе Гаммельне даже верность мужей и жен как признак, по-видимому, духовной инертности, вспомним, что Достоевский желчно высмеивал сентиментальность, царившую в буржуазных семьях. Более того, его раздражало, что у среднего класса на Западе неколебимы требования благопристойности, предъявляемые к театральным представлениям и литературным сочинениям. Счастливые критики счастливой, хотя уже и по-своему страшной эпохи, они не предвидели, что настанет день, когда пресловутое ханжество может показаться последней человеческой чертой на лице хозяев жизни, а элементарное приличие на зрелищных подмостках и в романах — рецидивами былых времен.

То, что произошло потом, было просто массивным наступлением на реликты протестантской этики. От буржуа так долго требовали сбросить маску лицемерия и так яростно ее срывали, а самого его так долго разоблачали, что наконец он предстал разоблаченным, *déshabillé*. Неангажированному взгляду открылось, что «лицемерная» добропорядочность лучше, чем ее отсутствие. К тому же то, что считалось декорацией, служило одновременно и функциональной этикой, и стилистикой буржуазного бытия, и последней запрудой на пути бурного потока душевных отбросов.

Та буржуазность, которая представляла собой сложный симбиоз, а может быть, и сплав приземленных интересов с попыткой сохранить человеческое лицо, приказала долго жить. Феномен раздвоился: безбожная сущность нашла себе новую, более простую и адекватную для низменного начала форму — циническую. У тех, кто сейчас находится на месте буржуазии, то есть заняты приобретательством, респектабельность осталась только как элемент факультативного антуража. Новые собственники лишь обставлены по-штифтеровски, в стиле ретро; а уже озвучены они в передовом, контркультурном стиле inferнальной бетономешалки. В одном уж точно были правы наши строптивые поэты и бунтари, наследники Ницше, — в принципиальной координации между душой и музыкой. Музыка — выражение человеческого нутра, и подделать тут ничего нельзя. Вы видите многих сегодняшних дельцов, одетых под лондонских джентльменов. Но видели ли вы нового русского, который мог бы сидеть и слушать «Кольцо нибелунга»? (Хотя бы.) А в «порядочных» буржуазных семьях это было делом заурядным.

Еще двадцать лет назад представители буржуазного класса выражали свое возмущенное «фе» хиппианской беспорядочности и антиобщественной морали; возникло великое противостояние между square (прямоугольным, прямым, честным) и hippy (вихляющимся, разболтанным). Сегодняшний преемник буржуа хочет походить на сегодняшнего наследника hippy и по своей психологии есть такой же культурный расстрига и моральный девиант, как и тот. Впрочем, сближение происходит с обеих сторон: кто был в прошлом аутсайдер, ныне — контркультурный конформист; вчерашние противники встретились в рукопожатии, оказавшись по высшему счету — во взглядах на царствие земное и небесное — единомышленниками (все психоделические «путешествия» hippy — вызывающе поносторонняя подмена трансценденции). Установки вполне земной культурной революции взяли верх в свободном позднебуржуазном мире над культурой. В итоге титанической борьбы с «буржуазными ценностями» (а какие еще остаются?) и «табу» восторжествовало еще большее самодовольство и еще более низменное, далекое от трансцендентного начало.

Зажиточным лицам положено теперь посещать все непотребные театральные и выставочные перформансы, рукоплескать элитарной шантрапе в ее успехах по срыванию всех и всяческих (какие остались еще) масок. Как некогда в революционные годы, коллаборационист-конформист-интеллигент, стремясь слиться с новыми господами культуры, подражал повадкам матроски и залхватски тушил окурки о подошву штиблета, так и ныне преуспевающий профессор старейшего европейского университета, медиевист и исследователь Франциска Ассизского чувствует потребность пошеголять приблатненностью, откровенничая перед иностранной

публикой о своем заветном идеале — служить в ночном баре лабухом (обязательно с приклеившимся к губе бычком сигареты). Дух буржуазности отлетел от буржуазного общества. Духу этому поздний буржуа потворствует на своей идейной периферии, убагловывая свое естество. Замок в Швейцарии или хотя бы особняк в парижском предместье, усаждающая хозяйина респектабельным комфортом, будет, однако, существовать особняком, на параллельных его антибуржуазной духовности путях. Ни язык, ни внутренний облик владетельной личности не понесут импозантного отпечатка ее недвижимой наличности. Человек с положением в буржуазном социуме стилистически совсем уже неотличим от уличной шпаны.

Нет, не прорывается ввысь дух ни с помощью радикальных патетических жестов, ни на пути «великого отказа», а только еще глубже увязает в низинах жизни.

Между тем существует ведь позиция, внутри которой разрешается антиномия между земным и небесным, мирским и божественным, без объявления войны одному из них. Как получается, что вы одновременно и птица небесная, и в поте лица добываете хлеб свой? Вы знаете, что жизнь трагична и в то же время — что она светла; вы не впадаете в уныние, но и — в полную беспечность? Вы несете свой крест, который еле по силам, — и бремя это легко? А как грешник вы сразу и мытарь, и фарисей... Все эти антитезы сосуществуют, ничуть не сглаживая своей остроты, и разрешаются во внутреннем опыте человека, знающего о своем высшем призвании и своем недостойном состоянии; не приемлющего дух мира сего, но не сам мир; понимающего, что мир во зле лежит, но он не есть зло, и что самому человеку завещано быть не фрондером и потребителем, а садовником и сподвижником.

Христос не призывал просто отменить «табу» Ветхого Завета, а призывал превзойти их. Цитированная филиппика Блока воспроизводит слова Христа искушавшему Его Петру, но Тот говорит их не потому, что хочет отринуть и проклясть земное, а потому, что хочет его спасти, то есть, преобразив, сохранить.

3) Соответственно всему сказанному, буржуазность, исчезнув как цельный феномен из жизни, и в искусстве выражает себя в раздвоенном виде: метафизически опустошенный, по-буржуазному самодовольный творец бичует все то же «лицемерие и ханжество», изобретая все новые формы непристойности и нецензурщины. В чем и видит прогресс.

5) Буржуазна ли моя психология? А как же? Одна жажда наживы чего стоит! Некоторое время тому назад, на заре «эпохи пирамид», когда еще никто не знал об источниках их финансовых ресурсов, некий доброжелатель предложил мне срочно обогатиться и вместе со своими деньгами положить в одну из них и мои «капиталы» (чудом образовавшиеся вследствие таких же внезапных поездок за кордон). Капиталов было почти «тыща» эталонных денежных единиц. Я с ликованием откликнулась в хищнической жажде получить бешеные проценты, да еще без хлопот. Правда, на следующий день, когда нужно было выйти к соседнему подъезду и передать наличную сумму, я напрочь об этом забыла. (А потом, встретив несостоявшегося благодетеля, даже укорила его, зачем не напомнил мне об этом деле еще раз.) Но когда вскоре «Чара» взлетела на воздух и я почувствовала себя пассажиром, опоздавшим на самолет, который разбился буквально на глазах при наборе высоты, то порадовалась своей ветрености! Из этой истории я поняла, что как ни сильна во мне капиталистическая жилка к приобретательству, но это не самая сильная страсть... А как любезен мне бестревожный быт, утвержденный присутствием вечных и бесцельных предметов! И тут же — любовь к ордну, вплоть до непреодолимой тяги к симметрии, что часто ставит меня в нелепое положение субъекта, начинающего вдруг расправлять половники при входе в какое-либо учреждение. Но дома, как гласит поговорка о Маланье, которая о всем мире пеклась...

АЛЕНА ЗЛОБИНА

Русский язык имеет давнюю и устойчивую привычку перенимать слова и понятия у других. Конечно, это не является его особенностью: все языки в той или иной мере используют чужие накопления; но сколько помню из курса филфака, мы воспользовались ими сверх меры — то есть сильно превысили «среднеарифме-

тическую норму» заимствований. И что характерно: очень часто чужие лексемы не просто занимают пустующую нишу, но как бы дублируют исконно русские слова — и отсюда возникают дополнительные значения, отнюдь не прямо передающие смысл оригинала. К примеру, горожанин и гражданин были некогда равнозначными жителями древнерусского города и старославянского града — а по ходу истории один из них обрел совершенно новый семантический (и социальный) статус... Возможны и другие варианты: так, от слова «image», столь же многозначного, как наш «образ», современный русский взял в пользование только «имидж». Имеет право.

А веду я, собственно, к тому, что буржуазность по исходным лексическим параметрам почти не отличается от мещанства (и, пожалуй, еще от бюргерства), так что «bourgeois» естественным образом переводился как «мещанин» (Molière, «Le Bourgeois Gentilhomme» — «Мещанин во дворянстве»). Что же касается различий, то они, на мой взгляд, принадлежат не национальной семантике, а национальной истории и — отчасти — национальному характеру. И вот эта разница породила разность привычных отрицательных значений: российское «третье сословие», не успев еще добраться до первых социальных ролей, уже выродилось в убогих горьковских «Мещан», а потом и вовсе дошло до положения маяковских «Клопов» — тогда как Tiers Etat обрело власть и силу, а с тем вместе потребовало более серьезного к себе отношения (выраженного, например, в цикле «Ругон-Маккары»)..

Лично я к мещанству отношусь не воинственно, но, в общем, вполне классически (равно как и к «мещанам во дворянстве», коих у нас в последнее время развелось что грязи). А вот для того, чтобы понять настоящее значение слова «буржуазность», надо, как мне кажется, прожить некоторое время в буржуазном обществе — что и делали лидеры большевистской революции. И как раз их стараниями данная лексическая единица приплюсовалась к наличным сотням тысяч — прежде русские крупные буржуа назывались «миллионщиками», «предпринимателями», а если на западный лад, то — изредка — «капиталистами». А с течением лет эти самые буржуи с их пресловутой буржуазностью стали для большинства носителей языка существами вовсе мифическими — или мифологизированными — и как таковые входили в большой советский мифологический словарь; впрочем, к моменту падения соцлагеря мифологема оказалась уже вконец затрепанной и, как то часто бывает, утратила всякий реальный смысл.

Сегодня он вроде бы обновился — но приблизился ли притом к реальности? На мой взгляд, отечественная буржуазность покамест так же ущербна, как отечественный дикий рынок или демократия (с Президентом в роли «гаранта» и новым вариантом выборов без выбора: «лишь бы не Зюганов»). И отношение мое к названным новшествам примерно одинаково: все лучше, чем «развитой социализм», но если не в сравнении, то — не нравится. Не нравится и как факт, и как новообразующийся миф — поскольку я вообще не люблю принципа «сожги то, чему поклонялся, и поклонись тому, что сжигал». Разумеется, объявить его нашим национальным изобретением не получится — недаром же и сама формула принадлежит католическому святому. Но российская ментальность, кажется, особенно склонна к таким резким сменам плюсов на минусы и наоборот; впрочем, очень может быть, что сие предствление — тоже отчасти миф.

...Что же касается видов на будущее, то есть обстоятельства, которые меня несколько обнадеживают. В частности, ситуация с джинсами. Я отношусь как раз к тому поколению, которое их упоенно фетишизировало. Слова «Super Rifle», «Wrangler», «Lee», «Levy Straus» звучали для нас нездешне-прекрасной музыкой, тогда как слово «самострок» имело явственно презрительный смысл, хотя само «самострочное» изделие могло выглядеть ничуть не хуже «фирмы»... А сегодняшняя молодежь воспринимает джинсы просто — как, собственно, и должна восприниматься эта простая и удобная вещь; может быть, лучшее знакомство с западной жизнью позволит и на другие вещи взглянуть трезвым взглядом, не искаженным идеологической оптикой. Или это в принципе невозможно? Ведь западные «левые интеллектуалы» тоже всю мифологизируют буржуазность... В таком случае, придется признать, что мне «левый» миф ближе, чем «правый», хотя в нашем сегодняшнем обществе все труднее становится разобрать, где лево, а где право.

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

Год с небольшим тому назад я опубликовал в «Литературной газете» статью «Буржуазный привкус красоты» — и получается так, что я уже ответил на анкету, предугадав интерес редакции журнала к этой проблеме. Придется, отвечая на вопросы анкеты, воспользоваться кое-чем из той статьи.

Думаю, что «буржуазность» — это и анахронизм, и идеологический ярлык, и нейтральный термин, и что-то еще. Само слово восходит, как я понимаю, к французскому «le bourg» — маленький город, городок, и, следовательно, в этом анахроническом, постепенно выветрившемся из слова смысле все, живущие в городах, малых и больших, — буржуазия. Если же буржуазия — это часть населения, эксплуатирующая наемный труд, то и этот смысл тоже устарел, поскольку, например, сейчас к буржуазии причисляют себя люди, никого не эксплуатирующие, но принимающие буржуазный порядок, разделяющие буржуазные вкусы и т. д. Можно вспомнить «Волшебную гору» Т. Манна: доктор Беренс и мадам Шоша посмеиваются над Гансом Касторпом, называя его «буржуа с маленьким влажным очажком» в легких. Устарел этот термин и потому, что в век мировых корпораций и заинтересованности рабочих как акционеров в росте прибыли и т. д. никто уже словом «буржуазия» в его классическом, Марксовом понимании не пользуется не только в Англии или США, но, кажется, и у нас (прошу прощения за тяжеловесную фразу, но, видимо, таково свойство всякой мысли, пробующей пробиться сквозь экономические и политические понятия). Идеологический ярлык, служивший так долго в пропагандистских и воспитательных целях нашей партийной номенклатуре, вылинял и благополучно отвалился. Вообще не мое это дело — выяснять, что такое буржуазия и буржуазность сегодня: уверен, что социологи, экономисты ответят точнее и убедительней.

Лучше скажи о том, как я понимаю буржуазность в жизни и искусстве. Мне ясно, что без таких понятий, как рабовладельческое искусство, феодальное, буржуазное и даже пролетарское, хотя его, кажется, так и не удалось создать, — не обойтись: слушая в студенческие годы курс Н. Я. Берковского по западной литературе XVIII — XIX веков, я хорошо усвоил, допустим, связь «Робинзона Крузо» и гамбургской драматургии — с зарождением и торжеством буржуазных отношений. А в то же время и тогда, и сегодня я ощущал условность и относительный характер всех таких слишком общих понятий и определений. Неужели «Илиада» — рабовладельческое искусство? И Алкей, и Сафо — и так вплоть до Катулла? А что же Данте — феодальный или уже буржуазный автор? Неужели поэзия, допустим, Баратынского — дворянская? А Ходасевича — какая?

Что меня утешает во всем этом, так это, пожалуй, то соображение, что в России, в таком случае, было дворянское, разночинное и даже соцреалистическое искусство — не было только буржуазного. Но если Рембрандт и «малые» голландцы — пример буржуазного искусства, Эдуард Мане и Пруст — тоже, то я — за такое искусство!

И тут мне придется вспомнить свою статью в «Литгазете». В рецензии на сборник Гумилева «Романтические цветы» И. Анненский похвалил молодого автора за то, что тот «лиризм умеет подчинять замыслу, а кроме того, и что особенно важно, он любит культуру и не боится буржуазного привкуса красоты». Не боялся его и Мандельштам, писавший Вяч. Иванову 13 августа 1909 года из Монтрё: «У меня странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лемана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль hotel'я и англичанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в полутемном салоне. Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сентиментально».

Нашел, кому писать, — Вяч. Иванову. Символизм-то как раз презирал лифты и почтительных лакеев, европейскому комфорту не сочувствовал. То ли дело — «оркестры и фимель», которыми, по Вяч. Иванову, следовало «покрыть страну», добиваясь, таким образом, слияния народа с интеллигенцией. Зато Анненский, вводящий в стихи и «рокот фортепьянный», и «полосатые тики», и «черные митенки» на женских руках, и посыльного, несущего орхидеи, «дыша в башлык об-

леденелый», и даже «белую помпу бюро» похоронных услуг, понял бы Мандельштам. Лучше «белая помпа бюро» с ее обдуманнами и страшными атрибутами, чем распредмеченный лагерный ад и общая могила-свалка на Колыме. Лучше «буржуазный привкус красоты», чем дионисийство и соборность, имеющие тенденцию, вопреки желаниям мечтателей, переходить в нюрнбергские факельные шествия и коллективизм открытых и закрытых собраний...

Впрочем, идеи, идеологические требования времени страшны еще и тем, что перевоспитывают и самых строптивых и непослушных. Вот и Мандельштам в 1929 году высокомерно называет Пруста «писателем-снобом», вот и Ахматова, прочитав кузминскую «Форель», отзывается о ней как об «очень буржуазной книге». Ей, писавшей когда-то об «устрицах во льду» и о том, как «перо задело о верх экипажа», кузминские «шторы», «пиджаки», «бильярд», «автомобили» и «кепка, цветом нежной rose champagne», уже казались непозволительной роскошью.

«На буржуев смотрим свысока». И не только в советской России, но и в эмиграции. «Вдруг Поплавский резко остановился под лучшею аркой Парижа — Карусель — и начал облегчаться. За ним, сразу поняв и одобвив, Горгулов и я. Там королевский парк и Лувр, со всеми сокровищами, а над всем хмурое небо неповторимого рассвета — пахло вдруг полем и рекою... А трое магов, прибывших с Востока, облегчались в центре культурного мира. Наш ответ Европе: лордам по мордам» (В. Яновский, «Поля Елисейские»).

В этом отрывке больше всего меня умиляет «небо неповторимого рассвета» и то, как «пахнуло вдруг полем и рекою», — славянофильский, символистский «привкус красоты».

Неужели никогда не научимся соединять его с «буржуазным»?

Но, возвращаясь к Мандельштаму, замечу: это он написал строки, сказавшие мне в начале 60-х больше, чем все правовое движение: «Я пью за военные астры... За розу в кабине ролльс-ройса и масло парижских картин».

Не я один — многие, наверное, заметили, что большевики различали идеологию буржуазную и мелкобуржуазную и особенно презрительно высказывались по поводу мелкобуржуазной. «Дверь полуоткрыта, / Веют липы сладко, / На столе забыты / Хлыстик и перчатка» (Ахматова, 1911), «До умиленности чист / Истаявший овал. / Рука, к которой шел бы хлыст, / И в серебре — опал» (Цветаева, 1915). А чего еще от них ждать? — мелкобуржуазные поэтессы.

Но если есть мелкобуржуазные взгляды, то должны быть и крупнобуржуазные. Вот только не знаю, какой цитатой из поэзии или прозы их проиллюстрировать. Что-то ничего не приходит в голову. Может быть, Эйфелева башня — это пример крупнобуржуазного искусства? Но шутки — в сторону.

Мы живем в государстве, то и дело покушавшемся на человеческую жизнь, на вещи, окружающие человека, а с ними заодно — и на его достоинство. Сваливающиеся брюки (ремень отбросили), падающие башмаки без шнурков — тюремный символ человеческого унижения при социализме. Хотел бы я, как это ни жестоко, посмотреть на кого-нибудь из западных «левых» интеллектуалов, хоть на того же Сартра, так уставшего от «буржуазности», так призывавшего разделаться с буржуазной косностью, — придерживающего штаны левой рукой (хотя бы один день).

Понимаю, что писать о «буржуазном привкусе красоты» и сегодня накладно и небезопасно для репутации: ну что это за поэт, тянущийся к ней? Где стремление к запредельному, большие идеи, такие, как «всемирная отзывчивость», особый путь, великая историческая миссия, возложенная на Россию, — стать объединителем человечества, заключить все народы в жаркие объятия?

Вот и меня подмывает сказать: что вы, что вы! И я тоже каждую минуту помню о других, более важных вещах. И разве у Блока не сказано: «А вот у поэта всемирный запой — и мало ему конституций!» И еще, мое любимое: «Миры летят. Года летят. Пустая / Вселенная глядит в нас мраком глаз».

Всё так. Вот только неплохо бы еще отремонтировать лестницу, перестать мочиться в парадных или, как сказал другой поэт, завести «на каждой станции трактир».

Хочется надеяться, что XX век, лишавший человека постельного белья и парового отопления, обеденной вилки и письменного стола, научил если не народ и интеллигенцию (на такие большие понятия я не заховаюсь), то хотя бы русскую поэзию дорожить «буржуазным привкусом красоты».

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

1) «Буржуазность» может быть и идеологическим ярлыком, и нейтральным термином, но прежде всего она есть некое сверхчувственное социальное качество, претворяющееся в черту характера.

Она выражается в таком отношении к бытию, миру, жизни, которое предполагает, что все вокруг должно быть использовано для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно — духовно, душевно и телесно, как в рекламном слогане: «Какой удобный мир!» Таким образом, все должно быть поставлено на службу человеческим потребностям, претворено в средство обслуживания и самоутверждения, в объект обладания и манипуляции потребителя.

Мерой вещей делается человеческое «я», приспособляющее не только общество, но и метафизику, и даже Самого Творца и Спасителя к своим карманным нуждам. При этом сакральное неизбежно профанируется, возвышенное редуцируется, а непостижимое опошляется.

Буржуазность — это фундаментальная черта того «среднего европейца», в котором К. Леонтьев признал «орудие всемирного разрушения». Единственное, в чем ошибся мыслитель, так это в том, что предполагал в нем «теплохладность», то, что он, как сказано в Апокалипсисе, «ни холоден, ни горяч»: хотя и лишен пороков, но и не блещет добродетелями. Напротив, «средний европеец» показал себя лицом, жадно интересующимся разнообразием всякого рода извращений, на удивление удобопреклонным ко всем человеческим порокам и по преимуществу агрессивным.

2) Именно буржуазность в ее либеральной обертке, оснащенная всеми своими *egalité*, сделалась концептом новой российской идеологии. Презентация, офис, имидж — вот новый «джентльменский набор» новой жизни, ее новые стандарты. Презентация, с ее фуршетом и необязательным, мерцающим разговором, сводящимся к обмену репликами, — это наш новый «праздник жизни». Офис, с его обезличенным дизайном — мертвящим оборудованием и искусственными цветами, — это наше новое метапространство. И, наконец, имидж, который призван надежно скрыть сущность человека и явить себя как знаковое выражение нового узнаваемого престижного социального качества, — это наш образец.

Телевидение дает возможность каждому усвоить их как нечто непреложное, метаисторическое, почти природное. Человек ныне оценивается не как таковой, а как обладатель того или иного набора узнаваемых примет-знаков — поведенческих, речевых и вещественных «прибамбасов» и «примочек». Да и сам этот человек, порой незаметно для себя, начинает подменять категорию «быть» категорией «иметь». Он теперь не столько «венец творения» сам по себе, не столько метафизически укорененное в бытии «я», сколько социальный индивид, состоящий из невротического «эго» плюс суммы вещей, наделенных знаком достоинства и престижа. Как в рекламе: «*L'Oreal* — ведь я этого достойна!»

3) Весь постмодернизм есть, по сути, культура «среднего европейца», для которого история искусства как смена стилей закончилась, наступила пора метаистории («наше время, наша власть!»), развернувшейся в едином метапространстве, поэтому дозволяется невозбранно пользоваться всем, чего душа ни пожелает, тащить из всех кладовок мировой культуры, выбирая из них то, что подходит к лицу, по росту, по фигуре, или самовольно подгоняя это «под себя» и свои нужды. Цитаты, инсталляции, перформансы, использующиеся как в элитарном постмодернистском искусстве, так и в самом «низком» массовом — рекламе, имеют дело с «перемещенными объектами» (или «украденными вещами»), то есть с произвольно вырванными из контекста культурными и религиозными ценностями, приспособленными, ценой некоторых ампутационных операций, для собственных утилитарных целей и, таким образом, «приватизированными».

Характерный пример — реклама нового «фольксвагена». Показана как бы Тайная Вечеря, на которой некто, напоминающий Иисуса Христа, говорит окружающим его людям, изображающим, по-видимому, апостолов: «Поздравляю вас! Родился новый „гольф“!»

4) Психология «среднего европейца» сделалась доминирующей в российской действительности. Не хочется употреблять слово «буржуазность», ибо оно автоматически вызывает из небытия своего противника — марксистско-ленинского пролетария, напрягшего мышцы, выкатившего глаза из орбит и занесшего над головою булыжник. И даже тот, кто позволяет себе отозваться о буржуазности с гримасой эстетического пренебрежения и религиозного негодования, рискует быть тут же зачисленным в стан анпиловых и зюгановых.

Итак, психология и культура «среднего европейца» несет в себе заряд «контртеологической революции» (выражение Ролана Барта). Это сказывается прежде всего — в разрушении эстетики и этики.

Кроме того, модус потребления, подменивший собой модус существования, направляющий человеческую энергию на поглощение мира, а не на его творение и преобразование, оборачивается в конечном счете деструкцией и мира, и самой личности, которая становится заложницей вещей — знаков и прочих знаковых фигур и лозунгов.

Это чревато опасной игрой с реальностью, обличающей многие из этих знаков как симулякры, то есть чистые фикции. Защита этой психологической и социальной виртуальности состоит, в таком случае, в камуфлировании или развоплощении реальности как таковой. Чем и занимаются телевидение, компьютерные и электронные игры, психоделика, постмодернистское искусство.

5) Моя собственная психология и образ жизни безусловно буржуазны. Мною вполне усвоены и новые категории мышления, и новые поведенческие стандарты. Я нахожу все «означаемые», завернутые в пестрые обертки «означающих», я угадываю «все буквы», «все мелодии»... Порой мне кажется, что я не выдерживаю натиска агрессии этой самодовольной буржуазности, неумолимо диктующей свои жесткие правила и внедряющей свои парадигмы. И тогда я с горьким сокрушением чувствую, что именно я и есть тот пресловутый «средний европеец», столь ненавидимый моему любимому мыслителю...

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

1) Вообще русская «калька» для слова «буржуазный» будет — «гражданский». Однако «исполнить свой буржуазный долг» — в нашем случае конструкция невозможная, следовательно, остается придерживаться традиционного толкования понятия «буржуазный», в смысле — пошлый, причем термин «пошлый» в свою очередь распадается на целую категорию составных: узкий, практичный, безвкусный, косной, эгоцентричный, исполненный предрассудков, мелочный, недалекий, самодовольный, добродетельный в рамках посланий апостолов, всегда себе на уме. Иван Грозный писал Елизавете Английской: «Я думал, ты королева, а ты пошлая девка», — стало быть, «пошлый» — еще и заурядный, по воле случая или хитростью добившийся того, что людям порядочным дается талантами и трудами, и при этом находящийся в непрестанном изумлении в связи с тем, что он прозой говорит. Таким образом, понятие «буржуазный» — приобретение полезное, потому что экономное; с другой стороны, «буржуазность» — это стиль, который исповедует белая раса.

2) До буржуазности на бытовом уровне и пандемического характера мы еще не дожили; по крайней мере, потребуется целое столетие расширенного воспроизводства на основе эксплуатации труда капиталом, чтобы бухгалтерия как наследственное заболевание вьелась в кровь.

3) Буржуазность в культуре — как направление, обслуживающее почти физиологические потребности человека обыкновенного, — безусловно, хотя, может быть, и временно, взяла верх. Видимо, это нормально для свободного общества, в котором все вольны быть самими собой — например, сочинять глупости и читать глупости. Это вообще нормально, потому что квалифицированных читателей очень мало, потому что у Н. Н. гораздо больше поклонников, чем у Баха. Разумеется, это малосимпатично, что одна из самых духовно культурных наций вынуждена существовать в условиях нарушенной иерархии ценностей, параискусства и телевиде-

ния для простаков, но с этим приходится мириться, ибо философия жизнедеятельности такова: если хочешь каждый день есть булку с маслом и носить приличные штаны, смирись, гордый человек, перед лицом безграмотной журналистики, литературы из ряда ребусов, физиологической музыки и огорчительного кино. Единственное, с чем трудно смириться: даже всемогущие большевики, которые умудрились внести свои коррективы в движение Земли вокруг Солнца, не смогли отметить художественную литературу, а при либералах она отменилась сама собой.

4) Поскольку цивилизованное меньшинство — ничтожное меньшинство, буржуазная культура стала культурой государственной, как гимн. Другое дело, что буржуазия по своей природе не способна производить серьезные культурные ценности, что ее высшие достижения суть футбол, хиромантия и канкан; посему атрибуты бургера в области прекрасного долго не живут и строится человеческая культура усилиями сравнительно чудаков, которыми никто не интересуется при жизни, а в посмертной жизни ими интересуется узкий специалист. Буржуазии это будет обидно, но с чем-то придется смириться и ей. О размере влияния этого сословия на нашу национальную культуру остается только гадать: с одной стороны, если человечество не откажется от бесперспективного движения, имеющего своим импульсом любопытство, наши праправнуки не будут уметь считать; с другой стороны, организм национальной культуры настолько жизнеспособен, что с него, как с гуся вода, что империализм, что эмпириокритицизм.

5) К сожалению, буржуазный момент в моей собственной литературной работе не развит, и это заметно сказывается на материальной стороне жизни.

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО

1) «Буржуазность» сейчас — не в ряду ходовых лексем. Слово кажется почти забытым. Но беспамятства языка никогда не случайны. Изъяв из употребления понятие «буржуазных ценностей», «буржуазии», «капитализма», язык акцентирует длинный ряд «общечеловеческих» слов, представляющих как раз то, что вымершие или мутировавшие идеологи «борьбы двух систем» называли буржуазностью, а критические настроенные западные интеллектуалы 60-х годов — «обществом потребления». Эти слова тасуются (и «тусуются») в рекламных слоганах: «Добро пожаловать в мир счастья и гармонии... все дело в волшебных пузырьках», «Сникерс — съел, и порядок», «Сейфгард и вы — на защите семьи», «Лореаль... — ведь я этого достойна!» и т. д. и т. п. Речь идет о накачке (а если держаться диалектической точки зрения, то о самонакачке) массового сознания «счастьем», понятным как отсутствие бытовых проблем, как житейский комфорт, детализированный до степени избыточного удовлетворения несущественных и даже несуществующих потребностей.

Сфера «иног» и его императивов сжалась в массовом сознании до размеров задворка, на котором разглагольствуют друг для друга не сумевшие «раскрутиться» на рынке маргиналы с высшим художественным и гуманитарным образованием. Возникла далекая от «протестантской этики и духа капитализма» безыдеалистическая структура повседневности, в которой мечты и порывы, не успев оформиться, тут же отождествляются с существующим. Более того, существующее так устроено, что стимулирует такие мечты и порывы, которые с ним заведомо тождественны. И дело не только в том, что мечтать приходится в регистре от отбеливателя до телевизора с суперплоским экраном, а в том, что мечты эти удовлетворяются даже и без всякой покупки. Само ежедневное многократное демонстрирование на телеэкране того факта, что «Тэфаль всегда думает о нас» и что «Нескафе — все к лучшему», выступает как процесс психологического потребления сковородок и кофе. А психологическое потребление, как то знают наркологи, ничем не хуже физического и способно даже вытеснить последнее. Несмотря на фактическую некупленность пылесоса, психологически обладание пылесосом происходит. Как и обладание источаемой производителями пылесоса и всего остального верховно-отеческой заботой о нас, детях этой цивилизации.

Произошло преобразование социокультурной реальности. Она присвоила себе статус идеально-совершенного бытия. Возник рай на земле — то, к чему стремились коммунистические утописты. Священная история потеряла эсхатологический импульс, которым она влияла на историю мирскую; мирская история обрела самостоятельность истории священной.

Советское время было аппендиксом, в котором заставлялись бродильные ферменты неслиянности двух историй. Рай на земле, хотя его и строили, не был возможен, оставался вечным недостроенным. Нехватка колбасы и прочие бытовые неудобства оставляли идеалистической сфере «инога» шансы на существование. Но внутри советской культуры был свой анклав лучезарного комфорта — здесь тоже внушали (самовнушали) уверенность, что «улыбка не покинет больше вас».

Так что в разных условиях и разными способами прокладывала себе дорогу одна тенденция. Между «Волгой-Волгой» и «Санта-Барбарой» нет принципиальных различий. Просто «Волга-Волга» — это «наша Санта-Барбара вчера», тогда как «Санта-Барбара» — это «их Волга-Волга сегодня». В конце концов Волга-Волга победила, став Санта-Барбарой, то есть променяв комфорт коммунальной душевности всех по отношению ко всем на громадных просторах Родины на комфорт бытового обихаживания каждого и каждой мелочи в каждом, от ногтей и волос обывателя до когтей и шерсти его кошки.

2) В современной российской действительности, однако, наблюдается ситуация «Хлеб и Рама» («...что может быть лучше!»). Черствый и суровый советский хлеб — в виде невыплат зарплаты — сохраняется. Но с него ссыпали соль идеологической призванности, государственного мессианизма, веры в то, что «не личное — главное, а сводки рабочего дня», и намазали синтетическим маргарином всевозможных красиво упакованных удобств. Снятию противоречия между традиционным комфортом (лишившимся своих идеологически-оправдательных коннотаций) и новейшим комфортом (который вкушается больше психологически, в режиме допинга-транквилизатора) служит превращение в коммерческую «Раму», то есть в символ нового психологического комфорта традиционного советского «хлеба» — популярной массовой культуры 30 — 70-х годов. Это делается на телевидении по четырем направлениям: постмодернистское шоу («Старые песни о главном» — 1, 2, 3; «Песни о Москве» — программа к 850-летию столицы); исторический дайджест с элементами иронического стеба («Намедни 1961 — 1991. Наша эра»); новые версии стандарта умилительно-мемуарной «встречи друзей», отработанного в советском телецикле «От всей души» (телепрограммы «Старая квартира» и «Старый телевизор»). К линии смещения «хлеба» и «Рамы» принадлежат также комбинации политических имиджей вроде Лебедь — Березовский, Немцов — борец с олигархами, «молодо-зелено-технократично» — «старо-седо-харизматично».

4) В культуре система «Хлеб и Рама» проявляется доминированием двух родов продукции. Особенно ясно это в телевизионном кинопрокате. С одной стороны, старые советские фильмы нещадно эксплуатируются, повторяются по многу раз; возник специальный празднично-«календарный» репертуар «нашего старого кино». С другой стороны — вереница игр, ток-шоу про то-се, про это и другое, а также криминальная хроника, сливающаяся в один протяжный вой с зарубежными детективными сериалами, боевиками и триллерами, — продукция, приучающая к беспрепятственности существования или же к игровому отношению к проблемам (или к рутинности проблем). В итоге между первым и вторым потоками культурпродукции возникает консонанс комфорта несущественности.

Поскольку такая установка доминантна, то и высокая культура подтягивается под нее. На академических музыкальных подмостках исполняется в основном Вивальди, уже давно у нас закрепивший за собой символическую функцию респектабельного релаксатора. Вперед выступает тип художника-профессионала, для которого его творческая деятельность — скорее рыночно ценимое ремесло, чем экзистенциальная самоотдача. Деловое, но несерьезное (если под серьезностью понимать синоним элитарного в былых спорах о пропасти между элитарным искусством и массовым) отношение к искусству, отношение профессиональное, но преимущественно игровое, нашло себя в постмодернизме, который, конечно, не ограничивается Д. А. Приговым и его аналогами, а простирается во всю ширь ар-

тифициального контекста, включая балет, сопровождающий эстрадные выступления Ф. Киркорова, самого Киркорова, стилистику компьютерных заставок на телеканалах, постановочную стилистику в размножившихся камерных оперных театрах типа «Геликон-оперы» и т. п. и т. д.

5) Мой образ жизни состоит в распределении времени, чтобы хватило на написание текстов (в частности, этого), а также на чтение лекций, на заботу о родителях, общение с немногочисленными близкими людьми и на массу других забот, связанных с творческой и общественной (ее можно, имея в виду отсутствие окупаемости, назвать благотворительной) деятельностью. У меня свой, сугубо личный, черствый хлеб (не советского, а персонально-биографического помола) и также сугубо личная соль к нему. То и другое неинтересно анализировать в печати. Думаю, однако, что так, как я, живут многие, и не только в России. Это — другая константа, существовавшая и в пору «Волги-Волги». Однако сегодня этот образ жизни не является фактором большого общественного успеха ни в России, ни за рубежом. Но за рубежом для него есть хотя бы сохраняющая его как тип ниша университетов. У нас же эта ниша скорее номинальна. Поэтому в России такой образ жизни является личным выбором по преимуществу, в социальные категории не вписываясь.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Кобо Абэ. Собрание сочинений. Перевод с японского, составление, предисловие, примечания В. Гривнина. СПб., «Симпозиум», 1998, 8500 экз.

Том 1. Женщина в песках. Чужое лицо. 432 стр.

Том 2. Сожженная карта. Человек-ящик. 410 стр.

Виктор Астафьев. Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 11. Так хочется жить. Обертон. Повести. Рассказы разных лет. Красноярск, «Офсет», 1997, 431 стр., 6000 экз.

Анна Баркова. [Без названия]. Серия «Поэты свинцового века». Красноярск, ИПК «ПЛАТИНА», 1998, 75 стр., 1000 экз.

Сборник избранных стихов Анны Александровны Барковой (1901 — 1976) открывает серию «Поэты свинцового века»: «В отличие от „золотого“ века и „серебряного“ века русской поэзии, наш трагический XX, наверное, можно назвать проще — веком „свинцовым“... Серию... мы начинаем со стихов удивительной Анны Барковой, которой современники обещали славу лучшей поэтессы за всю историю России...» (из предисловия). О стихах Анны Барковой «Новый мир» писал в 1992, № 9.

Нина Берберова. Биянкурские праздники. Рассказы в изгнании. М., Издательство имени Сабашиных, 1997, 464 стр., 6000 экз.

Нина Берберова. Чайковский. Железная женщина. М., Издательство имени Сабашиных, 1997, 575 стр., 6000 экз.

Валентин Берестов. Избранные произведения. В 2-х томах. М., Издательство имени Сабашиных, «Вагриус», 1998, 5000 экз. Том 1. 608 стр. Том 2. 468 стр.

Шарль Бодлер. Цветы Зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. Составитель О. А. Дорофеева. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1997, 958 стр., 10 000 экз.

Игорь Волгин. Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. М., Центр гуманитарного образования, 1998, 656 стр., 2200 экз.

Татьяна Вольтская. Тень. Стихотворения. СПб., «Феникс», 1998, 112 стр., 700 экз.

Журнал намерен отрецензировать книгу.

Сергей Есенин. Полное собрание сочинений в 7-ми томах. Том 3. Поэмы. М., «Наука-Голос», 1998, 720 стр., 20 000 экз.

Жили-были. Русская обрядовая поэзия. Составление, статья, комментарии Г. Г. Шаповалова, Л. С. Лаврентьева. СПб., Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1998, 287 стр., 3000 экз.

Надежда Лухманова. Очерки из жизни в Сибири. Избранные произведения. Составление Ю. Л. Мандрики. Предисловие К. Я. Лагунова. Примечания Н. Ф. Швейбельман. Тюмень, «СофтДизайн», 1997, 464 стр., 3000 экз.

Сборник прозы автора популярнейшего в конце прошлого века романа «Девочки» Надежды Александровны Лухмановой (1844 — 1907). Книгу составили сибирские очерки писательницы и роман «Девочки», публикуемый под названием «Двадцать лет назад».

Охота на свиней. Шведская современная проза. СПб., Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1998, 622 стр., 3000 экз.

Сборник составил произведения четырех современных шведских прозаиков: Биргитта Тротциг — роман «Предательство» (1966) в переводе Н. Федоровой, Пер Кристи-

ан Ершилд — сатирический роман «Охота на свиней» (1968) в переводе А. Афиногеновой, Вилли Чурклюд — цикл «Восемь вариаций» (1982) в переводе А. Афиногеновой, Юнас Гардель — роман «Жизнь и приключения госпожи Бьёрк» в переводе Ю. Яхниной. Предисловие М. Кураева, послесловие «Шведский квартет», оно же краткое представление авторов, — Ларса Клеберга.

Роман Солнцев. Наши грезы. Книга новых стихотворений. Красноярск, 1998, 100 стр.

Может, хватит хныкать? Лучше — хоть бы хны —
на пиле пиликать у кривой сосны.
Лучше дело делать через не могу.
Возле бани бегать в розовом снегу.
С милой на перине плавать до зари.
Радоваться жизни. Так живут цари.

Николай Старшинов. Что было, то было... На литературной сцене и за кулисами: веселые и грустные истории о гениях, мастерах и околослитературных людях. М., «Звонница-МГ», 1998, 542 стр., 5000 экз.

Варлам Шаламов. Собрание сочинений в 4-х томах. Составление, подготовка текста, примечания И. Сиротинской. М., «Художественная литература», «Вагриус», 1998, 10 000 экз.

Т. 1. Колымские рассказы: Колымские рассказы. Левый берег. Артист лопаты. 620 стр.

Т. 2. Колымские рассказы: Очерки преступного мира. Воскрешение лиственницы. Перчатка, или КР-2. Анна Ивановна. Пьесы. 509 стр.

Василий Шукшин. Собрание сочинений в 6-ти книгах. М., «Надежда-1», 1998, 10 000 экз. Книга 1. Охота жить. 510 стр. Книга 4. Любавины. Роман. 543 стр.

Умберто Эко. Маятник Фуко. Роман. Перевод с итальянского, послесловие Е. Костюкович. СПб., «Симпозиум», 1998, 464 стр., 10 000 экз.



А. Бенуа. Возникновение «Мира Искусства». Репринтное издание. М., «Искусство», 1998, 70 стр. (Старая книга по искусству). 2000 экз.

Олег Даль. Дневники. Письма. Воспоминания. Под редакцией Б. Поюровского. Составление, комментарии Н. Галаждей, Е. Даль. М., «Центрполиграф», 1998, 454 стр., 10 000 экз.

М. Дмитриев. Главы из воспоминаний моей жизни. Подготовка текста и примечания К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой и Т. Ф. Нешумовой. Вступительная статья К. Г. Боленко и Е. Э. Ляминой. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 735 стр.

Первое полное издание (текст печатается по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей РГБ) одной из самых замечательных в русской мемуаристике книг, считавшейся в прошлом веке «настолярной книгой у всех занимающихся историей русской словесности», литератора и чиновника Михаила Александровича Дмитриева (1796 — 1866) — русская провинция начала века, Московский университет, судопроизводство, московская театральная и литературная жизнь: П. А. Вяземский, С. Т. Аксаков, П. Я. Чаадаев, С. Н. Глинка, М. П. Погодин и другие.

Марина Дроздова. Уроки Юдиной. М., Издательское объединение «Композитор», 1997, 224 стр.

Книга о выдающейся русской пианистке и педагоге Марии Вениаминовне Юдиной (1899 — 1970).

Личность и власть. Интеркультурный диалог. М., «Московский философский фонд», 1998, 169 стр., 2250 экз.

Сборник составлен по материалам конференции, проведенной журналом «Вопросы философии» и Немецким культурным центром им. Гёте в феврале 1998 года в Москве. Авторы: В. А. Лекторский, Г. Зимон, В. А. Сендеров, М. С. Киселева, В. К. Кантор, А. Игнатов, Л. Люкс, Т. А. Алексеева, Д. М. Фельдман, Б. Г. Капустин. Круг тем от «Унижение и достоинство человека (две трактовки одной темы: Византия и Рим)» и «Князь и царь глазами древнерусских книжников» до «„Свобода от государства” и „свобода через государство”: о нелиберальности посткоммунистической России и ответственности либералов».

Лиля Панн. Нескучный сад. Заметки о русской литературе конца XX века. USA, «HERMITAGE PUBLISHERS», 1998, 220 стр.

Собрание эссе живущего в США русского критика; подзаголовок книги: «Поэты, прозаики: 80-е – 90-е». О творчестве Цветкова, Бродского, Петрушевской, Гандельсманна, Наймана, Льва Лосева, Игоря Ефимова, Гандлевского и других. Место первой публикации большинства этих эссе — журналы «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Октябрь» и др.

Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах. Издание третье, дополненное. СПб., «Академический проект», 1998, 7000 экз.

Том 1. Вступительная статья В. Э. Вацура. Примечания В. Э. Вацура, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович и других. 528 стр.

Том 2. Примечания В. Э. Вацура, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович и других. 656 стр.

Ставший после двух изданий почти каноническим свод основных воспоминаний о Пушкине, дополненный новыми материалами. Копирайт на вступительную статью В. Э. Вацура и примечания помечен 1998 годом.

Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре. Трактаты. Перевод с французского А. Д. Хаютина. Послесловие А. Ф. Филиппова. Комментарии В. С. Алексеева-Попова. М., «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998, 416 стр., 3500 экз.

Воспроизводится перевод с французского, сделанный в 60-е годы для серии «Литературные памятники» (1969) по изданию трактатов Руссо, подготовленному и осуществленному английским исследователем Ч. Воганом в 1915 году в Кембридже.

Александр Солженицын. Россия в обвале. М., «Русский путь», 1998, 208 стр., 5000 экз.

«Эта работа продолжает серию крупных публицистических работ автора о положении в нашей стране и проектах общественных преобразований:

„Письмо вождям Советского Союза” — 1973,

„Как нам обустроить Россию?” — 1990,

„Русский вопрос к концу XX века” — 1994.

В предлагаемой книге рассмотрены государственные, общественные, национальные, нравственные и бытовые процессы, происходившие в нашей стране за последнее десятилетие, происходящие ныне, и доступные оценки на будущее» (из издательской аннотации).

Александр Строев. «Те, кто поправляет фортуна». Авантюристы просвещения. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 400 стр.

Книга, посвященная знаменитым авантюристам и литераторам XVIII века, побывавшим в России. Рецензию на эту книгу см. в следующем номере нашего журнала

В. Н. Топоров. Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII — XIV вв.). М., «Школа „Языки русской культуры”», 1998, 864 стр., 2000 экз.

Мирча Элиаде. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. СПб., «Алетейя», 1998, 249 стр., 4000 экз.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Волга», «Вопросы литературы», «Всемирная литература», «Детская литература», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Зоил», «Известия», «Индекс/Досье на цензуру», «Иностранная литература», «Коммерсант-Daily», «Контекст-9», «Литературная газета», «Литературное обозрение», «Литературный европеец», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Наука», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая студия», «Новая Юность», «Новый Журнал», «Общая газета», «Октябрь», «Побережье», «Пушкин», «Родная речь», «Россия», «Русская мысль», «Русский Телеграф», «Юность»

Анатолий Азольский. Из цикла «Ожоги». — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1998, № 6.

«Свобода и равенство», «Большой террор» — короткие рассказы букеровского лауреата.

Василий Аксенов. Звездный билет на остров Крым. Записал Игорь Шевелев. — «Общая газета», 1998, № 25, 25 июня — 1 июля.

Встреча прозаика с редакцией газеты. «Я не жалуясь на невнимание читателя... Другое дело, что в нашей литературной жизни сложилась враждебная среда. Враждебная ко всем вокруг и в первую очередь к тем, кто либо своим образом жизни раздражает, либо местом проживанияя. Я думаю, что становлюсь некоторой жертвой этой автоматической вражды... Я пишу третью большую книгу — „Новый сладостный стиль“, это лучшая моя вещь — здесь она выходит и получает всего две-три рецензии. На книгу рассказов вообще ни одной рецензии. То же с „Московской сагой“...»

О романе «Новый сладостный стиль» (М., 1997) и сборнике рассказов «Негатив положительного героя» (М., 1996) см. рецензию А. Василевского «Аксенов есть Аксенов есть Аксенов» («Новый мир», 1998, № 1). О «Московской саге» см. в статье В. Сердюченко «Могикане» («Новый мир», 1996, № 3).

Петр Алешковский. Седьмой чемоданчик. Повествование. — «Октябрь», 1998, № 6.

«Обычно я читаю в электричках...» Дорога на дачу. Лирическая проза с отступлениями.

Марк Альтшуллер. Биография Онегина — в руках пушкинистов. — «Новый Журнал». Главный редактор Вадим Крейд. Нью-Йорк, № 211 (1998).

Белинский (глубокомысленно): «Что случилось с Онегиным потом?» Обзор многочисленных версий литературных критиков, пушкинистов, писателей. Автор — филолог, профессор Питтсбургского университета.

Андеграунд вчера и сегодня. — «Знамя», 1998, № 6.

Выражение «андеграунд» есть шизофреническая новоречь, считает Алексей Цветков. Так думают не все. В дискуссии приняли участие Михаил Айзенберг, Юрий Арабов, Николай Байтов, Борис Гройс, Иван Жданов, Владимир Паперный, Виктор Санчук, Генрих Сапгир, Ольга Седакова и Семен Файбисович.

Михаил Берг. В той башне высокой и тесной девица Татьяна жила. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 101, 6 июня.

О том, что лауреат Пушкинской (Фонда Тёпфера) премии предлагает новую версию «Евгения Онегина» (Пригов Д. А. Евгений Онегин. СПб., «Красный матрос», 1998). Сохранив метрику, имена и ключевые существенные, объясняет М. Берг, Дмитрий Александрович переписывает пушкинский роман в стихах «лермонтовским стилем», с использованием всего двух часто встречающихся у Михаила Юрьевича эпитетов — «безумный» и «неземной». Зачем? Затем, что в русской культуре лермонтовская традиция (будто бы) победила пушкинскую. В итоге: «Приговский „Онегин“ суггестивен, утомителен, однообразен, ибо это наша „духовка“: тесная, категоричная, непримиримая и ужасно душная...»

Василь Быков. Вся наша история соткана из трагизма. С писателем беседовал Семен Букчин. — «Русская мысль», 1998, № 4226, 11 — 17 июня.

Среди прочего — о том, что «Астафьев, несомненно, углубился, и не только в этом романе („Прокляты и убиты”. — *А. В.*), но и в других своих военных произведениях последнего времени. И я думаю, что в этом направлении, в таком ключе добавить что-то после Астафьева уже невозможно. Он, может быть, даже чересчур выворотил изнанку войны, чтобы там можно было найти еще что-то неисследованное»...

См. также отклик Павла Басинского («Литературная газета», 1998, № 26, 24 июня) на новую повесть Виктора Астафьева «Веселый солдат» («Новый мир», 1998, № 5, 6). Цитата: «Образ Астафьева давно и старательно лакируется современной критикой, рудиментарно нуждающейся в звании Большого Русского Писателя. На старости лет на Астафьева наконец посыпались всевозможные премии, награды и славословия, в том числе и от тех, кто никогда не давал себе труда понять действительный смысл астафьевской прозы, страшно ключковатой, страшно неравной самой себе во многих духовных и эстетических составляющих... Лучше честно признаюсь, что многое в эволюции Астафьева мне лично непонятно, а что-то, пожалуй, и неприятно... Но все это я готов принять и простить (опять же глубоко лично!) за единственное драгоценное качество его прозы: в бесслезный век она способна дарить слезу. И это начало в ней высокохристианское — кто понимает, о чем речь, тот поймет».

Михаил Веллер. Самосуд. — «Пушкин». Тонкий журнал. Читающим по-русски. Главный редактор Глеб Павловский. 1998, № 1.

Крик души: Закон не работает, а самосуд запрещен. «Случилось страшное, и случилось глупое. Глупое: мы впились в буквальное насаждение христианской морали всеобщей любви и всепрощения, а она соотносится не со справедливостью в нашей горестной юдоли греха и скорби, а с той праведностью, которая ведет к вечному блаженству за гробом. Страшное: не важно, по каким причинам общество чего-то не делает, — важно, что если оно реально чего-то не делает, это означает, что у него нет сил это делать». Белая цивилизация, у которой нет сил карать убийц, обречена. Азия рубит руки и головы и не позволяет наступать себе на хвост.

Георгий Владимов. В России завершился панический этап. Беседу вел Юрий Буйда. — «Известия», 1998, № 115, 26 июня.

В связи с выходом четырехтомного собрания сочинений прозаика (М., «NFQ/2Print», 1998). Цитата: «Критики набросились на журнальный вариант книги (роман „Генерал и его армия”, получивший Букеровскую премию. — *А. В.*) и судили о ней по четырем главам из итоговых семи. Обвиняли в апологетике Власова... На самом деле меня больше интересовал не генерал Власов, а власовцы. Власов попал в плен, в общем, случайно. Не будь краха второй ударной армии, дослужился бы, может быть, до маршала. Жуков его высоко оценивал. А вот власовцы — это не случайность. Не может быть случайностью массовая сдача в плен... Ведь у людей была страшная обида: коллективизация, репрессии, лагеря. С другой стороны, нельзя модернизировать психологию того времени. Я хорошо помню начало войны, тот огромный патриотический подъем...»

Соломон Волков. Разговоры с Иосифом Бродским. Детство и юность в Ленинграде. Аресты, психушки, суд. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 5.

См. в этом же номере «Звезды» эссе Лили Панн о «Новых стансах к Августе» (Ann Arbor, 1983), «шумерское» стихотворение Бродского «Slave, come to my service!» в переводе с английского Александра Сумеркина и статью Эдуарда Шнейдермана «Круги на воде. (Свидетели защиты на суде над Иосифом Бродским перед судом ЛО Союза писателей РСФСР)».

Андрей Воронцов. Поминки по Джойсу. — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 6, июнь.

Джойс как редкий образец чисто западного художника, свободного от влияния русской классической литературы. Романтический канцеляризм прозаика. Миф о непостижимой глубине его текстов. «Улисс» читается без всякого интеллектуального напряжения, но с некоторым напряжением физическим. Набоков читал его «по диагонали». Цитата: «Блум для нас — персонаж анекдотический. Он в прямом смысле *жидомасон* (выделено автором статьи. — *А. В.*), то есть еврей и масон одновременно». *Умри, Денис...*

Александр Генис. Глядя из «Боинга». Беседу вел Константин Донин. — «Зоил». Литературно-критический журнал. Киев, 1997, № 3.

«В этот приезд (в Москву. — *А. В.*) меня больше всего поразило обилие книг — намного лучше, интереснее моих собственных». А также о будущем русского языка как языка не русской и не российской, но — мировой русскоязычной культуры, языка не диаспоры, а культурной Империи.

Игорь Гергенредер. Гримаска под пиковую точку. Рассказ. — «Литературный европеец». Ежемесячный журнал Союза русских писателей в Германии на русском и немецком языке. Франкфурт-на-Майне, 1998, № 2.

Второй номер тонкого русско-немецкого литературного журнала, редактируемого Владимиром Батшевым. Общее впечатление уныло-провинциальное. В Германии живут около сотни авторов, пишущих по-русски.

О творчестве интересного прозаика Игоря Гергенредера см. рецензию Павла Басинского «Белый Гайдар» («Новый мир», 1998, № 8).

Борис Голлер. Пейзаж с фигурами на заднем плане. — «Вопросы литературы», 1998, № 3 (май — июнь).

О борьбе Лермонтова с Пушкиным. К 200-летию последнего, но «в дискуссионном порядке».

Василий Голованов. Стрелок и Беглец. — «Дружба народов», 1998, № 6.

Начало 90-х. Родные просторы. Дневник странствий. Бегство как важная культурная тема XX века, связанная с сохранением личности.

Василий Голованов — из новых писателей, один из лучших. См. в № 7 «Нового мира» за этот год рецензию Игоря Кузнецова на его художественно-документальную книгу о махновском движении.

Нина Горланова, Вячеслав Букур. Тургенев — сын Ахматовой. Повесть. — «Октябрь», 1998, № 5.

Пермь. Семья. Муж, жена, дети. Захватывающие мелочи жизни.

Дело «Октября» живет и побеждает. Беседовал Глеб Шульпяков. — «Ex libris НГ», 1998, № 24, июнь.

Феминистка Сюзан Бакморс — редактор и интеллектуальный лидер «Октября», естественно, не московского, а нью-йоркского авангардного журнала. Разрушить старое и построить новое — этот великолепный принцип «должен был бы лежать и в основе современной реконструкции Москвы. К сожалению, то, что сделали художники с Москвой и Манежной площадью в частности, не имеет к авангарду никакого отношения (кто бы спорил! — А. В.), выглядит чудовишно и представляется мне как полный провал. А ведь был такой шанс!» *Какой?*

Демоническая природа пошлости. «Круглый стол» Петербургского литературного клуба. — «Литературная газета», 1998, № 24, 17 июня.

Дискутировали: Андрей Столяров (организатор клуба), Самуил Лурье, Ирина Знаменская, Татьяна Вольтская, Алексей Машевский и Алексей Пурин. В остатке: поразительное наблюдение А. Пурина, что у пошлости нет антонима.

Анатолий Друзенко. В парусах есть что-то от птицы... — «Известия», 1998, № 121, 4 июля.

Вахтенный журнал, который вел Юрий Казаков во время плавания на моторно-парусной шлюпке «Вега» от Москвы до Архангельска летом 1968 года, — единственное не печатавшееся до сих пор сочинение известного прозаика.

Борис Дубин. Демократия победила — страна читает Маринину. Беседу вел Юрий Буйда. — «Известия», 1998, № 98, 30 мая.

Известный критик, культуролог, переводчик — о социологии чтения. Среди прочего — об Александре Марининой: «В ее романах невозможно нормальное мужское самоопределение, замученные матерями мужчины, дай им волю, способны разве что на преступление, да и героиня не приспособлена к жизни — этаким неприспособленный к жизни атомарный персонаж. Вольно или невольно, Маринина декларирует невозможность жить без опеки... Человек у нее всегда находится во власти чужих сил, толкающих его на злодеяния. То есть она, скорее всего безотчетно, «работает» с психологическими и социальными проблемами, сформировавшимися полтора-два поколения назад, с проблемами, от которых общество и до сих пор не может отделаться. А вдобавок притягателен для масс и финальный „вывод“: жить тяжело, но ничего, как-нибудь переживем и будем жить...»

См. об этом специальный «круглый стол» с участием Бориса Дубина, Ирины Прохоровой, Григория Дашевского, Александра Носова и Сергея Козлова — «На rendez-vous с Марининой» («Неприкосновенный запас», 1998, № 1).

Александр Дугин. Литература как зло. — «День литературы». Газета русских писателей. 1998, № 6, июнь.

Резюме обширной статьи: «Литература в своей наиболее чистой форме есть самый последовательный и самый радикальный сатанизм».

Александр Дугин также издает «Элементы» — «наш самый правый журнал, не брезговавший и расовой, и фашистской теорией, а ныне неуклонно смещающийся влево (очевидно, в такт смещению вправо доминирующей идеологии)», как определяет это Екатерина Дёготь («Коммерсант-Daily», 1998, № 114, 27 июня), побывавшая в Музее Маяковского на презентации девятого номера «Элементов». Ее впечатления: «Пока банковская (мейнстримная) пресса будет избегать конфронтации идей, пусть даже частично для себя неприятных, а заниматься эстетизацией достигнутого образа жизни, монополия на теорию будет у Дугина, который к этому совершенно готов и не видит никакой конкуренции на тысячи миль справа и слева».

Дмитрий Замятин. Экономическая география Лолиты. — «Новая Юность», № 26-27 (1997, № 5-6).

Хорошее название.

Михаил Золотоносов. Смертельное манит. — «Московские новости», 1998, № 21, 31 мая — 7 июня.

Неожиданно-взволнованный отклик питерского весьма привередливого критика на прозаическое сочинение Владимира Тучкова «Смерть приходит по Интернету. Описание девяти безнаказанных преступлений, которые были тайно совершены в домах новых русских банкиров» («Новый мир», 1998, № 5). Жанр «описания»: «нечто среднее между „Колымскими рассказами“ Варлама Шаламова и средневековыми латинскими новеллами XIII века, известными под названием „Римские деяния“». Философский подтекст тучковских страшилок: «Мир XXI века, который лишен проблематики нравственного выбора и чувства вины (одного из базовых концептов культуры XX века) и основан на упрощенном (сильно обедненном по сравнению с нынешним) отношении к смерти... вот что нарисовано Тучковым средствами на первый взгляд примитивными, анекдотическими». Осуществимость чего угодно, сопротивление бесполезно.

Сергей А. Иванов. Лев Гумилев как феномен пассионарности. — «Неприкосновенный запас». Критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». Главный редактор Ирина Прохорова. 1998, № 1.

«Гумилев не в большей степени историк, чем Иракий Андроников — филолог». Вместо заявленной «естественнонаучности» — «этническая мистика». Будь у академика Фоменко подходящая биография (Гумилев — узник лагерей и сын двух великих поэтов), его теория Новой Хронологии оказалась бы куда успешнее.

Николай Климентович. Ленечка. Из цикла «Подстрочник». — «Дружба народов», 1998, № 5.

Мемуарный очерк о поэте Леониде Губанове: помню и по-прежнему люблю.

Юрий Коваль. Монохроники, или Рябиновый год. Предисловие Ирины Васюченко. — «Детская литература». Литературно-критический и библиографический журнал. Главный редактор Игорь Нагаев. Тираж 4500 экз. 1998, № 2.

Дневниковые записи сентября — октября 1980 года. «Рябина и помидоры чем-то похожи между собой».

Сергей Корнев. Выживание интеллектуала в эпоху массовой культуры. — «Неприкосновенный запас». Критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». 1998, № 1.

Переход от «конфуцианской» к «даоской» модели существования интеллектуала в обществе.

Юрий Красавин. Самозахват. Рассказ. — «Москва», 1998, № 6.

Самочинная колонизация пустыря на окраине городка Новая Корчева. О жизни этого городка см. повесть Юрия Красавина «Провинциальные страсти» («Москва», 1997, № 12) и его же очерк «Новая Корчева» («Новый мир», 1997, № 2).

Юрий Кувалдин. В садах старости. Повесть. — «Дружба народов», 1998, № 6.

О прозе Юрия Кувалдина см. рецензию А. Василевского «Повести о жизни» («Новый мир», 1997, № 9).

Борис Кузьминский. Сто пословиц весь мир перетянут. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 105, 16 июня.

Один из многочисленных откликов на публицистическую книгу А. Солженицына «Россия в обвале» (М., «Русский путь», 1998). «Пронзительный лиризм, ювелирно выверенные интонационные перепады, приглушенный скрипичный минор вместо погребальных фанфар. Томик Солженицына без натяжек встраивается в ряд классических памятников русской философской публицистики: это факт не политики, а литературы по преимуществу. Что до передержек и гипербола — художник и должен все заострять,

напрягать. Пафос высокой лирики всегда трагичен. Как и „тяга к общественной справедливости, тяга к нравственной жизни“...»

Противоположную точку зрения озвучил Владимир Бондаренко в обширной статье «Александр Солженицын как лидер русского национализма» («День литературы», 1998, № 6, июнь), завершающейся патетическим аккордом: «Нам нужна ваша книга „Россия в обвале“ . Нам нужен лидер русского строительного национализма Александр Солженицын. Будьте им!»

«Главное, что вызывает несогласие с этой книгой, — размышляет Валерий Сендеров в парижской газете „Русская мысль“ (1998, № 4228, 25 июня — 1 июля), — общий катастрофический тон ее. И ведь поразительно: тон этот — в противоречии с тем, что сам же Александр Солженицын с первых страниц книги описывает!»

Лазарь Лазарев. «Автор стоит на сомнительных, а иногда явно неправильных позициях». Борис Слуцкий и цензура. — «Индекс/Досье на цензуру». Главный редактор Наум Ним. 1998, № 1.

Вырезанные или искаженные по цензурным мотивам строфы и строки Бориса Слуцкого. Мораль: при советской власти цензура *была*, а сейчас, что бы на эту тему ни говорили, ее *нет*.

Семен Липкин. Искусство не знает старости. Беседу вела Ольга Постникова. — «Вопросы литературы», 1998, № 3 (май — июнь).

Беседа с мастером. «Если бы я мог начать жизнь сначала, я не поступил бы в технический вуз, а постарался бы попасть в институт восточных языков, укрепил бы свое прежнее приличное знание немецкого, развил бы знание французского, не переводил бы государственные стихи нерусских поэтов, построил бы иначе семью. Молодым писателям я завещал бы всегда помнить две фразы: Пушкина — „Ты — царь: живи один“ и Достоевского — „Смирись, гордый человек“...»

Владимир Микушевич. Двери ночи. (Нелли Закс и Адольф Гитлер). — «Новая студия». Берлин — Москва, 1997, № 2.

Эссе о немецкой поэтессе, лауреате Нобелевской премии по литературе (1966), сопровождается подборкой ее стихов в переводе Владимира Микушевича. См. также рецензию Марины Борщевской на книгу стихов Нелли Закс «Звездное затмение» (М., 1993) в «Новом мире» (1994, № 9).

В этом же номере берлинского литературно-публицистического журнала (издатель и редактор Андреас Мазурков) напечатаны стихи Инны Кабыш, рассказ Вардвана Варжапетяна, отрывок из повести Марины Вишневецкой, «Сказание о Лотаре Биче» Игоря Гергенредера (по мотивам фольклора немцев Поволжья) и другие материалы на русском и немецком языках.

Никита Михалков. Так кончаются смутные времена. Беседу вел Валерий Кичин. — «Известия», 1998, № 118, 1 июля.

Программное — почти на полосу — интервью. Среди прочего: самый естественный для России строй — «конституционная монархия и просвещенный консерватизм». И далее: «Я мечтаю иметь власть, которую буду любить».

Аркадий Небольсин. Из московских записей. — «Новый Журнал». Нью-Йорк, № 211 (1998).

Размышления о «падении европейской архитектуры, искусства и цивилизации в целом в XIX — XX веках» и на другие связанные с этим темы. Цитата: «Странно, что архитектурный конструктивизм 20-х годов (башня Татлина, проекты Дворца Советов, идеология Пролеткульта) имеет то же значение, что и литературный деконструктивизм 70 — 90-х годов (Деррида и других). То есть это просто деструктивизм!»

О брошюрах Аркадия Ростиславовича Небольсина (1932, Монтрё, Швейцария) «О золоте», «О серебре», «О красках» и др. см. рецензию А. Василевского «Мистика реставрационных работ» в русско-итальянском журнале «Новая Европа» (1997, № 11).

Евгений Носов. Мемуары и мемориалы. — «Юность», 1998, № 5.

Великая Отечественная война: память и беспамятство. Статья известного прозаика.

Олег Павлов. Записки из-под сапога. Рассказы. — «Москва», 1998, № 6.

«Лепота», «Задумчивая песня» — рассказы из «Степной книги» о жутких армейских буднях.

Пьер Паоло Пазолини. Теорема. Перевод В. Полева. Послесловие Валентина Уварова. — «Всемирная литература». Ежемесячный литературно-художественный журнал. Минск, 1998, № 1, 2.

Книга (1968) известного итальянского писателя и режиссера, по которой он снимал известный одноименный фильм, *по картине подправляя свою книгу*.

Памяти Булата Окуджавы (1924 — 1997). — «Литературное обозрение», 1998, № 3.

Большая подборка мемориальных текстов разных авторов включает также ценную «Библиографию», составленную А. Е. Крыловым и В. Ш. Юровским.

Зиновий Паперный. «Если я чего написал...». — «Знамя», 1998, № 6. Маяковский и Брики.

Владислав Петров. Русская дуэль. — «Дружба народов», 1998, № 5. История поединков в России.

Людмила Петрушевская. Два рассказа. — «Знамя», 1998, № 5.

«Никогда» и «Надька» — хорошие рассказы о женщинах. Кратко, жутко, человечно.

Евгений Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов». Роман-комментарий. — «Знамя», 1998, № 6.

Сочинение в прозе «Зеленые музыканты» и 888 развернутых примечаний к нему. Это Галковский всех попутал.

Леонид Попов. Не плачь, Аксана! — «Русский Телеграф», 1998, № 96, 3 июня.

В Петербурге образована Ассоциация в защиту буквы «А». Проект орфографической реформы, согласно которой ущемленная в правах буква — *где слышится, там и пишется*. Основатели ассоциации утверждают, что в одной из школ города Череповца они будто бы начали педагогический эксперимент, позволяющий младшим школьникам писать слова так, как им заблагорассудится. Автор статьи в «Русском Телеграфе» пришел в неистовство, он не намерен звать «Леонидом Паповым», оттого что кому-то трудно выучить написание его имени.

«Приблизиться к русскому идеалу искусства...». Из литературной переписки М. А. Алданова. Вступление, публикация и примечания А. А. Чернышева. — «Октябрь», 1998, № 6.

В 1996 году журнал «Октябрь» напечатал четыре материала из архива М. Алданова (№ 1, 3, 6, 12). В настоящей публикации приводятся краткие выдержки из переписки писателя с Борисом Зайцевым, Ильей Репиным, Владимиром Набоковым и другими.

Алексей Пурин. Свет и сумерки Александра Кушнера. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 2.

«Петербургская поэтика», метаморфозы акмеизма. Поэт и слава. *Поэтическое бессмертие*. Кушнер и Бродский. Современников не выбирают, «особенно критиков» (критики в данном случае — это Виктор Топоров и С. Ломинадзе).

Евгений Рейн. «Ключей к отчетливой дешифровке текстов, безусловно, нет...». — «Литературное обозрение», 1998, № 3.

Стихотворение Евгения Рейна «Утренняя речь по дороге в Дигоми», посвященное Тенгизу Буачидзе. В качестве комментария — беседа Павла Грушко с поэтом. Рейн: «Сама попытка дешифровки стихов может быть опасна для понимания, потому что стихотворение само по себе является некой цельностью, которая не возвращается к источникам, которые ее породили, запустили ее поэтику...»

См. также рецензию А. Голицына («Волга», 1998, № 5-6) на поэму Евгения Рейна «Через окуляр» («Новый мир», 1998, № 2): «Новая поэма Рейна когда-нибудь завершит второй том гипотетического „Собрания сочинений“, если в третий поместить беллетризованные воспоминания, эссе и письма. Потому что написана она по законам „последней“ поэмы, „итогового“ сочинения...» И далее о том, что поэма в творчестве Рейна «займет то же место, которое занимает „Элегия“ в наследии Введенского, в которой каждая строфа — аллюзия и чуть ли не автоцитата, но поданная по-новому, более прозрачно, что ли».

Александр Росляков. Раскрытый заговор. Бухарин был расстрелян небезвинно. — «Ex libris НГ», 1998, № 25, июль.

Вышел в свет толстый, почти семисотстраничный, фолиант «Судебный отчет». За этим загадочным названием кроется стенограмма судебного процесса 1938 года по бухаринско-троцкистскому блоку. Автор статьи, безоговорочно доверяя показаниям подсудимых, считает возможным соотнести признания бухаринцев в готовности «открыть фронт» с тем, что произошло в 1941-м, «когда немцы, главные союзники и получатели секретной информации изменщиков, ворвались беспрепятственно в СССР». А это допущение в свою очередь приводит его к радикальным выводам: «Уже постфактум зная, во сколько миллионов жизней обошлось предательское «открытие фронта», хочется против всего затверженного мысленно бросить Сталину упрек не в перегибе в борьбе с готовыми на все супостатами, а в недогибе!»

Политнекорректные рассуждения А. Рослякова получили быструю и гневную отповедь на страницах «Общей газеты» (1998, № 27, 9 — 15 июля). Один из участников беседы под названием «Бухарина попытались расстрелять во второй раз», известный публицист Аркадий Ваксберг даже счел нужным отметить: «Попытка второй раз расстрелять Бухарина оказалась полной переключкой с подъемом фашиствующих сил сейчас, с их агрессивностью и их уверенностью в том, что никаких последствий от этого не будет, что они могут распоясываться безнаказанно».

Вскоре в «Независимой газете» появилось извинение перед читателями Виталия Третьякова: «Как главный редактор „НГ“, я заявляю, что за всю почти уже восьмилетнюю историю выхода нашей газеты ничего столь безобразного у нас не печаталось».

Давид Самойлов. Стихи о солдатской любви. (1944 год. Белорусский фронт). Публикация Г. И. Медведевой. — «Знамя», 1998, № 6.

Начало публикации см. в № 2 «Знамени» за 1998 год.

Ольга Седакова. «Мир устал от ожидания конца...». Беседу вела Анастасия Воинова. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4224, 28 мая — 3 июня.

Лауреат ватиканской премии имени Владимира Соловьева — о религии и поэзии. Цитата: «В России еще очень слабое представление об актуальной литературной ситуации в мире». Еще цитата: «То, что мне приходилось читать из новых опытов (современных русских поэтов. — А. В.), производит довольно печальное впечатление. Это как будто шаг назад по сравнению с прошлым русской поэзии в нашем веке».

О поэзии Ольги Седаковой см. критические статьи Н. Славянского («Новый мир», 1995, № 10) и Юрия Колкера («Арион», 1998, № 1).

Савелий Сендерович, Елена Шварц. В краю махаонов (Набоков и Блок). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 211 (1998).

Бабочки, порхающие по страницам Набокова. *Махаон*, перелетевший к нему от Блока.

В. Сердюченко. Чернышевский в романе Набокова «Дар». К предыстории вопроса. — «Вопросы литературы», 1998, № 2 (март — апрель).

В защиту Чернышевского.

Евгений Сливкин. Евреи безоружные и вооруженные. — «Побережье». Литературный ежегодник. Главный редактор Игорь Михалевич-Каплан. Филадельфия, 1997, № 6.

Параллельное чтение «Конармии» и «Одесских рассказов» с привлечением дневников Бабеля 1920 года и киносценария «Беня Крик». Фигура Бени Крика как «поэтический образ, замещающий образы тех жалких и беззащитных евреев, которые встречаются на страницах „Конармии“...»

В этом же выпуске филадельфийского ежегодника «Побережье» — рассказы, воспоминания, эссе, стихи эмигрантов, живущих в США. Авторов много, никого не обидели.

Н. П. Смирнов. Медальоны памяти. Публикация З. П. Смирновой. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. В. Перхина. — «Москва», 1998, № 6.

Страницы дневника 1968 — 1969 годов литератора Николая Павловича Смирнова (1898 — 1978). Литературная жизнь шестидесятых, полемика вокруг статей Чалмаева, Кожина. Воспоминания. «День Конституции. В этот день, в 1936 году, я слушал программную речь И. В. Сталина по радио, еще в лагерном бараке, под самым репродуктором, что давало возможность различать все оттенки каждого произносимого оратором слова, глуховатость его голоса, его восточнокавказский акцент, особенно заметный в патетических или иронических местах... Самое же главное и самое странное — это то, что я не чувствовал ни тени неприязни и враждебности к Сталину, олицетворявшему собой меч в борьбе с троцкизмом, к коему чуточку и я был причастен, и что мне было даже дорого государственное начало в докладе (а величие государства было для меня — заключенного — куда выше, нежели моя личная судьба)» (из записи от 5 декабря 1968 года).

Советская мистика и мистики в стране большевиков. — «Литературное обозрение», 1998, № 2.

Подборка включает в себя статьи М. П. Одесского «Борьба магов. Необычайныехождения Гурджиева в романе Эренбурга», Н. А. Богомолова «К истории эзотеризма советской эпохи», Н. И. Дужиной «Андрей Платонов: поход на Тайны», Е. Петрушанской «Песня достается человеку. О „мистической“ природе советских массовых песен» и другие интересные материалы.

Абрам Терц. Кошкин дом. Роман дальнего следования. Публикация и послесловие М. В. Розановой. — «Знамя», 1998, № 5.

«„Кошкин дом” был окончен в 95 году. Потом лежал. Летом 96-го автор рассыпал готовое произведение, поменял местами некоторые главы, кое-что дописал, многое сократил, что-то осталось в вариантах. Собрать, свинтить свою любимую игрушку — текст — не успел. Пришлось это делать мне, руководствуясь его планами, заметками и записками. С помощью Натальи Рубинштейн, за что ей великая благодарность» (М. Розанова).

Юрий Трифонов. Из дневников и рабочих тетрадей. Публикация и комментарии Ольги Трифоновой. — «Дружба народов», 1998, № 5, 6.

Записки начиная с 1934 года. Продолжение следует.

Поль Файерабенд. Галилей и тирания истины. Предисловие Геннадия Копылова. — «НГ-Наука». Приложение к «Независимой газете». 1998, № 7, июль.

Полемическое эссе автора концепции «методологического анархизма» Поля Файерабенда (1924 — 1994) из сборника «Прощай, Разум» (1987) посвящено драматическим взаимоотношениям науки с обществом, культурой, церковью. Людям нужно, чтобы жизнь была стабильной и осмысленной; наука же давно оторвалась от мира нашего повседневного жизненного опыта, поэтому ученые могут вносить свой вклад в культуру, но им нельзя позволять определять ее основания.

Борис Фальков. Гамлет в Британии. Карликовый роман. — «Родная речь». Литературно-художественный журнал русских писателей в Германии. Главный редактор Владимир Марьин. Заместитель главного редактора Ольга Бешенковская. Ганновер, 1998, № 1.

Гамлет все-таки добрался до Англии. У Шекспира этот эпизод опущен.

В первом номере нового литературного журнала, выходящего в Германии по-русски, напечатаны «Записки тюремного психиатра» Юрия Фельдмана (Штутгарт), рассказы Игоря Гергенредера «Страсти по Матфею» (Берлин) и Бориса Замятина «Суп из Фейербаха» (Йена), пьеса Ильи Члаки (Зальцгиттер) «Соковыжималка», эссе Бориса Хазанова (Мюнхен) «Ветер изгнания» и другие материалы разных жанров.

Борис Фрезинский. Литературная почта Карла Радека. — «Вопросы литературы», 1998, № 3 (май — июнь).

Письма Бориса Пильняка, Лидии Сейфуллиной и других к партийному функционеру и публицисту Карлу Бернгардовичу Радеку (Собельсону; 1885 — 1939), а также отклики писателей на его арест.

Священник Георгий Чистяков. «Antonella, ti amo. Luigi». — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4223, 21 — 27 мая.

Священник о природе поэзии. «Поэт рассказывает о себе, а совсем не о том, каким рекомендует ему быть общепринятая мораль. И это не какая-то особая привилегия поэта, но *conditio sine qua non* — условие, не соблюдая которого он перестает быть поэтом».

Мариэтта Чудакова. Российское общество в воротах XXI века. Статья первая. — «Неприкосновенный запас». Критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». 1998, № 1.

О том, что наша ноющая интеллигенция действительно не «мозг нации».

Игорь Шайтанов. Букер-97: записки «начальника» премии. — «Вопросы литературы», 1998, № 3 (май — июнь).

За кулисами престижной премии. «Что-то произошло. Роман возвращается в литературу, ставшую снова читабельной». В тот год победил Азольский («Клетка» — «Новый мир», 1996, № 5, 6). Победил *кого?* Как выясняется — Уткина («Хоровод» — «Новый мир», 1996, № 9, 10, 11).

Михаил Шапиро. Запах солнца. Роман. — «Новая Юность», № 28-29 (1998, № 1 — 2).

Авантюрно-автобиографический роман на африканском материале. Автор живет в США. В 1996 году в «Новой Юности» (№ 21) печатался его роман «Какао-Кока».

Глеб Шульпяков. Никогда не разговаривайте с неизвестными. — «Ex libris НГ», 1998, № 22, июнь.

Отклик на первое полное издание «Белой гвардии», включая новооткрытую заключительную главу (М., Издательство «Наш дом — L'Age D'Homme», 1998). «Да, роман нынче вышел в том варианте, в каком Булгаков представлял его в „Россию” (журнал Исаия Лежнева. — А. В.). Да, он на два авторских листа больше парижского издания и

тех вариантов, которые готовил сам Михаил Афанасьевич для отдельной публикации. Но ведь славу и любовь народную он нашел именно в тех траченных временах и цензурой вариантах!.. Возможно, мы сейчас скажем кощунственные вещи, но на наш взгляд ни «полные „Двенадцать стульев»», ни «полная „Белая гвардия»» по большому счету никому, кроме исследователя, не нужны».

Умберто Эко. Терпимость и ее пределы. Перевел Ф. Погодин. — «Индекс/До-сье на цензуру», 1998, № 1.

О свободе слова и правом экстремизме. «Чтобы быть терпимым, надо поставить предел нетерпимому». В этом же номере «Индекса» напечатаны актуальные статьи Рональда Дворкина «Новые маршруты цензуры» и Урсулы Оуэн «Язык нетерпимости — удобный повод для цензуры» (обе перевела М. Мушинская) — о тех, кто из лучших побуждений считает возможным или необходимым ограничить *свободу слова* во имя *равенства и справедливости*.

Михаил Эпштейн. Интернет как словесность. — «Пушкин», 1998, № 1.

Виртуальное пространство сплошь запечатано *текстом*, состоит из текста. В виртуальном мире быть — значит писать (печатать). «Печатаю — значит существую». Там, где ничего, кроме текста, теряет смысл само противопоставление литературы и не-литературы.

Александр Яковлев. Российских фашистов породил КГБ. Беседу вел Дмитрий Филимонов. — «Известия», 1998, № 108, 17 июня.

«Необходимо запретить и компартию, и нацистские организации». На замечание корреспондента, что сам Яковлев долгое время занимал в партии большие посты, тот ответил: «А как же, надо было с ней как-то кончать...»

Валентин Янин. Был ли Новгород Ярославлем, а Батый — Иваном Калитой? Беседу вела Инга Преловская. — «Известия», 1998, № 106, 11 июня.

Академик В. Л. Янин в беседе о новых исторических мифотворцах сожалеет, что отповедь «Новой хронологии» академика Фоменко была дана только в специальных научных изданиях, а до широкого читателя это не доходит. Для справки: в «Новом мире» (1998, № 3) напечатана обширная полемическая статья Дм. Харитоновича «Феномен Фоменко».



ДАТА: 21 сентября (3 октября) — 125 лет со дня рождения И. С. Шмелева (1873 — 1950). См. в № 7 «Нового мира» за этот год статью А. Солженицына «Иван Шмелёв и его „Солнце мёртвых»».

Составитель Андрей Василевский.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Октябрь

5 лет назад — в № 10 за 1993 год напечатан роман Андрея Битова «Ожидание обезьян».

10 лет назад — в № 10 за 1988 год напечатаны «Письма к Луначарскому» Владимира Короленко и поэма Велимира Хлебникова «Председатель чеки».

40 лет назад — в № 10 за 1958 год началась публикация «Сентиментального романа» В. Пановой.

ПУШКИН

103009, Россия, Москва,
Малый Гнездниковский переулок, д. 9, стр. 3Б
тел. (095) 236-2802, 236-2844, 236-2678
факс (095) 232-1431
e-mail: pushkin@russ.ru
russ@russ.ru

Журнал «ПУШКИН» можно заказать в следующих оптовых фирмах:

— для регионов — ТОО «Фирма „ОДА”», тел. (095) 974-21-32;

— для Москвы — в оптовых магазинах ТОО «Логос-М», тел. (095) 974-21-31.

По вопросам распространения и подписки обращаться — raspros@russ.ru

НОВЫЙ МИР В INTERNET

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖУРНАЛ

<http://www.infoart.ru/magazine>

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (стр. 172; спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить *льготную* подписку на 1999 год непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue contains new poems by Ilya Falikov, Leonid Rabichev, Alexander Revich and Sergei Novikov. Prose is presented by the narrative «The Wall» by Anatoly Kim, the short story «The First of the Five» by Andrei Volos concluding his series of short stories about Tajikistan of nowadays and the short stories by Boris Yekimov.

In the section «Philosophy, History, Politics» we are publishing the culturological essay by Yuri Kagramanov on the role of knowledge in history and the reflections «Plato and Atlantida» by Sergei Zhitomirsky.

The section «Far Nearness» presents the memoirs by P. Pertsov about V. Rozanov.

In the section «Writer's Diary» Alexander Solzhenitsyn continues his «Literary Collection» by the essay «Plunging into Chekhov».

Literary criticism of the issue is presented by the articles «When? Where? Who?» by Andrei Nemzer on a new novel by V. Makanin and «The Law of Truth» by Alena Zlobina on the debates about Shakespeare.

In the section «Editor's Mail» we are publishing the polemical letters by the director and an employee of the Pushkin Memorial Estate in Mikhailovskoye about the present situation in the museum.

In the section «Questionnaire» Renata Galtseva, Alena Zlobina, Alexander Kushner, Olesya Nikolayeva, Vyacheslav Pyetsukh and Tatyana Cherednichenko answer the editors' question: What is «bourgeoisity» in the context of today's Russian reality?



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

И. о. главного редактора А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.06.98 г. Подписано к печати 24.08.98 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14 470 экз. Зак. 4478. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ДО КОНЦА 1998 И В 1999 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ.** Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);
- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ.** Монахи (роман);
- АНДРЕЙ БИТОВ.** Общество охраны героев (повесть);
- МИХАИЛ БУТОВ.** Свобода (роман);
- РАВИЛЬ БУХАРАЕВ.** Гость случайный (роман-эссе);
- СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО.** Мария из Магдалы (повесть);
- ЯН ГОЛЬЦМАН.** Пустынные песни (повесть);
- НИНА ГОРЛАНОВА.** Рассказы о чудесах;
- ДАНИИЛ ГРАНИН.** Вечера с Петром Великим (роман);
- МАРИНА ДУРНОВО,** с участием **ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.** Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
- БОРИС ЕКИМОВ.** Пиночет (повесть);
- АНАТОЛИЙ КИМ.** Близнец (роман);
- ОЛЕГ ЛАРИН.** Блудное лето (сцены из захолустной жизни);
- ВЛАДИМИР МАКАНИН.** Новая повесть;
- АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ.** Нам целый мир чужбина (роман);
- ВАЛЕРИЙ ПОПОВ.** Чернильный ангел (повесть);
- МАРК РОЗОВСКИЙ.** Театральный человек (документальное повествование);
- ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ.** Достоевский и пол;
- ОЛЬГА СЛАВНИКОВА.** Один в зеркале (роман);
- АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.** Главы из книги «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»;
- ВЛАДИМИР ТУЧКОВ.** Русская книга военных;
- АНТОН УТКИН.** Самоучки (роман);
- ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА.** Актриса и милиционер (повесть);
- а также романы, повести, рассказы **ВИКТОРА АСТАФЬЕВА,** **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА,** **АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА,** **ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА,** **МАРКА КОСТРОВА,** **МИХАИЛА КУРАЕВА,** **ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ,** **ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА,** стихи **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА,** **СЕМЕНА ЛИПКИНА,** **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ,** **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ,** **ЕВГЕНИЯ РЕЙНА,** статьи, эссе **АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО,** **СЕРГЕЯ БОЧАРОВА,** **РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ,** **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА,** **АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ,** **ЮРИЯ КАГРАМАНОВА,** **АНДРЕЯ НЕМЗЕРА,** **ВЛАДИМИРА НОВИКОВА,** **ИРИНЫ СУРАТ** и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**